

7 ДЖОН ГОЛСУОРСИ

ДЖОН  
ГОЛСУОРСИ



ДЖОН  
ГОЛСВОРСИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ШЕСТНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 7

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» • МОСКВА • 1962



# ПАТРИЦИЙ

«Нрав человека — его рок».



Перевод  
Р. Облонской.  
Под редакцией  
В. Топер.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ГЛАВА I

Первый луч зари, проникший в большую залу, такую высокую, что лепной потолок ее казался недоступным взору, с задумчивым, холодным любопытством оглядел эту причудливую кладовую Времени. Свободный от предубежденности, свойственной человеческому взгляду, он отмечал одну за другой странные несообразности, словно освещая бесстрастный ход самой истории.

В этой столовой — одной из красивейших в Англии — Карадоки, поколение за поколением, веками копили свои реликвии и трофеи. Они строили и разрушали и вновь отстраивали все вокруг стен этой залы, пока усадьба Монкленд не обрела некоего единства и цельности. Лишь этот покой, возведенный древними строителями, остался нетронутым и сохранил в своей почти монастырской строгости отпечаток их суровых душ. И в свете заглянувшей сюда зари все явственнее проступали трогательные свидетельства столь присущей человеку жажды утвердить себя в веках — все, что некогда было его жизнью, фетиши, причудливые атрибуты верований, — но видны становились также и следы безжалостной руки Времени.

Летописец нашел бы здесь все нужные ему доказательства; психолог безошибочно распознал бы черты

высокого происхождения; философ проследил бы путь развития аристократии — от первобытной грубой силы или ловкости через века могущества к живописному упадку. Даже художник мог бы уловить здесь едва угадываемый, невыразимый словами дух дома, точно в древнем соборе, где, кажется, так и слышишь, как бьется его старое сердце.

От легендарного меча, принадлежавшего тому валлийскому вождю, который с помощью искусного, щедро вознагражденного вероломства вошел в доверие к Вильгельму Завоевателю и, женившись на вдове некоего норманна, взял за ней обширные земли в Девоншире, и до кубка, вскладчину преподнесенного Джеффри Карадоку, нынешнему графу Вэллису, его девонширскими арендаторами по случаю его женитьбы на леди Гертруде Симмеринг,— все было здесь, кроме портретов предков, висевших теперь в лондонском особняке Вэллисов. Здесь хранилась даже древняя копия выцветшей, полуистлевшей грамоты, которою король жаловал земли и титул Джону, самому блестящему из Карадоков, ибо по забавной оплошности, какой избежал редкий из древних родов, сей Джон, к несчастью, не озаботился родиться от законного брака. Да, она была здесь, открыто вывешенная на стене, так как случай этот, несомненно волновавший умы в пятнадцатом веке, ныне служил лишь темой для анекдота, тем более потешного, что среди фермеров соседнего прихода можно было наверняка встретить потомков «единокровного» брата Джона — Эдмунда.

Продолжая свой путь, луч зари соскользнул с развешенного на стене оружия, на тигровые шкуры, вывезенные всего лишь год назад из Индии Берти, младшим сыном Карадоков, как бы напоминая, что те, кому некогда принадлежало первенство по простому закону природы, венчающей своими благами дерзновенных и сильных, ныне, оттесняемые от основного потока жизни нации, вынуждены искать повода для дерзаний, чтобы не разувериться в своей силе.

Беспощадный луч раннего летнего утра отметил немало других перемен, скользя со строгих гобеленов на бархатистые ковры, свидетельствующие о здравом смысле нынешней знати, отказавшейся от аскетизма пред-

ков. Но тут, словно наскучив собственным критическим бесстрашием, заря пожелала одеть все вокруг в колдовской убор: взошло солнце, и в окна, обращенные к востоку, хлынул ровный и несказанно радостный свет. А вместе с ним влетел шмель и устремился прямо к цветам на столе, стоявшем поперек комнаты, за который садились лишь, если гостей бывало немного.

Безмолвно текли часы, и солнце поднялось уже довольно высоко, когда в зале появились первые посетители — три горничные, румяные и говорливые, с половыми щетками в руках. Их сменили два ливрейных лакея, предвестники завтрака; минуту они постояли в молчаливом созерцании, как и положено респектабельным слугам, затем принялись степенно накрывать на стол. Потом заглянула — нет ли тут чего интересного — девчурка лет шести, Энн Шроптон, чадо сэра Уильяма Шроптона и леди Агаты, старшей дочери хозяина дома, пока единственной из четверых молодых Карадоков вступившей в брак. Энн вошла на цыпочках, в надежде захватить врасплох какое-нибудь чудо. На ее круглом личике с вздернутым дерзким носиком сияли ясные, широко распахнутые карие глаза. Полотняное платье, лишь слегка схваченное поясом ниже талии, словно подчеркивало ее полную свободу, и, должно быть, все в жизни казалось ей веселым и забавным. Скоро она и вправду заметила нечто интересное.

— А вон шмель!.. Как по-вашему, Уильям, он приручится, если посадить его в стеклянную коробочку?

— Не думаю, мисс Энн. И берегитесь, как бы он вас не ужалил.

— Меня не ужалит.

— Почему же?

— Потому что.

— Ну, конечно... раз вы так полагаете...

— А когда дедушка велел подать автомобиль?

— В девять часов.

— Я поеду с ним до самых ворот.

— А если он не позволит?

— Ну... тогда я все равно поеду.

— Вот как?

— Я могу с ним ехать до самого Лондона. А тетя Бэбс едет?

— Нет, кажется, его светлость едет один.  
— Вот если бы она поехала, и я бы с ней. Уильям!  
— Слушаю.  
— Дядю Юстаса непременно выберут?  
— А как же иначе?  
— Как по-вашему, он будет хороший член парламента?

— Лорд Милтоун очень умный, мисс Энн.  
— Правда?  
— А, по-вашему, разве нет?  
— А Чарлз как думает?  
— Спросите его сами.  
— Уильям!  
— Слушаю.  
— Мне не нравится в Лондоне. Мне нравится здесь, и в Кэттоне, и дома очень нравится, и я люблю Пендриди... и... и мне нравится Рэйвеншем.

— Я слышал, его светлость собирается по дороге захватить в Рэйвеншем.

— Ой! Он увидит прабабушку. Уильям...

— А вот и мисс Уоллес.

В дверях стояла невзрачная женщина с тусклым, исполненным терпения лицом.

— Пойдем, Энн,— сказала она.

— Иду... Здравствуйте, Симмонс!

— Здравствуйте, мисс Энн! — ответил, входя, дворецкий.

— Мне надо идти.

— Мы все очень сожалеем.

— Ну, конечно.

Дверь легонько стукнула, и просторная зала снова погрузилась в деловитую тишину последних приготовлений к трапезе. Но вот четверо хлопотавших у стола слуг разом отступили. Вошел лорд Вэллис.

Он шел медленно, не отрывая спокойных серых глаз от газеты, и меж его бровей залегла непривычная складка. У него были жесткие волосы и усы, в которых уже проступала седина, лицо загорелое и все же румяное, мужественное лицо человека, который знает, чего хочет, и довольствуется этим, и вся его фигура, ладная, подтянутая, с отличной выправкой, и посадка головы — все подтверждало, что это человек не то чтобы самодоволь-

ный, но вполне довольный своим образом жизни и мыслей. Его манера держаться с очевидностью выдавала ту особенную непринужденность, которой обладают люди, постоянно находящиеся на виду, привыкшие не отказывать себе в жизненных благах и удобствах и свободные от необходимости заботиться о мнении окружающих. Он сел на свое место и, все еще не отрываясь от газеты, принялся за еду; он не сразу заметил, что вошла и села рядом с ним его старшая дочь.

— Досадно уезжать из дому в такую погоду, — сказал он наконец.

— Заседание кабинета министров?

— Да. Все та же канитель с аэростатами.

Но темные на нежном узком лице глаза Агаты в эту минуту озабоченно оглядывали стоявший на буфете особый поднос, на котором кушанья не остывали. «Пожалуй, — думала она, — такой поднос куда лучше наших. Лишь бы только Уильяму эти большие подносы пришлись по душе». Все-таки она спросила своим мягким голосом — ибо и говорила и двигалась она очень мягко, почти робко, пока дело не касалось благополучия ее мужа или детей:

— Как ты думаешь, папа, эти страхи, что будет война, помогут Юстасу пройти в парламент?

Но отец не ответил: он здоровался с только что вошедшим высоким молодым человеком, красивым, темно-волосым, с усиками, чем-то напоминавшим его самого, хотя ни в каком родстве они не состояли. Правда, в наружности Клода Фресни, виконта Харбинджера, без сомнения, было еще и нечто норманское — правильные черты лица, орлиный нос. Кроме того, то, что казалось естественным в манерах старшего, у младшего выглядело одновременно и как чрезмерная самоуверенность и как излишняя связанность, словно он все время был настороже.

Следом вошла высокая, полная, видная женщина с темными еще волосами — сама леди Вэллис. Хотя ее старшему сыну уже минуло тридцать, ей самой было лишь немногим больше пятидесяти. Ее голос, осанка, весь облик свидетельствовали о том, что когда-то она была признанной красавицей; но это жизнерадостное лицо с большими серо-голубыми глазами уже утратило свежесть красок, и теперь не оставалось сомнений, что

молодость ее позади. В каждой ее черточке, в каждой нотке голоса чувствовалась живая, общительная и притом подлинно светская женщина. Видно было, что это широкая натура, одаренная кипучей энергией, не лишенная чувства юмора, привыкшая к здоровой жизни на свежем воздухе. Она-то и ответила Агате:

— Конечно, дорогая. Ничего не может быть лучше.

— Кстати, Брэбрук собирается разразиться речью на эту тему,— вмешался лорд Харбинджер.— Вы его когда-нибудь слышали, леди Агата? «Мистер спикер, сэр, я встаю, и вместе со мной встают во весь рост демократические принципы».

Агата улыбнулась, но ее мысли были заняты другим: «Если сегодня я позволю Энн доехать до ворот, завтра ей этого будет уже мало». Чуждая каких-либо общественных интересов, она все унаследованное от предков стремление властвовать обратила на мелочную опеку над чадами и домочадцами. Это стало ее религией, ее страстью,— она ощущала себя как бы хранительницей британского домашнего очага, главою некоего патриотического движения.

Покончив с завтраком, лорд Вэллис поднялся.

— Что-нибудь передать твоей матушке, Гертруда?

— Нет, я только вчера ей писала.

— Скажи Милтоуну, чтобы не упускал из виду этого мистера Куртье. Я однажды его слушал... Весьма недурной оратор.

Леди Вэллис, еще не сядившаяся за стол, проводила мужа до дверей.

— Кстати, Джеф, я рассказала матушке о той женщине.

— Это было необходимо?

— Думаю, что да. Мне как-то тревожно... А матушка имеет кое-какое влияние на Милтоуна.

Лорд Вэллис пожал плечами, легонько стиснул локоть жены и вышел.

Он и сам смутно тревожился, но он был не из тех, кто спешит навстречу неприятностям. У него, казалось, совсем не было нервов, как у многих людей его круга, привыкших иметь дело с лошадьми. По самому складу характера он полагал, что поистине довлеет дневи злоба его. Притом отношение старшего сына к женщинам бы-

ло для него загадкой, над которой он давно перестал ломать голову.

Он вышел в холл и задержался на мгновение, вспомнив, что еще не видел сегодня свою любимицу — младшую дочь.

— Леди Барбара еще не сошла вниз?

Узнав, что дочь не выходила, он надел дорожное пальто, поданное Симмонсом, и вышел на белое широкое крыльцо, над которым красовались высеченные из камня ястребы — герб Карадоков.

Сквозь приглушенный шум мотора до него донесся звонкий голосок Энн:

— Скорей, дедушка!

Губы лорда Вэллеса скривились под жесткими усами: странно слышать слово «дедушка», когда тебе всего-навсего пятьдесят шесть, а чувствуешь себя еще моложе, — и, махнув рукой в перчатке в сторону Энн, он сказал Симмонсу:

— Пошлите кого-нибудь к воротам за этой особой.

— Нет, я вернусь одна, — решительно объявила Энн.

Мотор взревел, положив конец спору.

Лорд Вэллис в автомобиле был выразительной иллюстрацией пагубного вторжения науки в старинный уклад жизни. Любитель скачек, которого — после политики — больше всего на свете занимали лошади, недавно получивший звание Почетного Охотника, он, однако, обладал достаточной долей здравого смысла чтобы не только терпеть, но и принимать, даже поддерживать то, что содействовало вытеснению лошадей. Инстинкт самосохранения потихоньку подталкивал его к гибели, нашептывая, что науку, одерживающую одну победу за другой над грубой природой, можно как-то обратить на служение тому престижу, который покоится на неизменном, вполне устойчивом основании. Это постоянное стремление идти в ногу с веком, увлечение плодами научных открытий, все убыстряющийся темп жизни, когда все время скользишь по поверхности, не пускаешь корней, и возрастающее легкомыслие, космополитизм и даже меркантильный дух, чем он, человек, отлично знающий жизнь, пожалуй, немного гордился, — все это незаметно для него самого разрушало ту стену, которой люди его круга отгораживаются от простых



смертных. Упрямый, не отличающийся особенной тонкостью, хотя отнюдь не тупица в делах практических, он решительно плыл по течению, крепко держа в руках руль, не замечая, что попал в водоворот. Надо сказать, здравый смысл постоянно уводил его от крайнего ретроградства, столь свойственного его сыну Милтоуну, к консерватизму, несколько смягченному, который, живя на тот же духовный капитал, отлично умеет пользоваться всеми благами врага своего — прогресса.

Он сам вел автомобиль, сосредоточенно, но без всякого напряжения, надвинув фуражку на самые брови, из-под которых смотрели спокойные глаза; и хотя это неожиданное заседание кабинета во время перерыва на Троицу не только портило отдых, но и не могло не беспокоить, он был вполне способен радоваться быстрому, плавному движению и летнему ветерку, шелестевшему в вековых деревьях длинной аллеи и ласково овеивавшему лицо. Рядом молча сидела Энн. Катание в автомобиле было совсем новым развлечением, ибо дома это запрещалось, и в ее широко распахнутых глазах над дерзко вздернутым носиком светился задумчивый восторг. Она нарушила молчание лишь, когда, притормозив у ворот, они медленно проезжали мимо маленькой дочки привратника.

— Здравствуй, Сьюзи!

Ответа не последовало, но даже не слишком наблюдательный лорд Вэллис с удовлетворением заметил, как смиренно и восторженно смотрела на Энн бледная, худенькая Сьюзи. «Да,— как будто без всякой связи подумал он,— в сердце своем Англия осталась неиспорченной!»

## ГЛАВА II

Рэйвеншемхауз расположен на краю Ричмонд-парка; с тех самых пор, как вошло в моду селиться не слишком далеко от Вестминстера, он стал постоянной резиденцией семейства Кастерли; здесь, в просторной оранжерее, примыкающей к холлу, стояла перед японскими лилиями леди Кастерли. Она была невысока, худощава, с лицом цвета слоновой кости, тонким носом и проныцательными глазами, глядящими из-под полуопу-

щенных, старчески морщинистых вск. Неподвижная, седая, вся в сером, она была точно потускневшая от времени фигурка из стали. В сухой, тонкой, но еще крепкой руке она держала письмо, написанное крупным, размашистым почерком:

«Монкленд, Девоншир.

Дорогая матушка,

Джеффри завтра едет в Лондон. По дороге он постарается заехать к Вам. Вновь вспыхнувшая угроза войны потребовала его присутствия в городе. Сама я туда не собираюсь, пока не будет избран Милтоун. По правде говоря, я боюсь оставлять его здесь одного. Он каждый день видится со своей Незнакомкой. Этот мистер Куртье, написавший книгу против войны,— большая дерзость со стороны человека, который сам был наемным солдатом, не правда ли? — остановился в гостинице и ратует за радикального кандидата. Он тоже с ней знаком и — ради Милтоуна,— надеюсь, весьма коротко: он довольно привлекателен, с рыжими усами, мил в обращении и изрядный сумасброд. Только что явился Берти. Я постараюсь, чтобы он поговорил с Милтоуном, может быть, ему удастся выяснить, как обстоит дело. На Берти можно положиться, его не проведешь. Должна признать, что она очень недурна собой; но мы не знаем о ней решительно ничего, кроме того, что она разведенная. Не знаю, как людям удастся разузнать друг о друге? А чрезмерная щепетильность Милтоуна еще больше осложняет положение. Просто удивительно, до чего серьезно нынешние молодые люди смотрят на жизнь. Право, не помню, чтобы в молодости я относилась ко всему с такой серьезностью».

Леди Кастерли опустила листок, украшенный графской короной. Тень усмешки скользнула по ее лицу: она то не забыла, какой была в юности ее дочь. Потом снова принялась за письмо.

«Мы с Джеффри чувствуем себя куда более молодыми, чем Милтоун и Агата, хоть они наши дети. К счастью, Берти и Бэбс не таковы. Разговоры о войне очень способствуют успешному ходу предвыборной кампании. Клод Харбинджер тоже сейчас у нас и усердно помо-

гает Милтоуну; но, по-моему, его больше всего интересует Бэбс. Даже грустно думать, ведь ей нет и двадцати... Впрочем, что ж тут удивительного при ее наружности; а Клод и в самом деле очень мил. О нем сейчас много говорят; он один из самых выдающихся молодых тори».

Леди Кастерли снова опустила письмо и прислушалась. В оранжерею ворвался какой-то приглушенный шум, словно приветственные или возмущенные клики далекой толпы,— и сразу резко запахло лилиями, словно он разбудил дремавший в их матовых лепестках аромат. Она вышла в холл; там стоял бледный старик с длинными седыми бакенбардами.

— Что это за шум, Клифтон?

— Социалисты, миледи. Они идут в Пэтни, на манифестацию. А люди улюлюкают. Задержали их у самых ворот и не дают пройти.

— Они произносят речи?

— Да, что-то там разглагольствуют, миледи.

— Пойду послушаю. Подайте мне черную трость.

Над бархатно-темными, разлапистыми кедрами, которые, точно эбеновые пагоды, выстроились по обе стороны подъездной аллеи, нависла огромная сизая туча, казавшаяся еще более зловещей оттого, что в нее вонзался единственный белый луч. Под этим балдахинном сбильсь в кучку на дороге усталые, запыленные люди, заслоняя и ободряя возгласами оратора в черном. А вокруг, то и дело что-то выкликая, теснились мужчины и мальчишки.

Леди Кастерли и ее «мажордом» остановились в шести шагах от узорных чугунных ворот, наблюдая за происходящим. Хрупкая серо-стальная фигурка с серо-стальными волосами впечатляла своей неподвижностью куда больше, нежели крикливая и беспокойная толпа. Правой рукой она крепко стиснула набалдашник трости, и лишь глаза жили за полуопущенными веками. Оратор возмущался «эксплуатацией народа», иронизировал над христианской моралью, страстно требовал сбросить груз «бессмысленного военного налога», угрожал, что народ возьмет все в свои руки.

— Все это вздор, Клифтон,— сказала леди Кастерли через плечо.— Сейчас хлынет дождь. Я иду в дом.

Под каменным портиком она остановилась. Сизая туча раскололась; дождь в слепой ярости обрушился на толпу, и все бросились врассыпную. Слабая улыбка тронула губы леди Кастерли.

— Дождь охладит их пыл, это им на пользу. Скорей, Клифтон, вы промокнете. Я жду к обеду лорда Вэллеса. Приготовьте комнату, чтобы он мог переодеться. Он едет на автомобиле из Монкленда.

### ГЛАВА III

В очень высокой полупустой комнате, обшитой белыми панелями, лорд Вэллис почтительно здоровался с тещей.

— Доехал за девять часов, сударыня... неплохая скорость.

— Рада вас видеть. Когда у Милтоуна выборы?

— Двадцать девятого.

— Только? Жаль! Ему бы следовало уехать из Монкленда, пока там живет эта... эта Незнакомка.

— А-а. Ну да, вы о ней уже слышали!

— Вы слишком беспечны, Джеффри,— резко сказала леди Кастерли.

Лорд Вэллис улыбнулся.

— Эти разговоры о войне уже начинают надоедать. Мне не очень ясно, как к этому относятся в стране.

Леди Кастерли поднялась.

— Никак. Начнется война — и отношение будет самое правильное. Так всегда бывает. Пройдемте в столовую. Вы голодны?

О войне лорд Вэллис говорил как человек, который постоянно жил среди тех, кто вершит судьбы государства. Подобно тепличному растению, он просто не мог чувствовать, как обыкновенный садовый цветок. Но хотя он впитал в себя все предрассудки и привычки своего класса, он тем не менее жил жизнью, вовсе не обособленной от простых смертных. И как человек практический и здравомыслящий, в достаточной мере представлял себе, что думает средний англичанин. Вполне искренне он утверждал, что знает, чего хочет народ, лучше тех, кто много об этом болтает; так оно и было, ибо

по складу характера он был ближе к простым людям, чем их вожди, хотя услышать это от кого-нибудь ему было бы, пожалуй, неприятно. Он был силен тем, что природа наделила его трезвой практичностью и начисто лишила воображения, а жизнь дала ему еще и проницательность светского человека и политического деятеля. Положение обязывало его быть энергичным, но в меру и не стремиться доводить всякую идею до логического конца; не быть чересчур строгим в вопросах нравственности — до тех пор, пока сохранена видимость благопристойности; быть великодушным землевладельцем, пока это не затронет всерьез его интересов; покровительствовать искусствам, пока они не выйдут за рамки его понимания; положение обязывало его обладать тактом, зорким глазом, железными нервами и прекрасными манерами, чуждыми всякой манерности. По натуре же он был покладистый супруг, снисходительный отец, осторожный и честный политик, любил пожить в свое удовольствие, потрудиться и провести досуг на свежем воздухе. Он ценил свою жену, нежно любил ее и ни разу не пожалел о своем выборе. Пожалуй, он никогда ни о чем не жалел, разве только о том, что до сих пор не выиграл дерби и не сумел вывести чистую, без примеси породы аспидных пойнтеров. Тещу свою он уважал, как можно уважать некий отвлеченный принцип.

В этой маленькой старой леди, несомненно, таился огромный запас решимости, унаследованной от предков, уверенности в себе, свойственной лишь тем, чей авторитет никто и никогда не подвергал сомнению; а поскольку привычка к власти в известной мере лишала ее воображения, она не допускала и мысли, что этот авторитет может подвергнуться сомнению в будущем. Она всегда знала, чего хочет, — не потому, что много об этом думала, нет, это было заложено в ее характере, деятельном и властном. В совершенстве зная внешнюю сторону общественной жизни — что необходимо людям ее класса, — вооруженная традициями культуры — чего требовало ее положение, — движимая идеями — всегда, впрочем, одними и теми же, — не ведая над собой иного господина, кроме собственной жажды властвовать, она обладала умом грозным, как обоюдоострые мечи, которыми ее предки Фитц-Харольды разили

врага под Аженкуром или Пуатье,— она инстинктивно не желала заглядывать ни в свою, ни в чужую душу и всячески противилась неразумным попыткам самоанализа, созерцания и душевного взаимопроникновения,— попыткам, столь пагубным для власть имущих. Если лорд Вэллис был остовом аристократической машины, то леди Кастерли была ее стальной пружиной. Всю жизнь она одевалась с подчеркнутой простотой, была умеренна и скромна в своих привычках; рано вставала, с утра до ночи была чем-нибудь занята и в семьдесят восемь лет оставалась крепче многих пятидесятилетних; у нее была лишь одна слабость, и в ней-то заключалась ее сила: она изрядно переоценивала роль, предназначенную ей в этом мире. Она была олицетворением своей касты, всего, чем эта каста сильна.

Она поразительно гармонировала со столовой, серые стены которой окаймлял широкий фриз в стиле Фрагонара, расписанный уже потускневшими нимфами и розами, и с мебелью, которая явно пережила свое время. Цветов на столах не было, если не считать пяти лилий в старинной серебряной чаше; на стене, над массивным буфетом, висел портрет покойного лорда Кастерли.

— Надеюсь, у Милтоуна есть какая-то своя линия? — спросила леди Кастерли сидевшего против нее зятя.

— В том-то и беда. Он страдает от своих распухших принципов... только бы помалкивал о них в своих речах.

— Пусть его. И как только пройдут выборы, увезите его подальше от этой женщины. Как там ее зовут?

— Что-то вроде миссис Ли Ноуэл.

— Давно она в ваших краях?

— С год как будто.

— И вы ничего о ней не знаете?

Лорд Вэллис пожал плечами.

— Ну, конечно! — сказала леди Кастерли. — Вы сидите у моря и ждете погоды. Я займусь этим сама. Полагаю, у Гертруды найдется для меня место в доме? А что общего с этой милой особой у вашего мистера Куртье?

Лорд Вэллис улыбнулся. В этой улыбке выразилась вся его светски учтивая и беспечная философия. «Я не вмешиваюсь не в свои дела», — казалось, говорила эта улыбка, и при виде ее леди Кастерли поджала губы.

— Он крамольник,— сказала она.— Я читала эту его книгу против войны... Весьма зажигательно. Целит в Гранта... и главным образом в Розенстерна. Я только что видела один из плодов его влияния у самых своих ворот. Толпу крикунов, которые против войны.

Лорд Вэллис подавил зевок.

— Вот как? А я и не подозревал, что Куртье может на кого-нибудь повлиять.

— Он опасный человек. Почти все эти идеалисты — ничтожества, но его книга умна.

— Хоть бы уж этим военным страхам пришел конец, из-за них обе страны выглядят преглупо,— сказал лорд Вэллис.

Леди Кастерли подняла бокал, до краев полный кроваво-красным вином.

— В войне наше спасение,— сказала она.

— Война не шутка.

— Она улучшила бы общее положение.

— Вы так думаете?

— Мы снова стали бы первой нацией в мире, а демократию отбросили бы назад на пятьдесят лет.

Лорд Вэллис машинально насыпал перед собою три кучки соли и так же машинально их пересчитал; потом пробормотал, иронически приподняв брови, словно ставя под сомнение собственную мысль:

— Я бы сказал, что по нынешним временам мы все демократы... Вы что, Клифтон?

— Шофер спрашивает, когда подать автомобиль?

— Сразу же после обеда.

Двадцать минут спустя он выезжал из чугунных, фигурного литья ворот на лондонскую дорогу. Смеркалось; все новые облака разбредались по трепетному небу, казалось, сами не ведая куда. Видно, они обречены были скитаться без цели. Они столкнулись в небесах, точностая гигантских птиц, и беспорядочно кружили, сходясь и вновь расходясь. Пахло сырой землей. Пыль прибило, и автомобиль быстро двигался сквозь сумрак, ощупывая фарами дорогу. На Пэтнейском мосту его задержала вереница фургонов. Лорд Вэллис огляделся по сторонам. Вода отражала тысячи огней: окна домов, громоздившихся по берегам, фонари набережных и стоявших на якоре барж. Змеящееся бледное тело реки,

огромной, живой, от века спешащей к морю, не вызывало в его душе никаких образов. Много лет назад, когда он занимал высокий пост в министерстве торговли, он часто сталкивался с нею и хорошо ее изучил — бесстыдно грязную и всегда возмутительно худосочную как раз там, где ей нужно бы раздаться вширь. И все-таки, когда он закуривал сигару, странное чувство шевельнулось в нем — словно перед ним была нежно любимая женщина.

«Дай бог,— подумал лорд Вэллис,— чтобы все эти страхи кончились ничем».

Потом автомобиль снова заскользил по забитой всевозможными экипажами дороге к фешенебельному центру Лондона.

Но заголовки вечерних газет, вывешенных на щитах перед лавками, отнюдь не обнадеживали.

#### ЗАГОВОР УСЛОЖНЯЕТСЯ

#### НОВЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ

#### ПОЛОЖЕНИЕ СТАНОВИТСЯ УГРОЖАЮЩИМ

И перед каждым щитом возникал маленький водоворот: прохожие, спеша узнать последние новости, взглядывали на заголовки, потом проталкивались назад и продолжали свой путь.

Оказывается, и ему, графу Вэллису, интересно, что они думают обо всем этом. Что же скрывается за этими бледными масками, обращенными к щитам? Думают ли они вообще, все эти простые, рядовые люди? Как относятся они к грозящей катастрофе? Одно лицо, другое, третье — тупые, безразличные, не выражающие ни желаний, ни тени воодушевления, ни даже страха. Бедняги! В конце концов что они могут поделать—не больше, чем муравьи, когда какой-нибудь мальчишка мимоходом разрушает их муравейник. Да что и говорить, голос народа никогда, в сущности, не решал, быть войне или не быть. И лорду Вэллису вспоминались слова из статьи в радикальном еженедельнике, который он, как человек беспристрастный, заставлял себя читать: «Не знающий фактов, загипнотизированный словами «Отечество» и «Патриотизм»; в тисках стадного инстинк-



та и врожденного предубеждения против иностранцев; беспомощный по милости своего терпения, стоицизма, преданности и привычки полагаться на вышестоящих; беспомощный по милости слепой веры в знать и недоверия к себе подобным, беспечности и отсутствия гражданственности,— как бессилён и жалок перед лицом войны простой смертный!» Впрочем, эта газета, бесспорно, неглупая, всегда казалась ему невыносимо напыщенной.

Едва ли ему удастся попасть в этом году на скачки в Аскот... На мгновение мысли его перенеслись к Казетте, его подающей надежды двухлетке; но, словно устыдившись, он снова вернулся к мыслям о войне: хорошо бы знать, готовы ли в адмиралтействе к любым неожиданностям? Сам он занимал в правительстве более спокойную должность, одну из тех, которые предоставляются опытным, нужным в кабинете людям, если для них нет в данный момент более ответственного поста. От адмиралтейства мысль его перескочила к теще. Поразительная старуха! Вот из кого получился бы отменный государственный деятель! Но и ретроградка же! Как сразу всполошилась из-за этой миссис Ли Ноуэл! И с удовольствием знатока он припомнил лицо и фигуру этой женщины, которую видел сегодня утром, проезжая мимо ее коттеджа. Какие бы тайны ее ни окружали, а привлекательности у нее не отнимешь! Изящная головка, темные волнистые волосы, разделенные пробором, прелестная фигура — ничего лишнего. Да, хороша. Без сомнения, у нее есть прошлое, но это его не касается. Жалко, в сущности, таких женщин.

Колонна пехотинцев, возвращавшаяся с учений, задержала его автомобиль. Лорд Вэллис подался вперед, разглядывая их сосредоточенным, пристальным, оценивающим взглядом, каким он смотрел бы на свору гончих. Смутных дум и размышлений как не бывало. Отличный подбор — эти лицом в грязь не ударят. Все они покраснелись после дня на свежем воздухе и смотрели кто равнодушно, кто с веселой напускной самоуверенностью; их-то уж, во всяком случае, не терзают ни отвлеченные сомнения, ни призраки ужасов войны.

Кто-то закричал: «Ура!», — в воздухе заколыхались поднятые шляпы, послышался сначала слабый и неуве-

ренный, а затем нарастающий громкий гул приветствий — и разом оборвался. «Довольно энергично! — подумал лорд Вэллис. — Им много не надо! Воинственности нам не занимать». И при этой мысли он снова ощутил живейшее удовольствие.

Солдаты прошли, и автомобиль медленно двинулся следом, прокладывая путь сквозь толпу, хлынувшую за ними. Тут были мужчины — молодые и старые, и совсем мальчишки, были и женщины и молоденькие девушки; все они лишь мельком взглядывали на него, словно этот благополучный господин был слишком далек от их жизни, чтобы пробудить в них хотя бы минутное любопытство.

#### ГЛАВА IV

В этот самый час в Монкленде, в небольшой гостиной крытого соломой выбеленного домика, беседовали, сидя по обе стороны камина, двое мужчин; между ними, откинувшись на спинку низкого кресла, сидела темноглазая женщина и молча слушала, то складывая кончики пальцев, то разнимая, так что они розовели, просвечивая над огнем. Время от времени в камине падало полено, показывая рдеющий бок; казалось, белые стены комнаты впитали в себя свет лампы и огонь камина и теперь сами источали тепло. Залетевшие из темного сада серебристые мотыльки, подрагивая, как запущенные волчком серебряные монетки, вились над светло-зеленой вазой с алыми розами; здесь, как всегда, уютно пахло дымком из камина, травой, цветущим шиповником.

Человеку, что сидел слева от камина, было лет сорок; выше среднего роста, крепкий, энергичный, он держался очень прямо; его подвижное лицо поминутно вспыхивало, голубые глаза блестели. Волосы у него были красно-рыжие, и в огненных, длинейших, как у Дон Кихота, усах было что-то воинственное.

Человеку, сидевшему справа, было около тридцати. Высокий, гибкий и очень худой, он сидел, согнувшись в низком кресле, обхватив руками колена; в его смуглом, гладко выбритом лице с глубоко сидящими живыми гла-

вами была своеобразная красота, губы трогала слабая принужденная улыбка.

На редкость несхожие, они поглядывали друг на друга, словно соседские псы, которые, давно убедившись, что лучше держаться друг от друга подальше, неожиданно встретились в таком месте, где никак нельзя затеять драку. А женщина наблюдала за ними, и хотя только один пес мог считаться своим, она, любя собак, готова была погладить и другого.

— Итак, мистер Куртье,— сказал тот, что помоложе; его сухой иронический тон, как и улыбка, казалось, служил защитой пылкой душе, что проглядывала в его взоре.— Все, что вы говорите, сводится просто к оправданию так называемого либерального духа; но, да простится мне моя прямота, дух этот, низведенный с высот философии и искусства в сферу практической деятельности, тотчас оказывается бессильным.

Рыжеусый рассмеялся; странно звучал этот смех — такой веселый и вместе с тем такой язвительный.

— Отлично сказано! Я и не собираюсь с вами спорить. Но так как вся соль политики — в компромиссе, первосвященники кастовости и власти, подобные вам, лорд Милтоун, столь же далеки от реальной политики, как любой либерал.

— Не согласен.

— Согласны вы или нет, но ваше отношение к жизни общества весьма похоже на отношение церкви к браку и разводу; церковь столь же далека от действительности, как и проповедники свободной любви, и столь же мало способна в ней разобраться. Ваша точка зрения обречена по самой своей сути — она слишком нежизненная, слишком отвлеченная, чтобы вы могли понять истинное положение вещей. А не понимая, невозможно управлять. Уж лучше сидеть сложа руки, чем с вашими взглядами заниматься политикой!

— Боюсь, что мы с вами не найдем общего языка.

— Что ж, пожалуй, я требую от вас слишком многого. В конце концов вы ведь патриций.

— Вы говорите загадками, мистер Куртье.

Темноглазая женщина шевельнулась; руки ее слабо затрепетали, словно прося собеседников не враждовать.

Старший из них тотчас поднялся и почтительно сказал:

— Мы утомили миссис Ноуэл. Покойной ночи, Одри. Мне пора идти.

Дойдя до стеклянной двери, открытой в темный сад, он обернулся и сделал прощальный выпад:

— Я хотел сказать, лорд Милтоун, что вашему классу более чем кому-либо в Англии свойственна холодная расчетливость. Удивительно, что вы еще сохраняете способность мечтать. Покойной ночи!

Он вышел из комнаты и исчез в темноте.

Молодой человек не шелохнулся; пламя камина освещало его одухотворенное лицо, губы, рождало отблеск в глазах.

— Вы этому верите, миссис Ноуэл? — спросил он.

Вместо ответа Одри Ноуэл улыбнулась, встала и подошла к двери.

— А вот и мой милый лягушонок! Он навещает меня каждый вечер.

На каменном полу веранды, в потоке струившегося из комнаты света, сидел крохотный золотой лягушонок. Когда подошел Милтоун, он запрыгал в сторону и исчез.

— Как мирно у вас в саду! — сказал молодой человек; потом взял ее руку, нежно поднес к губам и так же, как и его противник, скрылся во тьме.

В саду и в самом деле царил глубокий покой. Ночь, казалось, вся обратилась в слух—все огни погашены, все сердца отдыхают. Глазами ясных звезд она заботливо глядела на каждое дерево, на каждую крышу, на смиренный усталостью цветок, точно мать, которая, склонясь над спящим младенцем, считает каждый его волосок и прислушивается к его дыханию.

Перед улыбкой этой ночи недавний спор казался бессмысленным, как детский лепет. И что-то от теплоты, от сладости этой ночи было в лице женщины, одиноко стоявшей у стеклянной двери. Чуткое, исполненное гармонии, оно не было холодным, как иные гармонически правильные лица, напротив — трепетало, сияя глубоким внутренним светом, точно его осенил некий дух, нашедший наконец пристанище.

В бархатистой тьме сада с черными тенями тисов бодрствовали, казалось, только белые цветы, устремившие на Одри задумчивый взгляд. Деревья стояли темные, тихие. Ночные птицы — и те умолкли. Лишь ручеек в глубине сада подавал голос, обычно заглушаемый дневными шумами.

Одри Ноуэл всегда всем своим существом отзывалась на то, что ее окружало, она не умела быть равнодушной. Но в этот вечер она словно не замечала царившего вокруг покоя. Руки ее дрожали, щеки горели, грудь вздымалась, и вздохи слетали с полураскрытых губ.

## ГЛАВА V

С тех пор, как Юстас Карадок, виконт Милтоун, начал постигать всю сложность бытия, он жил очень одиноко. В детстве единственным его другом был Клифтон, бабушкин дворецкий. Няни, гувернантки, наставники, по их собственному признанию, не понимали его, считая, что он чересчур серьезен и требователен к себе; доходило до того, что он не плакал и не жаловался, когда ему было больно, и это их даже слегка пугало. Почти все детство он провел в Рэйвеншеме, потому что леди Кастерли любила его больше всех своих внуков. Она угадывала в нем способность к самоограничению, которой не хватало ее дочери. Но одному только Клифтону, степенному пятидесятилетнему человеку с длинными черными бакенбардами, Юстас открывал свою душу.

— Я это вам рассказываю, Клифтон, потому, что вы мой друг, — говорил он обычно, сидя на буфете или на ручке большого кресла в комнате Клифтона или бродя с ним по малиннику.

И Клифтон, склонив голову набок, понимающе и с интересом слушал признания своего «друга», которые порой могли привести в замешательство, и время от времени вставлял: «Да, конечно, милорд», но чаще: «Да, конечно, милый».

Была в этой дружбе какая-то особая утонченная уважительность, ни один из «друзей» не позволял себе ни малейшей вольности; оба страстно любили голубей и могли часами с увлечением наблюдать за ними.

В должный срок, следуя семейной традиции, Юстас поступил в Хэрроусский колледж. Там он провел пять лет и все время оставался одним из тех малоинтересных, длинноруких и длинноногих подростков, что плетутся в одиночку к своему логову, приподняв одно плечо от привычки постоянно таскать что-нибудь под мышкой. Он не блистал в науках, нимало не считался с тем, что о нем подумают, притом у него был титул да еще злой язык, которого все боялись,— все это спасло его от репутации «книжного червяка»; он оставался просто гадким утенком, не желавшим слишком послушно плавать по тинистым прудам школьных традиций. В спортивных играх он был так неловок, что товарищи из чувства самосохранения предоставляли ему заниматься спортом в одиночестве. Только для крикета они делали исключение: в этой игре он преуспевал, так как махал своими длинными руками, точно ветряная мельница крыльями. Он увлекался также рискованными химическими опытами и вечно колдовал над какими-то колбами, поначалу тайком, а потом с разрешения надзирателя, полагавшего, что уж если в какой-нибудь из комнат пансиона нельзя обойтись без зловония, пусть его разводят в открытую. Юстас мало с кем дружил, но дружба его была надолго. Его латинские стихи были из рук вон плохи, а греческие и того хуже, так что все изумились, когда в последний год учения оказалось, что он прекрасно пишет и говорит на родном языке. С колледжем он расстался без всякого сожаления. Но когда поезд тронулся и древний Холм со знакомым шпилем на вершине стал исчезать вдали, он ощутил в горле ком, который никак не удавалось проглотить, и пришлось ему забиться в дальний угол купе и притвориться спящим.

В Оксфорде ему жилось не так тоскливо, хотя все-таки довольно одиноко; вначале, пока это было можно, он жил вне стен колледжа, а потом поселился в самом колледже, в уединенных, обшитых панелями комнатах под самой крышей, откуда видны были сады и кусок городской стены. Здесь, в Оксфорде, впервые зародилась столь характерная для него требовательность к себе. Он пристрастился к гребле, вошел в студенческую команду, и, хотя, по всему своему складу, мало для этого подходил, неизменно участвовал во всех гонках.

К концу состязаний он до того выбивался из сил, что даже не мог без посторонней помощи выйти из лодки, так как последнюю четверть пути держался одним только напряжением воли. Та же страсть к воспитанию воли руководила им при выборе факультета; он решил стать бакалавром искусств — весьма нелегкая задача при том, как плохо он владел греческим и латынью. С неимоверным трудом он все же получил эту степень, да еще с отличием. Сверх того он не раз удостаивался высших университетских наград за английские сочинения. В обычных студенческих развлечениях он не участвовал. За все годы учения его ни разу не видели под хмельком. Он не ездил на охоту, никогда не вел разговоров о женщинах, и при нем никто не решался на это. Но порою его словно подхватывало вихрем, как бывает лишь с натурами аскетическими, и вся жизнь внезапно обращалась в пламя; оно пожирало его день и ночь, а потом, будто сжалившись, стихало бог весть отчего, точно кто-то задул свечу. Хоть он и не был человеком общительным в обычном смысле этого слова, но в оксфордские годы его всегда окружали люди. У него был довольно широкий круг знакомств среди преподавателей и студентов старших курсов. Тех, кто способен отправиться в дальнюю прогулку ради удовольствия поболтать с приятелем, Юстас доводил до изнеможения своим стремительным шагом и решительным нежеланием придерживаться какого-то определенного маршрута. Вся округа, от Абингдона до Бэблок-Хайт, хорошо его знала, хотя он не знал никого. Имя его произносили с уважением и в студенческом клубе, где он еще первокурсником отличился на диспуте о цензуре, необходимость которой отстаивал мрачно, упрямо и даже с каким-то юношеским пылом — и одержал бы победу, не встань тут некий ирландец и не заяви, что такая цензура ставит под угрозу даже Ветхий завет. На это Юстас возразил: «Лучше поставить барьер перед Ветхим заветом, чем совсем не будет никаких барьеров». Это принесло ему славу.

Он провел в Оксфорде четыре года и покинул его в растерянности, с ощущением утраты. Окончательное суждение Оксфорда о своем детище гласило: «Юстас Милтоун? Чудак! Но он еще себя покажет!»

Примерно в ту же пору у него произошел разговор с отцом, после которого каждый из них утвердился в своем мнении о другом. Разговор этот происходил в библиотеке усадьбы Монкленд в один из ноябрьских вечеров.

В библиотеке горели восемь свечей в тонких серебряных подсвечниках, по четыре с каждой стороны резного камина. Их мягкого сияния хватало лишь на небольшую часть погруженной во тьму просторной комнаты с панелями и паркетом черного дуба, уставленной книгами; здесь держался острый запах кожи и сухих розовых лепестков — щемящий аромат старины. Над огромным камином висел написанный неизвестным художником портрет того кардинала Карадока, который в шестнадцатом веке пострадал за веру; освещена была лишь половина его бритого лица. Изможденный аскет с запавшими глазами и едва уловимой усмешкой на губах, он, казалось, повелевал синеватыми языками пламени в камине.

И отцу и сыну нелегко было начать разговор.

У каждого было такое чувство, словно перед ним не родной отец или сын, а чей-то близкий родственник. В сущности, они встречались очень редко и не виделись уже довольно давно.

Первым заговорил лорд Вэллис:

— Итак, мой милый, чем ты теперь намерен заняться? Я полагаю, мы сумеем провести тебя в парламент по нашему округу, если ты этого пожелаешь.

— Благодарю вас, — ответил Милтоун. — Об этом я пока не думаю.

Сквозь дымок сигары лорд Вэллис присматривался к длинной фигуре, утонувшей в кресле напротив.

— Почему же? — спросил он. — Чем раньше начать, тем лучше. Разве только ты хочешь отправиться вокруг света?

— Прежде чем утвердиться в свете?

Лорд Вэллис смущенно улыбнулся.

— Политика не требует специальной подготовки, вся эта премудрость можно превзойти мимоходом, — сказал он. — Сколько тебе лет?

— Двадцать четыре.

— Ты выглядишь старше. — Слабая морщинка прорезалась у него меж бровей: мерещится ему или в самом деле на губах Милтоуна змеится усмешка?



— Может быть, это и глупо,— произнесли эти губы,— но я считаю, что сперва следует изучить положение вещей. Чему я и намерен посвятить по меньшей мере пять лет.

Лорд Вэллис высоко поднял брови.

— Пустая трата времени,— сказал он.— Если ты войдешь в парламент сейчас же, ты через пять лет будешь все знать куда лучше. Ты слишком серьезно к этому относишься.

— Без сомнения.

Долгую минуту лорд Вэллис не находил ответа; он был несколько задет. Дождавшись, пока обида утихнет, он сказал:

— Что ж, мой милый, как тебе угодно.

Милтоун обучался профессии политика в трущобах; в имениях отца; изучая право; путешествуя по Германии, Америке и британским колониям; участвуя в предвыборных кампаниях; дважды он безуспешно пытался найти избирателей, которые не отступались бы от своих убеждений. Он много читал — медленно, но добросовестно и упорно: поэзию, историю, труды по философии, религии, социальным проблемам. К беллетристике, особенно иностранной, он был равнодушен. Больше всего он желал избежать узости и предвзятости и, однако, впитывал лишь то, что отвечало потребностям его натуры, бессознательно отвергая все, что могло как-то охладить жар его верований. Все, что он читал, лишь подкрепляло самые заветные его убеждения — плод его натуры. Презрение к мишурному блеску и пошлым забавам, которыми тешат себя богатство и знатность, соединялось у него со смиренной, но все растущей уверенностью в своей способности первенствовать, в своем духовном превосходстве над теми, чьему благу он желал служить. Бесспорно, у Милтоуна не было ничего общего с заурядными фарисеями, он был прост и прям; но его взгляд, жесты, весь его облик говорили о том, что есть в этом человеке некий тайный источник уверенности, колодец, глубин которого не потревожат никакие вспышки. Он был не лишен чувства юмора, но начисто лишен способности обратить это чувство на себя и подметить что-либо смешное в себе самом. Мир со всем, что в нем есть, представлялся Милтоуну в виде стрел, даже когда в действительности это

были круги. Он словно не понимал, что вселенная в равной мере состоит из обоих этих символов, и никто еще пока не знает, как их примирить.

Таков он был к тому времени, когда член палаты общин от его родного округа был произведен в пэры.

Милтоун дожил до тридцати лет, но ни разу еще не был влюблен и жил в каком-то ожесточенном целомудрии, которому изменил лишь однажды. Женщины его боялись. И он, видимо, тоже их побаивался. В теории женщина была слишком прекрасной и манящей — словно молодой месяц в летнем небе; а в действительности оказывалась слишком слащавой или слишком грубой. Он был привязан к Барбаре, своей младшей сестренке, но мать, бабушка и старшая сестра Агата никогда не были ему близки. Забавно было видеть леди Вэллис рядом с ее первенцем. Ее осанистая фигура, цветущее лицо, серо-голубые глаза, в которых вдруг вспыхивали искорки озорного смеха, — все это в присутствии Милтоуна начинало казаться нелепым и неестественным. Наделенная отменным здоровьем и величайшей непосредственностью, она привыкла говорить все, что придет в голову, и не чужда была мыслей и выражений почти рискованных. Никогда, даже в раннем детстве, Милтоун не баловал ее своим доверием. Она не сердилась на него за это: такие душевно и физически крупные, щедро одаренные природой люди редко огорчаются и редко чувствуют себя униженными в чьих бы то ни было глазах, даже в своих собственных; с людьми же из касты леди Вэллис этого не бывает никогда. Милтоун — странный мальчик и всегда был странный, только и всего! Но, вероятно, ничто так не смущало леди Вэллис, как его неумение держать себя с женщинами. Оно казалось ей противоестественным, так же как иные, должным образом замаскированные поступки мужа и младшего сына были, на ее взгляд, вполне естественны. Именно это чувство помогло ей, вечно погруженной в водоворот политики и светской жизни, с неожиданной ясностью понять, чем грозит Юстасу дружба с женщиной, осторожно упомянутой в письме под именем Незнакомки.

Дружба эта завязалась совершенно случайно. В декабре один из арендаторов упал с лошади и разбился насмерть; зайдя вечером на его ферму, Милтоун за-

стал вдову, обезумевшую от горя, еле прикрытого сдержанностью человека, который почти потерял способность выразить то, что чувствует, и окончательно потерял ее в присутствии «господ». Милтоун уверил несчастную, что никто ее на улице не выгонит, и, выходя, столкнулся на каменном крыльце с женщиной в меховом жакете и меховой шапочке; она держала на руках плачущего малыша с рассеченным до крови лбом. Милтоун взял у нее мальчика, отнес в комнату — и тут, подняв глаза, увидел прелестное лицо, полное печали и нежности. Он спросил ее, надо ли сказать матери.

Она покачала головой:

— Не будем тревожить бедняжку; сначала займемся ребенком.

Они вместе промыли и перевязали рану. Потом она поглядела на Милтоуна, словно говоря:

«А теперь скажите ей, у вас это выйдет лучше».

Он сказал матери о случившемся, и незнакомка вознаградила его мимолетной улыбкой.

Он запомнил ее имя — Одри Ли Ноуэл, и прекрасное лицо под беличьей шапочкой все стояло у него перед глазами. Через несколько дней, проходя деревенским выгоном, он увидел, как она открывает калитку сада. Воспользовавшись случаем, он спросил, не нужно ли перекрыть крышу ее домика; последовал осмотр крыши и завязался разговор, который он не спешил окончить. Для Милтоуна, привыкшего лишь к женщинам своего круга, где даже лучших, при всем их такте и непринужденности, лишенной всякого жеманства, великосветская жизнь приучила к чрезмерной самоуверенности, в кроткой темноглазой миссис Ноуэл, живущей, видимо, вдали от света, в ее робкой прелести таилось невыразимое очарование. Так из зернышка случайной встречи быстро расцвела та редкая между замкнутыми людьми дружба, которая почти сразу заполняет их жизнь.

Однажды она спросила:

— Вероятно, вы обо мне знаете?

Милтоун кивнул. В самом деле, ему рассказывал о ней приходский священник:

— Да, я слышал, невеселая у нее судьба... развод.

— Вы хотите сказать, муж потребовал развода? Или...

Священник как будто замялся, но лишь на мгновение.  
— Нет, нет! Я убежден, что виновна не она. Мне кажется, она прекрасная женщина; хотя, к сожалению, не часто посещает церковь.

Милтоуну, в котором уже пробудился рыцарский дух, этого было достаточно. И когда она спросила, известна ли ему ее судьба, мог ли он бередить ее рану? Что бы ни было там, в прошлом, уж, конечно, она ни в чем не виновата... В душе он уже творил ее облик, преображая живую женщину в воплощение своей мечты...

На третий вечер после столкновения с Куртье Милтоун снова сидел в маленьком белом домике, притаившемся за высокой садовой оградой. Крытый побуревшей соломой, нависшей над старинными, проложенными свинцом рамами, он, казалось, прятался от всего мира в кустах роз. Позади застыли, словно на страже, две сосны, распластав темные ветви над пристройками, и, едва поднимался юго-западный ветер, принимались угрюмо жаловаться друг другу на непогоду. Сад окаймляли высокие кусты сирени, а на соседнем поле вздыхала и шелестела листвою старая липа; в безветренные дни там слышалось дремотное жужжание несчетного множества золотистых пчел, облюбовавших эту зеленую гостиницу.

Он застал Одри за переделкой платья; она склонилась над шитьем на свой особый, милый лад, словно чувствуя, что все вокруг — платье, цветы, книги, ноты — равно ждет ее внимания.

Милтоун пришел усталый после долгого дня предвыборных хлопот, расстроенный неудачей: на двух собраниях ему даже не дали договорить. Один вид Одри, ее мягкий, полный сочувствия голос удивительно успокаивали его; потом она села за фортепьяно, а он расположился в удобном кресле и слушал.

Над холмом, в небе цвета серых ирисов, медленно всходила полная луна, подобная печальному лицу Пьеро. И Милтоун, точно околдованный, не мог отвести глаз от этого погасшего светила, плывущего по серебрящемуся небосводу.

Над вересковой пустошью колыхался легкий туман; деревья, будто стадо на водопое, ушли по колено в его

белую пелену; а над ними разливалось смутное сияние, словно в это море тумана дождем низвергалась лунная пыль. Потом луна скользнула за липу и в иссиние-черном узоре ее ветвей повисла на небе огромным китайским фонарем.

И вдруг в окно, смяв мелодию, ворвались улюлюканье и крики. Они нарастали, потом затихли было и вновь усилились.

Милтоун поднялся.

— Чары разрушены,— промолвил он.— Я хотел бы кое-что сказать вам, миссис Ноуэл.

Она не шевелилась, руки ее спокойно лежали на клавишах, и он не договорил, охваченный восхищением.

— Сударыня! Милорд! — послышался в дверях испуганный голос.— Там, на выгоне, насмеваются над джентльменом!

## ГЛАВА VI

Когда бессмертный Дон Кихот пустился потешать людей, за ним увязался еще только один шут. А Чарлза Куртье всегда сопровождали толпы, которые никак не могли понять этого чуждого корысти человека. Но хоть он и озадачивал своих современников, они не решались поднять его на смех, ибо им было доподлинно известно, что он и в самом деле умеет любить женщин и убивать мужчин. Перед таким человеком, весь облик которого к тому же дышал силой и отвагой, они не могли устоять. Сын оксфордширского священника, рыцарь безнадежных битв, он с восемнадцати лет странствовал по свету, не зная отдыха. Секрет его выносливости, вероятно, в том и заключался, что он вовсе не мнил себя странствующим рыцарем. В седле он чувствовал себя так же естественно, как прочие смертные за конторкой. На своих приключениях он не нажил капитала, ибо нрав у него был под стать его огненным волосам, которые людям казались пламенем, сжигающим все на своем пути. Пороки его были очевидны: неизлечимый оптимизм; восхищение красотой столь сильное, что иной раз он забывал, в какую женщину больше всех влюблен; слишком тонкая кожа; слишком горячее сердце; ненависть к при-

творству и закоренелое бескорыстие. У него не было жены, но было много друзей и много врагов; тело его всегда было как клинок, готовый к бою, а душа раскалена добела.

Человек, участвовавший в пяти войнах, а теперь оказавшийся на стороне поборников мира, он был совсем не так непоследователен, как может показаться, ибо всегда сражался на стороне тех, кому грозит поражение, а сейчас, на его взгляд, никому так не грозило поражение, как поборникам мира. Он не был ни выдающимся политиком, ни красноречивым оратором, не умел говорить бойко, но спокойная язвительность его речи и горящие жарким пламенем глаза неизменно действовали на слушателей.

Однако во всей Англии не сыскать, пожалуй, другого такого уголка, где у проповеди мира было бы так мало надежды на успех, как в округе Баклендбери. Сказать, что Куртье восстановил против себя трезвых, независимых, флегматичных и в то же время вспыльчивых местных жителей, было бы неточно. Он оскорбил их лучшие чувства, возбудил в них глубочайшие подозрения. Они, хоть убей, не могли взять в толк, чего ему надо. В Лондоне из-за его приключений и книги «Мир — дело безнадежное» он был хорошо известен, но здесь о нем, разумеется, никто не слыхал, и его вторжение в эти края казалось просто смехотворным: не угодно ли, возвышенная идея вмещивается в простые и ясные факты! Идея, что государства должны и могут жить в мире, конечно, весьма возвышенная, но ведь на самом деле никакого мира никогда не бывало — это так просто и ясно!

В Монклендском избирательном округе, который целиком входил в поместье Карадоков, естественно, почти никто не поддерживал противника Милтоуна, мистера Хэмфри Чилкокса; и любопытство, с которым поначалу встретили поборника мира, вскоре перешло в насмешки, а там и в угрозы, пока наконец поведение Куртье не стало столь вызывающим, а речи столь язвительными, что от расправы его спасало лишь вмешательство приходского священника.

А ведь когда он вначале выступал перед ними с речами, он чувствовал к ним величайшую симпатию. Ка-

кой отличный, независимый народ! Они сразу пришли к нему по душе, хотя Куртье и знал, что непопулярные идеи большинство всегда встречает в штыки; о каждом человеке в отдельности он был лучшего мнения и не ждал, что тот непременно присоединится к этой зловещей части человечества.

Конечно же, такой славный независимый народ не может попасться на удочку ура-патриотов! Но ему пришлось испытать еще одно разочарование. Он не пожелал сдавать позиции без боя, и аудитория тоже не пожелала. Они разошлись, ничего не простив друг другу, и встретились снова, ничего не забыв.

В деревенском трактире, небольшом белом строении, узкие окошки которого оплела повилка, была одна-единственная спальня наверху да маленькая комната, где Куртье обедал. Все остальное помещение занимала распивочная с каменным полом и длинной деревянной скамьей вдоль задней стены, где по вечерам текла неторопливая беседа; порою кто-нибудь поднимался и выходил, не очень твердо держась на ногах, провожаемый дружными пожеланиями «спокойной ночи», приостанавливался под ясенями, раскуривая трубку, потом неспешно отправлялся восвояси.

Но в этот вечер, когда деревья, точно стадо, стояли по колено в лунной пыли, те, кто выходил из трактира, не разбредались по домам; они медлили в тени, к ним присоединялись другие, которые крадучись пробирались позади трактира через освещенное луной пространство. Люди подходили из узких улочек, из-за кладбища, и вскоре под ясенями столпилось уже человек тридцать, а то и больше; говорили вполголоса, и в этом бормотании чувствовался редкостный привкус недозволенной радости. В глубокой тени деревьев, перед темным трактиром, где светилось одно лишь окно, а за ним что-то читал нараспев мужской голос, казалось, потихоньку закипало какое-то бесовское веселье. Слышался приглушенный смех, негромкий говор:

— Небось, речи учит.

— Выкурим старую лису из норы!

— Красный перец — самое подходящее!

— Вот уж начихается!

— Дверь-то мы приперли!

Потом в освещенном окне показался человек, и тут тишину нарушил взрыв грубого хохота.

Видно было, что стоящий у окна отчаянно пытается выломать перекладину. Смех перешел в улюлюканье. Наконец узнику это удалось, он прыгнул вниз, поднялся, шатаясь, и упал.

— Что здесь такое? — раздался властный окрик.

По толпе пронесся шепот: «Его светлость!» — и все, толкаясь, кинулись врассыпную.

В тени под ясенями сразу стало пусто, виднелась лишь высокая темная фигура мужчины и светлый женский силуэт.

— Это вы, мистер Куртье? Вы ранены?

Лежавший на земле засмеялся.

— Только вывихнуто колено. Болваны! Но они меня чуть было не удушили.

## ГЛАВА VII

В тот же вечер Берти Карадок, направляясь из курительной комнаты в спальню, завернул в георгианский коридор, где висел его любимый барометр. Все свободное время Берти зимой отдавал охоте, а летом — скачкам, и у него вошло в привычку перед сном взглянуть на стрелку.

В высокородном Хьюберте Карадоке, только еще начинающем дипломатическую карьеру, полнее, чем в любом из ныне здравствующих Карадоков, воплотились все самые характерные и слабые и сильные стороны его рода. Он был хорошего роста, сухоощавый, но крепкий. Волосы темные, гладкие; загорелое лицо с правильными, немного мелкими чертами исполнено живой решимости, скрытой под маской бесстрастия. Пытливые светло-карие глаза прикрыты по-монашески полуопущенными веками. Сдержанность была у него в крови, и велико должно было быть его волнение, чтобы глаза эти раскрылись во всю ширь. Нос был тонкий, точеный. Губы под темными усиками едва приоткрывались, когда он говорил, а говорил он странно глухим голосом и при этом неожиданной скороговоркой. То был человек практический, волевой, осторожный, находчивый, наделенный



огромным самообладанием, жизнь для такого — точно верховая лошадь, которой даешь повод ровно настолько, чтобы она не вышла из повиновения. Он ни в грош не ставил идеи, если их нельзя было тут же претворить в действие; был необыкновенно аккуратен; желал получить от жизни все, что возможно, но, если надо, мог быть и стойком; при всей своей учтивости он всегда был готов постоять за себя; умел прощать лишь те слабости и сочувствовать лишь тем несчастьям, которые знал по собственному опыту. Таков был в двадцать шесть лет младший брат Милтоуна.

Убедившись, что барометр не обещает перемен, он уже хотел подняться к себе, но тут в дальнем конце холла появились, держась под руки, три неясные фигуры. В Хьюберте, как всегда, заговорили любопытство и осторожность, и он подождал, пока они выйдут на свет; оказалось, что это Милтоун и один из лакеев ведут какого-то прихрамывающего человека, и Берти поспешил к ним.

— Вывихнули колено, сэр? Потерпите минуту! Чарлз, подайте стул.

Усадив незнакомца, Берти засучил на нем штанину и стал ощупывать колено. В руках его была доброта и ласка — сразу чувствовалось, что через них прошли суставы и сухожилия бесчисленных лошадей.

— Хм! Если я разок дерну, вытерпите? — спросил он. — Придержи его сзади, Юстас. Чарлз, сядьте на пол и держите ножки стула. А ну-ка!

Он взялся за вывихнутую ногу и дернул. Что-то щелкнуло, пациент скрипнул зубами.

— Молодцом, — сказал ему Берти. — На сей раз обойдемся без костоправа.

Братья проводили своего прихрамывающего гостя в комнату, выходящую в георгианский коридор и наскоро превращенную в спальню, и оставили его на попечение лакея.

— Что ж, — сказал Берти, прежде чем они разошлись по своим комнатам. — С ним кончено, в этот раз он больше уже не станет тебе поперек дороги. А надо сказать, он не неженка!

О том, что под их кровом нашел пристанище Куртье, еще до завтрака сообщил Карадокам самый осведом-

ленный член семейства, вменивший себе в обязанность знать все, что происходит в доме, и со всеми делиться своими познаниями. Как всегда, зайдя утром в комнату матери, Энн подняла голову, ухватила обеими руками за свой пояс и сразу же начала докладывать:

— Дядя Юстас ночью привел какого-то человека, у него раненая нога, и дядя Берти ее поправил. Уильям говорит, что Чарлз сказал, что он сделал вот так — и все (она легонько ляснула зубами). Он живет в трактире, Уильям говорит, очень узкая лестница, никак его было не втащить. И если у него было вывихнуто колено, он будет долго ходить с палочкой. Можно мне идти к папе?

Агата, которой горничная расчесывала волосы, подумала: «Пожалуй, так низко носить пояс нездорово» — и сказала:

— Постой минутку.

Но Энн уже и след простыл; ее голосок доносился из соседней комнаты, где она что-то докладывала сэру Уильяму, который, судя по его кратким, приглушенным ответам, брился. Агата, как всегда, обрадовалась предложению побыть лишнюю минуту с мужем, но когда она взглянула к нему, он был уже один; он сидел задумавшись, высокий, плотный, со степенным, малоподвижным лицом и недоверчивым взглядом, — человек скучноватый и ничем не примечательный для всех, кроме своей жены.

— Этот Куртье повредил ногу, — сказал он. — Не знаю, приятно ли будет твоей матушке приютить нашего врага.

— Но ведь он как будто свободомыслящий человек и доволен...

— Для Милтоуна совсем неплохо, что он очутился у нас, — не слушая ее, продолжал сэр Уильям.

— Что же, — вздохнула Агата. — Надо принять его как следует. Пойду скажу маме.

Сэр Уильям улыбнулся.

— Об этом позаботится Энн, — сказал он.

Энн уже заботилась об этом.

Сидя в оконной нише позади зеркала, перед которым леди Вэллис заканчивала свой туалет, она говорила:

— Он упал из окна, потому что там был красный

перец. Мисс Уоллес говорит, он заложник... А что такое заложник, бабушка?

Когда шесть лет назад леди Вэллис впервые услышала это обращение, она подумала: «О господи! Неужели я бабушка?» Это был удар; казалось, многому в жизни пришел конец; но трезвый женский героизм (ведь женщины куда быстрее мужчин мирятся с неизбежным) скоро пришел ей на помощь, и, не в пример мужу, теперь она уже нисколько этим не огорчалась. Однако она ничего не ответила внучке, отчасти потому, что, поддерживая беседу с Энн, совсем не обязательно было ей отвечать, а отчасти потому, что глубоко задумалась.

Человека покалечили! Разумеется, долг гостеприимства... тем более, что всему виной их же арендаторы! И все же принять с распростертыми объятиями человека, который явился сюда, чтобы восстановить всю округу против ее собственного сына,— это, пожалуй, уж слишком. Конечно, могло быть и хуже. Вдруг бы он оказался каким-нибудь радикалом из нонконформистов, они ведь просто невозможны! А этот мистер Куртье сам по себе довольно известен, занятная фигура. Надо позаботиться, чтоб он чувствовал себя как дома, покойно и удобно. Если взяться за это умело, у него можно выведать кое-что про ту женщину. Больше того, если она хоть что-нибудь понимает в людях его сорта, в которых всегда есть нечто от восточного благородства, их хлеб-соль обезоружит его как политического противника. Своим быстрым практическим умом леди Вэллис тотчас оценила все выгоды создавшегося положения, и хоть это был несчастный случай, она, при своей склонности во всем, что не шло уж очень вразрез с ее интересами и взглядами, находить «изюминку», повод для улыбки, и тут подметила забавную сторону.

В ее размышления ворвался голосок Энн:

— Теперь я пойду к тете Бэбс.

— Хорошо. Только сперва поцелуй меня.

Энн ткнулась своим дерзким носиком в мягкие улыбающиеся губы леди Вэллис.

Когда в тот день Куртье, опираясь на палку, вышел на площадку перед домом, он увидел, что навстречу ему по залитой солнцем лужайке к статуе Дианы важно шествуют три павлина. Птицы двигались с необычным

достоинством, словно их никогда в жизни ниоткуда не гоняли. Казалось, они твердо знают, что от них больше ничего и не требуется—только разгуливать здесь взад и вперед. За ними, сквозь высокие деревья, за поросшими вереском холмами, за манящими розоватыми полями, пастбищами и фруктовыми садами, виднелось далекое море. Дневной жар все одел опаловой дымкой, волшебным покрывалом, преобразившим все вокруг, так что прямоугольные стены и высокие трубы гончарни, расположенной в нескольких милях отсюда, напомнили Куртье какой-то старинный итальянский город-крепость. Оказавшись прикованным к этой галерее, он чувствовал себя престранно, ибо к Милтоуну, которого он дважды встречал у миссис Ноуэл, он не испытывал, несмотря на все разногласия, никакой неприязни, а к его родным пока еще вообще ничего не испытывал. Окончив Вестминстерскую школу, он кочевал по разным странам, везде жил впроголодь и, в сущности, уже не ощущал связи с каким-либо классом или сословием. Ненавидеть аристократов потому лишь, что они аристократы, казалось ему так же дико, как по этой же причине их почитать. Его отношение к людям обычно определяли два главных свойства его натуры—любовь к приключениям и ненависть к тирании. Крестьянин, который бьет жену, хозяин потогонной мастерской, который выматывает все силы из рабочих, священник, который грозит пастве адом, пэр, который грубо самоуправствует в своих владениях,—все они были ему равно мерзки. В каждом человеке он видел прежде всего отдельную, не похожую на других личность, и лишь случайно тогда, уходя от миссис Ноуэл, бросил в лицо Милтоуну слова, причисляющие его к определенной касте. Сангвиник, привыкший к самому разнообразному обществу, живущий сегодняшним днем, он не знал приступов робости и злобы, свойственных нервным натурам. Веселая учтивость изменяла ему, лишь когда он сталкивался с тем, что считал проявлением низости или малодушия. В этих случаях, не столь уж редких, начинало казаться, что в груди у этого человека бушует самое настоящее пламя, а так как жар этот все же не мог до конца расплавить его панцирь стойка, на лице его появлялось совсем особенное выражение—какая-то спокойная, безнадежная и язвительная усмешка.

Оказавшись жертвой насилия, а затем пленником в стане врага, он глядел на все вокруг с неким веселым любопытством. Об этих Карадоках по всей округе отзывались неплохо. Между ними и их арендаторами отношения были самые добрые: говорили, что на их землях никто особенно не бедствует. Если они и не способствовали обогащению своих арендаторов, то во всяком случае поддерживали их благосостояние на известном уровне, довольно щедро помогали нуждающимся. Когда кому-нибудь надо было перекрыть крышу, ее перекрывали; когда человек становился стар и не мог больше работать, его не упрятывали в рабочий дом. В плохие годы — когда скот падал, или давал мало шерсти, или не родился хлеб — с фермеров брали меньше за аренду. Гончарня управлялась весьма либерально. И хотя лорд Вэллис был известен как приверженец политики «назад на землю», он отнюдь не поощрял людей селиться именно на его земле, потому, разумеется, что, по его мнению, подобные поселенцы будут холить ее куда меньше, чем он, нынешний владелец. Он, видимо, был твердо в этом убежден, ибо нередко можно было видеть, как его агент понемножку прикупает землю.

Но ведь каждый замечает в жизни лишь то, что его интересует, — и рыцарь мира слушал болтовню о владельце Монкленда, наполовину лестную, наполовину осуждающую, вполуха, ибо, как уже говорилось, он был плохой политик и шел чаще всего своим собственным путем.

Он стоял на площадке, любуясь открывшимся ему видом, и вдруг услышал тоненький голосок: перед ним стояла девчурка в широкополой шляпе, решительно сдвинутой на затылок и потому ничуть не защищавшей темноволосую головку от солнца, и протягивала ему руку.

— Здравствуй, — ответил он, пожимая маленькую руку, и тут заметил, что широко распахнутые глаза уставились на его больное колено.

— Больно?

— Пустяки.

— Мой пони стер ногу. Сейчас бабушка его посмотрит.

— Вот как.

— Мне пора идти. Надеюсь, вы скоро поправитесь. До свиданья!

Потом появилась рослая краснощекая женщина, которая разглядывала его с видом благожелательно-лукавым. Светло-коричневое платье из жестковатой материи, казалось, слишком плотно облегалo ее крупные бедра. Она была без шляпы, без перчаток, без всяких украшений, кроме колец и часиков в оправе из драгоценных камней, но на простом кожаном ремешке. Во всем ее облике чувствовалось нарочитое желание избегать всякой пышности.

Она подала ему красивую, но отнюдь не маленькую руку и сказала:

— Приношу вам свои глубочайшие извинения, мистер Куртье.

— Ну что вы!

— Надеюсь, вам здесь удобно. У вас есть все, что вам нужно?

— Больше, чем нужно.

— Такой безобразный случай! Но зато мы имеем удовольствие с вами познакомиться. Вашу книгу я, разумеется, читала.

И выражение ее лица словно договорило: да, неглупая книжка, занятая и читается с интересом. Но что за идеи! Вы сами прекрасно знаете, что они ни к чему не приведут... не должны привести.

— Вы очень любезны.

— Но я, конечно, отнюдь не разделяю ваших взглядов,— прибавила леди Вэллис резковато, словно почуяв за его словами затаенную усмешку.— По нынешним временам следует проповедовать воинские добродетели... тем более воину.

— Поверьте мне, леди Вэллис, воинские добродетели лучше предоставить людям с менее развитым воображением.

— Впрочем, политика вас ни капли не занимает, в этом я уж во всяком случае уверена,— ответила она, бросив на него быстрый взгляд.— Вы, кажется, знакомы с миссис Ноуэл? Какая прелестная женщина!

Но тут на площадке появилась молодая девушка. Она, видимо, возвращалась с прогулки верхом: на ней были сапожки и короткая широкая юбка. Глаза у нее были синие, волосы цвета тронутых осенью и пронизанных солнцем листьев бука собраны в тугой узел под фет-

ровой шляпой. Высокая, длинноногая, она двигалась легко и быстро. Весь ее облик — лицо, фигура — излучал радость жизни, безмятежность, неосознанную силу.

— А, Бэбс! Моя дочь Барбара — мистер Куртье, — представила их леди Вэллис.

Он пожал протянутую ему с улыбкой руку в перчатке.

— Милтоун уехал в город, мама, — сказала Барбара. — Он дал мне поручение в Баклендбери, я поеду туда и могу привезти со станции бабушку.

— Возьми с собой Энн, а то она никому не даст покоя. И, может быть, мистер Куртье хочет проветриться. Как ваше колено, позволяет такую прогулку?

— Да, конечно, — ответил Куртье, любуясь девушкой.

С тех пор, как ему исполнилось семь лет, он не мог смотреть на женскую красоту без нежности и легкого волнения; и, увидев девушку, красивее которой он, вероятно, не встречал, он готов был следовать за ней куда угодно. И что-то было в ее улыбке такое, словно она об этом догадывалась.

— Ну что ж, — сказала она. — Тогда поищем Энн.

После недолгих, но энергичных поисков Энн была найдена в автомобиле: чутье подсказало ей, что он скоро куда-то отправится и ее долг — отправиться вместе с ним. Вскоре автомобиль двинулся, Энн сидела между ними в полном молчании, что случалось с ней лишь в минуты, когда жить было особенно интересно.

Оставив позади цветники, газоны и рощи поместья Монкленд, они точно перенеслись в иной мир, ибо сразу за последними воротами в конце западной подъездной аллеи перед ними открылся самый языческий пейзаж во всей Англии. В этом диком краю собирались на совет скалы, солнце, облака и ветры. Среди каменных глыб, что залегли, точно львы, на вершинах холмов, над которыми парили белые облака да их собратья — ястребы, витали души людей, живших тут в незапамятные времена. Здесь сами камни, казалось, не знали покоя в бесконечной смене форм, обликов, цвета, они точно поклонялись всякой неожиданности, не признавая никаких законов. Ветры, веющие над этим краем, и те сворачивали с пути, врывались в любую щель и трещину, чтобы люди, укрывшиеся под своим жалким кровом, не забывали о могуществе грозных богов.

Энн не замечала всех этих чудес, да и Куртье, пожалуй, тоже,— усиленно пытаюсь примирить учтивость с желанием не отрывать глаз от хорошенького личика. «О чем думает эта двадцатилетняя девушка, самообладанию которой позавидовала бы любая сорокалетняя матрона?» — спрашивал он себя. Молчание нарушила Энн.

— Тетя Бэбс, это был не очень прочный домик, да?

Куртье взглянул в ту сторону, куда указывал ее пальчик. Подле каменного истукана, который, должно быть, владел этим холмом еще до того, как здесь появились люди из плоти и крови, виднелись развалины жалкого домишки. Лишь на одном углу еще держался клочок кровли, остальное стояло открытое всем непогодам.

— Глупо было строить тут дом, правда, Энн? Вот его и прозвали «Причуда Эшмена».

— А Эшмен живой?

— Не совсем... Видишь ли, это было сто лет назад.

— А почему он построил дом так далеко?

— Он ненавидел женщин, и... на него обвалилась крыша.

— Почему ненавидел женщин?

— Он был чужак.

— А что такое чужак?

— Спроси у мистера Куртье.

Под спокойным, испытующим взглядом девушки Куртье старался найти достойный ответ.

— Чужак,— сказал он, помедлив,— это человек вроде меня.

Послышался смешок, и он ощутил на себе бесстрастный, оценивающий взгляд Энн.

— А дядя Юстас чужак?

— Теперь вы знаете, мистер Куртье, какого о вас мнения Энн. Ты ведь очень уважаешь дядю Юстаса, правда, Энн?

— Да,— ответила Энн, глядя прямо перед собой. Но взгляд Куртье устремлен был в сторону, поверх ее непокрытой головки.

С каждой минутой ему становилось все веселее. Эта девушка напоминала ему кобылку-двухлетку, которую он однажды видел в Аскоте,— ее шелковистая шерсть так и блестела на солнце, голова была высоко вскинута, глаза горели; то были ее первые скачки,



и она вся дышала уверенностью в победе. Неужели девушка, сидящая рядом,—сестра Милтоуна? Неужели все четверо молодых Карадоков — дети одних и тех же родителей? Серьезный, аскетический Милтоун, живущий напряженной внутренней жизнью; кроткая домовитая Агата—образец добродетели; замкнутый, проницательный и непреклонный Берти и эта прямодушная, счастливая, победительная Барбара — какие они все разные!

Автомобиль тем временем уже спускался по крутому холму мимо выстроившихся на окраине Баклендбери скромных вилл и серых домиков, где жили рабочие.

— Нам с Энн надо заехать в штаб-квартиру Милтоуна. Может быть, забросить вас во вражеский стан, мистер Куртье? Пожалуйста, остановитесь, Фрис.

Куртье еще не успел дать согласие, а автомобиль уже затормозил у дома, на котором энергичная надпись гласила: «От Баклендбери — Чилкокс!».

Куртье, прихрамывая, вошел в комнату, где помещалась штаб-квартира мистера Хэмфри Чилкокса и сильно пахло краской, а в душе его еще жили ароматы юности, амбры и тонкого сукна.

За столом сидели трое: старший, с серыми глазами-щелочками и щетинистой бородкой, в котором по каким-то неуловимым признакам безошибочно угадывался бывший мэр, тотчас встал и пошел ему навстречу.

— Мистер Куртье, я полагаю,— сказал он.— Рад вас видеть, сэр. Весьма сожалею, что вы стали жертвой насилия. Хотя в некотором роде это нам на пользу. Да, да. Это уж, знаете, против всяких правил. Не удивлюсь, если это подбавит нам две-три сотни голосов. Я вижу, вам порядком досталось.

Худощавый человек с тонкими чертами лица и вьющимися волосами тоже подошел к Куртье; в руках у него была газета.

— Но тут получилась одна неловкость,— сказал он.— Прочтите.

#### ОСКОРВЛЕНИЕ ПОЧТЕННОГО ГОСТЯ ВЕЧЕРНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЛОРДА МИЛТОУНА

Куртье углубился в заметку.

Наступила зловещая тишина; ее нарушил человек с глазами-щелками.

— Кто-то из наших, должно быть, видел все собственными глазами, вскочил на велосипед и успел сообщить в редакцию, прежде чем номер сдали в печать. Они ничем не порочат эту леди... просто излагают факты. Но этого вполне достаточно,— прибавил он холодно.— По-моему, его песенка спета.

— Мы не виноваты, мистер Куртье,— смущенно сказал человек с тонким лицом.— Право, не знаю, что мы можем тут поделать. Мне это очень не по душе.

— Ваш кандидат читал это? — спросил Куртье.

— Нет еще,— вмешался третий.— Мы сами увидели газету всего час назад.

— Я бы ни за что не позволил этого,— сказал человек с тонким лицом.— Я крайне возмущен редактором.

— Но послушайте,— сказал человек с глазами-щелочками,— это же обыкновенная газетная заметка. Если она и наделает шуму, мы тут ни при чем. Газета никого ни в чем не обвиняет. Она сообщает факты. Вся суть в семейном положении этой особы. Мы ничем не можем помочь, а что до меня, сэр, я бы и не хотел помогать. У нас тут, слава богу, распушенность не в чести! — Это было сказано с чувством. Потом, заметив, какое у Куртье стало лицо, он спросил: — Вы знакомы с этой леди?

— Знал ее еще девочкой. И всякий, кто отзовется о ней дурно, будет иметь дело со мной.

— Уверю вас, мистер Куртье, я всецело на вашей стороне,— сказал худощавый.— Мы не имеем никакого отношения к этой заметке. Это один из тех случаев, когда выигрываешь, сам того не желая. Очень неудачно, что она вышла на выгон вместе с лордом Милтоуном: вы же знаете, каковы люди.

— Все дело в заголовке,— сказал третий.— Они уж постарались, чтоб он бросался в глаза.

— Не знаю, не знаю,— упрямо пробормотал человек с глазами-щелками.— Если лорд Милтоун желает проводить вечера в обществе одиноких особ, пусть пеняет на себя.

Куртье обвел взглядом всех троих.

— Больше я вам в этих выборах не помощник,— сказал он.— Где эта редакция? — И, не дожидаясь ответа, схватил газету и вышел из комнаты. За дверь он остановился на минуту, нашел адрес и заковылял по улице.

Барбара сидела в автомобиле рядом с Энн, удобно откинувшись на подушки. Хотя она уже вращалась в свете, а стало быть, успела кое-что повидать, в ее лице еще светился тот жадный интерес ко всему окружающему, которым так милы детские лица. Но на жителей Баклендбери она почти не обращала внимания, уже знакомая с тем странным, несколько забавным выражением, которое появлялось на их лицах в ее присутствии, — ибо они всячески старались показать, что им нет до нее дела, и все-таки исподтишка на нее поглядывали. Да, она уже ясно различала этот загадочный взгляд, свойственный ее соотечественникам, которым чужды цинизм, пессимизм и иные французские или русские затеи. Это и есть источник всех национальных добродетелей и пороков, идеализма и тупоумия, независимости и раболепства; двигатель всех поступков, убийца мысли; они всегда смотрят либо снизу вверх, либо сверху вниз, но только не прямо; это самая возвышенная, самая глубокомысленная, самая странная нация на свете, и она вечно одержима жаждой первенства.

Окруженная этими взглядами, Барбара ожидала Куртье и, сама истая дочь Британии, мысленно мерила своего нового знакомого тем же особенным взглядом. Ей тоже хотелось найти кого-то, на кого она могла бы смотреть снизу вверх, только этого от нее никто не дожидется! И в нашем странствующем рыцаре, казалось ей, она нашла то, что искала.

Он — существо из другого мира. Она встречала много мужчин, но он ни на кого не похож. Приятно быть в обществе умного человека, который к тому же много бродил по свету и сам участвовал в стольких рискованных предприятиях. Обыкновенные писатели или даже представители богемы, с которыми ей случалось сталкиваться, были, в конце концов, всего лишь «придворными мудрецами», которые нужны затем, чтобы аристократы знали, куда идут литература и искусство. А этот Куртье — человек действия; на него нельзя смотреть с тем снисходительным восхищением, которое вызывают люди, примечательные лишь своими идеями и умением воплотить их в слове или красках. Он уже не раз обнажал меч

и умел обнажить его даже в защиту мира. Он умел любить и не раз любил, во всяком случае, так говорят.

Будь Барбара девушкой другого круга, она в свои двадцать лет об этом, вероятно, не услышала бы, а если б и услышала, ужаснулась бы или возмутилась. Но она слышала и не возмущалась, ибо успела узнать, что уж таковы мужчины, а подчас и женщины.

Она увидела, как он ковыляет к автомобилю, и у нее дрогнуло сердце; дождавшись, пока он усядется, она бросила шоферу: «На станцию, Фрис. Побейте, пожалуйста!» — и сказала:

— На вас совершенно нельзя положиться. Куда вы ходили?

Но Куртье не ответил, только хмуро улыбнулся ей через голову Энн.

Едва ли не впервые в жизни встретив прямой отпор, Барбара вспыхнула, как от удара хлыстом. Губы ее плотно сжались, в глазах заплескали недобрые огоньки. «Хорошо же, мой милый», — подумала она. Но через минуту, взглянув на него, увидела на его лице такое странное выражение, что тут же забыла о своей обиде.

— Что-нибудь случилось, мистер Куртье?

— Да, леди Барбара, случилось... а все эта мерзкая, подлая штука — язык человеческий.

Безошибочное чутье всегда подсказывало Барбаре, как себя вести в трудные минуты; это было особое хладнокровие, почерпнутое из выражения лиц, которые она наблюдала, из разговоров, которые слышала с самого детства. Она верила своему чутью и, обменявшись с Куртье взглядом поверх головки девочки, сказала:

— Это имеет отношение к миссис Энн?.. — И, прочитав в его глазах «да», быстро прибавила: — И к Эм?

Куртье кивнул.

— Так я и знала, что пойдут сплетни. Ну и пусть! Что за важность!

— Верно! — бросил он, и в его взгляде она уловила одобрение.

Но тут автомобиль подъехал к вокзалу.

По лицу маленькой женщины в сером, выходящей из дверей, почти незаметно было, что позади у нее долгий путь. Она остановилась и внимательно оглядела всех сидевших в автомобиле, от шофера до Куртье.

— Как дела, Фрис?.. Мистер Куртье, не так ли? Я знакома с вашей книгой и не одобряю вас, вы опасный человек... Здравствуйте. Мне нужны вот эти два чемодана. Остальные довезут потом... Вы садьте впереди, Рэндл, да смотрите не пропылитесь, Энн!

Но Энн уже сидела рядом с шофером, она давно метила на это место.

— Хм! У вас болит нога, сэр? Сидите, сидите. Мы поместимся втроем... Ну вот, дорогая, теперь я могу тебя поцеловать. Ты еще выросла!

Поцелуй леди Кастерли был не из тех, которые забываются; поцелуй Барбары, пожалуй, тоже. И, однако, они были ничуть не похожи. Живые, зоркие старческие глаза облюбовали местечко; лицо с упрямым подбородком устремилось вперед; на мгновение сухие, жесткие губы застыли, словно желая убедиться, что не ошиблись направлением, потом с силой впились в самую серединку розовой щеки, дрогнули, словно вспомнив, что надо быть мягкими, и отскочили, точно резинка рогатки. А у Барбары блеснули глаза, потом голова чуть запрокинулась, губы слегка выпятились, все тело чуть дрогнуло, словно вырастая, волна волос всколыхнулась, раздался тихий, нежный звук, и все было кончено.

Поцеловав бабушку, Барбара опустилась на свое место и взглянула на Куртье. Они расположились втроем на заднем сиденье, Куртье касался ее плечом,— и, кажется, это его ничуть не огорчало.

Поднялся ветер, он дул с запада и словно весь был пронизан солнцем. Автомобиль мчался по дороге, а вокруг — словно бы чуть отрывистей всегдашнего — куковали кукушки и ветер доносил сквозь листья молодого папоротника пряный аромат корней вереска.

Тонкие ноздри леди Кастерли раздувались, вдыхая этот аромат, и вся она была похожа на маленькую, изящную перепелку.

— У вас тут недурной воздух,— сказала она.— Да, мистер Куртье, пока я не забыла... кто такая эта миссис Ноуэл, о которой я слышана?

При этих словах Барбара не могла не покоситься на своего соседа. Как-то он устоит перед натиском бабушки? Сейчас будет видно, из какого он теста. Бабушка — страшный человек!

— Она очаровательная женщина, леди Кастерли.

— Без сомнения. Я только это и слышу. Что у нее там за история?

— А у нее есть история?

— Ха! — фыркнула леди Кастерли.

Барбара еле ощутимо коснулась локтя Куртье. До чего же приятно, что бабушку осадили!

— Значит, у нее все-таки есть прошлое?

— Я этого не говорил, леди Кастерли.

И снова Барбара незаметно, с одобрением коснулась его локтя.

— Что-то уж очень все таинственно. Придется мне самой разузнать. Ты с ней знакома, моя милая. Вот и поведешь меня к ней.

— Бабушка, дорогая! Не будь у людей прошлого, у них бы не было и будущего.

Маленькой рукой, похожей на птичью лапу, леди Кастерли легонько похлопала внучку по колену.

— Не болтай вздор. И не вытягивайся больше, ты и так чересчур высокая.

К обеду все были уже осведомлены о случившемся. Сэр Уильям услышал новость от агента из Ставертона, где речь лорда Харбинджера не раз прерывали ехидными выкриками. Достопочтенный Джеффри Уинлоу, отправив жену вперед, прилетел на своем биплане из Уинкли и захватил с собою газету. Из всех присутствовавших на семейном обеде только лорд Деннис Фитц-Харролд, брат леди Кастерли, еще ничего не знал.

Говорили об этом, разумеется, немного. Но едва женщины удалились, Харбинджер со свойственными ему прямоотой и непосредственностью, столь неожиданными при его типично английской наружности, а быть может, даже чуть нарочитыми, заявил, что если они не придушат этот слух, Милтоун кампанию проиграл. Дело очень серьезное! Те подлецы не так глупы и теперь выжмут из этого случая все, что только можно. А Милтоун, как назло, зачем-то укатил в Лондон. Черт знает, что за каша заварилась!

Харбинджеру всегда была присуща особая интонация, словно он боялся, как бы его не заподозрили в излишней серьезности, — эта интонация и манера держаться могут противостоять всему, кроме насмешки, а перед

насмешкой совершенно бессильны. И когда в комнате прозвучало ироническое: «Какая именно, мой юный друг?» — он тотчас умолк.

Если кто-либо пожелал бы найти достойное дополнение к леди Кастерли, он, вероятно, выбрал бы ее брата. Неизменная насмешливая учтивость лорда Денниса была прямой противоположностью ее крутому нраву. Его голос, взгляд, повадка были под стать его бархатной куртке, кое-где серебристо поблескивающей, точно обрызганной лунным светом. И волосы его тоже поблескивали серебром. Тонкое, изящное лицо обрамляли белая бородка и усы, подстриженные по моде елизаветинских времен. Карие глаза, все еще ясные, глядели на мир прямо и открыто, со сдержанной добротой. Лицо его, хоть и не обветренное, не изборожденное следами бурь, с кожей удивительно нежной и тонкой, странно напоминало лицо старых матросов и рыбаков, что весь свой век жили простой трудовой жизнью, по раз и навсегда заведенному порядку. То было лицо человека с неизменными убеждениями, склонного относиться иронически ко всяким новшествам, которые он уже полвека назад изведal и решительно отверг. В нем угадывался разум, не лишенный тонкости и не чуждый понимания красоты, но давно уже отказавшийся от попыток подчинить себе чувства; угадывалось, что на смену проницательности в вопросах отвлеченных пришла проницательность в делах практических, основанная на трезвом жизненном опыте. Он не умел выставлять себя напоказ — черта, вполне естественная в человеке, который настолько преисполнен чувства собственного достоинства, что вовсе о нем не заботится, — а кроме того, долгие годы был предан некоей даме сердца, и только ее смерть оборвала эту преданность: вот почему он всю жизнь, так сказать, оставался в тени. И, однако, он был известен своим необыкновенно трезвым умом, благодаря чему пользовался своеобразным влиянием в обществе. Впрочем, его мнения спрашивали лишь в самых крайних случаях. «Совсем дела плохи? Что ж, есть еще старик Фитц-Харолд! Сходите к нему! Советов от него не ждите, но что-нибудь он да скажет».

И непочтительному молодому лорду Харбинджеру стало как-то не по себе. Не слишком ли вольно он выра-

жался? Не хватил ли через край? Он совсем забыл про старика! Подтолкнув ногой Берти, он пробормотал:

— Я совсем упустил из виду, сэр, что вы еще не знаете. Берти вам объяснит.

Призванный, таким образом, высказаться, Берти устремил на двоюродного деда взгляд из-под полуопущенных век и, еле шевеля губами, начал объяснять:

— Тут в коттедже живет одна леди... очень милая женщина... Мистер Куртье с ней давно знаком... Милтоун бывает у нее... В тот вечер он немного засиделся... Ну, этот народец и раздувает пустячный случай... намекает... Если не принять меры, Милтоун потерпит поражение. Вздор, разумеется.

Берти считал, что Милтоуну никакие искушения не страшны, а все же он сваял дурака, позволив этой женщине выйти с ним на выгон, когда кинулся выручать Куртье,— теперь всем ясно, где он проводил вечер. Этого делать нельзя, когда имеешь дело с женщиной, о положении которой никто ничего толком не знает.

Все молчали. Наконец Уинлоу сказал:

— Как же быть? Вызвать Милтоуна телеграммой? Такие слухи распространяются, как лесной пожар!

Сэр Уильям, всегда готовый к худшему, выразил опасение, что неприятностей не миновать. Харбинджер сказал, что редактору газеты надо бы задать хорошую трепку. А не знает ли кто, как принял новость Куртье? Где он, кстати? Обедает у себя в комнате? Берти заметил, что если Милтоун сейчас в лондонском особняке, ему еще, может быть, не поздно послать телеграмму. Скандал надо задушить в зародыше! И во всех этих разговорах проскальзывало вполне естественное для родовитых молодых людей нетерпеливое желание отнестись к случившемуся просто как к возмутительной дерзости и, образно говоря, дать негодяям по рукам.

Опять наступило молчание, и на сей раз его нарушил лорд Деннис.

— Мне жаль бедную женщину.

Харбинджер резко повернулся в сторону этого бесстрастного, учтивого голоса, но к нему тут же вернулось самообладание, которое так редко ему изменяло, и он поддакнул:

— Вот именно, сэр, вы совершенно правы.



В маленькой гостиной, куда обычно уходили дамы, когда приглашенных было немного, миссис Уинлоу под села к фортепьяно и стала тихонько перебирать клавиши, так как леди Кастерли и леди Вэллис с обеими дочерьми не слушали ее, сбившись в кучку и словно объединившись перед лицом надвигающейся беды — сплетни.

Любопытное обстоятельство, характеризующее Милтоуна: ни здесь, в гостиной, ни в столовой никто не усомнился в чистоте его отношений с миссис Ноуэл. Но там все случившееся казалось важным лишь с точки зрения выборов, здесь же успели понять, что выборы далеко не самое главное. Безошибочное чутье, которым женщины мгновенно постигают все, что касается их мужей, сыновей и братьев, уже подсказало им, что такого человека, как Милтоун, подобная сплетня накрепко свяжет с его Незнакомкой.

Но они ступали по такой тоненькой корочке фактов, а под ней лежала столь глубокая трясина догадок и предположений, что говорить об этом было мучительно трудно. Вероятно, никогда еще ни бабушка, ни мать, ни сестры так ясно не понимали, какое большое место занимает в их жизни этот странный, непонятный Милтоун. Все они старались подавить тревогу, но она все же прорывалась у каждой на свой лад. Леди Кастерли сидела в кресле очень прямо, и только еще более решительная, чем обычно, речь, беспокойное движение руки да непривычная складочка меж бровей выдавали ее волнение. У леди Вэллис вид был озадаченный, точно она сама удивлялась своей серьезности. Лицо Агаты выражало откровенную озабоченность. Женщина тихая, но с характером, она наделена была тем прирожденным благочестием, что без всяких сомнений приемлет общепризнанную мораль и догматы церкви. Весь мир для нее ограничивался домом и семьей, а все, в чем ей чудилась угроза этому средоточию ее попечений, внушало ей неподдельный, хоть и сдерживаемый ужас. Ее считали за урядной, скучноватой и недалекой — точь-в-точь насадка, которая вечно квохчет над своими цыплятами. Но была в ней и героическая жилка, только это не броса-

лось в глаза. Однако она была искренне огорчена положением, в котором очутился брат, и ничто не могло ее отвлечь или утешить. Ему грозила опасность как будущему мужу и отцу, а в жизни мужчин только эта сторона и была ей понятна. Именно эта угроза пугала ее больше всего, хотя она и понимала, что гибель грозит и его душе, ибо разделяла взгляды церкви на нерасторжимость брака.

Барбара стояла у камина, прислонясь белыми плечами к резному мрамору, заложив руки за спину и опустив глаза. Время от времени ровные брови ее подергивались, губы вздрагивали, с них слетал легкий вздох, а потом на мгновение вспыхивала тотчас подавляемая улыбка. Она одна не принимала участия в разговоре—юность познавала жизнь; и о мыслях ее можно было судить по тому, как ровно дышала ее юная грудь, досадливо хмурились брови, по опущенным долу синим глазам, излучавшим тихое неугасимое сияние.

— Будь он такой, как все! — со вздохом сказала леди Вэллис.— А то ведь он способен жениться на ней просто из духа противоречия.

— Что?! — вырвалось у леди Кастерли.

— Вы ее не видели, дорогая. Она, к несчастью, очень привлекательна... такое прелестное лицо.

— По-моему, мама, если развода потребовал муж, Юстас на ней не женится,— тихо сказала Агата.

— Вот это верно,— пробормотала леди Вэллис.— Будем надеяться на лучшее!

— Неужели вы даже не знаете, кто требовал развода? — спросила леди Кастерли.

— Видите ли, священник говорит, что развода требовала она. Но он слишком добрая душа; быть может, Агата не зря надеется!

— Ненавижу неопределенность. Почему никто не спросит ее самое?

— Вот вы пойдете со мной, бабушка, и спросите ее; лучше вас никто этого не сделает.

Леди Кастерли подняла глаза.

— Там видно будет,— сказала она.

Когда она смотрела на Барбару, ее строгий, оценивающий взгляд смягчался. Как и все прочие, она не могла не баловать Барбару. Она верила, что ее сословие из-

брано самим богом, и любила Барбару, как воплощение совершенства. И хоть ей несвойственно было кем-либо восхищаться, она даже восхищалась жаркой радостью жизни, которой дышала Барбара, точно прекрасная нимфа, что рассекает волны обнаженными руками, не страшась пенных бурунов. Леди Кастерли чувствовала, что в этой ее внучке, а не в добродетельной Агате живет дух древних патрициев. Агате нельзя отказать в добродетели, в твердости нравственных устоев, но есть в ней какая-то ограниченность, что-то чуточку ханжеское. Это корбило практическую и искушенную леди Кастерли. Ведь это знак слабости, а слабость она презирала. Вот Барбара не будет слишком щепетильна в вопросах морали, если речь идет не о чем-то существенном для аристократии. Скорее уж она ударится в противоположную крайность—просто из озорства. Сказала же дерзкая девчонка: «Если бы у людей не было прошлого, у них не было бы будущего». Леди Кастерли не выносила людей без будущего. Она была честолюбива, но это было не жалкое честолюбие выскочки, а благородная страсть человека, который стоит на вершине и намерен остаться там.

— А ты где встречалась с этой... м-м... Незнакомкой? — спросила она.

Барбара отошла от камина и склонилась над креслом леди Кастерли.

— Не бойтесь, бабушка. Она меня не совратила с пути истинного.

Лицо леди Кастерли выражало и неодобрение и удовольствие.

— Знаю я тебя, плутовка! — сказала она.— Ну, рассказывай.

— Мы встречаемся то тут, то там. На нее приятно смотреть. Мы болтаем.

— Дорогая Бэбс, тебе, право, не следовало так торопиться,— вставила своим тихим голосом Агата.

— Но почему, ангел мой? Да будь у нее хоть четыре мужа, мне-то что?

Агата закусил губу, а леди Вэллис проговорила сквозь смех:

— Ты просто невозможна, Бэбс.

Но тут фортепьяно смолкло: в комнату вошли муж-

чины. И лица четырех женщин сразу застыли, словно они надели маски: хоть здесь были, в сущности, только свои (чета Уинлоу тоже состояла в родстве с Карадоками), все же леди Кастерли, ее дочь и внучки, каждая по-своему, чувствовали, что общий разговор на эту тему невозможен. Теперь беседа перекинулась с войны — причем Уинлоу уверял, что через неделю всем страхам будет положен конец, — на речь, которую в это самое время произносил в палате Брэбрук, и Харбинджер тут же его изобразил. Потом заговорили о полете Уинлоу, о статьях Эндрю Гранта в «Парфеноне», о карикатуре на Харбинджера в «Насмешнике», подпись под которой гласила: «Новый тори. Л-рд Х-рб-ндж-р предлагает социальную реформу, не заслуживающую внимания его друзей»; на карикатуре он представлял почтенным старым леди в персских коронах голого младенца. Потом помянули некую балерину, билль о всеобщем страховании. Снова заговорили о войне; о последней книге известного французского писателя; и опять о полете Уинлоу. Говорили очень прямо, откровенно, словно бы именно то, что каждому приходило в голову. Но при этом странным образом умалчивали о внутреннем содержании обсуждаемых явлений; или, быть может, его просто не замечали?

В дальнем конце комнаты лорд Деннис разглядывал папку с гравюрами; неожиданно его поцеловали в щеку, повеяло знакомым ароматом, — и он сказал, не поворачивая головы:

— Прелестные гравюры, Бэбс.

Не получив ответа, он поднял глаза.

Конечно, рядом стояла Бэбс.

— Терпеть не могу, когда вот так смеются над человеком, за глаза.

Они стали друзьями еще в ту пору, когда маленькая золотоволосая Барбара на своем сером пони неизменно сопровождала его в утренних прогулках верхом. Дни верховой езды отошли в прошлое; из всех занятий под открытым небом лорду Деннису осталась лишь рыбная ловля, и он предавался ей с ироническим упорством человека замкнутого и мужественного, который не желает признавать, что над ним уже занесена таинственная рука Времени. И хотя Барбара больше не была его утрен-

ней спутницей, он по старой привычке ждал, чтобы она поверяла ему свои секреты,— но она отошла к окну, и он с тревожным удивлением посмотрел ей вслед.

Был один из тех темных и все же пронизанных загадочным мерцанием вечеров, когда, кажется, во всем мире разлито зло, когда звезды проглядывают меж черных туч, словно глаза, что гневно мечут молнии на весь род людской. Даже в тяжком дыхании могучих деревьев прорывалась злоба, и только одно не поддалось ей — темный островерхий кипарис; его посадили триста пятьдесят лет назад, и теперь он стоял непоколебимый, молчаливый — живое воплощение вековых традиций. Слишком замкнутый, стойкий и упорный, чтобы отзываться на властное дыхание природы, он лишь сдержанно шелестел ветвями. Он жил здесь века, но все казался чужаком, и теперь, разбуженный огненными взорами ночи, стоял суровый и заостренный, как копье, почти пугающий, словно в душе его что-то перегорело и умерло. Барбара отошла от окна.

— Мне кажется, нам ничего не дано совершить в жизни, мы только и можем делать вид, будто рискуем!

— Я как-будто не уловил твою мысль, девочка,— сухо отозвался лорд Деннис.

— Вот хотя бы мистер Куртье,— негромко сказала Барбара.— Он постоянно рискует, как никто из наших мужчин. А ведь они над ним смеются.

— Давай посмотрим, что же он совершил?

— Ну, наверно, не так уж много, но он всегда все ставит на карту. А чем рискует тот же Харбинджер? Если из его социальной реформы ничего не выйдет, он останется все тем же Харбинджером, и у него будут те же пятьдесят тысяч годового дохода.

Лорд Деннис взглянул на Барбару чуть подозрительно.

— Вот как! Ты что же, не принимаешь этого молодого человека всерьез?

Барбара пожала плечами; бретелька соскользнула, еще больше обнажив белое плечо.

— У него все игра, и он сам это знает... Его выдает голос; чувствуется, что ему все безразлично. Конечно, он тут ничего не может поделать, и тоже сам это знает.

— Я слышал, он тобою очень увлечен. Это правда?

— Но меня он пока что никак не увлекает.

— А может быть, еще увлечет?

В ответ Барбара опять пожала плечами,— при всей их величавой красоте в этом движении было что-то от девочки в фартучке.

— А этот мистер Куртье... он тебя не увлекает? — спросил лорд Деннис.

— Я увлекаюсь всем на свете. Разве вы этого не знаете, дорогой?

— В пределах разумного, девочка.

— В пределах разумного, конечно... как бедный Юсти!

Она замолчала. Рядом с ней возник Харбинджер, и никогда еще на его лице не бывало выражения столь близкого к почтительности, как в эту минуту. По правде говоря, он смотрел на нее чуть ли не с робостью.

— Не споете ли вы тот романс, который я так люблю, леди Бэбс?

Они отошли вместе; и глядя вслед этой великолепной молодой паре, лорд Деннис в задумчивости погладил бородку.

## ГЛАВА X

Неожиданный отъезд Милтоуна в Лондон был вызван решением, которое медленно зрело в нем с того часа, как он на каменном крыльце фермы Барракомбов впервые встретил миссис Ноуэл. Если она согласится — а со вчерашнего вечера он верил, что она согласится,— они поженятся.

Как уже говорилось, не считая одного-единственного грехопадения, Милтоун жил аскетом, но это вовсе не значит, что он не способен был на страсть. Совсем напротив. Глубоко затаенный огонь не мог разгореться, ему не хватало воздуха. Едва душа Одри коснулась его души — вспыхнуло пламя. Она была воплощением всего, о чем он мечтал. Ее волосы, глаза, фигура; ямочка в уголке рта, как раз там, куда младенец сует палец; ее движения, походка,— она плавно, грациозно покачивалась, словно самый воздух нес ее; звук ее голоса, не то чтобы радостного, но словно выражавшего стремление

нести радость другим; природный ум, может быть, и не выдающийся, но ясный, каким отличаются люди чуткие и отзывчивые, редкий у женщин честолюбивых или восторженных,— все это покорило Милтоуна. Он не только мечтал о ней и желал ее, он в нее верил. Он думал о ней непрестанно: вот женщина, которая никогда не поступит дурно, которая, став женой, останется любовницей, а став любовницей, всегда будет духовно близка.

Как уже говорилось, при Милтоуне не судачили и не сплетничали о женщинах, и слух о ее разводе достиг его ушей в таком виде, что он не усомнился: обиженной и оскорбленной стороной была она. После разговора со священником он лишь однажды коснулся этой истории, и то в ответ на слова одной гостьи:

— О да! Я прекрасно помню этот случай. Это та несчастная женщина, которая...

— Которая ничего дурного не сделала, я уверен, леди Бонингтон.

Это было сказано таким тоном, что послышался чей-то смущенный смешок, и все тотчас заговорили о другом.

Милтоун был убежденный противник развода, но смутно понимал, что в иных случаях это единственный выход. Он был не из тех, кому открывают сердце, да и не ждал ни от кого откровенности. Он и сам никогда ни с кем не делился своими сомнениями и внутренней борьбой, а всякая иная борьба его мало интересовала. Он был готов в любую минуту жизнью своей поручиться за непогрешимость своего божества, так же просто и естественно, как заслонил бы ее своим телом от любой опасности.

Тот же фанатизм, что заставлял его смотреть на свою страсть, как на цветок, живущий сам по себе, независимо от того, место ли ему в садах общества, гнал его теперь в Лондон — объявить о своем намерении отцу до того, как он скажет об этом миссис Ноуэл. Все должно быть сделано просто и по всем правилам, ибо он обладал нравственным мужеством, которое свойственно людям замкнутым, поглощенным своей внутренней жизнью. А может быть, тут проявилось не столько нравственное мужество, как безразличие к тому, что думают и делают другие, нежелание считаться с чьими бы то ни было чувствами.

При мысли о том, как примет новость отец, на губах его играла та же улыбка, что у кардинала времен Тюдоров,— в ней чувствовалась неколебимая уверенность в своих силах и насмешка; но вскоре он перестал думать о предстоящем разговоре и погрузился в работу, которую захватил с собой, ибо — что очень важно для общественного деятеля — он отлично умел полностью переключать внимание с одного предмета на другой.

Приехав на Пэддингтонский вокзал, он тотчас направился в особняк Вэллисов.

Большой дом, украшенный портиком с колоннами, всем своим видом, казалось, выражал удивление, что он почти пустует в самый разгар сезона. Трое слуг приняли скромный багаж Милтоуна и, умывшись и узнав, что отец будет обедать дома, он пошел пройтись, а заодно навестить свою квартирку в Темпле. Высокий, несколько небрежно одетый, он всем своим обликом, как всегда, обращал на себя внимание и, как всегда, не подозревал об этом. Шагая по улице, он размышлял о Лондоне, об Англии, не похожих на эту напыщенную суету, на это скопище, на эту разноголосицу резких и унылых звуков. Ему представлялся Лондон и вся Англия, подтянутая, исполненная чувства собственного достоинства; очищенная, избавленная от трущоб, плутократов, рекламы и доходных домов, построенных на скорую руку, от сенсаций, пошлости, порока и безработицы. В этой Англии каждый будет знать свое место и верой и правдой служить своему сословию. И каждый, от дворянина до хлебопашца, будет аристократом по духу и джентльменом по своим поступкам. Эта деятельная, идеально устроенная Англия одним своим видом установит мир на земле. У этой Англии будет стоическая и прекрасная душа, ибо ее будут питать стоицизм и красота, заложенные в душах миллионов людей, ее населяющих; у ее городов будет свое кредо, а у селений свое, и воцарится всеобщее благоденствие, и не слышно будет никаких жалоб.

Он шел по Стрэнду, а под ногами у него вертелся маленький оборвыш и пронзительно выкрикивал:

— Кровавое преступление в банке!.. Неслыханная сенсация!..

Милтоун не слушал газетчика; но на него пахнуло ветром живой жизни,— беспечный, удивительный, свое-



вольный ветер этот развеял его очищенное от земной скверны видение. То был могучий ветер — его порождали мириады людских желаний, несчастные мольбы, возносимые к всемогущей сенсации — богине случая и перемен. То был поток, струящийся от сердца к сердцу, из уст в уста, точно дыхание весны, что блуждает по лесу и делится с каждым деревом, с каждым кустиком тайнами возрождающейся жизни, страстной решимостью расти и стать — все равно чем, но стать. Извечный вздох, точно немолчный ропот моря; его не приглушишь, и он всегда чреват бурей!

Сотни людей сновали по улице, но Милтоун едва ли замечал их; глазами веры он видел то, что желал увидеть. У собора св. Павла он остановился перед лавчонкой букиниста. Ее хозяину, маленькому, щуплому Уильяму Раймеллу, было хорошо знакомо это бледное, серьезное, не лишенное своеобразной красоты лицо, и он тотчас выложил на прилавок свое последнее приобретение — «Утопию» Томаса Мора. Это издание, уверял он, — величайшая редкость; за всю свою жизнь он продал еще только один такой экземпляр, да и тот буквально рассыпался в руках. Этот сохранился куда лучше. Но и он проживет лет двадцать, не больше — подлинный экземпляр, выгодная покупка. Томас Мор теперь редко попадает на прилавок, не то что еще несколько лет назад.

Милтоун раскрыл книгу, и мирно спавшая крошечная книжная вошь медленно поползла внутрь, к корешку.

— Да, я вижу, что книга подлинная, — сказал Милтоун.

— Для чтения она не годится, милорд, — предостерег букинист. — Листы того и гляди рассыплются в прах. Я уж вам говорил, у меня не было ничего лучше за весь год. Можете мне поверить!

— Умный был мечтатель, — пробормотал Милтоун. — Социалисты по сей день только перепевают его.

Маленький книгопродавец смущенно заморгал, словно извиняясь за Томаса Мора.

— Так ведь он и сам был социалист. Я что-то не припомню, сведу ли вы в политике, ваша светлость?

Милтоун улыбнулся.

— Я хочу видеть Англию примерно такой, Раймелл, о какой мечтал Томас Мор. Но я хочу действовать иным способом. Начну с верха.

Книгопродавец кивнул.

— Вот именно, вот именно. Думаю, мы к этому придем.

— Должны прийти, Раймелл,— сказал Милтоун и перевернул страницу.

На лице Раймелла выразилось страдание.

— Боюсь, что при вашем пристрастии к чтению эта книга для вас слишком ветхая, милорд. Есть у меня еще одна диковинка — о китайских храмах. Тоже редкость, но не слишком древняя. Вы можете читать ее, сколько душе угодно. Она из тех, которые никогда не надоедают, как раз на ваш вкус. Забавный у них был способ кладки — пластами,— прибавил он, указывая на одну из гравюр.— Мы в Англии так не строим.

Милтоун кинул на него острый взгляд, но лицо маленького человечка оставалось непроницаемым.

— К сожалению, нет, Раймелл. А следовало бы, и мы непременно будем так строить. Я возьму эту книгу.

И, коснувшись пальцем изображения пагоды на переплете, прибавил:

— Прекрасная эмблема.

Глаза маленького книгопродавца скользнули ниже, отыскивая под изображением храма условный значок — цену.

— Совершенно верно, милорд. Я так и думал, что эта книга вам придется по душе. Вам я отдам ее за двадцать семь шиллингов шесть пенсов.

Милтоун положил покупку в карман и распростился. Он прошел к себе в Темпл, оставил книгу на квартире и зашагал по берегу Темзы. В этот час солнце страстно ее ласкало и под его поцелуями она вся рдела, дышала светом и теплом. И все дома вдоль берегов, до самых башен Вестминстера, словно улыбались. О многом говорило это зрелище глазам влюбленного. И перед Милтоуном возникло еще одно видение — женщина с кротким взором и тихим голосом, склонившаяся над цветами. Отныне без нее ничто не даст ему удовлетворения, не порадуют плоды труда, не увлекут никакие замыслы.

Лорд Вэллис встретил сына дружески, но не без удивления.

— Решил денек отдохнуть, мой друг? Или захотелось послушать, как нас громит Брэбрук? На сей раз он опоздал: мы уже покончили с этими аэростатами, в конце концов все обошлось.

Его ясные серые глаза изучали Милтоуна со спокойным любопытством. «Ну-ка, что ты за птица? — казалось, говорили они. — Во всяком случае, совсем не то, чего можно было ждать, судя по твоему воспитанию!»

Ответ Милтоуна: «Я приехал кое-что сообщить вам, сэр», — заставил лорда Вэллиса задержать на нем взгляд чуть дольше, чем это принято.

Было бы неправдой сказать, что лорд Вэллис боялся сына. Страх вообще был ему несвойствен, но он, несомненно, относился к Милтоуну с каким-то уважительным интересом и чувствовал себя с ним не свободно. По складу своему и политическим убеждениям Милтоун был деспот, и это чуть ли не коробило человека, которого и характер и жизненный опыт приучили выжидать, не вырываться вперед. Этому он нередко учил своих жокеев, зная, что так лошадь вернее возьмет приз. Именно это он хотел бы посоветовать и сыну. Сам он вот уже полвека выжидал и знал, что только так можно избежать опасности когда-нибудь поневоле изменить этому принципу, ибо в глубине души боялся, что в критическую минуту способен не пощадить себя и надорваться, лишь бы другие его не обошли. Вот молодого Харбинджера он понимал: этот — верхогляд, в нем «много прыти», как мысленно в минуты откровенности с самим собой определял лорд Вэллис. Он отведал молодого вина социальных реформ, и хмель ударил ему в голову. Ему надо дать немного воли, но с ним не будет никаких хлопот; эта легкая на ходу, послушная лошадка, которую надо лишь слегка придерживать на поворотах, никогда не понесет. Пусть послушает самого себя; надо дать ему почувствовать, что и он делает что-то полезное. Все очень естественно и понятно. А вот с Милтоуном не то, и дело тут не в отцовском пристрастии. Он любит непременно все доводить до конца, а это опасно и напоминает лорду Вэллису его тещу. В делах государственных Милтоун, конечно, еще сущее дитя; но стоит ему начать, и сила его

убеждений, его положение в обществе и истинный ораторский дар — не просто бойкий язык, как у Харбинджера, но сдержанная и острая речь — все это при нынешнем соотношении сил безусловно выдвинет его единым махом в первый ряд. А каковы, в сущности, его убеждения? Лорд Вэллис не раз пытался в них разобраться, но по сей день так ничего и не понял. И не удивительно, ибо — он и сам не раз это говорил — политические воззрения определяются отнюдь не разумом, как кажется на первый взгляд, но темпераментом. Сам он относился к политике спокойно, и, руководствуясь простым здравым смыслом, в каждом отдельном случае применялся к обстоятельствам; всякое иное отношение к политике ему было чуждо и непонятно. Однако назвать его беспринципным было бы несправедливо, ибо в самой глубине его души, несомненно, жила упрямая, непоколебимая верность традициям его сословия, для которого превыше всего твердость духа. И все-таки он чувствовал, что Милтоун слишком ревностный аристократ, ничуть не лучше социалистов, — он ко всему подходит с готовыми мерками; а его идея навязать людям реформы любой ценой, хотя бы против их воли, — это ли не деспотизм! Да еще и действует согласно своим убеждениям! Недурно! Так и говорит: следую своим убеждениям! Одна мысль об этом коробила лорда Вэллиса. Это же просто неприлично; хуже — смешно! К несчастью, у мальчика чересчур глубокий ум, политику такой не требуется... это опасно... даже очень! Разве что жизнь чему-то его научит. И граф Вэллис напрягал память, стараясь вспомнить, встречался ли на его жизненном пути хоть один политический деятель, который остался бы верен своим первоначальным идеалам. Нет, ни одного такого припомнить не удалось. Но это его не утешило. И пока они ели позднюю спаржу, он пытался поймать взгляд сына. Что такое он приехал сообщить?

В словах сына было что-то зловещее, ведь он никогда ничего ему не говорил. Хотя лорд Вэллис был добрым и снисходительным отцом, он, как многие люди, поглощенные делами государственными, держался со своим отпрыском так, словно все время себя спрашивал: «Да полно, мой ли это?» Из всех четверых одну лишь Барбару он безо всяких сомнений признавал за свою.

Он восхищался ею; а как человек, умеющий наслаждаться жизнью, он любил лишь то, чем восхищался. Но, не способный принуждать кого бы то ни было или выпытывать признания, он ждал, ничем не выдавая своего беспокойства, чтобы сын заговорил сам.

Милтоун, видимо, не спешил. Он стал рассказывать о ночном приключении Куртье и немало позабавил лорда Вэллиса.

— Испытание красным перцем! Вот уж не думал, что они на это способны! Итак, он теперь в Монкленде. И Харбинджер тоже еще там?

— Да. Не думаю, чтобы он обладал большой стойкостью.

— В политике?

Милтоун кивнул.

— Мне не нравится, что он на нашей стороне... Это нам вовсе не на пользу. Я полагаю, вы видели карикатуру; довольно ядовитая. Впрочем, вас среди этих старух, кажется, нет, сэр.

Лорд Вэллис равнодушно улыбнулся.

— Карикатура неглупая. Кстати, я надеюсь на приз в Гудвуде.

Так они беседовали, перескакивая с предмета на предмет, пока последний слуга не вышел из столовой.

И тогда Милтоун посмотрел прямо в глаза отцу и сказал без обиняков:

— Я хочу жениться на миссис Ноуэл, сэр.

Лорд Вэллис принял этот удар с тем самым выражением, которое не раз у него бывало, когда его лошадь оставалась за флагом. Потом он поднес к губам бокал вина и, не пригубив, поставил его на стол. Только этим он и обнаружил свою заинтересованность или замешательство.

— Не слишком ли ты торопишься?

— Я хочу этого с той минуты, как увидел ее впервые.

Лорд Вэллис разбирался в людях и в житейских делах почти так же хорошо, как в лошадях и охотничьих собаках; он откинулся на спинку кресла и сказал чуть насмешливо:

— Очень мило с твоей стороны, мой друг, что ты поставил меня в известность. Хотя, если уж говорить на чистоту, я предпочел бы этого не слышать.

Темный румянец медленно залил щеки Милтоуна. Как видно, он недооценивал отца: оказывается, в трудную минуту у него хватает и хладнокровия и мужества.

— Какие у вас возражения, сэр?

И тут он заметил, что вафля в руке лорда Вэллиса дрожит. Но глаза его не смягчились ни раскаянием, ни сожалением; он метнул в отца такой испепеляющий взгляд, каким мог наградить противника, обнаружившего слабость, старый кардинал. Лорд Вэллис тоже заметил, что вафля дрожит, и поспешил ее съесть.

— Мы светские люди,— сказал он.

— Я — нет,— возразил Милтоун.

И тут впервые лорду Вэллису изменило самообладание.

— Это твое дело! — выкрикнул он. — Я говорю о себе!

— И что же?

— Юстас!

Милтоун неторопливо поглаживал колено; в лице его не дрогнул ни один мускул. Он в упор смотрел на отца. Лорд Вэллис ощутил удар в сердце. Каким же сильным должно быть чувство, чтобы вот так ошетиниться при первом намеке на противодействие!

Он достал ящик с сигарами, рассеянно протянул его сыну и тут же отдернул:

— Я забыл: ты же не куришь.

Он закурил сигару, задумчиво затянулся, глядя прямо перед собой, и меж его бровей прорезалась глубокая складка. Наконец он заговорил:

— У нее вид настоящей леди. Больше я о ней ничего не знаю.

На губах Милтоуна явственней проступила улыбка.

— А зачем вам знать?

Лорд Вэллис пожал плечами. На этот счет он придерживался вполне определенных взглядов.

— Насколько мне известно,— холодно сказал он,— мы имеем дело с разводом. Я полагал, что в этом вопросе ты не расходишься с церковью.

— Она ни в чем не виновата.

— Значит, тебе известно, что у нее в прошлом?

— Нет.

Лорд Вэллис поднял брови — иронически и, может быть, даже с восхищением.

— Благоразумие под маской рыцарства?

— Вы, видимо, не понимаете моего чувства к миссис Ноуэл. Оно не укладывается в ваше представление о жизни. Но брак без этого чувства для меня невыносим — и вряд ли я когда-нибудь смогу испытать его к другой женщине.

И опять лорд Вэллис ощутил, что почва уходит у него из-под ног. Неужели это правда? И вдруг он понял: да, правда. Этот одержимый скорее сгорит на собственном огне, но не изменит себе. Он вдруг осознал всю серьезность создавшегося положения и растерялся.

— Больше я сейчас ничего не могу тебе сказать, — пробормотал он и поднялся из-за стола.

## ГЛАВА XI

У леди Кастерли было одно неудобное свойство: она вставала чуть свет. Во всей Англии ни одна женщина не была таким знатоком утренних рос. Природа расстилала перед ней тысячи росных ковров — их ткали звезды минувшей ночи, что падают перед рассветом на темную землю и ждут только утра, чтобы в солнечных лучах вновь воспарить на небо. В Рейвеншеме она ежедневно гуляла в парке от половины восьмого до восьми и, если гостила у кого-нибудь, заставляла хозяев применяться к этой ее привычке.

Поэтому когда ее горничная Рэндл в семь часов утра пришла к горничной Барбары, которая в эту минуту зашнуровывала корсет, и сказала: «Старая леди велела разбудить мисс Бэбс», — та ничуть не удивилась.

— Хорошо. Да только леди Бэбс не очень-то обрадуется!

Десять минут спустя она вошла в белую комнату, всю пропитанную ароматом гвоздики, — в царство сладкого сна, куда сквозь пестрые ситцевые занавески просачивался свет летнего утра.

Барбара спала, подложив под щеку ладонь; ее золотисто-каштановые волосы, откинутые со лба, рассыпались по подушке, губы приоткрылись. «Вот бы мне такие волосы и губы!» — подумала горничная и невольно улыб-

нулась: леди Бэбс такая хорошенькая, во сне еще лучше, чем днем! И при взгляде на это очаровательное существо, спящее с улыбкой на устах, рассеялись тяжелые пары, дурманившие голову служанки, постоянно жившей в тепличной обстановке, где не могла естественно развиваться ее натура. Красота обладает таинственной силой: она расковывает души, очищает их от себялюбивых мыслей; глаза горничной смягчились, она стояла, затаив дыхание,—спящая Барбара была для нее воплощением золотого века, с мечтой о котором она ни за что не хотела расстаться. Барбара открыла глаза и, увидев горничную, спросила:

— Разве уже восемь, Стейси?

— Нет, но леди Кастерли желает, чтобы вы с ней погуляли.

— О господи! А мне снился такой чудесный сон!

— То-то вы улыбались.

— Мне снилось, что я могу летать.

— Вы подумайте!

— Я летела над землей и видела все так ясно, как вас теперь. Я парила, как ястреб. И чувствовала, что могу опуститься, где захочу. Это было восхитительно, Стейси, для меня не было ничего невозможного.

И, вновь положив голову на подушку, она закрыла глаза. Солнечный свет, пробиваясь меж полураздвинутых занавесок, озарял ее лицо.

Горничной вдруг захотелось протянуть руку и погладить эту полную белую шею.

— Летательные аппараты — глупость,— пробормотала Барбара.— Наслаждение — когда летишь сама, на крыльях!

— Леди Кастерли уже в саду.

Барбара вскочила. У статуи Дианы, глядя на цветы, стояла маленькая фигурка в сером. Барбара вздохнула. Во сне рядом с ней парил другой ястреб, и сейчас, принимая ванну, а потом одеваясь, она с удивлением об этом вспоминала, а по всему ее телу пробегала какая-то странная и приятная дрожь.

В спешке она забыла шляпу и, на ходу застегивая полотняное платье, торопливо спустилась по лестнице и георгианским коридором побежала в сад. У самого выхода она чуть не оказалась в объятиях Куртье.



В то утро он проснулся рано и прежде всего подумал об Одри Ноуэл, которой грозил скандал; потом о своей вчерашней спутнице, такой юной и лучезарной, чей образ завладел его мыслями. Он весь ушел в эти воспоминания. Да, она — сама юность. Поистине совершенство: совсем еще юная — и никакой ребячливости!

— Крылатая победа! — воскликнул он, когда Барбара чуть не сбила его с ног.

Ответ Барбары был в том же духе:

— Ястреб! Знаете, мистер Куртье, мне снилось, что мы с вами летаем.

— Если бы боги послали этот сон мне... — серьезно ответил Куртье.

На пороге Барбара обернулась, с улыбкой взглянула на него и вышла.

Леди Кастерли в обществе Энн, которая рассудила, что гулять по саду в такую рань ново и заманчиво, критически разглядывала какие-то незнакомые ей цветы. Увидев внучку, она тотчас спросила:

— Это что такое?

— Немезия.

— В первый раз слышу.

— На них теперь мода, бабушка.

— Немезия? — переспросила леди Кастерли. — Какое Немезида имеет отношение к цветам? Терпеть не могу садовников и все эти дурацкие названия. Где твоя шляпа? Мне нравится цвет твоего платья. Смотри, пуговица расстегнута.

И, подняв сухонькую ручку, поразительно крепкую для ее лет, она застегнула предпоследнюю сверху пуговицу на корсаже Барбары.

— Ты просто цветешь, милочка. Эта женщина далеко живет? Мы идем к ней.

— Наверно, она еще не встала.

Глаза леди Кастерли зло сверкнули.

— Ты ведь так ее хвалишь. Здоровая, да к тому же порядочная женщина не станет нежиться в постели после половины восьмого. Какой дорогой ближе всего? Нет, Энн, мы не можем взять тебя с собой.

Энн пристально посмотрела на прабабушку и, помедлив, ответила:

— Знаете, я все равно не могу пойти с вами: у меня дела.

— Вот и хорошо,— сказала леди Кастерли.— Тогда беги.

Поджав губы, Энн отошла к другой клумбе с немезией и озабоченно склонилась над цветами, всем своим видом давая понять, что она нашла кое-что такое, чего еще никто не видел.

— Ого! — сказала леди Кастерли и быстро засемила к выходу из сада.

Все время, пока они шли по аллее, она придирчиво разглядывала деревья и рассуждала о том, как следует содержать парки. Экий жалкий век!— говорила она. Искусство выращивать леса, как и зодчество и многие другие занятия, требующие веры и терпеливого усердия, начисто утрачено. Когда-то она заставила дедушку Барбары изучить лесоводство — и в Кэттоне (ее имении) и даже в Рэйвеншеме на деревья любо поглядеть. А в Монкленде они мерзостно запущены. Ведь тут растет, например, лучший итальянский кипарис во всей Англии, а как за ним ухаживают? Просто стыд и срам!

Барбара слушала и лениво улыбалась. Бабушка очень забавна, когда она вот так воинственно настроена и кипит и сыплет нарочито грубоватыми выражениями, словно она, которая, как никто, владеет искусством утонченно сдержанной беседы и изысканной французской речью, вдруг вздумала дать себе волю. Девушку, которой все еще мерещилось, что она может летать, опьяненную свежим дыханием летнего утра, эти чудачества слегка потешали. Но в какую-то минуту, когда бабушка замолчала, взгляд Барбары застиг ее врасплох: лицо ее омрачали решимость и тревога, казалось, она сомневается в своих силах; и в мгновенном прозрении, какое нередко озаряет женщин — даже таких юных, — перед Барбарой вдруг мелькнула зловещая тень смерти, подобная бледному призраку, и она пожалела леди Кастерли. «Бедная бабушка,— подумала она,— как горько быть старой!»

Но тут они вступили на тропинку, которая, пересекая одну за другой три поляны, тянувшиеся по ко-со-го-ру, вела к домику миссис Ноуэл. Здесь, среди несчетного множества крохотных желтых чашечек, полных холодной сверкающей росы, все источало такой нежно-зо-

лотистый свет, липы и ясени стояли в таком сияющем ореоле, так чудесно пахло запоздалым дроком и боярышником, и на каждом дереве так зазывно распевали серые птички, что огорчаться было просто невозможно.

В дальнем краю первой поляны стояла гнедая кобылка и, наставив уши, прислушивалась к какому-то отдаленному, ей одной внятному звуку. Увидав неожиданных гостей, она прижала уши и покосилась на них злым блестящим глазом. Они прошли мимо и вступили на вторую поляну. А когда дошли до ее середины, Барбара сказала негромко:

— Бабушка, там бык.

В стороне, шагах в двухстах, за кустами и в самом деле стоял огромный бык. Теперь он медленно двинулся на них; это был великан красно-бурой масти, с могучим загривком и грудью, из-за которых именно это, а не какое-нибудь другое животное стало символом грубой силы.

Леди Кастерли строго его оглядела.

— Не люблю быков,— сказала она.— Кажется, мне придется пятиться.

— Не выйдет, бабушка, подъем слишком крутой.

— Но я не намерена поворачивать обратно. С какой стати тут бык? Кто его сюда пустил? Я об этом еще поговорю. Стой смирно и смотри прямо на него. Не дадим ему подойти ближе.

Они стояли смирно и смотрели на быка, а он все-таки шел на них.

— Он все равно идет,— сказала леди Кастерли.— Не будем обращать на него внимания. Я обопрусь на твою руку, дорогая; у меня что-то с ногами.

Барбара обняла ее за плечи. Они пошли дальше.

— В последнее время я совсем отвыкла от быков,— сказала леди Кастерли.

Бык приближался.

— Бабушка, вы идите потихоньку к изгороди. А после вас и я перелезу.

— Ничего подобного! Мы пойдем вместе. Не обращай на него внимания — это самое главное.

— Бабушка, милая, послушайте меня, я вас прошу. Я знаю этого быка, это наш.

Почуввав недоброе в словах внучки, леди Кастерли кинула на нее острый взгляд.

— Одна я не пойду,— сказала она.— Теперь я уже крепко стою на ногах. Если надо будет, мы можем и побежать.

— Бык тоже.

— Я не оставляю тебя одну,— проворчала леди Кастерли.— Если он разъярится, я с ним поговорю. Меня-то он не тронет. А ты быстрее меня бегаешь. Нечего спорить.

— Не выдумывайте, бабушка. Я не боюсь быков. В глазах леди Кастерли блеснули веселые искорки.

— Да, я чувствую,— сказала она.— Дрожишь не хуже меня.

От быка их отделяли теперь каких-нибудь восемьдесят шагов, а до изгороди оставалось добрых сто.

— Скорей, бабушка, идите и перелезайте, не то я брошу вас и пойду ему навстречу. Не упрямитесь!

В ответ леди Кастерли обхватила внучку за талию; нервная сила ее худых рук была поразительна.

— Не фокусничай, пожалуйста,— сказала она.— Я знать не хочу этого быка. И смотреть на него не стану.

Бык затрусил неторопливой рысцой — он двигался прямо на них.

— Не обращай внимания,— сказала леди Кастерли, прибавляя шаг; никогда еще она не ходила так быстро.

— Тут подъема нет,— сказала Барбара.— Вы можете бежать?

— Попробую,— выдохнула леди Кастерли. И вдруг почувствовала, что ноги ее оторвались от земли и она как будто летит к изгороди. Сзади слышался шум, потом голос Барбары:

— Стойте! Вот он! Спрячьтесь за меня!

Ее схватили и сжали две руки, как-то странно вывернутые. К ней прислонилось что-то мягкое, и она поняла, что они с внучкой стоят спина к спине.

— Пусти! — выдохнула она.— Пусти!

Тут она почувствовала, что ее подталкивают к изгороди.

— Брысь! — крикнула она.— Брысь!

— Бабушка, не надо! — слышался спокойный, хоть и задыхающийся голос Барбары.— Вы только дразните его. До перелаза далеко?

— Шагов десять,— тяжело дыша, ответила леди Кастерли.

— Тогда осторожнее!

Что-то теплое стремительно подхватило ее — рывок, подъем, карабканье — и она уже за изгородью. А бык и Барбара остались по ту сторону, в двух шагах друг от друга. Леди Кастерли выхватила носовой платок и замахала им. Бык поднял голову; Барбара вихрем метнулась к изгороди, миг — и она уже рядом.

Не теряя ни секунды, леди Кастерли подалась вперед и заговорила.

— Ты скотина! — сказала она быку. — Я велю тебя хорошенько высечь!

Бык копытом рыл землю и сопел.

— Ты цела, детка?

— Ни царапины,— с безмятежным спокойствием, но еще не отдышавшись, ответила Барбара.

Леди Кастерли сжала в ладонях лицо девушки.

— Ну и длинные у тебя ноги! — сказала она. — Поцелуй меня!

Горячие вздрагивающие губы поцеловали ее, и, тяжелее прежнего опираясь на руку Барбары, она двинулась в путь.

— Уж этот бык! — бормотала она. — Скотина... нападать на женщин!

Барбара поглядела на нее сверху вниз.

— Бабушка, а вы не слишком переволновались?

Леди Кастерли изо всех сил сжала трясущиеся губы.

— Н-ничуть.

— Может быть, вернемся домой? Только другой дорогой?

— Ничего подобного! Надеюсь, до дома этой женщины больше не будет быков?

— А вы в силах с нею разговаривать?

Леди Кастерли провела платком по губам, пытаясь унять их дрожь.

— Вполне.

— Тогда постойте минутку, дорогая. Я вас отряхну.

Приведя в порядок запыхавшееся платье, они отправились к миссис Ноуэл.

Увидев ее домик, леди Кастерли сказала:

— Я этого не допущу. Для человека с будущим, какое

ждет Милтоуна, это невозможно. Я твердо надеюсь видеть его премьер-министром.

Барбара что-то пробормотала.

— Что ты говоришь?

— Я говорю: что нам толку от того, кто мы, если нельзя любить тех, кто нам нравится?

— Любить! Я имею в виду брак.

— Рада слышать, что и по-вашему это не одно и то же, дорогая бабушка.

— Насмешничай, пожалуйста, сколько хочешь,— сказала леди Кастерли.— Но слушай, что я тебе скажу. Преглупо думать, будто люди нашего круга вольны делать все, что им взбредет на ум. Чем скорее ты это поймешь, Бэбс, тем лучше. Я серьезно тебе говорю. Мы сохранимся как сословие, только если будем соблюдать известные приличия. Подумай-ка, что случилось бы с королевской семьей, будь им позволено жениться как попало? Все эти браки с певичками, с американскими денежными мешками, людьми с прошлым, писателями и прочее в высшей степени пагубны. Их развелось слишком много. Надо это прекратить. Когда так женятся какие-нибудь чудаки, или просто молокососы, или разные современные девицы — это еще туда-сюда, но для Юстаса,— леди Кастерли замолчала и стиснула локоть Барбары,— или для тебя такой брак невозможен. Что до Юстаса, я потолкую с этой милой особой и позабочусь, чтобы он не запутался окончательно.

Поглощенная своей задачей, она не замечала загадочной полуулыбки на губах Барбары.

— Вы бы поговорили еще с самой природой, бабушка!

Леди Кастерли круто остановилась и, закинув голову, посмотрела внучке в лицо.

— Что это у тебя на уме? Ну-ка!

Но, увидев, что Барбара крепко сжала губы, она опять стиснула ее локоть, быть может, сильнее, чем хотела, и пошла дальше.

## ГЛАВА XII

Диагноз, который леди Кастерли поставила Одри Ноуэл без особой уверенности, оказался правильным. Когда они с Барбарой входили в калитку, Одри была

уже на ногах; она стояла под липой в дальнем конце сада и не слышала последних слов, которыми они наскоро обменялись.

— Вы ее не обидите, бабушка?

— Там видно будет.

— Вы обещали.

— Хм!

Леди Кастерли не могла бы выбрать себе проводника удачнее: миссис Ноуэл всегда смотрела на Барбару с истинным удовольствием, как смотрит на женщину, полную радости жизни, та, кому судьба дала лишь доброе сердце, а в радости отказала.

Она пошла им навстречу, чуть склонив голову набок (в этой ее милой привычке не было ни капли жеманства), и остановилась в ожидании.

— У нас только что вышла стычка с быком,— неприужденно начала Барбара.— Это моя бабушка, леди Кастерли.

Увидев такую прелестную женщину, леди Кастерли несколько изменила своей обычной властности и резкости. Она с первого взгляда поняла, что перед ней отнюдь не обыкновенная искательница приключений. Леди Кастерли достаточно хорошо знала свет, чтобы понимать, что происхождение нынче значит куда меньше, чем в дни ее молодости, женитьба на деньгах и та уже давно не новость, зато приятная наружность, умение себя держать, осведомленность в литературе, искусстве, музыке (а эта женщина, кажется, как раз из таких) нередко ценятся в обществе гораздо выше. Вот почему она была и насторожена и любезна.

— Доброе утро,— сказала она.— Я о вас наслышана. Вы позволите немного отдохнуть у вас в саду? Ужасный негодник этот бык!

Так она говорила, но чувствовала себя неловко: без сомнения, эта женщина прекрасно понимает, зачем она пришла! Похоже, что эти ясные глаза видят ее насквозь; и хоть она что-то сочувственно бормочет в ответ, но, кажется, не верит ни в какого быка. Леди Кастерли стало совсем уж не по себе. И зачем Барбара упомянула этого мерзкого быка! Что ж, надо взять его за рога.

— Поди в трактир и найми для меня коляску,—

обратилась она к Барбаре.— Я скверно себя чувствую и не хочу возвращаться пешком.

Миссис Ноуэл предложила послать горничную, но леди Кастерли возразила:

— Нет-нет, моя внучка сама сходит.

Барбара удалилась с усмешкой на устах, а леди Кастерли, похлопав ладонью по деревянной скамье, сказала:

— Сядьте-ка, я хочу с вами поговорить.

Миссис Ноуэл повиновалась. И в ту же минуту леди Кастерли поняла, что ей предстоит на редкость трудная задача. Она-то думала, что встретит женщину, с которой можно будет не церемониться. А эта с ясными темными глазами и мягкой, изящной повадкой кажется такой доброжелательной — ей как будто можно бы сказать все, но, нет, не выходит! До чего неловкое положение! И вдруг она заметила, что миссис Ноуэл сидит очень прямо, так же прямо, как она сама... даже прямее. Дурной знак... чрезвычайно дурной знак! Леди Кастерли поднесла к губам платок.

— Вы, должно быть, не верите, что на нас напал бык.

— Ну, что вы. Конечно, верю.

— Вот как! Но мне надо поговорить с вами о другом.

Лицо миссис Ноуэл дрогнуло, как может дрогнуть цветок, который вот-вот сорвут, и леди Кастерли снова поднесла платок к губам. И крепко-накрепко вытерла их, словно черпая в этом силы.

— Я старуха,— сказала она.— Поэтому не обижайтесь, что бы я ни сказала.

Миссис Ноуэл молча, в упор смотрела на гостью; и леди Кастерли вдруг показалось, что перед нею уже не та женщина. Что было в этом обращенном к ней лице? Эти большие глаза, мягкие волосы... губы внезапно сжались так плотно, стали совсем тонкие, в ниточку... Странно, непонятно, но ей почудилось, что перед нею ребенок, которого больно обидели.

— Я совсем не хочу вас обижать, моя дорогая,— вырвалось у леди Кастерли.— Вы, конечно, понимаете, речь идет о моем внуке.

Но миссис Ноуэл словно бы и не слышала; и на ло-



мощь леди Кастерли пришла досада, которая тотчас овладевает стариками, когда они сталкиваются с чем-то неожиданным.

— Его имя,— сказала она,— постоянно связывают с вашим, и это ему очень вредит. А ведь вы, конечно же, не хотите ему зла.

Миссис Ноуэл покачала головой, и леди Кастерли продолжала:

— С того вечера, когда ваш друг мистер Куртье вывихнул ногу, чего только не говорят. Милтоун поступил крайне опрометчиво. Вам это тогда, должно быть, и в голову не пришло.

— Я не знала, что кому-нибудь есть до меня дело,— с нескрываемой горечью ответила миссис Ноуэл.

Леди Кастерли, не сдержавшись, досадливо отмахнулась.

— О господи! Всем на свете всегда дело до женщины без определенного положения. Живете вы одна, не вдова,— конечно же, вы всем мозолите глаза, да еще в деревне.

Миссис Ноуэл искоса посмотрела на нее долгим, ясным, холодным взглядом, который, казалось, говорил: «Даже вам».

— Я не вправе рассчитывать на вашу откровенность,— продолжала леди Кастерли,— но если вы окружаете себя тайной, надо быть готовой к тому, что люди истолкуют это наихудшим образом. Мой внук — человек самых строгих правил. У него свой, особенный взгляд на вещи, а потому вам следовало быть вдвойне осторожной, чтобы не скомпрометировать его, да еще в такое важное для него время.

Миссис Ноуэл улыбнулась. В этой улыбке ничего нельзя было прочесть, и леди Кастерли испугалась: ей почудилась в душе этой женщины скрытая сила и даже коварство. Неужели она так и не раскроет свои карты? И леди Кастерли сказала резко:

— Ни о чем серьезном тут не может быть речи.

— Вы совершенно правы.

Именно это леди Кастерли и хотела услышать, но прозвучало это так, что смысл был отнюдь не ясен. Сама порою прибегая к иронии, леди Кастерли в других терпеть ее не могла. Женщинам этот род оружия дол-

жен быть запрещен! Но в нынешние времена женщины стали какие-то помешанные, даже добиваются права голоса, и никогда не знаешь, что у них на уме. Впрочем, эта как будто не из таких. Она очень женственна... очень... из тех женщин, которые только портят мужчин, без меры их балуя. И хотя леди Кастерли пришла сюда с твердым намерением все, решительно все разузнать и положить этому конец, она испытала немалое облегчение, увидев у калитки возвратившуюся Барбару.

— Я уже могу идти,— сказала она. И, поднявшись со скамьи, с насмешливым полупоклоном бросила миссис Ноуэл: — Благодарю за приют. Дай мне руку, детка.

Барбара подала ей руку и через плечо улыбнулась миссис Ноуэл, но та не ответила на улыбку; не двигаясь, она смотрела им вслед расширенными, потемневшими глазами.

Они шли по тропинке, и леди Кастерли молча разбиралась в своих чувствах.

— А как насчет коляски, бабушка?

— Какой коляски?

— Которую вы мне велели заказать.

— Надеюсь, ты не приняла это всерьез?

— Нет.

— Ха!

Они прошли еще немного, потом леди Кастерли вдруг сказала:

— Она не так-то проста.

— И даже загадочна. Боюсь, вы не были к ней добры. Леди Кастерли подняла глаза на внучку.

— Терпеть не могу эту вашу новомодную привычку ничего не принимать всерьез. Даже быков,— прибавила она с хмурой усмешкой.

— И коляски,— откинув голову, со вздохом сказала Барбара.

Она закрыла глаза, а губы ее приоткрылись. «Очень хороша,— подумала, глядя на нее, леди Кастерли.— Я не представляла себе, что она так хороша... вот только великовата». И прикрикнула на Барбару:

— Закрой рот! Муха влетит!

Больше они не обменялись ни словом, пока не вошли в подъездную аллею. И тут леди Кастерли спросила резко:

— Кто это там идет?  
— По-видимому, мистер Куртье.  
— Что это ему вздумалось, с больной-то ногой?  
— Хочет поговорить с вами, бабушка.  
Леди Кастерли круто остановилась.  
— Ты хитрюга,— сказала она.— Прехитрая хитрюга.  
Смотри, Бэбс, я этого не потерплю!  
— Не придется терпеть, бабушка,— шепнула Бэбс.—  
Я вас от него избавлю.  
— И куда только смотрит твоя мать! — рассердилась леди Кастерли.— Много воли тебе дает. Ты ничуть не лучше, чем была она в твои годы!  
— Хуже! Сегодня ночью мне снилось, что я могу летать.  
— Только попробуй,— сурово сказала леди Кастерли,— увидишь, чем это кончится! Доброе утро, сэр! Напрасно вы не в постели.  
Куртье приподнял шляпу.  
— Смею ли я нежиться в постели, когда вы уже на ногах! — И мрачно прибавил: — С угрозой войны покончено!  
— А-а, значит, вам здесь больше нечего делать,— сказала леди Кастерли.— Теперь вы, надо полагать, вернетесь в Лондон.  
Тут она взглянула на Барбару: странно, глаза у нее полуприкрыты, а губы улыбаются... Кажется, она даже покачала головой — или, может быть, это только почудилось?

### ГЛАВА XIII

По милости леди Вэллис, покровительницы птиц, в Монкленде сов не стреляли, и на благо всем, кроме мышей-полевок, эти бесшумно летающие духи сумерек кричали и охотились без помехи. Невидимые, они рассажали ночную тьму, окутывавшую фермы, коттеджи и поля. Они долетали даже до каменного истукана, — быть может, эти мудрые птицы даже знали, когда и откуда он тут взялся. От домика Одри Ноуэл их было не отогнать: они облюбовали себе уютное местечко в сплошной стене старого остролиста, и казалось, они охраняют хозяйку

этого крытого соломой замка: так часто слышалось хлопанье их крыльев, так негромко и протяжно они перекликались, точно часовые на посту. Теперь, когда установились теплые дни и полевки радовались жизни и были в самом соку, совы находили их на редкость лакомым блюдом, и каждая пара вскармливала ими своих ненаглядных птенчиков — очень важных, головастых и глазастых и пока еще не знавших, что делать со своими крыльями. Начиная с полудня (ибо тут были и рогатые совы, которые не боятся света) и до ночи, когда все засыпает и никто их не слышит, они кричали неугомонно, приветствуя большую, молчаливую бескрылую птицу, которая днем бесшумно скользила над мышиными норками, а утром и вечером, примостившись в большой квадратной дыре наверху стены, чистила свои перья — то белые, то голубые, то серые. И они никак не могли понять, почему эта благородная сова никогда не охотится и не издает протяжных криков.

Вечером того дня, когда Одри Ноуэл посетили столь ранние гости, едва стемнело, она завернулась в длинную легкую накидку, набросила на темные волосы черное кружево и выпорхнула на дорожку, будто желая присоединиться к важным крылатым охотникам непроглядной ночи. Далекие немолчные шумы деревенской жизни, стихающие лишь после захода солнца, в этот час уже не тревожили воздух, благоухающий маем, точно женское платье тончайшими духами. Лишь лай собак, гудение майских жуков, лепет ручья да клики сов говорили о том, что во тьме бьется нежное сердце ночи. И ни проблеска, чтоб разглядеть ее лицо; неведомое, оно таилось от всех взоров, и, когда из чьего-нибудь окошка пробивался луч света, казалось, будто бродячий художник создал картину из камня и листвы на фоне черной пустоты, оправил ее в пурпур и так и оставил висеть. Но кто сумел бы взглянуть поближе, тот понял бы, что ночь взволнована, как эта женщина, что бродит во тьме, пугливо сторонясь прохожих, и, порой наклоняясь над папоротниками, пытается охладить росой пылающее лицо, и снова идет торопливыми шагами в надежде утолить жар сердца. Ничто не могло бы вернее этой мятущейся тени выразить дух безликой ночи, ее сокровенные желания, неуловимый трепет ее темных

крыльев, ее тайный и страстный бунт против своей безликости...

В Монкленде в то утро ни у кого, кроме Энн, не было охоты разговаривать: все чувствовали, что надо действовать, но никто не знал, как. За завтраком единственным намеком на то, что волновало всех, был вопрос Харбинджера:

— Когда возвращается Милтоун?

Ему ответили, что была телеграмма, видимо, он придет сегодня вечером.

— Чем скорей, тем лучше, — негромко сказал Уильям. — У нас есть еще две недели.

Но по тону этого опытного политика все почувствовали, что он считает положение весьма серьезным.

Если к «утке» о миссис Ноуэл прибавить провал военной угрозы, было о чем беспокоиться.

С дневной почтой пришло письмо от лорда Вэллиса с пометкой «Срочное».

Леди Вэллис встревожилась, взяв его в руки, и по мере того, как она читала, тревога все усиливалась. Ее красивое, цветущее лицо стало печальным, что бывало не часто. Но, надо сказать, неприятную новость она приняла с истинным достоинством.

«Юстас объявил о своем намерении жениться на этой миссис Ноуэл, — гласило письмо. — К несчастью, я совершенно не знаю, как этому помешать. Если ты сумеешь вызвать его на разговор, непременно постарайся его разубедить... Дорогая моя, хуже просто быть не может».

Поистине, хуже ничего быть не могло! Если Милтоун решил жениться на ней, еще не зная об оскорбительной сплетне, какова же будет его решимость теперь? И тут леди Вэллис пришла в негодование. Нет, этого брака не будет! Против него восставало все существо этой женщины, практической не только по характеру, но и по образу жизни и по воспитанию. Ее горячую, полнокровную натуру влекло к радостям любви, и не будь она столь практична, эта сторона ее характера была бы серьезной помехой уверенному ходу ее жизни, протекавшей на виду у общества. Сама не чуждая этой опасности, она особенно остро чувствовала, чем грозит любому политическому деятелю предосудительная связь, а тем более женитьба. К тому же были задеты ее материнские

чувства. Никогда она не любила Юстаса так нежно, как Берти, но все же ведь он ее первенец! И, узнав эту новость, означавшую, что она окончательно его теряет, ибо это, разумеется, будет «единение двух душ» (или как там говорится), она ощутила острую ревность к женщине, завоевавшей любовь ее сына — любовь, которую ей, матери, завоевать не удалось. И эта ревнивая боль придала ее лицу выражение одухотворенности, но оно тут же сменилось досадой. С какой стати Юстасу жениться на этой особе? Все можно уладить. Люди уже говорят о незаконной связи: что ж, пусть эта выдумка станет правдой. На худой конец здешний избирательный округ — еще не вся Англия. А такая связь долго не продержится. Все что угодно, только не этот брак, который всю жизнь будет Милтоуну помехой. Но такая ли уж это помеха? В конце концов красота ценится высоко! Только бы ее прошлое не было слишком скандальным! Но что же все-таки у нее в прошлом? Какая нелепость до сих пор ничего не знать! Вот беда с людьми, которые не принадлежат к свету, — о них так трудно что-нибудь разузнать! И в леди Вэллис поднялась злость, чуть ли не ярость, столь легко вспыхивающая в людях, которым едва ли не с пеленок внушают, что они — соль земли. С такими чувствами леди Вэллис передала письмо дочерям. Они прочли и, в свою очередь, передали его Берти; он, прочитав его, молча вернул листок матери.

Но вечером в бильярдной, устроив так, чтобы оказаться вдвоем с Куртье, Барбара сказала ему:

— Ответите ли вы на мой вопрос, мистер Куртье?

— Если только смогу.

На ней было темно-зеленое, очень открытое платье с огненной искрой под стать ее волосам, и вся она — в великолепии темного, молочно-белого и золотого — была ослепительна; она застыла, прислонясь к бильярду и с такой силой сжимая его край, что ее нежные сильные пальцы побелели.

— Мы только что узнали, что Милтоун хочет просить руки миссис Ноуэл. Люди никогда не окружают себя тайной, если у них нет на то веских причин, не правда ли? Скажите мне, кто она такая?

— Я что-то не понимаю, — пробормотал Куртье. — Вы сказали, он хочет на ней жениться?

Барбара протянула руку, словно умоляя сказать правду.

— Но как же ваш брат может на ней жениться... она замужем!

— Как?!

— Мне и в голову не приходило, что вы даже этого не знаете.

— Мы думали, что она разведенная.

На лице Куртье появилось выражение, о котором уже приходилось упоминать,— злая, отчаянная насмешка.

— Ага. Сами себе вырыли яму. Обычная история. Стоит хорошенькой женщине поселиться одной — и злые языки сделают остальное.

— Не совсем так,— сухо сказала Барбара.— Говорили, что виновная сторона не она, а муж.

Пойманный на том, что, по обыкновению, забежал вперед, Куртье закусил губу.

— Лучше уж я расскажу вам ее историю. Отец ее был сельский священник, друг моего отца, так что я знал ее еще девочкой. Стивен Ли Ноуэл был его помощником. Это была скоропалительная свадьба — Одри едва минуло двадцать, и у нее, в сущности, просто не было знакомых мужчин. Ее отец заболел и хотел перед смертью видеть ее пристроенной. Ну, и, как очень многие, она почти сразу поняла, что совершила роковую ошибку.

Барбара чуть подалась к нему.

— Что это был за человек?

— Неплохой в своем роде, но один из тех ограниченных, добросовестных тупиц, из которых выходят самые невыносимые мужья — безмерные себялюбцы. Если таким оказывается священник, это безнадежно. Все, что ему положено делать и говорить, лишь усугубляет дурные стороны его характера. У такого человека жена — все равно что рабыня. В конце концов ей стало невтерпех, хотя она из тех, кто тянет лямку, пока не свалится. Ему понадобилось четыре года, чтобы это понять. И тогда встал вопрос: как быть дальше? Он очень ортодоксален, не признает расторжения брака. По счастью, задето было его самолюбие. Словом, два года назад они разъехались, и вот она на мели. Говорят, сама виновата. Надо было знать, что делаешь,— в двадцать-то лет! Надо было

тянуть лямку дальше, молчать, и терпеть, и не показывать виду. Будь они неладны, толстокожие благодетели, где им понять страдания впечатлительной женщины! Простите меня, леди Барбара... Не могу я говорить об этом спокойно.— Он умолк. Потом, видя, что она не сводит с него глаз, продолжал: — Ее мать умерла при ее рождении, отец — вскоре после ее свадьбы. К счастью, у нее достаточно своих средств, чтобы жить хоть не в роскоши, но безбедно. Муж ее перевелся в другой приход, где-то в Мидленде. Его, беднягу, тоже, конечно, жалко. Они не видятся и, насколько я знаю, не переписываются. Вот вам, леди Барбара, и вся история.

— Благодарю вас,— сказала Барбара и пошла из комнаты.— Какой ужас! — негромко вырвалось у нее уже в дверях.

Но он не знал, чем вызвано это восклицание: судьбой ли миссис Ноуэл, ее мужа или мыслью о Милтоуне.

Она озадачивала его своим почти суровым хладнокровием — как она умеет не выдать свои чувства! Но какой женщиной стала бы она, если не дать тлетворной великосветской жизни обезличить ее, иссушить ей душу! Как оплодотворил бы эту душу восторг, сумеет он туда проникнуть! Барбара напоминала ему большую золотистую лилию. И точно лилия, освобожденная от корней и от теснившей ее тщательно обработанной почвы, на которой ее взрастили, она представлялась ему вольно парящей в чистом, незамутненном воздухе. Каким пылким, благородным созданием стала бы она! Какое сияние и аромат исходили бы от нее! Душа лилии! Сестра всем благородным и лучезарным цветам, чьим благоуханием напоен мир!

Куртье стоял в оконной нише и глядел в безликую ночь. Он слышал крики сов и чувствовал, как где-то во тьме бьется сердце ночи, но не находил ответа на свои вопросы. Смогла бы она, эта девушка, эта большая золотистая лилия, не внешне только, а всем существом забыть о своем высоком круге и стать просто женщиной, которая дышит, страдает, любит, радуется заодно с поэтической душой всего человечества? Отважилась бы она разделить жизнь маленькой кучки больших сердец — тех, кто отверг всякие привилегии и преимущества? Вот уже двадцать лет Куртье не бывал в церкви, ибо, по его



мнению, переступить порог мечети в его отечестве нельзя, не сняв обувь свободы, но Библию он читал, видя в ней великое поэтическое творение. И сейчас слова древней книги не шли у него из головы: «Истинно говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство божие». Глядя в ночь, во тьме которой, казалось, хранились ключи ко всем тайнам, он пытался разгадать будущее этой девушки, словно от этого зависело решение другой, великой загадки: насколько в этом мире дух способен высвободиться из пут материи.

Ночь вдруг встрепелась — и из самых глубин, словно со дна морского, всплыла луна, сбрасывая с себя бледную мантию тумана, пока наконец не засияла, обнаженная, на занавесе неба. Теперь ночь уже не была безликой. Перед глазами Куртье в полутьме сада медленно возникла статуя Дианы, а за нею, словно ее храм, поднялся ввысь острый шпиль кипариса.

#### ГЛАВА XIV

Номер газеты, где описывалось вечернее приключение Милтоуна, попал ему в руки, только когда он уже собирался в обратный путь. Заметка была отчеркнута синим карандашом, и к ней приложена записка:

«Дорогой Юстас!

Эта дерзость, как бы она ни была безосновательна, требует внимания. Но мы ничего не станем предпринимать до твоего возвращения.

Твой Уильям Шроптон».

Быть может, Милтоун отнесся бы к этому иначе, если бы не его решение просить руки Одри Ноуэл; впрочем, вероятно, при любых обстоятельствах он только улыбнулся бы и разорвал газету. Подобные вещи так мало его волновали и огорчали, что он просто не понимал, насколько они могут взволновать и огорчить других. Если есть люди, которых это задевает, тем хуже для них. Милтоун искренне, хоть и молчаливо, презирал обывателей, к какому бы слою общества они ни принадле-

жали; он и не подумал бы ни на шаг свернуть с избранного пути в угоду их блажи. Точно так же ему и в голову не приходило, что миссис Ноуэл, которую он окружил столь романтическим ореолом, способна страдать из-за каких-то пошлых сплетен. В сущности, из этих двух бумажек его больше раздосадовала записка Шроптона. Как это похоже на зятя — делать из мухи слона!

Он почти не сомкнул глаз, пока автомобиль мчался мимо спящих полей и деревень; и, добравшись до своей комнаты в Монкленде, он тоже не лег. Чудесное, окрыляющее волнение владело им — волнение человека, который вот-вот достигнет цели. И мысль и чувства обострились — ибо такова была эта женщина; при ней все его существо должно было жить полной жизнью, и он был счастлив, что она так много от него требует.

Выпив чаю, он вышел из дому и зашагал знакомой тропинкой. Не было еще и восьми часов, когда он поднялся на ближний холм. Он стоял на вершине, и вересковая пустошь внизу, и каменистые холмы вокруг, и небо над головой — все было под стать владевшему им восторгу. Словно звучала прекрасная симфония, или возвышенный разум открылся ему в необъятном величии, словно сам бог предстал перед ним во всей своей многоликости. В бескрайней синеве небес был разлит покой; на востоке три огромных облака, точно мысли о судьбах тех, что пребывают внизу, медленно плыли к морю, тенями своими покрывая долины. А все вокруг сияло в солнечных лучах и переливалось всеми красками, словно осиянное улыбкой божества. Ветер с севера, где птичьей стайкой белели мелкие облачка, проносился в вышине, вольный, бесшумный, не зная преград. Перед Милтоуном пестрела равнина, подернутые дымкой зеленые, розовые, бурые поля, белые и серые крапинки домов, церквей и постепенно терялись в туманной синей дали, замкнутой грядой дальних гор. А позади зыбилась одна лишь волнистая, поросшая вереском лилово-коричневая пустошь. В этом буйном море плещущего на ветру кустарника не видно было ни одного корабля, созданного руками человека, лишь далеко на горизонте темнела мрачная громада Дартмурской тюрьмы. Ни звука, ни запаха не долетало до Милтоуна, и ему казалось, что дух его, покинув телесную оболочку,

сливается с величием божества. Так он стоял, обнажив голову, и, однако, странная улыбка, которая всегда появлялась на его губах в минуту глубокого волнения, говорила о том, что он не покорился божьему величию, что дух его от этого слияния только крепнет — и это и есть подлинный, тайный источник владеющего им экстаза.

Милтоун лег среди камней. Лучи солнца проникали и сюда, но ветер не задувал, и молодые побеги вереска пахли терпко и сладко. И это тепло и аромат пронизывали щит его духа и прокрадывались в кровь; пламенные видения вставали перед ним, ему мерещилось нескончаемое объятие. Такое объятие и породило жизнь, из которой возник весь этот мир с несчетными формами бытия, столь бесконечно разными, что ни для одной не сыщешь двойника. И они двое тоже дадут жизнь новым людям, которые со временем займут их место в этом великом и сложном многообразии! Это казалось таким удивительным и справедливым — ибо лишь те достойны существовать, кто передаст из поколения в поколение традиции, представляющиеся ему великими и необходимыми. А потом его захлестнула волна страстного желания, с каким ему так часто приходилось бороться и которое он так часто с огромным трудом преодолевал. Он вскочил и побежал под гору, прыгая через камни и кустики вереска.

Одри Ноуэл тоже поднялась спозаранку, хотя накануне легла поздно. Она одевалась лениво, но тщательно, ибо принадлежала к числу тех женщин, которые надевают броню в поединке с судьбой, потому что они горды и не хотят видом своих страданий доставлять страдания другим, и еще потому, что собственное тело для них подобно священному сокровищу, доверенному им на некий срок для того, чтобы радовать глаз. Кончив, она посмотрела на себя в зеркало несколько более недоверчивым взглядом, чем обычно. Она чувствовала, что женщин, подобных ей, теперь не слишком ценят, и, чуткая и восприимчивая, была неизменно недовольна и внешностью своей и поведением. И, однако, она ни в чем не менялась, по-прежнему хотела выглядеть как можно очаровательней; и, даже если некому было ею любоваться, ей все равно хотелось быть очаровательной. Как тонко подметила леди Кастерли, Одри Ноуэл была из

тех женщин, которые своей излишней мягкостью только портят мужчин, и отнюдь не из тех, кто умеет постоять за себя: мужчин, которые ценят в женщине самостоятельность, она не привлекала; и, однако, чувствовался в ней какой-то совершенно неожиданный кроткий стоицизм. Она редко сама принимала решение и обычно покорялась обстоятельствам или чужой воле, но то, что было решено за нее, доводила до конца с твердостью, которая посрамила бы самого решительного человека; она не способна была кого-либо о чем-либо просить, но все ее существо жаждало любви, как растение жаждет воды; она могла отдавать себя без остатка и при этом ничего не требовала взамен; короче говоря, она была неискоренима, и тем, кто ее понимал, это в ней нравилось. И, однако, она была не совсем то, что принято называть «милочка» — выражение, которое сама она не переносила: была в ней еще и жилка своеобразного, мягкого цинизма. Она обладала поразительной зоркостью, как будто родилась в Италии, и душу ее все еще окутывал прозрачный воздух, в котором все видится так ясно и отчетливо. Она любила свет, тепло, яркие краски; если ей и свойствен был мистицизм, то мистицизм языческий; и она мало к чему стремилась, довольствуясь миром таким, каким он представлялся перед нею.

В это утро, надушившись геранью и покончив с другими невинными ухищрениями, без которых даже лучшая из женщин чувствует себя неуверенно, она спустилась в свою маленькую столовую, зажгла спиртовку и, просматривая газету, стала ждать, когда можно будет заварить чай.

Этот ранний час был ей всего милее. Пусть в ее собственной жизни не осталось ни капли утренней росы, но росной свежестью сверкал по утрам лик самой природы и лепестки цветов в саду; и у Одри оставалась эта радость — видеть, как просыпаются крохотные зеленые создания, сколько новых родилось с рассветом, кому из них плохо, кто требует внимания. И каждое утро ей, как всем одиноким людям, начинало казаться, что она не одинока, — чувство, которое рассеивается лишь постепенно, по мере того, как приближается вечер и вновь убеждаешься в этой печальной истине. Не то чтобы время

ее проходило в праздности: через Куртье она получила работу в одной газете для женщин — писала музыкальные обзоры. Она была просто создана для этого. Это занятие, уход за цветами, игра на фортепьяно и помощь некоторым соседям-фермерам заполняли чуть ли не все время Одри. А она только того и хотела, чтобы занята была каждая минута, ибо ей, как всем, чей ум несколько ленив, свойственна была эта страсть к работе, не требующей выдумки и новых решений.

Вдруг она отбросила газету, подошла к столику, на котором накрыт был завтрак, вынула из вазы с цветами две веточки лаванды и, брезгливо держа их подальше от себя, вышла в сад и выкинула их за ограду.

Уничтожить две жалкие веточки, едва увидевшие свет и с самыми лучшими намерениями поставленные в вазу заботливой горничной, — очень странный и неожиданный поступок со стороны женщины, глаза которой сияют радостью при виде каждого цветка и которая старается никогда никого не обидеть. Но лавандой всегда пахли носовые платки и одежда ее мужа, с этим запахом было связано слишком многое, и Одри его не выносила. Ничто другое не напоминало ей так ясно человека, жизнь с которым постепенно превратилась в пытку. Словно раскованный этим запахом, на нее нахлынул поток воспоминаний. Воспоминания тех трех лет, когда она сделала открытие, что обречена на пожизненную каторгу, стиснула зубы и решила все терпеливо сносить; и воспоминание о том, как все это внезапно оборвалось и она бежала, чтобы в одиночестве хоть немного прийти в себя. И о том, как в первый год освобождения, которое отнюдь не было настоящей свободой, ей дважды пришлось искать себе новое убежище, чтобы уйти от сплетен — не потому, что она стыдилась своего прошлого, но потому, что оно напоминало ей о том, как она несчастна. И как наконец она перебралась в Монкленд, где мирное уединение помогло ей понемногу оправиться от пережитого. А потом встреча с Милтоуном; неожиданный подарок судьбы — его дружба; откровенная радость первых четырех месяцев. Она вспоминала, как, еще не думая о любви, даже не подозревая о ней, втайне безмолвно ликовала оттого, что она не одна на свете, что в ее жизнь вошел близкий человек. И вот однажды,

ровно три недели назад, когда Милтоун помогал ей подвязывать розы в саду, нечаянное прикосновение открыло ей глаза. Но даже тогда — и до того памятного вечера, до происшествия с Куртье, — она не смела себе в этом признаться. Больше озабоченная теперь его судьбою, чем своей, она тысячи раз спрашивала себя: не дурно ли она поступила? Она ему позволила себя полюбить — она, женщина, лишенная всех прав, она, чья жизнь кончена. Это тяжкий грех! Но ведь все зависит от того, что она готова ему отдать! А она рада отдать все, ничего не прося взамен. Он знает, как сложилась ее судьба, он сам сказал, что ему все известно. Она счастлива этой любовью, и будет счастлива, и готова страдать ради нее, и ни о чем не пожалеет. Милтоун не ошибался, веря, что газетные сплетни не могут задеть Одри, хотя причины ее неуязвимости были совсем иные, чем он предполагал. Не в том дело, что она, как и он, считала подобное вмешательство в чужую личную жизнь чем-то низменным, пошлым и не стоящим внимания, — столь возвышенные и отвлеченные соображения пока не приходили ей в голову; она не огорчилась просто потому, что душой уже всецело принадлежала Милтоуну, и почти обрадовалась, когда его собственностью объявили и все остальное. Но ее охватила тревога за Милтоуна. Она поняла, что роняет его в глазах людей и, быть может (ибо, как это ни странно, она была практична и очень трезво смотрела на вещи), надолго испортит ему карьеру.

Она села пить чай. Не слезливая от природы, она страдала молча. Без сомнения, Милтоун скоро придет. Что ему сказать? Конечно же, она значит для него не так много, как он для нее! Он мужчина, а мужчины забывают быстро. Но нет, он не такой, как другие. По глазам его сразу видно, что он способен глубоко страдать! О своем добром имени она ни минуты не думала. И сама жизнь, и присущий Одри трезвый взгляд на вещи убедили ее, что пресловутое доброе имя женщины вовсе не так уж важно, — его выдумали мужчины для своего удобства; в романах, в пьесах, в зале суда они из самых корыстных побуждений курят фимиам этому молью траченному божку. Чутье подсказывало ей, что мужчинам необходимо верить, будто для женщины страшно важно слыть добродетельной и неприступной: ведь

только так они могут спокойно, ничего не опасаясь, владеть своими женщинами. А во что они хотят верить, в то и верят. Но она знала правду. Женщины выдающегося ума, которых ей случалось встречать и о которых она читала, как видно, мало значения придавали физической верности или неверности, женская честь была для них прежде всего понятием духовным. А по себе Одри знала, что для обыкновенной женщины сохранить доброе имя значит не уронить себя в глазах того или той, кого любишь больше всех на свете. Что до женщин, искушенных в жизни — а таких очень много и кроме светских львиц, и все они очень разные, — она часто замечала, что им важна их репутация не сама по себе, но как некая коммерческая величина: не как венец добродетели, но как ценность, которую можно продать. Одри ничуть не опасалась того, что могут сказать о ее дружбе с Милтоуном, и вовсе не думала, что брачные узы, которые она бессильна расторгнуть, запрещают ей его любить. В глубине души она чувствовала себя свободной с той самой минуты, как поняла, что никогда по-настоящему не любила мужа; она безропотно тянула лямку, пока они не разъехались, по прирожденной пассивности и потому, что причинить кому-нибудь боль было противно ее натуре. Человек, который и поныне считался ее мужем, был для нее попросту мертв, как будто он никогда и не существовал. Она знала, что не может второй раз выйти замуж. Но она может любить и любит. И если этой любви суждено зачахнуть и умереть, то уж никак не из-за высоконравственных соображений.

Она лениво развернула газету и под заголовком «Предвыборные новости» увидела следующую заметку:

«В связи с нападением на мистера Куртье нас просят сообщить, что спутницей лорда Милтоуна, пришедшего на помощь пострадавшему, была миссис Ли Ноуэл, супруга преподобного Стивена Ли Ноуэла, приходского священника в Клесемптоне, графство Уорикшир».

Эта сомнительная попытка обелить ее лишь вызвала у Одри невеселую улыбку. Не допив чай, она вышла в сад. Милтоун открывал калитку. Сердце ее заколотилось. Но она спокойно пошла ему навстречу и поздоровалась, опустив глаза, с таким видом, словно ничего не случилось.



Восторженное настроение все еще не оставляло Милтоуна. Его всегда бледное лицо покраснелось, глаза блестели, он был почти красив; и Одри Ноуэл, которая, как немногие женщины, умела по лицу прочесть то, что творится в душе, смотрела в эти глаза с упоением мотылька, летящего на огонь. Но в голосе ее не слышалось ни малейшего волнения, когда она сказала:

— Итак, вы со мной позавтракаете. Как мило с вашей стороны!

Милтоун был не из тех, кто, бросаясь в бой, заботится о формальностях. Если бы ему предстояла дуэль, он тоже обошелся бы без долгих предисловий; довольно было бы взгляда, поклона — и скрестились шпаги! Так же случилось и в этом его первом поединке с душою женщины.

Он не сел сам и не дал ей сесть; глядя на нее в упор, он сказал:

— Я вас люблю.

Вот оно — и так внезапно, врасплох; но Одри не смутилась, она была странно спокойна. Теперь она твердо знает, что любима, и это такое счастье, что, словно по мановению волшебной палочки, рассеялись все страхи, осталась тихая радость. Ничто не отнимет у нее этого знания — и отныне она уже никогда не будет до конца несчастна. Притом, не рассуждая, всем существом она принимала в жизни одну лишь силу — любовь и теперь втайне ощущала небывалую уверенность, торжество. Он ее любит! И она любит его! И тут ей стало страшно: вдруг он отречется от своих слов? Она положила руку ему на грудь и сказала:

— И я вас люблю.

Так сладостно было оказаться в его объятиях, ощутить всю страстную полноту этой минуты, что Одри, не в силах ни о чем думать, только смотрела на него; губы ее приоткрылись, глаза потемнели; Милтоун и не подозревал, что взгляд может сказать так много. А сам он, обезумев от любви, не мог вымолвить ни слова. И так они стояли обнявшись, поглощенные друг другом, забыв обо всем на свете. В комнате царила тишина; розы и гвоздики в хрустальной вазе, словно зная, что их



хозяйка на верху блаженства, источали благоухание, напоившее до отказа недвижный воздух, и залетная пчела вновь и вновь описывала круги вокруг влюбленных, словно чуяла мед в их сердцах.

Как уже говорилось, Милтоун не был некрасив; для Одри Ноуэл в эти минуты, когда глаза его совсем близко смотрели в ее глаза и губы касались ее губ, он преобразился и стал воплощением красоты. А она — она, чье сердце торопливо стучало так близко, чьи глаза полужакрылись от счастья, волосы благоухали, словно желая, чтобы ими восхищались, щеки побледнели от волнения и руки, отяжелев от блаженной слабости, не в силах были его обнять, — казалась Милтоуну олицетворенной мечтой.

И мгновение миновало.

Его оборвала пчела: в досаде на цветы, которые скрывают свой мед так глубоко, она запуталась в волосах Одри. И тогда Одри увидела, что слова — а что может быть опаснее слов — вот-вот сорвутся с его губ, и попыталась остановить их поцелуем. И все же он сказал:

— Когда вы станете моей женой?

Мир словно пошатнулся. И Одри сразу поняла, какая над ними стряслась беда. Со сверхъестественной ясностью увидела она, как все запуталось. В памяти вспыхнуло то, что он сказал однажды, когда они говорили об отношении церкви к браку и разводу. Так, значит, он ничего не знал! Голова у нее закружилась, и только одно спасло ее от обморока — чувство юмора, ее своеобразный цинизм. Итак, сплетники сделали свое дело — объявили ее разведенной женой, а Милтоун поверил молве! И всего смехотворнее, что он хочет жениться, тогда как она в мыслях уже принадлежит ему, и это для нее свято, и она рада исполнять все его желания без каких-либо обрядов и церемоний. Гневная досада на человека, который стоял между нею и Милтоуном, всколыхнулась в ней, и она едва не разрыдалась. Тот человек завладел ею прежде, чем она успела узнать свою душу, и вот она связана с ним до тех пор, пока он, волею благодатного случая, не расстанется с жизнью, — но тогда ее волосы уже побелеют, и в глазах угаснет пламя любви, и щеки уже не будут бледнеть под поцелуями; сгу-

стятся сумерки, и цветам и пчелам не будет до нее дела.

Эта внезапная вспышка отчаяния и гнева пожизненно осужденной придала ей силы: она взяла со стола газету и протянула ее Милтоуну.

Он прочел короткую заметку. Прошла целая вечность — минута, быть может, две. Наконец он сказал:

— Очевидно, это правда? — и, не дождавшись ответа, прибавил: — Простите.

Это прозвучало так странно, так коротко и сухо — страшнее самого яростного возгласа, — что у Одри перехватило дыхание и она только молча смотрела ему в лицо.

На губах Милтоуна, точно жгучее обвинение, заиграла усмешка старого кардинала. Непостижимо, что за окном по-прежнему жужжали пчелы и шелестела листвою липа, и весь мир жил и дышал, нимало не заботясь о ней, о ее горе. Потом к Одри вернулась доля мужества и с ним — безмолвная женская власть. Прекрасное неподвижное лицо, сжатые губы, потемневшие глаза, горящие чуть ли не мятежным огнем под изогнутыми бровями, неудержимо притягивали Милтоуна.

Наконец он прервал молчание:

— Как видно, я преглупым образом ошибся. Я полагал, что вы свободны.

— Я думала, вы знаете. Я и не подозревала, что вы захотите на мне жениться, — едва шевеля губами, ответила она.

Ей казалось вполне естественным, что он думает только о себе; но, движимая инстинктом самозащиты, она напомнила и о своей трагедии:

— Должно быть, я слишком привыкла к мысли, что моя жизнь кончена.

— И нет никакого выхода?

— Нет. Ни я, ни он ни в чем не провинились; и он считает, что брак вечен и нерасторжим.

— О боже!

Она все-таки стерла с его губ усмешку, жестокую усмешку, хоть он этого и не признавал; и с улыбкой, в которой тоже была жестокость, Одри сказала:

— А я думала, что в этих случаях и вы не видите выхода.

Потом лицо ее дрогнуло, словно, ранив Милтоуна, она ранила и себя.

Теперь, глядя на нее, он понял наконец, что она страдает. Одри почувствовала, что ему огромного труда стоит не заключить ее снова в объятия. И холодные губы ее вновь порозовели, и опять засветились глаза, но она упорно не желала встречаться с ним взглядом. И хотя она застыла в гордой неподвижности, какая-то скорбная сила исходила от нее, притягивая Милтоуна точно магнитом; и его лицо и руки задрожали. Казалось, никогда не кончится этот немой, горестный поединок в белой комнатке, где было полутемно, оттого что свет за-слоняла веранда, и сладко пахло гвоздикой и дровами, разгоравшимися, должно быть, на кухне. Внезапно, не сказав ни слова, Милтоун повернулся и вышел. Она услышала стук — это хлопнула калитка. Ушел.

## ГЛАВА XVI

Лорд Деннис удил на муху; день был слишком солнечный, чтобы надеяться, что некрупная форель, какая водилась в этом мелком, говорливом ручье, жадно набросится на столь малозаметную приманку. И, однако, рыболов забрасывал тихонько свистящую леску во все новые закоулки, надеясь перехватить подводных путников. Он пробирался по берегу среди орешника и терновника, в костюме из грубой шерсти и старой, мятой шляпе, и чувствовал себя совершенно счастливым. Точно старый спаньель, который когда-то гордо приносил хозяину подстреленных зайцев, кроликов и прочую дичь, а теперь рад, если ему бросят хотя бы палку, и этот некогда прославленный рыбак, совершавший набеги на воды Шотландии и Норвегии, Флориды и Исландии, теперь не брезговал форелью размером с сардинку. Тысячи волшебных воспоминаний озаряли эти часы, которые он проводил у темного ручья. Он удил неторопливо, благоговейно, точно добрый католик, снова и снова перебирающий четки, удил так истово, словно вполне серьезно, без единой жалобы готовился выудить сам себя в лучший мир. И каждая пойманная рыбка доставляла ему глубочайшее удовлетворение.

Как было бы хорошо, если бы в это утро рядом с ним была Барбара! Но он только раз после завтрака украдкой взглянул на нее, когда она не могла этого заметить, и, криво усмехнувшись, ушел один. Внизу, у ручья, все пестрело пятнами света, проходящего сквозь листву, было безветренно, тепло и вместе с тем прохладно; ветви деревьев смыкались над водой, среди множества камней образовались маленькие заводи, покрытые рябью, и не так-то просто было забросить муху. Лощина эта, заросшая кустарником, тянулась на многие мили среди теснящихся друг к дружке холмов. Ее облюбовали сойки; зато здесь было безлюдно, лишь в лачуге, соломенная крыша которой спускалась чуть не до земли, жила вдова фермера; она кормилась тем, что указывала дорогу горожанам, приезжавшим отдохнуть на лоне природы, да так ловко, что они вскоре возвращались к ней напиться чаю.

Стараясь забросить удочку подальше, в затененный, покрытый мелкой рябью уголок, лорд Деннис вдруг услышал громкий шорох и треск — кто-то шел напролом сквозь кусты. Он слегка нахмурился: распугают всю рыбу! Нежданным гостем оказался Милтоун — разгоряченный, бледный, растрепанный, какой-то словно затравленный. При виде дядюшки он круто остановился и тогда, как под маской, укрылся под своей обычной улыбкой.

Лорд Деннис был отнюдь не склонен замечать то, что для него не предназначено.

— А, Юстас! — сказал он только, словно встретился с племянником где-нибудь в лондонском клубе.

Милтоун не менее учтиво пробормотал:

— Надеюсь, я не спугнул вашу добычу.

Лорд Деннис покачал головой и отложил удочку со словами:

— Присаживайся, дружок, поболтаем. Ты ведь не рыболов?

Он прекрасно разглядел боль под маской Милтоуна; у него и сейчас еще был острый глаз, к тому же он и сам лет двадцать страдал из-за женщины — теперь это была уже старая история — и для человека его лет на удивление чутко подмечал признаки страдания в других.

Милтоун ни от кого не принял бы такого приглаше-

ния, но было что-то в лорде Деннисе, перед чем никто не мог устоять; его суховатая, насмешливая учтивость заставляла каждого почувствовать, что ослушаться его было бы неслыханной, непозволительной грубостью.

Они сидели бок о бок на древесных корнях. Поговорили немного о птицах, потом умолкли, да так основательно, что, осмелев, невидимое население ветвей стало громко перекликаться. Наконец лорд Деннис прервал молчание.

— Этот уголок всегда напоминает мне Марка Твена,— сказал он.— Сам не знаю почему, разве, может быть, тем, что здесь всегда зелено. Люблю Твена и Мередита — вечнозеленых философов. Мужество — единственное спасение от всех бед, хотя «сильную личность» — повелителя своей души, вроде Хенли, Ницше и прочих, — я никогда не переваривал, эти мне не по нраву. А твое мнение, Юстас?

— У них были благие намерения,— ответил Милтоун,— но они против слишком многого восставали.

Лорд Деннис кивнул.

— Быть повелителем своей души! — с горечью продолжал Милтоун.— Недурно звучит!

— Очень недурно,— пробормотал лорд Деннис.

Милтоун покосился на него.

— И к вам подходит.

— Ну, нет, мой милый,— сухо сказал лорд Деннис.— Слава богу, ничего похожего.

Взгляд его был прикован к тишайшей, светлой заводи, где всплыла из глубины крупная форель. Полфунта потянет, не меньше! Мысли его лихорадочно закружились: какая из мух, наколотых у него на шляпе, тут самая подходящая? Руки так и чесались, но он не шелохнулся, и ясень, под которым он сидел, сочувственно зашелестел листвою.

— Смотрите, ястреб,— сказал Милтоун.

Прямо над ними, выше самых высоких холмов, повис в синеве ястреб-канюк. Удивленный их неподвижностью, он присматривался, не съедобны ли они; только раз дрогнули загнутые кверху кончики широко раскинутых крыльев, словно в доказательство, что обладатель их — живая частица гордого воздушного океана, символ свободы в глазах людей и рыб.



«ПАТРИЦИИ»



«ПАТРИЦИИ»



Лорд Деннис посмотрел на внучатого племянника. Мальчику (а кто же он, как не мальчик, если ему тридцать, а тебе уже семьдесят шесть?)—что бы там с ним ни случилось — очень и очень нелегко. Он такой — будет бежать, пока не упадет замертво. Таким труднее всего помочь, это злосчастная порода, из-за всего-то они мучаются! И перед мысленным взором старика предстал терзаемый орлом Прометей. Это была его любимая трагедия, он и сейчас время от времени ее перечитывал в подлиннике, заглядывая в старый греческий лексикон, когда значение какого-нибудь слова уносили воды Леты. Да, Юстас рожден для взлетов и падений.

— Ни о чем таком говорить тебе, должно быть, не хочется? — спросил он негромко.

Милтоун покачал головой, и опять наступило молчание.

Ястреб, увидев, что они зашевелились, медленно взмахнул крыльями, словно бабочка, и исчез. А вместо него с обросшего мхом, обрызганного жаркими солнечными пятнами камня на них смотрела любопытная малиновка. В том тихом заливчике снова плеснуло.

— Она выскакивает уже второй раз,— прошептал лорд Деннис.— Пожалуй, она клюнет на «Радость рыболова».

Он извлек из шляпы последнюю новинку, привязал к леске и начал тихонько раскачивать удочку.

— Сейчас подцеплю,— пробормотал он.

Но Милтоуна уже не было...

Новая подробность биографии миссис Ноуэл, уже известная Барбаре и сообщаемая местной газетой, стала достоянием обитателей Монкленда лишь после того, как лорд Деннис отправился удить рыбу. Одновременно выяснилось, что Милтоун вернулся из Лондона и тут же ушел, не позавтракав, и потому новость вызвала смешанные чувства. Берти, Харбинджер и Шроптон, наскоро посоветовавшись, сошлись на том, что с точки зрения предстоящих выборов, пожалуй, это лучше, чем если бы миссис Ноуэл оказалась *divorcée*<sup>1</sup>, но все же полагали, что нельзя терять ни минуты,— хотя, как тут следует поступить, они решить не могли. Совершенно не из-

---

<sup>1</sup> Разведенная жена (франц.).



вестно, как к этому отнесется Милтоун при его трудном характере, а сверх того, задача оказалась дьявольски запутанной, как всегда в тех случаях, о которых справедливо говорится: чем меньше слов, тем меньше вреда. Пред ними встала самая страшная угроза — угроза публичного скандала. Изложить голые факты, не подчеркивая вытекающую из них мораль (а блюсти правила морали обязаны все без исключения), изложить их просто как некие занятные сведения, либо — того хуже — в искренней уверенности, что избиратели не должны слепо голосовать за человека, чья личная жизнь боится гласности, — не правда ли, как все законно и естественно! И, однако, сторонники Милтоуна понимали, что это простое сообщение о том, где он проводит вечера, опасно, как спичка в пороховом погребе, ибо действует на ту область людского воображения, которую легче всего воспламенить. Они хорошо знали, сколь силен некий первобытный инстинкт, который правит миром, сколь трудно ему не покориться и сколь любопытно и увлекательно, особенно в глуши, видеть или слышать, как ему покоряются другие — и сколь это с их стороны предосудительно (хотя втайне, конечно, можно на это смотреть и по-иному). Сторонники Милтоуна слишком хорошо знали, как по душе придется кое-кому этот слух, как будут облизываться добродетельные ханжи. И знали также, как заманчива эта тема для читателей, наделенных хоть малой толикой воображения: представитель высшего общества, стало быть, человек, который не привык ни в чем себе отказывать, бывает у одинокой женщины! Как выразился Харбинджер, положение и впрямь до черта неловкое. Если отвечать на газетную заметку, еще больше народу поверит, что это чистая правда. А между тем она отравляет умы, это они чувствовали и по себе: тайный голос твердил каждому, что они и сами всему поверили бы, не зная они настоящей правды. И не решаясь что-либо предпринять, они в растерянности ждали Милтоуна.

Леди Вэллис встретила новость вздохом величайшего облегчения, но заметила, что это, вероятно, просто очередная выдумка. Когда же Барбара подтвердила, что газета не лжет, она сказала только: «Бедный Юстас!» — и тотчас написала супругу, что Незнакомка все еще за-

мужем, а значит, самого худшего, к счастью, можно не опасаться.

Милтоун вернулся домой ко второму завтраку, но по его лицу и поведению ничего нельзя было угадать. Он был, пожалуй, чуть словоохотливей обычного и стал рассказывать о речи Брэбрука — часть ее он слышал. Он многозначительно поглядывал на Куртье, а после завтрака спросил:

— Не заглянете ли ко мне?

Эта комната в елизаветинском крыле Монклендской усадьбы была когда-то гостиной, и ее заполняли гобелены, вышивки и молитвенники прекрасных дам, утопавших в кружевах и оборках; теперь их заменили книги, брошюры, дубовые панели, трубки, рапиры, а одну стену занимала коллекция, которую Милтоун вывез из Соединенных Штатов, — оружие и украшения индейцев. На этой стене надо всем царила бронзовая посмертная маска знаменитого вождя племени апашей — копия гипсового слепка, сделанного профессором Йэльского университета, который объявил покойного вождя идеальным представителем вымирающей расы. Лицо это, пугавшее странным сходством с Данте, словно накладывало на все в комнате отпечаток какого-то жестокого и трагического стоицизма. Взглянув на него, нельзя было не почувствовать: вот воплощение несокрушимой воли, дающей человеку силы вынести непосильное.

Куртье, увидевший эту маску впервые, сказал:

— Превосходная штука! Кажется, вот-вот оживет. Милтоун кивнул.

— Садитесь, — предложил он.

Куртье сел.

Последовало долгое молчание — в такие минуты люди, даже очень разные, но которых роднит известная широта души, многое могут без слов сказать друг другу.

Наконец Милтоун заговорил:

— Как видно, до сих пор я витал в облаках. Вы ее старый друг. Самое важное сейчас — так сделать, чтобы эта мерзкая сплетня задела ее возможно меньше.

Слово «мерзкая» прозвучало, как удар хлыста. Даже и сам Куртье не сумел бы вложить в него больше презрения.

— Не обращайтесь внимания;— сказал он Милтоуну.— Пусть их болтают. Она из-за этого волноваться не станет.

Милтоун слушал молча, с каменным лицом.

— Ваши здешние друзья, кажется, очень всполошились,— чуть презрительно продолжал Куртье.— Не давайте им вмешиваться, пускай помалкивают. Отнеситесь к этой сплетне, как она того заслуживает. Она заглохнет сама собой.

Милтоун скептически улыбнулся.

— Я не уверен, что все выйдет, как вы говорите,— сказал он.— Но я последую вашему совету.

— Что до вашей кандидатуры, всякий, кто не совсем чужд благородства, именно теперь вас и поддержит.

— Возможно,— сказал Милтоун.— Но меня все-таки не изберут.

И, смутно почувствовав, что в их последних словах сказалась вся разница характеров и убеждений, они испытующе посмотрели друг на друга.

— Нет,— сказал Куртье,— никогда не поверю, что люди так низки.

— Пока не увидите этого своими глазами.

— Ну, хоть мы и подходим к этому по-разному, в главном мы согласны.

Милтоун облокотился на каминную доску и заслонил лицо рукой.

— Вы знаете ее судьбу,— сказал он.— Есть какой-нибудь выход?

На лице Куртье появилось выражение, с каким он всегда сражался на стороне тех, кто проигрывает: на него словно лег жаркий отсвет огня, пылавшего в его сердце.

— Выход только один,— сказал он спокойно.— По крайней мере, так поступил бы я на вашем месте.

— А именно?

— Не посмотрел бы ни на какие законы.

Милтоун отнял руку от лица. Взгляд его, устремленный куда-то вдаль, вновь обратился на Куртье.

— Да,— сказал он.— Другого я от вас и не ждал.

В эту ночь, когда все в доме стихло, Барбара в халате, с распущенными волосами, выскользнула из своей комнаты в полутемный коридор. Неслышно ступая в обшитых мехом домашних туфлях на босу ногу, она тихо переходила от одной двери к другой. В высокое, незавешанное готическое окно вливался мягкий лунный свет. Барбара остановилась у той двери, перед которой на полу растеклось лунное пятно, и постучала. Никакого ответа. Она осторожно приотворила дверь.

— Юсти, ты спишь?

Опять никакого ответа; она вошла.

Занавеси были задернуты, но пробившийся между ними луч падал на кровать. Она была пуста. Барбара стояла в нерешительности, прислушиваясь. В самой глубине этой тьмы ей почудилось что-то — не звук, но словно еле уловимая тень звука, странная дрожь, — так беззвучно трепещет в воздухе язычок свечи. Барбара прижала руку к груди, сдерживая стук сердца — казалось, оно вот-вот выпрыгнет, прорвав тонкий шелк. Из какого угла комнаты исходит этот безмолвный трепет? Она подкралась к окну, слегка раздвинула занавеси и обернулась, вглядываясь в темноту. В другом конце комнаты, прямо на полу, обхватив голову руками, лицом к стене лежал Милтоун. Барбара выпустила занавеси и замерла, у нее перехватило дыхание; незнакомое чувство шевельнулось в ней — протест, уязвленная гордость. Но тотчас все захлестнула жалость. Она быстро шагнула вперед, в темноту, и остановилась: ей стало страшно. Весь вечер брат был точно такой же, как всегда. Быть может, чуть больше говорил, чуть больше язвил, чем обычно. И вот что с ним теперь! Барбаре от природы было отпущено не так уж много почтительности, но все, сколько было, безраздельно принадлежало старшему брату. Еще совсем девочкой она чувствовала, что он особенный, недоступный, и с гордостью целовала его — ведь он никому другому не позволял себя целовать! Несомненно, эта детская ласка радовала ее как завоевание: лицо Милтоуна было для ее губ неведомой страной. Она любила Милтоуна, как любишь то, что возвышает тебя в собственных глазах; и притом было в ее

чувстве к нему что-то покровительственное, материнское, точно к кукле, которая немножко не в ладах с другими куклами, и толика непривычного благоговения.

Посмеет ли она ворваться в эту его тайную муку? Что, если бы ее кто-нибудь застал вот так поверженной страданием? Он ее не слышал, и она стала отступать к двери. Но под ногой скрипнула половица; Юстас шевельнулся, и она, отбросив все свои страхи, опустилась подле него на колени:

— Это я, Бэбс!

Не будь в комнате такая непроглядная тьма, она никогда бы на это не осмелилась. Она хотела прижать к себе голову брата, но не нашла ее в темноте и ощутила под рукой его плечо. И стала снова и снова гладить его по плечу. Не возненавидит ли он ее за это на всю жизнь? Какое счастье, что здесь такая тьма, кажется, будто ничего не происходит — и в то же время от этого еще страшнее. И вдруг плечо Юстаса ускользнуло из-под ее руки. Барбара поднялась и тихо вышла. После темной комнаты коридор показался ей полным серого туманного света, словно призрачные пауки заткали его от стены до стены, и в этих сетях бьется несчетное множество белых мотыльков, таких крохотных, что их и не разглядеть. Всюду чудились какие-то едва уловимые шорохи. Барбару вдруг охватил страх, захотелось тепла, света, ярких красок. Она кинулась к себе. Но уснуть не могла. Ее преследовал тот пугающий незримый трепет в комнате, полной мрака, — словно язычок свечи дрожит в недвижимом воздухе; она еще чувствовала на своей щеке пылающую руку брата; вновь и вновь пронзало ее все пережитое в те страшные минуты. Жестокая сила любви впервые открылась ей во всем своем скорбном неистовстве. Вот он каков, алый цветок страсти, одним лишь видом своим он опалил ей щеки; она лежала в прохладной постели, а по всему телу опять и опять пробежала мгновенная жгучая дрожь; невидящими глазами она смотрела в потолок. Быть может, та женщина, которую так любит Юстас, тоже лежит сейчас без сна, распростертая на полу, в напрасной жажде прохлады и покоя прижимаясь пылающим лбом и губами к холодной стене?

Долгие часы Барбара не могла уснуть, а потом ей

пригрезилось, что она отчаянно, изо всех сил бежит по лугам, поросшим высокими колючими цветами, похожими на асфодели, а за нею гонится ее двойник.

Утром ей страшно было сойти вниз. Как встретиться с Милтоуном теперь, когда она знает о сжигающей его страсти и он знает, что она знает? Она попросила, чтобы завтрак принесли ей в комнату. Не успела она кончить, как вошел Милтоун. Он казался особенно недоступным, чтобы не сказать насмешливым.

— Если поедешь кататься, вот записка, отвези, пожалуйста, старику Холидею в Уиппинкот,— попросил он.

И Барбара поняла: самым своим приходом он сказал все, что хотел сказать о тех горестных ночных минутах. Да, конечно, о том, что было ночью, надо молчать, иначе просто нельзя будет смотреть друг другу в глаза. И, благодарно поглядев на брата, она взяла записку.

— Хорошо, отвезу.

Милтоун неторопливо обвел взглядом комнату и вышел.

А Барбара осталась растревоженная, лишенная покрова безмятежной уверенности, охваченная непривычным тревожным ожиданием: вот сейчас перед нею затрепещут пестрые крылья жизни и прозвучит их порывистый шелест. В это утро ее злило каждое слово окружающих: вечно те же разговоры о том, что происходит сегодня и что будет завтра, все принимают мир таким, как он есть, и ничего другого не желают. На прогулку она выехала одна. Ей хотелось услышать не о том, что есть, но о том, что может быть, проникнуть взором сквозь завесу и подсмотреть сокровенную суть вещей, освобожденную от будничной оболочки. Необычное для Барбары настроение; ведь в этом прекрасном, безупречно здоровом теле кровь так спокойно струилась по жилам, что странно было ей не наслаждаться настоящей минутой и ее дарами. Она и сама понимала, как необычно то, что с ней творится. После прогулки верхом она отказалась от второго завтрака и пошла побродить. Но часа в два, изрядно проголодавшись, зашла в первый попавшийся дом и попросила стакан молока. На кухне, на скамье перед очагом, где пылал огонь, точно три галчонка с жад-

ными клювами, сидели три паренька и жевали хлеб с сыром. Над головами у них висело охотничье ружье, в дыму коптились два окорока. Черноволосая девушка резала лук, у ног ее лежала старая-престарая овчарка, положив морду на вытянутые лапы,— в маленьких голубых глазах старого пса мерцало предчувствие надвигающейся вечности. Все уставились на Барбару. А один паренек радостно улыбнулся ей, и улыбка так и осталась на его лице; он явно забыл обо всем на свете и видел только ее одну. Барбара выпила молока и неторопливо вышла; спустилась по крутой каменистой тропинке с холма, вышла за ворота и села на нагретый солнцем камень. Солнечные лучи жадно набросились на нее, словно быстрая незримая рука скользила по ней, всего нежней касаясь лица и шеи. Тихий, ласковый ветерок, что летал меж холмов, играя молодым папоротником, прильнул к ней, обдал терпким и свежим ароматом. Все дышало теплом и покоем, лишь где-то далеко в кустах терновника,— словно эти колючие ветви отвел ей сам творец,— куковала кукушка, тревожа сердце. Но как ни был свеж, напоен благоуханием этот чудесный день, он не приносил Барбаре успокоения. По правде говоря, она и сама не знала, что с ней, только ощущала какую-то тревогу, тоскливую пустоту в душе и жгучую досаду... бог весть на кого и на что. Мучительное чувство,— казалось, что-то ускользает от нее, безвозвратно проходит мимо. Никогда еще она не испытывала ничего подобного, ибо не было на свете девушки, меньше склонной к беспричинной грусти и сожалениям. И все время она невольно сжимала губы и хмурилась, презирая себя за излишнюю чувствительность и малодушие. В ней всегда воспитывали преклонение перед «твердостью», которую никак нельзя было совместить с нахлынувшими на нее сейчас чувствами, и потому она прислушивалась к себе насмешливо и недоверчиво. Не терпеть чувствительности и сумасбродства ни в себе, ни в других — таково было первое правило: никогда не распускаться. Вот почему Барбаре было чуть ли не отвратительно ее новое настроение. И, однако, справиться с ним не удавалось. Тогда она решила махнуть на все рукой и дать себе полную волю. Развязав шарф, она подставила ветру обнаженную шею и раскинула руки, словно готовая его об-

нять; потом со вздохом поднялась и побрела дальше. Ей вспомнилась Незнакомка, и она снова и снова думала о том, в каком положении очутилась эта женщина. Уже одна мысль, что молодое, красивое существо лишено всех радостей жизни, пробуждала в Барбаре досаду и гнев: попробовали бы проделать такое с нею! Она бы им показала! При всей своей тщательно воспитываемой «твердости» Барбара не могла видеть чьих бы то ни было страданий. Всякое страдание казалось ей противоестественным. Приходя в больницу, где на средства леди Вэллис содержалась целая палата, или на виллу, куда летом привозили детей-калек, или на благотворительный концерт для изнуренных тяжелым трудом рабочих, Барбара каждый раз чувствовала такую жгучую жалость, что у нее перехватывало дыхание. Однажды, когда она пела в концерте, вид всех этих худых, бледных лиц так потряс ее, что она забыла и слова и мелодию и, внезапно замолчав, подарила своих слушателей улыбкой, которая, быть может, была им дороже недопетого романса. И каждый раз после подобного зрелища она уносила в душе возмущение, чуть ли не ярость, и продолжала заниматься благотворительностью лишь потому, что знала: в ее кругу не принято от этого уклоняться.

Но не жалость и не возмущение заставили ее остановиться у домика миссис Ноуэл; и не любопытство. Просто ей очень захотелось пожать этой женщине руку.

Одри Ноуэл, видимо, приняла свое горе, как умеют это делать только женщины, неспособные за себя постоять: она вела себя так, как будто ничего не произошло, разве что побледнела немного да плотно сжаты были губы.

В первую минуту обе молчали и не решались посмотреть друг другу в глаза. Наконец Барбара порывисто шагнула к Одри и поцеловала ее.

После этого, точно двое детей, которые сперва целуются, а потом уже знакомятся, они отступили на шаг и, чуть улыбаясь, молча смотрели друг на друга. Поцелуй этот, полный неподдельной нежности и понимания, словно означал: мы обе — женщины, весь мир против нас, но мы заодно; а через минуту обеим стало немного неловко. Обменялись бы они поцелуем, будь судьба не так же-



стока? Разве он не знак случившейся беды? Так говорила улыбка миссис Ноуэл, и улыбка Барбары невольно подтверждала ее правоту. Обе поняли, что разговор возможен лишь самый простой, обыденный, и заговорили о музыке, о цветах, о том, какие забавные мохнатые лапки у пчел. Глаза Барбары улыбались, держалась она легко и непринужденно и, однако, поневоле замечала каждую мелочь, по которой женщина всегда угадывает, что творится в душе другой женщины. Она видела, как еле заметно подергиваются уголки рта, как внезапно расширяются и темнеют глаза и судорожный вздох колеблет тонкую блузку. И воображение, подстегиваемое памятью о минувшей ночи, рисовало ей эту женщину во власти воспоминаний о любви. В ней шевельнулась нетерпеливая досада, с какою прирожденный завоеватель смотрит на натуры безвольные и покорные,— быть может, к досаде примешивалась и капля зависти.

Что бы ни решил Милтоун, эта женщина всему подчинится! Такая покорность, хоть она и упрощала дело, оскорбляла Барбару, ибо какая-то часть ее существа возмущалась всякой бездеятельностью и восставала против каждого, кто подавляет чужую волю, хотя бы это был и ее любимый брат.

— Неужели вы все стерпите?— воскликнула она.— Неужели не попыдаете освободиться? Будь я на вашем месте, я бы не успокоилась, пока не добилаь бы свободы.

Но миссис Ноуэл не ответила; и, охватив ее взглядом с головы до ног, нежную, женственную, всю в белом, с короной мягких темных волос, Барбара воскликнула:

— Я вижу, вы фаталистка!

И вскоре после этого, не зная, о чем еще говорить, простилаь и ушла. Но по дороге домой, в полях, где на легких качелях ветерка весело качалось лето и где уже не было грозного быка, одни бурые коровы щипали лютики и повитель — Барбара неотступно думала над этим неожиданным открытием: оказывается, в мягкости и покорности таится особая сила! Словно в белой стройной фигуре и в голосе Незнакомки она увидела и услышала что-то нездешнее, непостижимое и все же несомненное.

Разговоры о войне утихли, и, получив возможность отдохнуть от государственных дел, лорд Вэллис в пятницу вечером возвратился домой. Сказать, что узнав, что миссис Ноуэл не свободна, он испытал чувство облегчения, было бы слишком мягко. Его взгляды на неравные браки были не столь старомодны, как взгляд его тещи, он готов был признать, что кастовая замкнутость отжила свое, и только посмеивался и пожимал плечами при виде многочисленных союзов, с помощью которых аристократия поправляет свои денежные дела; притом как специалист он не раз говорил об опасных последствиях частых браков в одном и том же узком кругу; но собственная семья — совсем другое дело, тут он был весьма чувствителен; пожалуй, тому виной было еще и замужество Агаты: Шроптон, конечно, славный малый и богат чрезвычайно, но все же он всего лишь третий баронет, а предки его были уж вовсе не знатного происхождения. Нет, если к тому не вынуждают материальные обстоятельства, не следует выходить за пределы своей среды. Сам он их не преступил. И надо же считаться с чувствами окружающих!

Наутро, еще до завтрака, лорд Вэллис пошел взглянуть на собак и, беседуя с псарем и лаская влажные носы двух своих любимых пойнтеров, почувствовал себя как школьник, отпущенный на каникулы. Красавцы пойнтеры жались к его ногам, виляли хвостами, изнемая от гордости и преданности, смотрели в лицо хозяину желтыми монгольскими глазами, и у него становилось тепло на душе, как бывает только, когда отдаешься своему заветному пристрастию. Эту пару он получил от родителей, состоящих в самом близком родстве, и огромный риск увенчался успехом. Рискнуть ли еще раз, скрестив эту породистую пару? Может быть, удастся наконец получить потомство без малейших следов рыжины в масти? Это была азартная игра, потому-то она так захватывала.

Тонкий голосок нарушил течение его мыслей; лорд Вэллис обернулся и увидел Энн. Накануне вечером, когда он приехал, она уже спала, а значит, сейчас он был для нее самой последней новостью.

Держа на руках морскую свинку, Энн быстро заговорила:

— Дедушка, тебя бабушка зовет. Она на площадке перед домом, она разговаривает с мистером Куртье. Он мне нравится, он добрый. А если я пущу свинку на землю, собаки ее укусят? Бедненькая, ее не надо кусать! Правда, она милая?

Покручивая усы, лорд Вэллис неодобрительно посмотрел на морскую свинку — он любил только тех животных, которые что-то смыслят.

Сжимая свинку в руках, точно гармонику, Энн раскачивала ее над головами пойнтеров, а те, сморщив носы и скаля зубы, следили за приманкой жадными глазами.

— Бедненькие, они хотят ее съесть, да? Дедушка!

— Что?

— Ты думаешь, новые щенятки будут все-все в пятнышках?

— Очень может быть, — все так же подкручивая усы, ответил лорд Вэллис.

— А почему ты любишь, когда они в пятнышках? Ой, они целуют Самбо! Ну, мне надо идти!

Слегка подняв брови, лорд Вэллис последовал за внучкой.

Жена увидела его и пошла навстречу. Щеки ее покраснелись, и выражение лица было решительнее обычного — так бывало всегда, когда ей противоречили. А ей только что пришлось скрестить клинки с Куртье, с которым, поскольку он первый открыл Карадокам истинное положение миссис Ноуэл, позволительна была известная откровенность. Спор возник, когда леди Вэллис самым, как ей казалось, естественным образом и без какого-либо недоброго умысла заметила, что во всем случившемся виновата миссис Ноуэл: следовало с самого начала дать Милтоуну понять, что она не свободна.

Куртье мгновенно побагровел.

— Тем, кто не испытал, каково быть одинокой женщиной, очень легко ее осуждать, леди Вэллис.

Не привыкшая к возражениям, она удивленно посмотрела на него.

— Я меньше всего склонна сурово отнестись к женщине только во имя каких-либо условностей. Но мне

кажется, такое поведение свидетельствует о бесхарактерности.

Ответ Куртье прозвучал почти грубо:

— Не все растения двужилыны, леди Вэллис. Иные, как известно, очень чувствительны.

— Вам угодно называть это столь возвышенно, но есть другое слово: слабы.

Куртье гневно выпрямился, прикусил ус.

— Каких только преступлений не совершают, прикрываясь теорией, что «выживают наиболее приспособленные»! Для всех вас, кому в жизни повезло, это очень удобная теория!

— О, об этом стоит поговорить,— сказала леди Вэллис, гордая своим самообладанием.— Мне кажется, вам не хватает умения философски смотреть на вещи.

Куртье поглядел на нее в упор. Странная, недобрая улыбка кривила его губы; леди Вэллис вдруг и встревожилась и рассердилась. Конечно, чудака вроде Куртье можно обласкать, можно даже восхищаться им, но всему есть предел. Однако она тут же спохватилась, что он гость в ее доме, и сказала только:

— В конце концов, может быть, нам и не стоит об этом говорить.

И, уже повернувшись, чтобы уйти, услышала ответ Куртье:

— Как бы то ни было, я уверен, Одри Ноуэл ни минуты не хотела ввести вашего сына в заблуждение. Для этого она слишком горда.

Хотя леди Вэллис и была задета, она не могла не оценить, как рыцарски он заступает за эту женщину.

— Мы с вами еще как-нибудь сразимся, мистер Куртье! — сказала она с вызовом.

И пошла навстречу мужу, ощущая приятный воинственный подъем, как всегда после какой-нибудь схватки.

Супруги Вэллис были добрыми друзьями. Они поженились когда-то по любви, и хоть человеку свойственно порою поддаваться соблазнам, надо считать, что союз их оказался прочным и вполне себя оправдал. Поскольку оба, занимая видное положение в обществе, вели жизнь деятельную, им не так уж много приходилось бывать вдвоем, но после этого обоим всегда прибавлялось бодрости и веры в себя. До сих пор они еще не

успели обсудить увлечение сына; и теперь, взяв мужа под руку, леди Вэллис увлекла его подальше от дома.

— Я хочу поговорить с тобой о Милтоуне, Джеф.

— Гм... да. У мальчика измученный вид. Хоть бы уж остались позади эти выборы.

— Если он потерпит поражение и не найдет себе какого-то нового серьезного занятия, он совсем изведется из-за этой женщины.

Лорд Вэллис ответил не сразу.

— Не думаю, Гертруда,— сказал он наконец.— У Милтоуна достаточно твердый характер.

— Да, конечно! Но это самая настоящая страсть. А ты ведь знаешь, он непохож на большинство молодых людей, которые довольствуются тем, что само идет в руки.

Она сказала это почти печально.

— Мне ее жаль,— задумчиво промолвил лорд Вэллис.— Право, жаль.

— Говорят, эта сплетня очень повредила Милтоуну.

— Мы пользуемся достаточным влиянием и как-нибудь справимся с этим.

— Да, но это будет нелегко. Хотела бы я знать, что Милтоун намерен делать. Ты его не спросишь?

— Лучше ты сама его спроси,— возразил лорд Вэллис.— Такие разговоры не по моей части.

Леди Вэллис смутилась.

— Знаешь, дорогой, с Юстасом мне всегда как-то неловко,— пробормотала она.— Эта его улыбка сразу выбивает у меня почву из-под ног.

— Но тут ведь, без сомнения, женское дело. Кому же с ним и говорить, как не матери.

— Будь это любой из детей, только не Юстас... С ним почему-то чувствуешь себя ужасно неуклюжей.

Лорд Вэллис искоса поглядел на жену. Под влиянием случайно брошенного слова в нем, как всегда, пробудилась критическая жилка. Неуклюжа она? Прежде ему это не приходило в голову.

— Что ж, если так надо, я с ним поговорю,— со вздохом сказала леди Вэллис.

Когда она после завтрака вошла в «берлогу» Милтоуна, он пристегивал шпоры, собираясь ехать в какую-то

дальнюю деревню. Под маской вождя апашей стоял Берти, еще более непроницаемый и подтянутый, чем всегда, в безупречно повязанном галстуке, безупречного покроя бриджах и сапогах, начищенных до такого блеска, что желтая кожа их начала отсвечивать черным. Берти Карадок не был заядлым франтом, но он, кажется, скорее умер бы, чем осрамил своим видом лошадь. Острые глаза его, тем более зоркие, что они никогда не раскрывались во всю ширь, мгновенно подметили желание матери остаться наедине со старшим братом, и он тихо вышел из комнаты.

Всех, кому приходилось иметь дело с Милтоуном, рано или поздно сбивало с толку одно малоприятное открытие: никогда нельзя было знать заранее, как он отнесется к вашим словам и поступкам. В складе ума его, как и в лице, была известная правильность, и вдруг — непонятно, как и почему — все смещалось и искажалось, точно в кривом зеркале. Без сомнения, это сказывалось наследственное своеобразное упорство, которое многим предкам Милтоуна помогло когда-то выдвинуться, ибо в жилах его текла кровь не только Фитц-Харолдов и Карадоков, но и других выдающихся родов английского королевства, и у всех у них в те века, когда главным в человеке еще не были деньги, существовал предок, обладавший нравом, быть может, не всегда приятным, но всегда напористым.

И вот леди Вэллис, хоть была она, как и подобает такой рослой, крепкой женщине, совсем не робкого десятка и терялась не часто, начала что-то лепетать о политике в надежде, что сын облегчит ей задачу. Но надежда оказалась напрасной, и леди Вэллис все больше нервничала. Наконец, призвав на помощь все свое хладнокровие, она сказала:

— Меня ужасно огорчает вся эта история, мой мальчик. Отец рассказал мне о вашем разговоре. Старайся не принимать все это слишком близко к сердцу.

Милтоун не ответил, а так как молчания леди Вэллис обычно боялась больше всего, она в поисках спасения произнесла целую речь, обрисовала сыну все случившееся в том свете, как оно ей представлялось, и закончила словами:

— Не стоит из-за этого расстраиваться.

Милтоун выслушал мать с обычным своим отчужденным видом, точно смотрел вдаль сквозь забрало шлема. Потом улыбнулся, сказал: «Благодарю» — и распахнул дверь.

Еще не понимая толком, чего от нее хотят, — по совести говоря, она вообще ничего в эту минуту не понимала, — леди Вэллис вышла из комнаты, и Милтоун притворил за нею дверь.

Десять минут спустя он и Берти уже ехали прочь от дома.

## ГЛАВА XIX

В этот день ветер, медленно, но неуклонно усиливаясь, нагнал с юго-запада стаи туч. Они рождались где-то над Атлантическим океаном и плыли, сначала легкие, быстрые, точно белые ладьи — застрельщики могучего флота, потом — все чаще, гуще, заслоняя солнце. Часа в четыре хлынул дождь, ветер с холодным шелестом и свистом нес его струи почти горизонтально. Как умирает сияющая прелесть юного лица под холодными житейскими ливнями, так умерла красота вересковой пустоши. Каменистые холмы превратились из воздвигнутых самой природой замков в уродливые серые наросты. Даль исчезла. Умолкли кукушки. Тут не было и той красоты, какая присуща смерти, ни следа трагического величия, только унылое однообразие. Но около семи часов солнце вновь пробилось сквозь серую педену и ослепительно засверкало. словно гигантская звезда, простершая лучи свои вдаль, за горизонт, и в самую недостижимую высь, сияло оно необычайным, грозным блеском; тучи, пронзенные копьями его лучей, налились оранжевым светом и словно в изумлении теснились друг к другу. Под жарким дыханием этого могучего светила вереск начал куриться, и его влажные, еще не раскрывшиеся бубенцы вспыхнули мириадами крохотных дымящихся пожаров. Вымокнув до нитки, братья молча скакали к дому. Они всегда были добрыми друзьями, но говорить им, в сущности, было не о чем: Милтоун понимал, что его образ мыслей слишком чужд Берти; а Берти даже бра-

ту ни намеком не хотел открывать своих мыслей, как не любил он делиться дипломатическими новостями, секретами конюшен и ипподромов и иными своими познаниями, ибо ему казалось, что, разделив их с другими, он уже не будет в жизни господином. Он не любил откровенничать, потому что втайне опасался утратить долю высокоименной ценимой независимости — это уязвляло странную гордость, запрятанную глубоко в тайниках его души. Но скупой на слова, он был склонен к раздумью — дар, которым нередко бывают наделены люди решительные и желчные. Однажды, отправившись на охоту в Непал, он не без удовольствия провел целый месяц с глазу на глаз с единственным слугой-туземцем, не говорившим ни слова по-английски. И когда его потом спрашивали, как он там не умер со скуки, он неизменно отвечал:

— Какая же скука? Я много думал.

Беде Милтоуна он не мог не сочувствовать как брат, но и возмущался ею как убежденный холостяк. Уж эти женщины, с ними хлопот не оберешься! Он испытывал глубочайшее недоверие к этим созданиям, которые так умеют вывернуть вас наизнанку. Берти был из тех мужчин, в которых женщина может в один прекрасный день пробудить подлинную, глубокую привязанность; но до этого дня они относятся с истинно мужским презрением ко всем женщинам без исключения. А потом ко всем, за исключением одной. Женщины как сама жизнь, за ними надо зорко следить, с осторожностью пользоваться тем, что они могут дать, и держать их в должном повиновении. Вот почему единственный намек на торе Милтоуна, которым ограничился Берти, прозвучал совершенно неожиданно:

— Надеюсь, ты бросишь это гиблое дело.

Ответом было молчание. Но когда они проезжали мимо домика миссис Ноуэл, Милтоун сказал:

— Прихвати мою лошадь; я зайду сюда.

Она сидела у фортепьяно, уронив руки на клавиши и неподвижно глядя в ноты. Она сидела так уже давно, но значки на нотных линейках все еще не дошли до ее сознания.

Когда тень Милтоуна упала на ноты, которых она не видела и при свете, она слегка вздрогнула и поднялась. Но не шагнула ему навстречу и ничего не сказала.



Милтоун, тоже не говоря ни слова, прошел к камину и остановился, глядя вниз, на пустую холодную решетку. Дымчатый кот, следивший за полетом ласточек и потревоженный приходом гостя, спрыгнул с подоконника и укрылся под креслом.

Минуты молчания, в которые решалась их судьба, показались обоим бесконечными; но ни тот, ни другая не в силах были прервать его.

Наконец, тронув Милтоуна за рукав, Одри сказала: — Вы совсем промокли!

От этого прикосновения, робкого и все же словно бы говорящего о каких-то ее правах на него, Милтоун вздрогнул. И опять они застыли в молчании, в котором только и слышалось, как кот вылизывает лапу.

Но Одри лучше умела молчать, чем Милтоун, и пришлось ему заговорить первым.

— Простите, что я пришел. Надо что-то предпринять. Эта сплетня...

— А, вы об этом...— сказала она.— Что я могу сделать, чтобы эти разговоры вам не вредили?

Настала очередь Милтоуна презрительно усмехнуться.

— О господи! Пусть их болтают.

Взоры их встретились и уже не могли оторваться друг от друга.

Наконец миссис Ноуэл сказала:

— Простите ли вы меня когда-нибудь?

— За что же... я сам во всем виноват.

— Нет, я должна была знать вас лучше.

Милтоун поморщился, словно от боли: так много было в этих словах—почти неуловимое и потрясающее признание в том, на что она была готова для него, и горькая мысль, что он не готов и никогда не был готов отстаивать свое чувство наперекор судьбе.

— Дело не в том, что я боюсь... поверьте хотя бы этому.

— Верю.

И опять долгое, долгое молчание. Но хоть они стояли так близко, почти касаясь друг друга, они уже друг на друга не смотрели. Потом Милтоун сказал:

— Что ж, простимся.

Он сказал это внятно, даже чуть улыбаясь, но губы

его искривились от боли; и лицо миссис Ноуэл стало белее платья. Но на лице этом горели огромные глаза, и казалось, в них сосредоточена вся ее жизнь, вся гордость и скорбный упрек.

Не в силах унять дрожь, яростно обхватив себя руками за плечи, Милтоун отошел к окну. За его спиной — ни единого звука. Он оглянулся: миссис Ноуэл не сводила с него глаз. Он порывисто закрыл лицо рукой и быстро вышел. Несколько минут миссис Ноуэл стояла не двигаясь; потом снова подошла к фортепьяно, и села, и опять вперила взгляд в ту же строчку нот. И кот опять прокрался к окну и стал следить за ласточками. На верхних ветвях липы медленно угасал свет заходящего солнца; потом начал накрапывать дождь.

## ГЛАВА XX

У Клода Фресни, виконта Харбинджера, в тридцать один год было, вероятно, меньше забот, чем у любого другого пэра во всем Соединенном королевстве. Благодаря одному из предков, который приобрел земли и переселился в лучший мир за сто тридцать лет до того, как на малой части его земель построен был городок Нетлфолд, а также отцу, который умер, когда сын был еще младенцем, но перед смертью очень разумно продал упомянутый городок, виконт Харбинджер, помимо своих земель, обладал весьма солидным доходом. Он был высок, хорошо сложен, с красивым, мужественным лицом, и на первый взгляд все в нем так и дышало силой, но это впечатление почему-то рассеивалось, едва он раскрывал рот. И дело было не столько в его манере говорить — быстро, небрежно, щеголяя грубоватыми новомодными словечками и все обращая в шутку, сколько в ощущении, что ум, диктующий эти речи, по самому складу своему предпочитает выбирать пути наименьшего сопротивления. И действительно, он был из тех людей, какие нередко играют видную роль в обществе и в политике просто потому, что они недурны собой, богаты, знатны, уверены в себе и довольно деятельны — отчасти по природной склонности, отчасти по унаследованной

привычке всегда идти напролом. Бездельником он, во всяком случае, не был: написал книгу, путешествовал, носил звание капитана территориальных войск, был мировым судьей, отлично играл в крикет и много ораторствовал. Сказать, что он лишь притворялся пылким сторонником социальных преобразований, было бы несправедливо. Он по-своему ими увлекался, а стало быть, не лишен был ни воображения, ни доброты. Но в нем была чересчур сильна привычка, смолоду воспитываемая в британцах его круга привилегированной школой, привычка, которая так въелась, что стала второй натурой,— все на свете оценивать с точки зрения мерок и предрассудков своей касты. Поскольку все его друзья и знакомые точно так же погрязли в этой привычке, он, естественно, ее не замечал; напротив, он весьма строго осуждал в политике всякую предубежденность и узость взглядов, которую тотчас подмечал, например, у нонконформистов или лейбористских деятелей. Никогда в жизни он не признался бы, что для него иные двери хлопнулись уже с самого его рождения, закрылись на засов его поступлением в Итон и были заперты наглухо Кембриджем. Никто не стал бы отрицать, что в нем есть немало хорошего: высокая честность, прямодушные, порядочность, душевная чистоплотность, уверенность в своих силах и при этом отвращение ко всему, что, так сказать, официально признано жестокостью; и сознание своего долга — служить государству, которое существует прежде всего для блага привилегированной школы и управляется ее питомцами; но потребовалось бы куда больше самобытности, чем Харбинджеру было отпущено природой, чтобы он сумел взглянуть на жизнь с какой-то иной точки зрения, чем та, что прививалась ему с колыбели. Чтобы до конца понять этого человека, следовало бы без предубеждения, свежим взглядом поглядеть на какие-нибудь крупные крикетные состязания, видным участником которых он бывал в школьные годы; следовало бы с какого-нибудь нейтрального места, с высоты, в час перерыва понаблюдать за стадионом, сплошь заполненным удивительной толпой, где у всех и каждого в точности та же походка, та же шляпа на голове, и на всех лицах одно и то же выражение, и у всех и каждого в точности те же верования и привыч-

ки — всеобщий стандарт, какого больше нигде и никогда не видывали с сотворения мира. Нет, среда виконта Харбинджера не благоприятствовала развитию самобытного характера. К тому же он от природы отличался скорее стремительностью, чем глубиной, и как-то так выходило, что ему почти не случалось побыть одному и помолчать. Он постоянно сталкивался с людьми, для которых политика в какой-то мере игра; все и всюду за ним ухаживали; всегда он делал, что хотел, не ведая никакого принуждения, — и остается лишь удивляться, что он обладал хоть небольшой долей серьезности. Влюблен он тоже никогда не был, и только в прошлом году впервые начавшая выезжать Барбара «положила его на обе лопатки» (как выразился бы он, если б речь шла не о нем самом). Но хоть и отчаянно влюбленный, он до сих пор не просил ее руки — у него, так сказать, не хватило времени, а может быть, и храбрости или уверенности, что иначе нельзя. Вблизи Барбары он просто не мог себе представить, как жить дальше, не зная своей судьбы; а вдали от нее испытывал чуть ли не облегчение: ведь так много всяких дел, о стольком надо поговорить, и вечно ничего не успеваешь. Но в последние две недели, когда ради Барбары Харбинджер действительно поддерживал кандидатуру Милтоуна, любовь его росла не по дням, а по часам и душевное равновесие несколько нарушилось.

Он не хотел себе признаться, что в его тревоге повинен Куртье: ведь, в конце концов, Куртье просто никто, да еще в придачу «крайний», а люди крайних воззрений вызывали у Харбинджера совсем особенное, чисто физическое чувство, отчего на губах у него начинала играть особенная улыбка и по-особенному звучал голос. И, однако, всякий раз, как он видел перед собою это живое, насмешливое лицо, в глазах его появлялся холодный, испытующий блеск, а порою и тень страха. Правда, они почти не встречались: Харбинджер целыми днями разъезжал в автомобиле и произносил речи, а Куртье целыми днями писал или ездил верхом, так как больная нога его еще недостаточно окрепла для пеших прогулок. Но раза два поздно вечером в курительной виконт затеял полушутливые споры с рыцарем безнадежных битв; и очень скоро в голосе его поневоле начала

звучать плохо скрытая досада. Непостижимо, чего ради человек тратит попусту время и силы в погоне за несбыточной мечтой! Жизнь есть жизнь, человеческую природу не переделаешь! И его безмерно злили насмешливые искорки в глазах Куртье и нотки в голосе, явственно говорившие: «Понапрасну кипятишься, мой юный друг!»

Наутро после одной из таких стычек, увидев, что Барбара выходит из дому одетая для верховой езды, Харбинджер попросил разрешения проводить ее в конюшню и пошел с нею рядом, необычно молчаливый; сердце его как-то странно сжималось, и в горле, бог весть почему, пересохло.

Конюшня в Монклэнде была не меньше иного загородного дома. Сейчас тут стояла двадцать одна лошадь, включая и пони маленькой Энн, а могли разместиться все тридцать. Во всем графстве не нашлось бы другой конюшни, построенной так высоко и просторно, с таким превосходным освещением и вентиляцией, где все так и сверкало чистотой. Право, нельзя было себе представить, как в таких хоромах лошадь может еще помнить, что она всего-навсего лошадь. Каждое утро у главного входа ставили корзинку с морковью, яблоками и кусками сахара к услугам тех, кому захочется побаловать общих любимцев.

С девяти до десяти утра они всегда были на виду: поводья привязаны к медному кольцу в стойле, голова обращена к дверям, шея изогнута, уши торчком, начищенные бока лоснятся; прислушиваясь к знакомому негромкому посвистыванию еще занятых уборкой конюхов, они раздумывали о чем-то своем, готовые приветливо закивать навстречу всякому, кто придет их навестить.

В конце северного крыла конюшни, в просторном деннике, помещался любимец Барбары — гнедой гунтер с громкой родословной: пятнадцать его предков были внесены в племенные книги и только одна шестнадцатая свежей крови текла в жилах, чтоб не портилась порода; заслышав знакомые шаги, он замер, изогнув шею. Несколько минут назад он дожевывал яблоко, лежавшее в кормушке среди прочей еды, и еще ощущал аромат этого лакомства, а слух его уже привлек близящийся звук, вместе с которым обычно появлялась морковка. Когда Барбара, отворив дверь денника, позвала: «Хэл», — он

тотчас направился к кормушке, доказывая свою независимость, но услышав: «Ах, так? Ну, хорошо же!» — повернулся и подошел к хозяйке. Выпуклые, сверкающие мягким блеском глаза, затененные густыми каштановыми ресницами, внимательно оглядели ее с головы до ног. Морковки нигде не было видно; он вытянул шею, понюхал ее талию и легонько, одними губами ущипнул руку в перчатке. Не учуяв морковки, он отдернул голову и фыркнул. Потом, осторожно переступив, чтобы не отдавить ей ногу, стал легонько подталкивать ее плечом и наконец ловко зашел сзади и задышал ей в затылок. Но и тут не пахло морковкой, и, потянувшись через плечо Барбары, он уронил капельку слюны ей на щеку. Морковка появилась на уровне ее талии, и он, свесив голову, потянулся к любимому лакомству. Почувствовав под челюстью твердое, прохладное прикосновение, опять втянул ноздрями запах и слегка подтолкнул Барбару коленом. Но морковка все не давалась, и тогда он, вскинув голову, отошел и притворился, что никого не замечает. И вдруг нечто длинное, гибкое с двух сторон обвило его шею и что-то мягкое прильнуло к носу. Он молча терпел, только прижал уши. Мягкое тихонько подуло ему в нос. Он вновь наставил уши и дунул в ответ, но сильнее, с любопытством, и мягкое отстранилось. И вдруг оказалось, что морковка уже у него в зубах.

Харбинджер, прислонясь к переборке денника, наблюдал эту сценку, и щеки его покрывала непривычная бледность. Когда все это кончилось, он вдруг сказал: — Леди Бэбс!

Голос его, наверно, и в самом деле прозвучал странно: Барбара круто обернулась.

— Да?

— Долго еще мне так мучиться?

Она не покраснела, не опустила глаз и смотрела на него почти с любопытством. В этом взгляде не было жестокости и ни тени недоброжелательства или женского коварства, но он испугал Харбинджера безмятежной непроницаемостью. Невозможно понять, что скрывается за этим спокойным взором. Харбинджер взял руку Барбары и склонился над нею.

— Вы ведь знаете мои чувства, — сказал он тихо. — Не будьте ко мне жестоки!

Она не отняла руки — видно, ей это было все равно.  
— Я ничуть не жестока.

Он поднял глаза и увидел, что она улыбается.

— Но тогда... Бэбс!

Его лицо было совсем близко, но Барбара не отшатнулась. Она только покачала головой. Харбинджер вспыхнул.

— Почему? — спросил он и, словно вдруг пораженный ее безмерной несправедливостью, выпустил ее руку.

— Почему? — повторил он резко.

Но ответом было молчание, лишь чирикали воробьи за круглым окошком да Хэл дожевывал морковку. Каждым нервом Харбинджер ощущал сладковатый, терпкий и сухой запах денника, смешавшийся с ароматом волос Барбары и ее платья. И уже почти жалобно он спросил в третий раз:

— Почему?

Заложив руки за спину, она сказала мягко:

— Дорогой мой, откуда же я знаю, почему?

Так просто было бы ее обнять, если б только он осмелился; но он не осмелился и опять отошел к переборке. Прикусив палец, он хмуро смотрел на Барбару. Она ласково гладила коня по носу, и в душе отвергнутого начало закипать что-то вроде холодного бешенства. Она ему отказала — ему, Харбинджеру! До этой минуты он не знал, даже не подозревал, как сильна его страсть. Да разве существуют для него другие женщины, когда есть на свете это юное, спокойное, улыбающееся, дышащее сладостным ароматом создание! От одного ее вида у него кружилась голова, щемило сердце и страстное томление наполняло все его существо! В эту минуту он сам себе казался несчастнейшим из людей.

— Я от вас не отступлюсь, — пробормотал он.

Барбара улыбнулась; в улыбке этой была и капелька любопытства, и сочувствие, и в то же время почти признательность, как будто она говорила: «Спасибо... как знать?»

И сразу же, держась подальше друг от друга и разговаривая только о лошадях, они направились к дому.

Около полудня Барбара в сопровождении Куртье выехала на прогулку.

Дувший три дня кряду юго-западный ветер упал,

настала лучезарная тишина, когда дышать — уже счастье. Подле ручья, струившегося по краю вересковой пустоши, у ног каменного истукана, всадники остановили лошадей и постояли, прислушиваясь, вдыхая свежесть чудесного дня. Голоса всего живого слились в нежнейший хор; лепет ручьев и ленивого ветерка, зовы людей и животных, пение птиц и жужжание пчел — все смешалось в единую гармонию, тонким покровом окутала она землю, и ни единый звук не разрывал ее. Был полдень — час тишины, но гимн во славу солнца, которого не было так долго, не смолкал ни на минуту. А под этим покровом был другой, тончайший, сотканный из душистых соков молодого папоротника, почек вереска, еще не утративших аромата лиственниц, дрока, едва начинающего буреть, и во все вплеталось дыхание боярышника, и откуда-то тянуло дымком. А над двойною одеждой земли — над убором из благоуханий и звуков — простиралось пышное покрывало воздушных высей, беспредельный задумчивый простор, который могут измерить одни лишь крылья Свободы.

Так они стояли, впивая сладость этого дня, потом, лишь изредка перекидываясь словом, поехали в глубь вересковой пустоши, к самой высокой ее точке. И здесь снова долго стояли, не спешиваясь, оглядывая даль, открывшуюся взорам. Далеко на юге и на востоке виднелось море. Под ними, на склоне холма, медленно приближаясь друг к другу, паслись два табунка необъезженных лошадей.

Куртье негромко продекламировал:

— «Так буду я петь, держа любимую в объятиях: смешаются наши стада на лугу, и далеко внизу раскинется моря божественная лазурь».

Вновь наступило молчание. Потом, пристально глядя ей в лицо, он прибавил:

— Боюсь, леди Барбара, что мы видимся наедине в последний раз. Итак, пока еще можно, я должен сказать, что преклоняюсь перед вами. Вы всегда останетесь для меня божественно прекрасной звездой. Но ваши лучи слишком ослепительны: я буду поклоняться вам издалека. Прошу вас, с вашего седьмого неба порою обращайтесь на меня снисходительный взор и хоть изредка меня вспоминайте.



Барбара замерла, слушая эту речь, в которой странно смешались ирония и горячее, искреннее чувство; лицо ее пылало.

— Да,—сказал Куртье,—только бессмертному дано заключить в объятия богиню. А я буду сидеть, скрестив ноги, за пределами владений сильных мира сего и трижды в день простираться ниц.

Барбара молчала.

— Рано поутру,—продолжал Куртье,—покинув темные, мрачные обитатели Свободы, я буду обращаться лицом к храмам великих, и там очами веры я узрю вас.

Он умолк, заметив, что губы Барбары шевельнулись.

— Прошу вас, не мучьте меня.

Куртье перегнулся в седле, взял ее руку и поднес к губам.

— Поедемте...—сказал он.

В тот вечер за обедом, сидя напротив своей внучатой племянницы, лорд Деннис всмотрелся в нее и был поражен.

«Необыкновенно красивая девочка,—подумал он.— Нет, она просто очаровательна!»

Барбару посадили между Куртье и Харбинджером. И старик своими все еще зоркими глазами внимательно наблюдал за ее соседями. Оба были внимательны к своим соседкам с другой стороны, но все время украдкой следили за Барбарой и друг за другом. Лорду Деннису все было совершенно ясно, и под его суровыми седыми усами, над аккуратной острой бородкой затаилась улыбка. Но он терпеливо выжидал, чутье рыболова подсказывало ему, что ни одного клочка водяной глади не следует оставлять без внимания; и вот наконец спокойная минута, девочку никто не занимает разговором,—посмотрим, что же вынырнет на поверхность. Барбара мирно, с аппетитом ела, как и полагается молодому здоровому существу, но взгляд ее из-под ресниц скользнул в сторону Куртье. В этом быстром взгляде лорду Деннису почудилась тревога, словно что-то волновало девушку. Тут заговорил Харбинджер, и она обернулась, отвечая ему. Лицо у нее стало спокойное, чуть улыбающееся, в нем сквозило оживление, неудержимая, почти

вызывающая радость бытия. Лорду Деннису невольно вспомнилась собственная молодость. Как они хороши, как подходят друг другу! Если Бэбс выйдет за Харбинджера, лучшей пары не найдешь во всей Англии. Он снова посмотрел на Куртье. Мужественное лицо! Говорят, опасный человек. И чувствуется в нем тщательно сдерживаемый жар... пожалуй, такой может увлечь молодую девушку! Для сугубо практичного и здравомыслящего лорда Денниса Куртье был загадкой. Наружность у него приятная, но как-то смущает эта постоянная усмешка и способность вдруг багроветь, свойственная очень вспыльчивым людям. Этот малый со своей проповедью человеколюбия того и гляди занесется бог весть куда! Лорд Деннис настороженно относился к человеколюбцам. Быть может, они оскорбляли присущее ему безошибочное чувство приличия. Всюду и везде они ищут жестокость и несправедливость, и найдя, кажется, приходят в восторг, прямо раздуваются, учуяв что-нибудь такое, — а поскольку жестокости и несправедливости вокруг немало, они так никогда и не принимают своих естественных размеров. В сущности, люди, которые живут идеями, несколько утомительны для человека, которому вполне довольно и трезвых фактов. Легкое движение Барбары вернуло лорда Денниса к действительности. Неужели обладательница этой короны золотисто-каштановых волос и дивных плеч — та самая малютка Бэбс, которая верхом на пони каталась с ним в Хайд-парке? Черт его знает, как летит время! Барбара что-то искала глазами, и, посмотрев в ту же сторону, лорд Деннис увидел Милтоуна. Какая разница между братом и сестрой! Несомненно, обоих терзает сейчас самая жгучая забота юных лет, та, что иной раз — он знал это по себе — не отпускает чуть ли не до старости. Девочка смотрит на брата как-то странно, словно просит о помощи. На своем веку лорд Деннис немало видел молодых созданий, которые, покинув убежище своей свободы, вступали в дом, где разыгрывается великая лотерея; многие вытянули счастливый билет и уже не знали больше, что значит холод жизни; а многим не повезло, и глаза их угасли в этом доме, за плотными ставнями. Мысль, что и «малютка» Бэбс вступает в эту беспощадную игру, наполнила его сердце тревожной печалью, и ему противно

стало смотреть на этих двух мужчин, подстерегающих ее, точно охотники дичь. Нет, только бы она не выбрала этого рыжего, немолодого, который может, очевидно, похвастать идеями, но отнюдь не родословной; пусть держится своего круга, пусть выйдет замуж за юнца, черт его дери, который похож на греческого бога, отпустившего усы. Старику вспомнилось, что говорила племянница недавно об этих двоих, о том, какая разная у них жизнь. Какие-то романтические представления бродят в ее голове! Лорд Деннис опять посмотрел на Куртье. Есть в нем что-то донкихотское, такие кидаются очертя голову навстречу любой опасности. Все это прекрасно, но не для Бэбс! У нее нет ничего общего с прославленной Ани-той, подругой прославленного Гарибальди. Весьма характерно для лорда Денниса — и для многих других, — что умерших борцов за свободу он ценил гораздо выше живых. Нет, Бэбс нужно куда больше или, быть может, меньше, чем такая жизнь, когда над головою звезды вместо крыши и у тебя только и есть, что твой любимый да дело, за которое он сражается. Ей нужны удовольствия, не слишком много усилий, а там и немножко власти; не та неуютная слава, что осенит когда-нибудь женщину, прошедшую через великие испытания, но слава и власть красоты, поклонение высшего света. Должно быть, эта ее прихоть (если она вообще есть) — просто плод девичьей фантазии. Ради мимолетной тени отказаться от того, что прочно и надежно? Немыслимо! И снова лорд Деннис впериł пронизательный взор в Барбару. Какие глаза, какая улыбка! Нет, это пройдет, как корь. И она выберет этого греческого бога или умирающего галла — словом, этого юнца с усиками!

## ГЛАВА XXI

Куртье покинул Монкленд только утром знаменательного дня выборов. Все последнее время его мучили угрызения совести. Колено почти зажило, и он прекрасно понимал, что его удерживает здесь одна лишь Барбара. И самый воздух этого огромного дома с целой армией слуг, которые не дают тебе пальцем двинуть самому, и ощущение, что все страсти и тяготы жизни остались за

непроницаемой стеной, безмерно раздражали его. Куртье искренне жалел людей, которые вели такое странное существование, словно задыхаясь под бременем собственной значительности. И не по своей вине. Видно, что они стараются изо всех сил. Отменные представители своей породы: не слишком изнежены и не слишком злоупотребляют роскошью — по нынешним временам, в век расточительства и мотовства, могло быть и похуже, — они явно силятся быть попроще, но от этого только больше их жаль. Судьба обошлась с ними чересчур милостиво. Чей дух способен устоять и не сломиться под натиском стольких материальных благ? Куртье, бездомному кочевнику, казалось, что перед глазами его разыгрывается очень незаметная и все же тяжкая драма; и в самом средоточии ее — девушка, к которой его так влечет. Каждый вечер, возвратясь в великолепную комнату, где так хорошо пахло и где чьи-то невидимые руки делали все, чтобы ему было удобно и уютно, Куртье думал:

«Ну, уж завтра непременно уеду!»

И каждое утро, встретясь с нею за чаем, он снова думал: «Завтра, непременно завтра!» — и в иные минуты уже спрашивал себя: «Может быть, эта жизнь меня одурманила и я становлюсь малодушным неженкой?» Ясней, чем когда-либо, он понимал, что пресловутая искусственная «твердость» патрициев — это просто особый раствор или уксус, которым они пропитываются, движимые инстинктом самосохранения, дабы уберечь от гнили и распада свою избалованную чрезмерным благополучием душу. Даже Барбара и та старается уйти в эту непроницаемую для чувства оболочку, в своеобразный панцирь недоверия ко всему, что волнует и трогает, старается презирать всякие проявления нежности и сострадания. И с каждым днем Куртье все сильнее хотелось грубой рукой сорвать эти покровы и посмотреть, способна ли она вспыхнуть, загореться какой-либо мыслью или чувством. Как ни хорошо она владела собой, он видел, что она понимает его желание сорвать с нее покровы, и ее горящие тревожным нетерпением взгляды вызывали его сделать это.

И, однако, прощаясь с нею в канун выборов, он не мог похвалиться, что ему и в самом деле удалось высечь

искру из этой души. Да в эту последнюю встречу Барбара и не дала ему случая сказать ей хоть слово с глазу на глаз; она не отходила от остальных женщин, спокойная, улыбающаяся, словно твердо решила, что не позволит ему вновь уязвить ее своим насмешливым поклоном.

Наутро он поднялся спозаранку, надеясь уехать незаметно. У крыльца ждал предоставленный в его распоряжение автомобиль, и на заднем сиденье он увидел девчурку в пышном полотняном платье, которая откинулась на подушки, так что ножки в сандалиях торчали горизонтально, словно указывая на спину шофера. Это маленькая Энн во время своего утреннего обхода обнаружила у крыльца поданную Куртье машину. Дерзкий носик обратился к гостю, дерзкий, приветливый, но не слишком приветливый голосок прозвучал почти как утешение в ушах Куртье:

— Вы уезжаете? Я могу доехать с вами до ворот.

— Какая удача!

— Да. А это весь ваш багаж?

— Увы, да.

— Но ведь у вас очень много вещей, правда?

— Сколько заслужил.

— А морских свинок вы с собой, наверно, не возите?

— Обычно не вожу.

— А мне приходится. Вот прабабушка!

В нескольких шагах от аллеи стояла леди Кастерли, объясняя рослому садовнику, как следует поступить со старым дубом. Куртье вылез из машины и подошел проститься. В ее лице и голосе, когда она с ним заговорила, сквозило какое-то хмурое дружелюбие:

— Итак, вы уезжаете! Я рада, хотя сами вы мне очень по душе,— это вы, конечно, понимаете.

— Да, конечно!

Ее глаза лукаво блеснули.

— Я уже вам говорила: людей, которые смеются, как вы, надо остерегаться!

И прибавила торжественно:

— Моя внучка будет женою лорда Харбинджера. Упоминаю об этом, мистер Куртье, для вашего душевного спокойствия. Вы человек чести; это останется между нами.

— Счастливчик Харбинджер!— сказал Куртье, целуя ей руку.

Старая леди и бровью не повела.

— Вы совершенно правы, сэр. Всего наилучшего!

Куртье с улыбкой приподнял шляпу. Щеки его горели. Он сел в автомобиль и оглянулся. Леди Кастерли уже снова наставляла садовника. Голосок Энн прервал мысли Куртье.

— Приезжайте еще. Я, наверно, буду здесь гостить на рождество, и мои братья тоже приедут, Джок и Тидди, а Кристофер нет, он еще маленький. Ну, мне пора. До свидания! А, Сьюзи!

Она выскользнула из автомобиля и подошла к бледной, худенькой дочурке сторожа, взиравшей на нее с обожанием.

Автомобиль выехал за ворота.

Будь признание леди Кастерли обдуманном заранее (а она его делать не собиралась, но уж так подействовал на нее смех Куртье), она и тогда не могла бы с большей точностью попасть в цель, ибо в нем глубоко укоренилось недоверие, почти презрение вечного скитальца к оседлым, закосневшим в неподвижности аристократам и буржуа, и присущее человеку действия отвращение ко всему, что он называл канителью. Преследовать Барбару с какими-либо целями, кроме женитьбы, и в голову не приходило человеку, не слишком чтившему общепринятую мораль, зато наделенному высокой степенью самоуважения; а хитростью оттеснить Харбинджера и жениться на Барбаре, выступив в роли какого-то пирата, тоже было вовсе не по вкусу человеку, привыкшему считать, что он не хуже других.

Он попросил шофера свернуть к домику Одри Ноуэл — не мог же он уехать, не попытавшись подбодрить этот терпящий бедствие корабль.

Увидев его, Одри вышла на веранду. Она крепко пожала ему руку тонкой, тронутой загаром рукой — рукой женщины, не привыкшей к праздности, — и по этому пожатию Куртье понял, что она ждет от него понимания и сочувствия, а такая безмолвная просьба о заступничестве неизменно пробуждала все лучшее в его душе. Он сказал мягко:

— Держитесь, пусть они не воображают, что вы па-

ли духом,—и, крепко стиснув ее руку, продолжал:—Чего ради ваша жизнь должна пройти впустую! Это просто грешно!

Он посмотрел ей в лицо и замолчал: к чему его слова, когда эти недвижные черты говорят куда больше. Он протестует как цивилизованный человек; ее лицо — протест самой природы, беззвучный крик красоты, обреченной блекнуть, не принося никому радости,— красоты, в которой сама жизнь взывает к объятию, чтобы породить новую жизнь.

— Я вот уезжаю,— сказал Куртье.— Мы с вами тут не ко двору. Вольным птицам здесь не место.

Она еще раз пожала ему руку и ушла в дом, а Куртье стоял и смотрел туда, где только что белело ее платье. Он всегда испытывал к Одри Ноуэл нежность старшего и сильного, и если бы она хоть немного пошла ему навстречу, чувство это могло бы стать более теплым. Но она давно уже, попав в столь трудное, противоестественное положение, считала его верным другом, и ни за что на свете он не спугнул бы это доверие. И теперь, когда он загляделся в другую сторону, а ее постигла еще горшая беда, в нем поднимался гнев, какой ощущает брат, когда нет для его сестры ни справедливости, ни жалости. Голос Фриса, шофера, прервал его мрачные раздумья:

— Там леди Барбара, сэр!

Проследив за его взглядом, Куртье увидел на фоне неба, на вершине холма над Причудой Эшмана, всадницу, застывшую на своем коне, точно изваяние. Он тотчас остановил машину и вышел.

Он подошел к ней; за развалинами его не было видно с дороги — благословенный случай всегда на стороне того, кто и сам ему помогает. Куртье не знал, заметила ли его Барбара; он отдал бы все, что имел (не так уж много!), лишь бы сквозь плотное серое сукно и белую кожу заглянуть в таинственную глубь ее сердца. Если бы, подобно сумасброду Эшману, разом покончить с грубой прозой и обрести блаженство той жизни, где между мужчиной и женщиной нет преград! Улыбка Барбары озадачила его — живая, смелая улыбка эта пробилась на ее губах, точно первый цветок, пробивающийся из земли назло весенним ветрам. Как понять, что она озна-





«ПАТРИЦИИ»





«ПАТРИЦИИ»

чает? А ведь он гордился своим знанием женщин, немало повидал их на своем веку. И все же только и нашелся сказать:

— Я рад, что так случилось.

Внезапно подняв глаза, он увидел, что она очень бледна и лицо ее слегка подергивается.

— В Лондоне увидимся! — сказала Барбара, тронула лошадь хлыстом и, не оглядываясь, поскакала прочь.

Куртье вернулся на дорогу и, оказавшись в автомобиле, пробормотал:

— побыстрее, пожалуйста, Фрис...

## ГЛАВА XXII

Голосование было уже в разгаре, когда Куртье приехал в Баклендбери; отчасти из вполне естественного любопытства, отчасти в тайной надежде еще раз хоть мельком увидеть Барбару, он отнес чемодан в гостиницу и решил дожидаться результатов. Потом вышел на Хай-стрит, приглядываясь и прислушиваясь. Его потрепало в жизни многими ветрами, и он давно уже утратил наивную веру в политику. Он повидал на своем веку несравненно более яркие знамена — и желтый и синий цвета, притом довольно тусклые и нечистые, не вызывали у него чрезмерного почтения. При виде их он ощущал глубочайшее философическое равнодушие. Но деваться от них было некуда, в этот день весь мир, казалось, был окрашен в желтое и синее, а третий цвет — красный, — принятый обеими партиями, отнюдь не означал, что каждая признает в другой какие-то достоинства; скорее напротив — что каждая жаждет вражеской крови! Но вскоре по тому, какие взгляды бросали встречные на его рассеянное, а вернее, насмешливое лицо, он понял, что философическое равнодушие обе враждующие стороны ненавидят еще сильнее, чем друг друга. Бесстрастного наблюдателя и те и другие готовы были закидать камнями. Ведь философ смотрит дьявольски беспристрастно, не довольствуясь внешней оболочкой, старается проникнуть в суть вещей, — как же не видеть в нем подлинного, злейшего противника, искон-

ного врага всех пресловутых фактов и фактиков: вырядившись в желтую или в синюю одежду, они кричат, бахвалятся, бранятся, сажая друг другу фонари под глазом и в кровь разбивают носы. У этих милых напыщенных крикунов все для виду, все напоказ. Как же им не ненавидеть философа, который, доискиваясь сути, уж непременно заглянет за пышный фасад и обнаружит пустоту! Лихие ярко-желтые и ярко-синие вояки, размахивая жестяными мечами и трубя в жестяные трубы, глядели из всех окон, со всех стен и уверяли каждого гражданина, что именно они, и только они, могут послать его в парламент. И не так уж трудно было убедить в этом избирателей: ненавидя всякую неопределенность, они жаждали поверить, что пресловутые факты (желтые или синие — это дело вкуса) в два счета спасут страну от всех бед; притом у избирателя, конечно, была и еще дюжина веских оснований стать на ту или иную сторону: к примеру, за желтых (или за синих) голосовал еще его отец; желтые (или синие) мажут его хлеб маслом; в прошлый раз он голосовал за тех, нынче попробует за этих; он все хорошенько обдумал, и решение его твердо; желтые (или синие) только что без всякой задней мысли угостили его пивом, и он принял угощение; как не проголосовать за его светлость — кто может быть достойнее; или просто ему нравилось выкрикивать: «от Баклендбери — Чилкокс!» — а главная, единственно достойная уважения причина та, что, насколько они могли судить, истина сегодня окрашена либо в желтый, либо в синий цвет.

Узкая улица кишела голосующими. Расставленным на ней рослым полицейским нечего было делать. Как видно, уверенность каждого, что победит именно его партия, у всех поддерживала отменное расположение духа. Покуда незачем было проламывать кому-либо череп: как ни зорко все подстерегали — не видать ли кругом равнодушных скептиков, кроме Куртье, равнодушно глядели только младенцы в колясочках, да какой-то старик на расхлябанном велосипеде — он остановился посреди улицы и спросил полицейского, что это нынче в городе за суматоха, да два молодца, изрядно позеленевшие, которые развозили на тележках даровое пиво для синих и желтых.

Но хоть к «фактам» Куртье относился подозрительно, его поразил неподдельный жар разгоревшихся страстей. Люди принимали происходящее всерьез. Они долго ждали этого дня и еще долго будут его вспоминать. Как видно, для них это было некое священнодействие, итог самых возвышенных чувств; и тому, кто сам был человек действия, это казалось вполне естественным, достойным, быть может, жалости, но отнюдь не презрения.

Уже под вечер по улице потянулась вереница «живых сандвичей», у каждого на груди и на спине висели плакаты — красиво выведенные синим по бледно-голубому полю слова:

### НОВЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

#### ОПАСНОСТЬ ЕЩЕ НЕ МИНОВАЛА

#### ГОЛОСУЙТЕ ЗА МИЛТОУНА И ПРАВИТЕЛЬСТВО И СПАСИТЕ ИМПЕРИЮ

Куртье остановился и с возмущением посмотрел на плакаты. Слова эти попирали не только дорогую его сердцу веру в мир, он видел в них больше любого менее искушенного человека. Для него это был символ всего показного, крикливого в жизни Англии, невыразимо печальная эпитафия на могиле британского благородства и достоинства. А между тем с партийной точки зрения что может быть оправданней? Разве не самое главное для синих напрямь сегодня все силы и добиться, чтобы до наступления ночи все желтые, если не посинели, то хотя бы позеленели? Разве не святая истина, что империю можно спасти, только голосуя за синих? Могла ли синяя газета не напечатать слова, прочитанные им в это утро — «Новые осложнения»? Не могла, как не могла желтая газета не напечатать «Вечернее приключение лорда Милтоуна». Синие жаждали одного: победить, воюя по всем правилам. Желтые боролись не по правилам, так было всегда, и самый бесчестный их прием — обвинять в бесчестной игре синих, поистине смехотворное обвинение! А что до истины... Все, что помогает окрасить мир в синий цвет, безусловно, истина; все остальное, безусловно, ложь. Середины нет! Кто смотрит на вещи иначе, тот безмозглый дурак и плохой англича-

нин. Поверить, будто желтые говорят, что думают? Желтые-то в искренность синих ни за что не поверят! Все это Куртье прекрасно знал, и, однако, новый плакат возмутил его до глубины души, и он, не удержавшись, ударил тростью по доске одного «сэндвича». Громкий стук испугал лошадь мясника, стоявшую у панели. Она встала на дыбы, потом рванулась вперед; Куртье, не задумываясь, ухватил ее под уздцы. Под ноги подвернулся бежавший мимо пес. Куртье споткнулся и упал. Лошадь задела его по голове копытом. На минуту он потерял сознание; а очнувшись, отказался от всякой помощи и пошел к себе в гостиницу. Голова кружилась, он перевязал сильно рассеченный лоб и прилег на кровать.

Улучив минуту после обхода участков (необходимо было показаться избирателям — завершающий «факт» предвыборного церемониала!), к нему заглянул Милтоун.

— Уж этот ваш последний плакат, знаете ли! — с места в карьер напустился на него Куртье.

— Я только что распорядился, чтоб его убрали.

— Могу поздравить с удачным ходом — теперь вас выберут!

— Это было сделано без моего ведома.

— Милый мой, я в этом не сомневался.

— Знаете, Куртье, когда между паломником и Меккой лежит пустыня, он не повернет вспять оттого, что в пути надо будет умываться грязной водой. Но толпа... как она мне мерзостна!

Такая долго сдерживаемая ярость прорвалась в этих словах, что даже Куртье, всю свою жизнь шедший наперекор большинству, был поражен.

— Ненавижу ее низость, ее тупость, ненавижу ее голос и ее вид — все в ней так уродливо, так мелко... Поверьте, Куртье, одна мысль, что дорогу в парламент мне прокладывают голоса толпы, причиняет мне адские муки. Пользоваться поддержкой черни — тяжкий грех, и я за него расплачиваюсь.

Куртье не сразу ответил на эту странную вспышку.

— Вы переутомились, — сказал он помолчав, — это вывело вас из равновесия. В конце концов, толпа — это такие же люди, как вы и я.

— Нет, Куртье, не такие. Иначе толпа не была бы толпой.

— Похоже, что вы взялись не за свое дело,— серьезно сказал Куртье.— Я, например, всегда держался от этого подальше.

— Вы живете по велению сердца. Я не столь счастлив.

С этими словами Милтоун шагнул к двери.

— Бросьте политику,— от души сказал на прощание Куртье.— Если вы так к этому относитесь, бросьте, чего бы вы на этом пути ни искали. Не губите зря свою жизнь и ее жизнь тоже!

Но Милтоун не ответил.

В тихий, погожий час, незадолго до полуночи, надвинув шляпу на перевязанный лоб, рыцарь безнадежных битв вышел из гостиницы и направился к зданию школы узнать, чем кончилось голосование. Он шел на далекий звук, подобный дыханию какого-то чудовища, и, наконец выйдя на пустынную улицу, круто сбегавшую под гору, увидел площадь, сплошь покрытую толпой, точно темным ковром в узоре светлых бликов горящих фонарей. Высоко над толпой на островерхой школьной башенке ярко светился циферблат часов; а еще выше, над жаркими надеждами тысяч сердец, объединенных тревожным ожиданием, раскинулся темно-фиолетовый простор, не запятнанный ни единым облачком. Куртье спускался к площади, глядя на белеющие внизу, чуть качающиеся, обращенные в одну и ту же сторону лица, и ему казалось, что это колышутся под ветром какие-то огромные цветы на темном лугу. Колдовская ночь развеяла синие и желтые факты и вдохнула в толпу неподдельное волнение. И Куртье вдруг ощутил красоту и значительность этой картины — проявление вечно беспокойных сил, чьи приливы и отливы, покорные закону равновесия, движут миром. Тысячи сердец самозабвенно отдались единому властному чувству!

Стоявший рядом с Куртье старик с длинной седой бородой пробормотал:

— Беспокойное это дело... а я нипочем бы не упустил.

— Хорошо, а? — отозвался Куртье.

— Хорошо, это верно,— сказал старик.— Я такого не видывал с самого сорок восьмого. Великий был год... А, вон они, аристократы!

Куртье взглянул в ту сторону, куда указывала костлявая старческая рука: на балконе стояли рядом лорд и леди Вэллис и невозмутимо смотрели вниз. Тут же, прислонясь к окну, разговаривала с кем-то стоявшим позади Барбара. Старик все что-то бормотал, глаза его заблестели, гнев и ненависть преобразили его,— он был взволнован до глубины души, и у Куртье потеплело на сердце. И вдруг он поймал на себе взгляд Барбары, она коснулась рукою виска, давая понять, что заметила его повязку. У него хватило самообладания не снять шляпу.

Старик снова заговорил:

— Вы-то, конечно, не помните сорок восьмой. Вот когда поднялся народ! Нас тогда и смерть не страшила. Мне уже восемьдесят четыре, но тот дух до сих пор вот здесь! — Он прижал трясущуюся руку к груди. — Дай бог победы радикалам!

Где-то позади, на самом краю темного людского моря, несколько голосов запели: «Там, далеко, на реке Суони». Песня взлетела, оборвалась, еще раз встрепенулась и замерла.

Тогда на самой середине площади могучий баритон загремел: «Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней?»

Множество голосов, от звонких дискантов до дрожащего баса старого чартиста, подхватили песню; скоро пела уже вся площадь; кое-где люди взялись за руки и раскачивались в такт. В правой руке Куртье оказались нежные пальцы какой-то молодой женщины, в левой — сухая дрожащая лапа старика чартиста. Он и сам пел во весь голос. Торжественная и грозная мелодия взлетела ввысь, раскатилась в стороны и затерялась среди холмов. Но едва замерли последние звуки, как тот же мощный баритон взревел: «Боже, храни короля!» Казалось, толпа вдруг стала на два фута выше ростом, и из-под сплошного навеса поднятых шляп вырвался оглушительный хор.

«Вот это свято для всех!» — подумал Куртье.

Пели даже на балконах; он видел при свете фонаря, как сдержанно приоткрывает рот лорд Вэллис, будто

ему неловко присоединяться к этому хору; видел, как, откинув голову, прислонясь к столбу балкона, самозабвенно поет Барбара. Не было в толпе человека, который остался бы нем. Словно на крыльях этих звуков вырвалась из темницы привычной сдержанности сама душа английского народа.

Но внезапно, как подстреленная птица, песня смолкла и пала наземь. Под светящимся циферблатом появилась темная фигурка. За нею вышли другие. Куртье разглядел среди них Милтоуна. Где-то далеко одинокий голос выкрикнул:

— Да здравствует Чилкокс!

— Тс-с!—пронеслось по площади; настала такая тишина, что за добрую милю явственно донеслось пыхтение маневрового паровоза.

Темная фигура под часами выступила вперед, на фоне черного сюртука блеснул листок бумаги.

— Леди и джентльмены! Результаты голосования: Милтоун—четыре тысячи восемьсот девяносто восемь голосов, Чилкокс — четыре тысячи восемьсот два.

Тишина раскололась на тысячи кусков. В хаосе приветственных кликов и ропота Куртье еле пробился сквозь бурлящую толпу к балкону. Лорд Вэллис, широко улыбаясь, наклонился вперед; леди Вэллис провела рукой по глазам; Барбара глядела прямо в лицо Харбинджеру, ее рука была в его руке. Куртье остановился. Старик чартист опять оказался возле него; слезы скатывались по его щекам и терялись в бороде.

На балконе вперед выступил Милтоун и застыл без улыбки, бледный, как смерть.



# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## ГЛАВА I

Девятнадцатого июня, в три часа пополудни, Энн Шроптон начала восхождение по главной лестнице особняка Вэллисов в Лондоне. Она медленно взбиралась по самой середине лестницы — крохотная белая фигурка на широких сверкающих ступенях — и считала их вслух. Счет ни разу еще не сошелся два дня подряд, вот почему лестница чрезвычайно привлекала это существо, для которого в новизне была главная прелесть бытия.

Дойдя до того места, где лестница раздваивалась, Энн призадумалась: по которой стороне она шла в прошлый раз? — но так и не вспомнила и села на ступеньку. Ей дали поручение. Когда она пустилась в путь, оно было совсем новенькое, но уже отчасти утратило новизну и, наверно, станет еще более старым — ведь ей надо пройти всю галерею предков. Она сидела, обдумывая свои дальнейшие странствия, а солнечный свет, вливаясь в широкое окно, наполнил слепящим сиянием просторный мир из полированного дерева и мрамора, откуда она пришла. Энн не очень-то верила в фей и всяких сказочных духов; о них слишком много говорят, а все-таки они какие-то ненастоящие, неживые — и волшебное сияние, которое переливалось над ее головкой и причудливо играло на колоннах, бессильно было пробудить в ней фантазию или душевный трепет. Ее весьма практический и деятельный ум поглощало одно стремление: дойти до конца галереи предков и узнать, что там есть. Она выбрала левое крыло лестницы, и вот перед нею нескончаемо длинная галерея, узкая, полутемная, с

завешенными окнами. Энн шла с осторожностью, потому что пол тут был скользкий, и очень серьезная, отчасти из-за темноты, отчасти из-за картин. Что и говорить, в этом полумраке они выглядели внушительно, Карадоки былых времен—иные совсем почерневшие, в воинских доспехах,—и, казалось, угрюмо, настороженно и с какой-то жадностью глядели на шагавшую сквозь их суровый строй маленькую праправнучку. Но Энн твердо знала, что они просто нарисованные, и шла своей дорогой, а когда кто-нибудь из них казался ей особенно безобразным, только морщила дерзкий носишко. В конце галереи, как она и предполагала, была дверь. Энн отворила ее и вышла на площадку. Тут в углу была каменная лестница и еще две двери. Интересно бы подняться по лестнице, но и посмотреть, что за дверьми, тоже интересно. Энн подошла к первой двери и не без волнения повернула ручку. За дверью оказалось помещение из тех, которые необходимы в каждом доме, но которые она не любила; она пренебрежительно захлопнула эту дверь, отворила другую и оказалась в комнате, совсем не похожей на те, что внизу: те все были высокие, с красивой позолотой, а эта напоминала классную комнату—низкий потолок, кожаные кресла и много-много книг. С другого конца комнаты—ей не было видно, откуда—послышался такой звук, как будто кого-то чмокнули, и, сама не зная, почему, Энн уже хотела уйти, но вдруг у нее с языка сорвалось:

— Это я!

И тут же она увидела у камина бабушку с дедушкой. Не совсем уверенная, что они ей рады, она не стала мешкать.

— Ты всегда здесь сидишь, дедушка? — начала она, подойдя ближе.

— Да.

— Тут очень славно, правда, бабушка? А та лестница куда идет?

— На крышу башни, Энн.

— Ага. Ну, мне надо идти, у меня поручение.

— Очень жаль с тобой расставаться.

— Да. До свидания!

Когда дверь за нею закрылась, лорд и леди Вэллис смущенно посмотрели друг на друга.

Беседа, которую прервала Энн, началась так.

Эта тихая, скромная комната, где его не могли, как в рабочем кабинете, настичь секретари с делами, была излюбленным убежищем лорда Вэллиса, и после второго завтрака он пришел сюда выкурить трубку и побыть наедине с тревожными мыслями.

Его заботило Пендридни, их Корнуэльское имение. Оно давно уже не давало покоя и самому лорду Вэллису и его поверенному, и теперь надо было что-то решать. Речь шла о двух селениях, примыкавших с севера к землям лорда Вэллиса: тамошние жители кормились тем, что работали в большой каменоломне, а она в последнее время приносила одни убытки.

Лорд Вэллис, человек мягкий, с отвращением думал о каких-либо мерах, которые могли бы ввергнуть в нужду его арендаторов, особенно в тех случаях, когда у него не было с ними никаких неладов. Но суть дела сводилась к следующему: если не считать эту самую каменоломню, имение Пендридни не только не стоило никаких денег, но и приносило доход, которого хватало бы и на лондонский особняк Вэллисов, и на конюшни в Нью-маркете, и на многое другое; но пока работает эта каменоломня, учитывая, что какие-то средства нужны и на содержание и ремонт самого Пендридни, и на пенсии престарелым слугам, оно становится убыточным.

В этот день, покуривая в своем убежище, лорд Вэллис окончательно решил, что у него нет иного выхода, кроме как закрыть каменоломню. Решение это далось ему нелегко; хотя, надо признать, мысль, что корнуэльские, а пожалуй, и лондонские газеты непременно поднимут шум, втайне скорее подстегивала его, чем удерживала от этого шага. Словно ему заранее предписывали, как поступить, а он этого не любил. Если придется лишить бедняков куска хлеба, ему самому это будет куда неприятнее, чем всем, кто по этому случаю поднимет крик, это он знал, и совесть его была чиста; а неизбежные вопли и протесты легко будет презреть, как обычное проявление межпартийной вражды. Он честно старался все как следует обдумать и рассуждал так: сохранив каменоломню, я тем самым признаю закон пауперизации: ведь, на мой взгляд, каждое мое имение должно полностью окупать себя — дом, землю, охо-

ту, да еще давать свою долю на содержание и этого, лондонского, дома, моей семьи, конюшен и прислуги. Допустить, чтобы в одном из моих имений велись какие-то работы, которые не приносят своей доли дохода? Но тогда часть моих арендаторов обнищает и начнет существовать за счет остальных; а это значило бы строить хозяйство на ложной основе, допустить какой-то скрытый социализм. Доведенный до логического конца такой порядок может меня разорить, против чего я лично, может быть, и не возражал бы, но это значило бы отказаться от убеждения, что я по самому своему происхождению и воспитанию — наилучшее орудие, при помощи которого государство обеспечивает благосостояние народа...

И тут сознание лорда Вэллеса — или, вернее, его сокровенное «я» — в приливе вполне естественного возмущения воскликнуло:

— Вздор!

Объективность была в моде, и, как правило, лорд Вэллис верил в свою способность мыслить объективно. Однако наступает минута, когда, мысля так, изменяешь самому себе, своему сословию и своей стране. Конечно, могут сказать: нет ли какой-то несоразмерности в том, что один человек росчерком пера лишает средств к жизни сотни себе подобных? Лорд Вэллис был настолько прозорлив, что сам первый задал себе этот вопрос — и ответил: «Если этого не сделаю я, это сделает какой-нибудь плутократ, или акционерное общество, или—еще того хуже — само государство». Всякие компании и объединенные предприятия, на его взгляд, не соответствовали британскому духу, а значит, иного выхода не оставалось. Факты есть факты, против них не пойдешь!

Несмотря на все эти веские доводы, необходимость принять такое решение огорчала его, ибо, если вышеупомянутая несоразмерность мало смущала его, то он был, по крайней мере, человек с сердцем.

Он все еще курил свою трубку, глядя на испещренный цифрами лист бумаги, когда вошла жена. Она пришла спросить его совета по совсем другому поводу, но тотчас увидела, что он чем-то обеспокоен, и спросила:

— Что случилось, Джеф?

Лорд Вэллис поднялся, подошел к камину, нетороп-

ливо выбил трубку и наконец протянул жене лист с расчетами.

— Все эта каменоломня! Ничего не поделаешь, придется закрыть.

Леди Вэллис переменилась в лице.

— Нет, нет! Это будет ужасное несчастье.

Лорд Вэллис принялся внимательно разглядывать свои ногти.

— Она лежит тяжким бременем на всем имении,— сказал он.

— Я знаю, но как же мы будем смотреть людям в глаза? Я никогда больше не смогу туда поехать. И у них у всех столько детей.

Муж все еще сосредоточенно рассматривал ногти, и леди Вэллис продолжала с жаром:

— Лучше уж я откажусь от чего-нибудь. Я предпочла бы сдать все Пендридни в аренду, чем лишиться этих людей работы. Сдать его, вероятно, удастся?

— Еще бы! В целом свете нет лучшей охоты на вальдшнепов.

Но леди Вэллис занимало другое.

— Со временем мы поможем людям найти какой-то другой заработок,— продолжала она.— Ты советовался с Милтоуном?

— Нет,— сухо ответил лорд Вэллис.— И не собираюсь. Он слишком непрактичен.

— Мне кажется, он всегда прекрасно знает, чего хочет.

— Поверь мне, Милтоун в таких делах не разбирается,— повторил лорд Вэллис.— У него какие-то средневековые понятия.

Леди Вэллис подошла ближе и положила руку ему на плечи.

— Джеф, ну, право, ради меня... придумай что-нибудь другое.

Лорд Вэллис нахмурился и с минуту смотрел ей в лицо; наконец он сказал:

— Ради тебя... Хорошо, я отложу это на год.

— По-твоему, это лучше, чем сдать Пендридни в аренду?

— Мне не хочется пускать туда чужих. Еще успе-

ем, если не будет другого выхода. Прими это как мой рождественский подарок.

Леди Вэллис даже покраснела, наклонилась и поцеловала его в ухо.

В эту самую минуту и появилась Энн.

Когда она ушла, они смущенно посмотрели друг на друга.

— Меня беспокоит Бэбс,— сказала леди Вэллис.— Не пойму, что с ней творится с тех пор, как мы переехали в город. Она ко всему охладела.

— Вероятно, на нее действует жара... или Клод Харбинджер,— ответил лорд Вэллис. Хоть он был не слишком нежным отцом, мысль, что у него отнимут дочь, которой он от души восхищался, была ему неприятна.

— Ну... не знаю,— протянула леди Вэллис.

— То есть?

— С Бэбс происходит что-то странное. Не удивлюсь, если окажется, что она увлеклась этим Куртье.

— Что-о! — Лицо лорда Вэллиса залил отнюдь не философский румянец.

— Да, именно.

— О господи! Истории с Милтоуном и одной хватит на целый год.

— Даже на двадцать лет,— прошептала леди Вэллис.— Я не спускаю с нее глаз. Говорят, Куртье собирается в Персию.

— Надеюсь, он там сломит себе шею,— проворчал лорд Вэллис.— Нет, право, это уже слишком. Все-таки ты, наверно, ошибаешься.

Леди Вэллис подняла брови. В таких делах мужчины — сущие младенцы.

— Ну,— сказала она,— мне пора на заседание. Возьму ее с собой и попробую что-нибудь разузнать.

Речь шла об учредительном заседании Общества поощрения рождаемости, на котором она согласилась председательствовать. Она с самого начала всячески поддерживала идею этого общества, вполне отвечавшую ее широкой, полнокровной натуре. Многие благотворительные затеи, в которых она не могла не участвовать, сами по себе мало ее интересовали,— а так приятно, когда хоть какая-то часть твоей деятельности тебя по-на-

стоящему увлекает! Леди Вэллис не была педантична и в дружеском кругу вовсе не настаивала на том, что все женщины обязаны неуклонно исполнять свое предназначение и всемерно содействовать приумножению рода человеческого. Нет, она рассуждала с великолепной широтой, без ханжества. В хорошей, здоровой семье должно быть много детей, но, конечно, возможны исключения. Заветной идеей леди Вэллис было: больше британцев! Ее девиз, который она намеревалась сделать девизом нового общества, был: «*De l'audace et encore de l'audace!*»<sup>1</sup> Речь идет о полном развитии всех сил нации. Леди Вэллис искренне и даже почти трогательно верила в национальный флаг, независимо от того, что он собой прикрывает,—ей свойствен был особый идеализм.

— Рассуждайте, сколько угодно, о том, что жизнь нации следует направлять, сообразуясь с принципами социальной справедливости,—скажет она.— Но какое дело нации до социальной справедливости? Речь идет о большем. О национальном чувстве. Наша нация должна расти и множиться.

Так по дороге на собрание она обдумывала речь, которую ей предстояло произнести, и не пыталась вовлечь Барбару в разговор. С этим придется подождать. Девочка, правда, какая-то вялая и немножко бледна, но так хороша, что приятно прийти с нею на собрание.

В полутемной комнатке позади зала уже дожидался Учредительный комитет, и все тотчас вышли на эстраду.

## ГЛАВА II

Ничуть не смущаясь под взглядами присутствующих, Барбара предалась своим невеселым мыслям.

Три недели, прошедшие с избрания Милтоуна, были заполнены таким множеством всяких собраний и приемов, что у нее просто не оставалось ни времени, ни сил разобраться в собственных чувствах. После того утра в конюшне, когда Харбинджер глаз не спускал с Бар-

---

<sup>1</sup> Смелость и еще раз смелость! (франц.)

бары, кормившей Хэла морковкой, он, казалось, только ради того и жил, чтобы видеть ее. И его страсть приятно волновала ее. Она ездила с ним верхом, танцевала с ним, и минутами это было почти счастье. Но в другие минуты, правда, при этом она всегда немного презирала себя, как тогда, сидя у подножия холма, на камне, нагретом солнцем, — странное недовольство просыпалось в ней, жажда чего-то такого, чего нет в окружающем ее мире, где ей приходится изобретать для себя какие-то препятствия и лишения и только играть в серьезность.

За это время она видела Куртье три раза. Однажды он у них обедал, его пригласила леди Вэллис премилой, чуть игривой записочкой, — этот стиль она выработала специально для тех, кто занимал в обществе не столь высокое положение, особенно если эти люди были умны; в другой раз он присутствовал на приеме в саду особняка Вэллисов, и Барбара сказала ему, в котором часу поедет завтра верхом, и увидела его в Хайд-парке; он не катался, а стоял за барьером в том месте, мимо которого она непременно должна была проехать, и на лице его была столь характерная для него смесь почтительности и насмешливой независимости. Оказалось, что он покидает Англию. Но на ее вопросы, почему и куда он едет, он только пожимал плечами. И вот Барбара сидит на пыльном помосте в душном зале с голыми стенами перед множеством народа и слышит речи, смысл которых она, усталая, занятая своим, не в силах уловить, и этот хаос мыслей, и лица вокруг, и голоса ораторов — все сливается в какой-то кошмар, в котором она только и различает шею матери под черной широкополой шляпой да лицо члена комитета, сидящего справа, который, прикрываясь газетой, усердно грызет ногти. Потом она поняла, что говорит кто-то из зала, отрывисто, словно кидая слова небольшими связками. Это был молодой человек в черном, бледное лицо его дергалось вверх и вниз.

— По-моему, это ужасно, — услышала она его слова. — По-моему, это просто кощунство. Пытаться направлять величайшую силу... величайшую, самую священную и таинственную силу... которая движет миром... по-моему, это отвратительно. Я просто слышать этого не могу;



мне кажется, от этого все становится таким мелким и ничтожным!

Он сел на свое место, и леди Вэллис поднялась, чтобы ответить ему.

— Все мы должны отнестись с сочувствием к искренности и до некоторой степени к побуждениям нашего друга — предыдущего оратора. Но спросим себя: вправе ли мы позволить себе роскошь дать волю нашим личным чувствам, когда речь идет об умножении и росте нации? Нет, мы не должны поддаваться чувствам. Наш друг, предыдущий оратор, выступал здесь — да простит он мне такие слова — скорее как поэт, но не как реформатор общества. Боюсь, что, если мы позволим себе предаться поэзии, рождаемость в нашей стране очень скоро тоже превратится в одно лишь поэтическое понятие. А на это, я полагаю, мы не можем смотреть сложа руки. Резолюция, которую я собиралась предложить, когда наш друг, предыдущий оратор...

Но тут Барбара вновь погрузилась в странный хаос мыслей и чувств, из которого так неожиданно вырвал ее человечек в черном. А потом увидела, что все уже расходится, и услышала голос матери:

— Ну, моя дорогая, сегодня еще надо в больницу. Времени у нас в обрез.

Они снова сели в автомобиль, Барбара откинулась на подушки и, не произнося ни слова, смотрела прямо перед собой.

Леди Вэллис искоса наблюдала за дочерью.

— Ну и сюрприз поднес этот коротышка! — сказала она. — Должно быть, он попал к нам по недоразумению. Знаешь, Бэбс, говорят, мистер Куртье приглашен сегодня на бал к Элен Глостер.

— Несчастный!

— Но ведь там будешь ты, — сухо возразила леди Вэллис.

Барбара снова откинулась на сиденье.

— Не дразни меня, мама.

По лицу леди Вэллис промелькнула тень раскаяния; она взяла руку Барбары в свои. Но вялая рука дочери не ответила на пожатие.

— Я понимаю твое настроение, дорогая. Чтобы стряхнуть его с себя, нужно собрать все свое мужество;

не давай ему тобой завладеть. Поезжай-ка лучше завтра, навести дядю Денниса. Ты чересчур утомилась за эти дни.

Барбара вздохнула.

— Хоть бы уже настало завтра...

Автомобиль остановился у больницы.

— Войдешь? — спросила леди Вэллис. — Или ты слишком устала? На больных твои посещения всегда так хорошо действуют.

— Ты устала вдвое больше меня. Конечно, я пойду.

Когда они появились на пороге, в палате поднялся негромкий говор. Рослая, полная леди Вэллис, излучая деловитую, ободряющую уверенность, проследовала к какой-то постели и уселась. А Барбара стояла в полосе июльского солнечного света, среди обращенных к ней лиц, не зная, к кому первому подойти. Все эти несчастные казались такими смиренными, печальными и усталыми. Одна больная лежала пластом и даже головы не подняла, чтобы посмотреть, кто пришел. Она дремала, бледная, с запавшими щеками, и лицо ее казалось хрупкой фарфоровой маской, готовой рассыпаться от прикосновения, от вздоха; прядь черных, тонких, как шелк, волос упала на лоб; закрытые глаза ввалились; одна рука, чуть не до костей истертая тяжелой работой, лежала на груди. Бескровные губы едва шевелились при дыхании. Странная красота была в спящей. И Барбару при виде ее внезапно охватило волнение. Эта женщина казалась такой далекой от всего окружающего, от этой неуютной, неприветливой палаты.

Вялости и равнодушия, владевших Барбарой, когда она пришла сюда, как не бывало; лицо спящей внезапно напомнило ей о родных скалистых холмах, где свистит ветер и все так пустынно и величественно и порою страшно. Что-то стихийное чудилось в этом спокойном сне. А на соседней койке лежала старуха со сморщенным коричневым лицом и удивительно живыми, блестящими черными глазами; она принялась рассказывать Барбаре, что букетик вереска в банке на подоконнике привезли ей из Уэллса:

— Матушка моя была родом из Стерлинга, милочка, вот я и люблю вереск, хоть сама-то нигде, кроме как в Бетнел-Грине, сроду не бывала.

И ее оживление показалось Барбаре пошлым рядом с отрешенным спокойствием спящей.

Но когда Барбара, пройдя по палате, вернулась, бледная женщина уже проснулась и села, и теперь лицо у нее было совсем заурядное, от хрупкой красоты не осталось и следа.

Как избавление прозвучали слова леди Вэллис:

— Дорогая моя, в половине шестого мне надо быть на благотворительном базаре в пользу моряков, а ты пока поезжай домой, отдохни перед балом. На обед мы приглашены к Плесси.

Бал у герцогини Глостерской—событие, которое просто невозможно пропустить,— был назначен так поздно потому, что герцогиня изъявила желание продлить лондонский сезон, чтобы извозчики могли еще немного заработать; и хотя все с этим согласились, однако многие подумали, что проще переселиться за город, а в день бала прикатить в Лондон на автомобиле и на другое утро автомобилем же отправиться восвояси. И всю неделю, на которую продлен был сезон, у вокзалов и на извозничьих биржах стояли вереницы наемных экипажей, и кучера, не подозревая об оказанной им милости, так же терпеливо, как их лошади, дожидались седоков. И поскольку все честно выполнили свое намерение, у леди Глостер на сей раз собралось еще более многолюдное, изысканное и блестящее общество, чем обычно.

В просторной зале над пестрой толпой танцующих укреплены были опахала, навевавшие прохладу,— эти огромные веера, медленно раскачиваясь, освежали легким ветерком море крахмальных манишек и обнаженных плеч и повсюду разносили аромат украшавших залу бесчисленных цветов.

Поздно вечером у одной из цветочных куп остановилась и заговорила с Берти Карадоком очень хорошенькая женщина. Это была его кузина Лили Мэлвизин, сестра Джеффри Уинлоу, жена пэра-либерала, — очаровательное создание, розовощекое, с блестящими глазами, смеющимся ртом и пухленькой фигуркой, милое и жизнерадостное. Она все время исподтишка лукаво поглядывала на собеседника, словно стараясь стрелами этих взглядов пробить латы, делавшие молодого человека столь неприступным.

— Нет, мой милый,—говорила она насмешливо,—никогда вы меня не убедите, что Милтоун сделает карьеру. Il est trop intransigent<sup>1</sup>. А вот и Бэбс!

Мимо скользила Барбара, взгляд ее лениво блуждал, губы полураскрылись; белизна шеи почти сливалась с белизною платья; на бледном лице под тяжелым венцом золотисто-каштановых волос лежала печать усталости; и казалось, кружась в вальсе, она вот-вот упадет и только объятия кавалера удерживают ее.

Не шевеля губами — умение, секрет которого знаком всем узникам высшего света,—Лили Мэлвизин шепнула:

— С кем это она танцует, Берти? Это и есть темная лошадка?

И такими же неподвижными губами Берти ответил:

— Шансы сорок против одного.

Но любопытные блестящие глаза все еще провожали Барбару, которая уносилась в танце, точно большая лилия, подхваченная водоворотом у мельничной запруды; и в хорошенькой головке мелькнула мысль:

«А ведь Бэбс его поймала. Право, это дурно с ее стороны.—Тут она увидела у колонны еще одного наблюдателя, не сводившего глаз с этой пары, и подумала: — Бедняжка Клод! Не удивительно, что он такой мрачный. Ох, Бэбс!»

Барбара и ее кавалер стояли на площадке перед домом у одной из статуй, там, где деревья, не обезображенные пестрыми фонариками, отбрасывали прохладную, мирную тень.

Непривычно бледная и томная, все еще глубоко дышавшая после вальса Барбара показалась Куртье неузнаваемо прекрасной. Для чего обращать речи к видению! Перед ним сама красота, запечатленная в воздухе, стоит коснуться ее — и она растает, подобно волшебным теням, что посещают путника ночью в горах, среди снегов, мерцающих под синим звездным небом или в печальном золоте осенних берез. Слова были бы святотатством! Да и что толку говорить в этом ее мире, таком непонятном и таком самоуверенном; этот мир, точно дом, где закрыты все окна и заперты все ставни. Дом, куда открыт

---

<sup>1</sup> Он слишком нетерпим (франц.).

доступ лишь тем, кто поклялся верить в этот мир, только в него и ни во что больше, и за стенами которого нет ничего, кроме обломков камня, пошедшего на его постройку. А он, Куртье, чувствовал себя в этом мире высшего света одиноким путником в пустыне, жаждущим встретить живую душу!

— Леди Бэбс! — слышался позади них голос Харбинджера.

Еще долго огромные опахала оведали своим дыханием многоцветную веселую карусель, и скрипки стонали и жаловались до утра. И вдруг все растаяло, как исчезают, блеснув на траве, капли росы в первых лучах солнца; и в просторных залах остались одни лишь лакеи, отражаясь в блестящем паркете, как фламинго на заре на берегу озера.

### ГЛАВА III

В старинном кирпичном доме Фитц-Харолдов, на окраине приморского городка Нетлфолд, мирно текли дни лорда Денниса. Здесь, на южном побережье, дыша самым чистым и целительным воздухом во всей Англии, он медленно старился, почти не думая о смерти и тихо наслаждаясь жизнью. Как и этот старый дом с высокими окнами и приземистыми трубами, он был на удивление сам по себе. У него были книги, ибо он увлекался древними цивилизациями и время от времени суховато и без особой живости сообщал в одном старомодном журнале что-нибудь новенькое о давно забытых нравах и обычаях; и еще микроскоп, ибо он изучал инфузории; и еще лодка его друга, тоже рыболова, Джона Богла, который давно уже догадался, что из всей пойманной им рыбы лорд Деннис — самая крупная; да изредка кто-нибудь навещал его, либо он навещал близких в Лондоне, в Монкленде и в других имениях; из всего этого складывалась жизнь, если и не приносящая неслыханных радостей, то неизменно приятная и мирная, которая, бросаясь в глаза своей простотой, несомненно, вредила людям его круга и осложняла их взаимоотношения со всеми остальными. «Вот настоящий джентльмен! — говорили в Нетлфолде. — Были бы все аристокра-

ты такие, никто бы против них слова не сказал». Лавочники и содержатели меблированных комнат чувствовали, что куда безопаснее доверить судьбы отечества ему, чем людям, которые во все суют свой нос ради блага тех, кто вовсе их об этом не просит. Притом человек, который умел так начисто забывать, что он сын герцога, о чем именно поэтому всегда помнили окружающие, был им очень по душе. Правда, он не имел влияния в общественных делах; но на это смотрели сквозь пальцы; захотел бы и было бы по-другому, а раз не хочет, это только лишнее доказательство, что он настоящий джентльмен.

Как сам лорд Деннис был в этом маленьком городке единственным человеком, против которого никто ничего не имел, так и его дом — единственный из всех — не в чем было упрекнуть. С годами он стал во всем под стать этому краю. Стены, обвитые плющом, красноватая крыша, местами в желтых пятнах лишайника, протянувшиеся до самого моря тихие луга, где паслись лошади и коровы, — все дышало добродушием. По правде говоря, рядом с ним остальные дома Нетлфолда казались грубыми и безвкусными, — он высился за ними, как повелитель, может быть, даже немного чересчур замкнутый в своем совершенстве и чуждый будничных забот.

Ни с кем из ближайших соседей лорд Деннис не встречался, разве что изредка с Харбинджером, жившим за три мили от него, в Уайтуотере. Но это его не огорчало: он умел не скучать и наедине с собой. Окрестной бедноте, а особенно рыбакам, чей заработок зимою в наше время ничтожен, он помогал так щедро, что это граничило с мотовством, ибо доходы его были не так уж велики. Но в политической жизни городка участия почти не принимал, только изредка украшал своим присутствием какое-нибудь торжество. Консерватор он был весьма умеренный и не был убежден, что страну можно возродить какими-либо иными средствами, кроме добрых отношений между сословиями. А когда его спрашивали, как установить эти добрые отношения, он с обычной своей суховатой, насмешливой учтивостью отвечал, что если ворошить палкой осиное гнездо, оттуда непременно вылетят осы. Не имея собственных земель, он избегал затрагивать этот больной вопрос, но, когда ему уж очень докучали, отвечал примерно так:

— В общем, для земли лучше, когда она в наших руках, но хорошо, если бы среди нас было поменьше «собак на сене».

Как подобает людям его породы, он относился к земле с отеческой нежностью, и просто подумать не мог, чтобы она попала в равнодушные руки государства. Он посмеивался над теориями радикалов и социалистов, но не любил, когда их приверженцев оскорбляли за глаза. Однако, надо признаться, когда ему противоречили, он становился весьма язвителен; сидевший в нем природный аристократ, не имея случая высказывать свои взгляды на политической и общественной арене, поневоле искал какой-то иной возможности выразить себя.

Каждый год в конце июля лорд Деннис предоставлял свой дом в распоряжение лорда Вэллиса, которому было очень удобно останавливаться здесь на время Гудвудских скачек.

На другое утро после бала у герцогини Глостерской лорд Деннис получил следующую записку:

«Особняк Вэллисов.

Милый дядюшка Деннис!

Нельзя ли мне приехать к Вам пораньше и немного отдохнуть? В Лондоне жара невыносимая. Маме надо еще побывать на трех заседаниях, и я тоже должна буду вернуться на наш последний политический прием, поэтому не хочется забираться в такую даль—в Монкленд; и всюду такой шум и суета, не то что у Вас. У Юстаса вид совсем измученный. Постараюсь привезти и его. Бабушка просто устрашающе здорова.

Нежно любящая Вас  
Бэбс.»

Она приехала в тот же день, но одна, без Милтоуна; ее довез со станции наемный экипаж. Лорд Деннис встретил ее у ворот, поцеловал и оглядел не без тревоги, поглаживая свою острую седую бородку. Он не мог припомнить случая, чтобы она плохо себя чувствовала, разве только однажды, когда он взял ее на прогулку в лодке Джона Богла. А она и в самом деле побледнела и переменила прическу, — этого он не понял и только забеспокоился, что Бэбс не такая, как всегда. Он взял

ее под руку и повел на луг, где еще вовсю цвели лютики, и старый белый пони, на котором она двенадцать лет назад каталась в Хайд-парке, подошел и потерся носом о ее талию. И в душе лорда Денниса вдруг шевельнулось, сильно его смутив, странное подозрение, что если девочка и не заплачет сейчас, ей нужно дать время одолеть подступающие слезы. С таким видом, словно он вовсе и не думал оставлять ее одну, он отошел к ограде и стал смотреть на море.

Прилив почти достиг высшей точки; ветер с юга доносил запах водорослей, мелкая волна шуршала чуть ли не у самых ног. Вдали под солнцем сияющие воды казались почти белыми, таинственными в дымке июльского дня, и от вида их как-то странно щемило в груди. Но хоть в иные минуты лорд Деннис и поддавался поэтическому волнению, в целом он прекрасно умел поставить море на место — ведь в конце концов это всего-навсего пролив, а как всякий истый англичанин, лорд Деннис полагал, что вещи следует называть своими именами, иначе они перестают быть фактами, а перестав быть фактом, любая вещь может обернуться самым дьяволом! Говоря по совести, он думал не столько о море, сколько о Барбаре. Что-то с ней произошло. Но мысль эта сразу же показалась ему нелепой: что может произойти с Бэбс? Чутье подсказывало ему, что только удар большой силы мог пробить сверкающую броню молодости и благополучия. Это не смерть; значит, любовь; и ему сразу вспомнился тот, рыжеусый. Идеи — пожалуйста, разводите их сколько угодно, когда это к месту, — скажем, за обеденным столом. Но влюбиться (если она и в самом деле влюбилась) в человека с идеями, да еще когда он всю жизнь свою намерен строить в согласии с этими идеями и кормиться только ими одними, — это уже казалось лорду Деннису несколько *outré*<sup>1</sup>.

Барбара тоже подошла к ограде, и он с сомнением на нее посмотрел.

— Ищем покоя в водах Леты, Бэбс? Кстати, ты больше не видела нашего друга мистера Куртье? Весьма колоритны эти его донкихотские понятия о жизни!

---

<sup>1</sup> Чересчур (франц.).



Голос лорда Денниса (как бывает у людей утонченных, махнувших рукой на философию) звучал сразу на три лада: тут была и насмешка над идеями, и насмешка над самим собой за эту насмешку над идеями, и все-таки ясно слышалось, что смешна только эта его насмешка над идеями, но не насмехаться над ними ему как будто все же не к лицу.

Но Барбара не ответила на его вопрос и заговорила о другом. И весь этот день и вечер она болтала так легко и непринужденно, что если бы не чутье лорда Денниса, он бы, пожалуй, обманулся.

Эту улыбающуюся маску — непроницаемость юности — она сбросила только ночью. Сидя у окна в свете луны — «золотистой бабочки, взмывающей медленно в ночные небеса», — она жадно всматривалась в темноту, словно пыталась прочесть в ней что-то очень важное. Изредка она тихонько касалась себя рукой — ощущение собственного тела странно успокаивало. К ней вернулось давно знакомое тревожное чувство, точно душа ее раздвоилась. И эта ласковая ночь, безмятежное дыхание моря и темный бескрайний простор пробудили в ней жгучее желание слиться воедино с чем-то, с кем-то, не быть одной. Накануне на балу ее вновь охватило «ощущение полета», и оно не проходило — странное проявление ее мятущегося духа. И это следствие встреч с Куртье, это бессильное желание взлететь и ощущение подрезанных крыльев было ей горько и обидно, как обидно ребенку, когда ему что-то запрещают.

Ей вспомнилось: в Монкленде однажды в оранжерею, спасаясь от какого-то врага, залетела сорока, и ее потом приютила экономка. Когда уже казалось, что птицу удалось приручить, ее решили выпустить и посмотреть, вернется ли она. Несколько часов сорока просидела высоко на дереве, а потом возвратилась в клетку; и тогда, опасаясь, что при новой попытке взлететь ее заклюют грачи, ей подрезали одно крыло. После этого пленения птица жила весело и беззаботно, прыгала по своей клетке и по площадке перед домом, куда ее выпускали на прогулку, но порою вдруг становилась беспокойной, пугливой и начинала махать крыльями, словно мечтала взлететь и грустила, что ей суждено оставаться на земле.

Вот и Барбара, сидя у окна, трепыхала крылышками; потом легла, но не могла уснуть и только все вздыхала и ворочалась. Часы пробили три; ей стало нестерпимо досадно на себя и, накинув поверх ночной сорочки плащ и сунув ноги в туфли, она выскользнула в коридор. В доме все было тихо. Она крадучись сошла вниз. Ощупью пробралась через сумрачную прихожую, населенную еле различимыми призраками, робкими подобиями света, осторожно сняла дверную цепочку и побежала к морю. Она бежала по росистой траве неслышно, как птица, парящая в воздухе; и две лошади, учуяв ее в темноте, зафыркали, задышали тревожно среди лютиков, сомкнувших на ночь лепестки. Барбара вышла за ограду и оказалась на берегу. Пока она бежала, ей хотелось только одного — кинуться в прохладную воду, но море было такое мрачное, окаймленное едва различимой полоской пены, и небо, тоже черное, беззвездное, застыло в ожидании дневного света!

Барбара остановилась и огляделась. И весь трепет и волнение плоти и духа медленно замерли в этой безмерной тьме и одиночестве, где тишину нарушал лишь задумчивый плеск волн. Ей не впервые случалось не спать глубокой ночью — только накануне в этот самый час Харбинджер кружил ее в последнем вальсе! Но здесь глубокая ночь была совсем иной, у нее было иное, торжественное лицо, и Барбаре, смотревшей в широко раскрытые глаза ночи, показалось, что тьма заглянула ей в самую душу, и душа пугливо сжалась, стала маленькой и робкой. Барбара дрожала в своем подбитом мехом плаще, ей стало жутковато — такой крохотной и ничтожной казалась она себе перед лицом черного неба и темного моря, которые как будто слились воедино, в нечто огромное и безжалостное. Скорчившись на берегу, она стала ждать зари.

Заря прилетела из-за холмов, обдала ее порывом холодного ветра, устремилась к морю. И Барбара вновь осмелела. Она разделась и вбежала в темные, но быстро светлеющие волны. Они ревниво укрыли ее, и она поплыла. Вода была теплее воздуха. Барбара легла на спину и смотрела, как понемногу розовеет небо. Так славно было плескаться в полутьме, с раскинутыми по волнам волосами, без купального костюма, липнущего к телу,

что ей стало весело, как озорному ребенку. Она заплывала дальше, чем следовало, потом вдруг испугалась собственной смелости и под встающим солнцем поплыла обратно.

На берегу она поспешно накинула свои одеяния, перелезла через ограду и бегом бросилась к дому. Все ее уныние и лихорадочные сомнения как рукой сняло; бодрая, освеженная, она вдруг почувствовала, что умирает с голоду, и, прокравшись в темную столовую, стала шарить всюду в поисках съестного. Нашла печенье и еще жевала, когда на пороге появился лорд Деннис с зажженной свечой в одной руке и с пистолетом в другой. В старом синем халате, с белой бородкой и резкими чертами лица, он выглядел очень внушительно — в эту минуту он очень походил на леди Кастерли, словно близкая опасность облачила его в стальные доспехи.

— И это, по-твоему, называется отдых! — сказал он сухо; и, заметив, что волосы у нее мокрые, прибавил: — Я вижу, ты уже вверила свои тревоги водам Леты.

Но Барбара, не ответив, скрылась в полутемную прихожую и поднялась к себе.

#### ГЛАВА IV

Пока Барбара плавала, встречая рассвет, Милтоун купался в тех водах кротости и правдолюбия, что плещут в стенах британской палаты общин.

Шли нескончаемые дебаты по земельному вопросу, которых он так долго ждал, готовясь выступить со своей первой речью, и он уже девять раз поднимался с места, но спикер его не замечал, и им постепенно овладевало чувство нереальности. Конечно же, этот торжественный зал, где непрерывно звучит какой-то слабый одинокий голос, перебиваемый странными, какими-то автоматическими взрывами одобрения или недовольства, существует лишь в его воображении! И все эти лица — только плод его фантазии! И когда он наконец получит слово, он будет обращаться лишь к самому себе! Недвижный воздух, отравленный человеческим дыханием, немигающий взгляд бесчисленных ламп, длинные ряды скамей, причудливые овалы бледных, прислуши-

вающихся лиц далеко на галерее — все это эманация его собственного духа! Даже когда кто-то входит или выходит между рядами скамей, это просто снуют взад и вперед своевольные частицы его самого! И где-то в самой глубине этого гигантского создания его фантазии слышится неясный ропот — это его еще не произнесенная речь, точно ветром, сносит куда-то мыльные пузыри слов, выдуваемые далеким, слабым, всякий раз меняющимся голосом.

И вдруг фантастическое видение рассеялось: он был на ногах, сердце сильно билось — он произносил речь.

Скоро внутренняя дрожь утихла, осталось смутное сознание, что голос его звучит необычно, и странное безрадостное удовлетворение от того, что его слова раздаются в такой тишине. Казалось, вокруг нет людей, только рты и глаза. И Милтоун наслаждался ощущением, что это он своими словами заставил онеметь жадные рты и приковал к себе глаза. Потом он понял, что все уже сказано, и сел, и сидел, не шевелясь, среди разноголосого шума, обхватив руками колени и уставясь в чей-то затылок. Как только вновь раздался тот слабый далекий голос, он взял шляпу и, не глядя ни вправо, ни влево, вышел из зала.

Он не ощутил ни облегчения, ни бурного восторга, какой обычно испытываешь, сделав первый решительный шаг, — душа казалась глубоким темным колодцем, наполненным одной лишь горечью. В сущности, выступив со своей речью, он только утратил то, что до сих пор отчасти утоляло его боль. Он окончательно убедился, что теперь, когда успех его не может разделить Одри Ноуэл, политическая карьера ничуть его не радует. Медленно пошел он к Темплу по набережной, где фонари, бледнея, уже предвещали ежедневный праздник во славу божества — встречу тьмы и света.

Милтоун был не из тех, кто сдается без боя; все глубоко задевало его, он бунтовал, отчаянно сопротивлялся судьбе. Словно всадник, погоняющий самого себя, он мчался вперед, и горячился, и вздрагивал, когда шпоры безжалостно вонзались в тело; в своем гордом одиноком сердце он нес бремя внутренней борьбы, которое натуры помельче или более общительные разделяют с друзьями.

Он шел домой, и вид у него был почти такой же затравленный, как у бездомных бродяг, каждую ночь засыпающих здесь, на берегу, будто они знают, что близость этой утешительницы, готовой в любую минуту подарить им великое забвение, одна может спасти их от соблазна погрузиться в ее объятия. Быть может, Милтоун был еще несчастнее этих людей,— их, по крайней мере, давно уже не тревожил беспокойный дух, выдавленный по капле из жалких тел тяжелой пятою жизни.

Теперь, когда Одри Ноуэл была для него потеряна, вся ее прелесть, ее непередаваемое обаяние преследовали его неотступно, точно мучительный мираж, воплощение недостижимой красоты,—а ведь он мог ею завладеть, если бы только захотел! Вот что терзало его всего сильнее. Мог бы, если б захотел! К тому же он страдал и физически, его медленным огнем сжигала лихорадка, должно быть от того, что он промок насквозь тогда, в день их последней встречи. И этот скрытый жар неприятно приглушал все чувства и впечатления, как только что в палате прежде, чем он выступил, все доходило до него словно сквозь какую-то плотную ткань, которую он не в силах был прорвать. В нем как будто сцепились в смертельной схватке два человека: один свято веровал в божественный промысел и власть, и на этом до сих пор зиждились все его убеждения; другого сводила с ума пламенная любовь. Он был глубоко несчастен и жаждал поговорить с кем-нибудь, кто его выслушает и поймет, но, давно привыкнув не искать наперсников, не знал теперь, как утолить эту жажду.

Уже рассвело, когда он вернулся домой; но, зная, что все равно не уснет, даже не лег, а лишь переоделся, сварил себе кофе и сел у окна, выходявшего в сад.

В зале Мидл-Темпл еще не кончился бал, хотя китайские фонарики уже погасли. В тени старого фонтана Милтоун увидел пару, которая укрылась здесь вместо того, чтобы последний раз потанцевать. Девушка уронила голову на плечо своего кавалера; губы их слились. В окно Милтоуна вместе с мелодией вальса, в котором они должны были бы кружиться, вливался запах гелиотропа. Эти двое, так хитро укрывшиеся в тени фонтана под щебет воробьев и ужрадкой обнимающиеся в саду, их пугливые взоры и шепчущие губы,— все это был

мир, от которого он отрекся! Когда он опять посмотрел в ту сторону, они уже исчезли, растаяли, как дым; смолкла и музыка, и запах гелиотропа тоже больше не долетал к нему. В тени фонтана притаилась бродячая кошка, подстерегая громко чирикающих воробьев.

Милтоун вышел из дому, свернул на пустынный Стрэнд и побрел, сам не зная куда; около пяти он оказался на Пэтнейском мосту.

Он постоял, облокотясь на парапет и глядя на серую воду. Солнце едва сквозило в дымке, предвещавшей знойный день; катили мимо ранние повозки, люди уже шли на работу. Для чего течет река, повинуясь приливам и отливам? И для чего дважды в день пересекает ее людская река? Для чего страдают люди? Этот полноводный поток жизни казался Милтоуну таким же бессмысленным, как кружение чаек в лучах встающего солнца.

Потом он спустился с моста и направился к Барнскому лугу. Здесь, в кустах дрока, серых от паутины и искрящихся каплями росы, еще заплуталась ночь. Милтоун прошел мимо каких-то бродяг, которые крепко спали, всей семьей тесно прижавшись друг к другу. Даже бездомные спят друг у друга в объятиях!

Он вышел на дорогу близ ворот Рейвеншема, прошел огородом и опустился на скамью подле малинника. Малинник был обнесен сеткой для защиты от воров, но, два черных дрозда, заслышав Милтоуна, встрепенулись в кустах, нырнули сквозь нее и полетели прочь.

Неподвижную фигуру на скамье заметил издали садовник, и скоро уже все знали, что в малиннике сидит молодой лорд. Слух этот дошел и до Клифтона, и он самолично вышел посмотреть, в чем дело. Старик неслышно подошел и остановился перед Милтоуном.

— Вы будете завтракать, милорд?

— Если бабушка меня примет, Клифтон.

— Как я понимаю, ваша светлость вчера вечером выступили с речью?

— Да.

— Надеюсь, палата вам понравилась.

— Ничего, Клифтон, спасибо.

— Конечно, она уже не та, что в славные времена

вашего дедушки. Он был о ней очень высокого мнения. Но, разумеется, люди теперь другие.

— *Tempora mutantur*<sup>1</sup>.

— Это верно. Я замечаю, к государственным делам стало другое отношение. Взять хоть эти дешевые газеты; читать-то их, конечно, читаешь, но уж одобрить никак нельзя. Мне не терпится прочесть вашу речь. Говорят, в первый раз выступать очень трудно.

— Да, пожалуй.

— Но вам-то, конечно, волноваться не стоило. Я уверен, это была прекрасная речь.

Худые бледные щеки старика, окаймленные снежно-белыми бакенбардами, залила краска.

— Я давно ждал этого дня,— продолжал он, запинаясь.— Все годы, сколько знаю вашу светлость... двадцать восемь лет. Это начало.

— Или конец, Клифтон.

Лицо старика вытянулось, он посмотрел на Милтоуна с тревожным недоумением.

— Нет, нет,— сказал он.— В вашем роду такого быть не может.

Милтоун взял его за руку.

— Простите, Клифтон. Я не хотел вас огорчить. С минуту они молчали, в некоторой растерянности глядя на свои соединенные в пожатии руки.

— Не угодно ли вашей светлости принять ванну?.. Завтрак, как всегда, в восемь. Могу достать для вас бритву.

Войдя в столовую, Милтоун застал леди Кастерли с «Таймсом» в руках; перед нею стоял её обычный завтрак — грейпфрут и сухое печенье. Она казалась совсем не такой «устрашающе здоровой», как писала Барбара; скорее, даже побледнела, словно тяжело переносила летнюю жару. Но её небольшие серо-стальные глаза, как всегда, смотрели зорко и живо, и каждое движение было полно решимости.

— Я вижу, Юстас, ты выбрал собственное направление,— сказала она.— Я не нахожу в этом ничего дурного, напротив. Но помни, мой милый, что бы у тебя там ни переменилось, держись одного. В парламенте важно

---

<sup>1</sup> Времена меняются (лат.)

все время бить в одну точку. Ты что-то плохо выглядишь.

— Спасибо, я здоров,— пробормотал Милтоун, наклоняясь и целуя ее.

— Чепуха. За тобой плохо смотрят. Мама была в палате?

— Кажется, нет.

— Вот именно. А Барбара о чем думает? Уж она-то могла бы о тебе позаботиться.

— Барбара уехала к дяде Деннису.

Леди Кастерли поджала губы; потом, пронизывая внука взглядом, сказала:

— Сегодня же отвезу тебя туда. Морской воздух тебе пойдет на пользу. Что вы на это скажете, Клифтон?

— Его светлость очень бледен.

— Распорядитесь насчет экипажа, мы поедем с Клэпхемского вокзала. Томас доставит тебе что нужно из платья. А лучше позвоним по телефону твоей маме, пусть пришлет за нами автомобиль, хоть я их терпеть не могу. Слишком жарко ехать поездом. Клифтон, пожалуйста, устройте это.

Милтоун не стал спорить. И всю дорогу сидел глубоко равнодушный и усталый, что леди Кастерли сочла в высшей степени дурным знаком, ибо усталость она почитала состоянием весьма странным и непростительным. Этой примечательной маленькой женщине — хранительнице аристократических принципов, — заряженной стремлением сохранить жизнеспособность, свойственна была особая, выработанная поколениями цепкость, которую вынуждено развивать в себе сословие, стоящее на вершине общественной лестницы, затем, чтобы не впасть в ничтожество и не оказаться перед необходимостью начинать все сначала. Говоря начистоту, ей не терпелось любым, самым жестоким способом как-то встряхнуть внука, вывести из оцепенения, ибо она знала, почему он такой, и считала это возмутительным малодушием. Будь на его месте любой другой из ее внуков, она не колебалась бы ни минуты, но в Милтоуне было нечто такое, чего побаивалась даже леди Кастерли, и за четыре часа, проведенные в дороге, она только раз попыталась преодолеть его сдержанность. Сделала она это с необычайной для нее мягкостью — ведь он, как никто



другой, был ее надеждой и ее гордостью! Просунув под его локоть сухую властную ручку, она тихо сказала:

— Не грусти, мой милый. Это никуда не годится.

Но Милтоун мягко высвободился и положил ее руку на плед, прикрывавший колени; он ни слова не ответил и ничем не показал, что слышал ее.

И леди Кастерли, глубоко уязвленная, сжала в ничтожку поблекшие губы и сказала резко:

— Пожалуйста, медленнее, Фрис!

## ГЛАВА V

Только Барбаре Милтоун немного приоткрыл свою смятенную душу; это произошло в тот же день, в час отлива, когда они лежали на берегу в тени лохматого тамариска. Он и с нею не мог бы заговорить откровенно, если бы не та памятная ночь в Монкленде; и, может быть, все равно не заговорил бы, если бы не чувствовал в младшей сестре того живого тепла, которого он так жаждал. В том, что касалось любви, из них двоих старшей была Барбара: помимо присущего почти всем женщинам чутья, ей свойственно было еще врожденное знание света, как и подобало дочери лорда и леди Вэллис. Если она не очень ясно понимала, что творится в ее собственной душе, то сбивали ее с толку не любовь и страсть, как Милтоуна, а разум и любопытство, разбуженные Куртье и пытающиеся неумело трепыхать крыльшками. Она горевала о безнадежной любви Милтоуна; и ей тяжело было думать о миссис Ноуэл, которая терзается тоской в своем одиноком домике. Глядя на свою примерную и степенную сестру Агату, Барбара уже давно была склонна бунтовать против общепринятой морали и отнюдь не склонна к набожности. Раз эти двое не могут быть счастливы врозь, рассуждала она, так во имя всего счастья, какое возможно на земле, пусть будут счастливы вдвоем!

Милтоун лежал на спине под кустами тамариска и смотрел в небо, а она гадала, как бы его утешить, сознавая, что не понимает его взглядов и мыслей. Позади, над полями, жаворонки песней славили зреющие хлеба; берег, обнаженный отливом, пестрел всеми краска-

ми, от ярко-зеленого до нежно-розового; у самой воды бродили черные согнутые фигурки — сборщики морского салата. В тени ветвей сладко пахло тамариском; во всем был несказанный покой. И Барбара, окутанная пестрым покрывалом света и тени, не могла без досады думать о страданиях, которые, по ее мнению, вполне можно было исцелить, — надо только действовать. Наконец она набралась храбрости:

— Жизнь коротка, Юсти!

Милтоун не пошевелился, но слова его ее испугали:

— Убеди меня в этом, Бэбс, и я стану тебя благословлять. Если пенье жаворонков ничего не значит и эта лазурь над головой — глупая выдумка, если мы пресмыкаемся тут впустую и жизнь наша бессмысленна и бесцельна, ради всего святого убеди меня в этом!

Барбара растерянно подняла руку, словно защищаясь.

— Не надо так! — вымолвила она. — Ты слишком мрачно на все смотришь!

— Раз ты говоришь, что жизнь коротка, тебе не следует отравлять ее жалостью, — сказал Милтоун со своей обычной улыбкой. — В старину мы шли в Тауэр за свои убеждения. Полагаю, что и сейчас мы способны потерпеть, когда нам достается; или уж нам больше ни на что не хватает пороку?

— Что действительно надо терпеть, мы вытерпим, я полагаю, — резко ответила Барбара, обиженная его насмешливым тоном, — но с какой стати самим себя мучить? Вот чего я не выношу!

— Ох, как мудро.

Барбара густо покраснела.

— Я люблю жизнь! — сказала она.

Золотые корабли заходящего солнца уже плыли на всех парусах прямо к берегу, где все еще низко сгибались черные фигурки сборщиков салата, а жаворонки еще пели над зреющими хлебами, когда Харбинджер, скакавший по берегу из Уайтуотера к дому лорда Денниса, повстречал брата и сестру, молча возвращавшихся домой обедать.

Сказать, что сей молодой человек тонко чувствовал духовную температуру, значило бы погрешить против истины; но он в этом был не так уж виноват: ведь

с самого его рождения все словно сговорилось поддерживать уровень ртути в духовном термометре окружающей его среды на тридцати градусах в тени. И если сейчас столбик ртути его собственного духа подскочил чуть ли не до точки кипения и грозил разорвать стеклянную оболочку, от этого он только еще меньше чем всегда способен был замечать, что творится с другими. Однако он заметил, что Барбара бледна и кажется еще прелестнее, чем обычно. С ее старшим братом Харбинджеру почему-то всегда бывало не по себе. Он не решался попросту презирать не знающее компромиссов упорство в человеке своего круга, но и его, как всех, болезненно задевало плохо скрытое язвительное презрение Милтоуна ко всякой банальности; непоколебимо уверенный в себе, как это свойственно крепким, здоровым людям, чей счастливый жребий таков, что едва ли чему-нибудь удастся поколебать эту веру, он терпеть не мог, когда на него смотрели несколько сверху вниз. И испытал величайшее облегчение, когда Милтоун, сказав, что ему понадобился какой-то журнал, свернул к городку.

Харбинджер, как и Милтоун и Барбара, провел мучительную, беспокойную ночь. Видение в белом, с приоткрывшимися губами, самозабвенно кружащееся в объятиях Куртье, неотступно преследовало его. Танцуя последний вальс с Барбарой, он ожесточенно молчал; ему стоило огромного труда удержаться от едких намеков на «рыжего бахвала», как он втайне прозвал рыцаря безнадежных битв. То, что он чувствовал на балу и после, в сущности, было откровением, вернее, стало бы откровением, умей Харбинджер взглянуть на себя со стороны. Правда, на другой день он держался, по обыкновению, уверенно и небрежно — ведь не станешь выставлять свои чувства напоказ, — но в нем бушевала такая жгучая, бешеная ревность, что можно было его только пожалеть. Мужчины его склада, рослые, сильные, напористые, отнюдь не отличаются терпением. Шагая с бала домой, он решил поехать за Барбарой к морю, ибо она не без умысла сказала ему, что уезжает. После второй бессонной ночи он больше не колебался. Он должен ее увидеть! В конце концов может же человек поехать в собственное имение, а если причины такой поспешности чересчур ясны — что ж, пусть. Ясны?

Чем ясней, тем лучше! В нем пробуждалась чисто мужская упрямая и грубая решимость. Нет, она от него не ускользнет!

Но теперь, когда он, ведя лошадь в поводу, шел рядом с Барбарой, вся его решимость и уверенность растаяла, уступив место растерянной робости. Он шел, повесив голову, и ему было больно, что она так близко и все же так от него далеко; он злился на свою немоту и неловкость, едва ли не злился и на Барбару за то, что она так хороша и этим заставляет его страдать. Когда они дошли до дома Фитц-Харолдов и Барбара оставила Харбинджера у конюшни, сказав, что ей надо еще нарвать цветов, он с сердцем дернул уздечку и выругал лошадь, которая не сразу пошла в стойло. Его приводила в ужас мысль, что он может уже не застать Барбару в саду, и в то же время он почти боялся найти ее там. Но она все еще рвала гвоздики у живой изгороди, по дороге к оранжерее. А когда кончила и выпрямилась, Харбинджер, сам не зная, что делает, стиснул ее в объятиях и начал неистово целовать.

Барбара как будто и не сопротивлялась, губы ее оставались безответными, нежные щеки разгорались все жарче; но вдруг Харбинджер отпрянул, и сердце его остановилось от ужаса перед собственной непоправимой дерзостью. Что же он натворил! Барбара прижалась к изгороди, почти утонув в подстриженных кустах букса, и он услышал ее чуть насмешливый голос:

— Ну и ну!

Он готов был упасть на колени, умоляя о прощении, только страх, что кто-нибудь пройдет и увидит, удержал его.

— О господи, я сошел с ума! — пробормотал он и мрачно застыл, страшась собственного безрассудства.

— Это верно,— услышал он тихий ответ.

И видя, что она приложила руку к губам, как бы стараясь утишить боль, с усилием прошептал:

— Простите меня, Бэбс!

Долгая минута прошла в молчании, он больше не смел поднять на нее глаза и не мог совладать со своим волнением. И наконец в растерянности услышал ее слова:

— Я не сержусь — на сей раз.

Он изумленно вскинул глаза. Как может она говорить так спокойно, если любит его! А если не любит, как может не сердиться!

Она провела ладонями по лицу, пригладила волосы, поправила воротник, приводя себя в порядок после его поцелуев. Затем предложила:

— Пойдемте в дом?

Харбинджер шагнул к ней.

— Я так люблю вас! — сказал он. — Я готов отдать в ваши руки свою жизнь, а вам она не нужна.

Он сам не очень понимал, что говорит, а у Барбары эти слова вызвали улыбку.

— Если я позволю вам подойти ближе чем на три шага, будете вы вести себя прилично?

Он поклонился, и они молча пошли к дому.

За обеденным столом в тот вечер ощущалась какая-то странная неловкость. Но если ни Милтоун, ни лорд Деннис не могли понять, что за комедия разыгрывается у них на глазах, то леди Кастерли была достаточно проницательна; и когда Харбинджер пустился на своем скакуне в обратный путь через пески, она, взяв свечу, позвала Барбару к себе. Введя внучку в комнаты, всегда отводившиеся ей в дни ее пребывания в этом доме и обставленные по ее вкусу, то есть почти пустые, леди Кастерли села, по-хозяйски придирчиво оглядела высокую стройную фигуру девушки и сказала:

— Итак, хоть ты становишься благоразумной. Поцелуй меня.

Наклонившись к ней для этого священнодействия, Барбара увидела одинокую слезу, скользящую вдоль точеного носа. Понимая, что заметить слезу было бы ужасно, она выпрямилась и отошла к окну. И глядя на темные поля и темное море, по берегу которого Харбинджер в эти минуты возвращался домой, она прижала руку к губам и в сотый раз подумала:

«Так вот как это бывает!»

## ГЛАВА VI

Спустя три дня после своего первого и, как он себе пообещал, последнего великосветского бала Куртье получил записку от Одри Ноуэл: она писала, что уехала из Монк-

ленда и сняла квартирку на набережной, неподалеку от Вестминстера.

В тот же день он пошел к ней мимо здания парламента, сверкавшего в лучах июльского солнца, согревшего эти стены, которые всегда дышат суровой торжественностью. Куртье на ходу подозрительно на них покосился. Вид этих башен всегда вызывал у него двойственное чувство. Он был не настолько поэтом, чтобы усмотреть в них всего лишь живописный силуэт на фоне неба, но в достаточной мере поэтом, чтобы ему страстно хотелось дать чему-то или кому-то пинка; в таком настроении он и вышел на набережную.

Миссис Ноуэл не оказалось дома, но горничная сказала, что она скоро вернется, и Куртье решил подождать. Квартирка была на втором этаже, окнами на реку, и, видимо, была снята вместе с обстановкой: заметны были следы недавней борьбы со вкусами, уцелевшими от царствования Эдуарда, Георгов и королевы Виктории. Знаком явной победы в этой борьбе оказалась розовая кушетка в нише у окна, очень удобная и вполне современная, на которой Куртье и уселся, по привычке бывалого солдата не упускать ни минуты отдыха.

Когда-то он относился покровительственно к удивительно миловидной темноволосой девочке; теперь к этому чувству прибавилась не только рыцарственная жалость отзывчивого человека к женщине, сраженной несчастьем, но еще и гнев, естественный для того, кто, по самому складу своего характера, никогда не чувствовал себя угнетенным, и возмущается, когда видит, как тиранят и угнетают других.

Еще смутно различимые в сумерках серые башни, под сенью которых заседали Милтоун и его отец, вызывали у Куртье немалую досаду; в его глазах это был символ власти — заклятого врага его бессмертной возлюбленной, — сладостной, нескончаемой и безнадежной битвы за свободу. Но скоро река, наполняемая вольными водами, что омывали несчетные берега, касались всех песков, видели, как восходят и закатываются любые судьбы так успокоила его своим беззвучным гимном свободе, что, когда Одри Ноуэл с охапкой цветов вошла в комнату, он спал крепким сном, плотно сжав губы.

Неслышно положив цветы, она стала ждать, когда он проснется. Это живое, подвижное лицо с выдающимся подбородком, огненными усами и бровями, сходящимися римской пятеркой над сомкнутыми веками, даже во сне сохраняло выражение веселого вызова; и, должно быть, во всем Лондоне не нашлось бы ему большей противоположности, чем лицо этой женщины в раме мягких темных волос — нежное, покорное, дышащее радостью при виде единственного человека на свете, от которого она, не теряя уважения к себе, могла узнать хоть что-нибудь о Милтоуне.

Наконец он проснулся и без малейшего смущения сказал:

— Это так похоже на вас — не разбудить!

Они долго сидели и разговаривали под ровный, дремотный шумок с набережной, в дремотном аромате цветов, наполняющем комнату; и когда Куртье ушел, сердце его ныло. Одри ни слова не сказала о себе, почти все время она говорила о Барбаре, восхищалась ее красотой и жизнерадостностью; раза два она вдруг бледнела, и видно было, с какой затаенной жадностью впитывает она каждое мельком брошенное слово о Милтоуне. Несомненно, она все так же любила его, хоть и старалась этого не показывать. Куртье жалел ее теперь почти яростно.

В таком настроении, одолеваемый еще иными противоречивыми чувствами, он надел фрак и отправился на последний в этом сезоне прием в особняк Вэллисов — в такое позднее время, в конце июля, прием этот, по необходимости носил сугубо политический характер.

Поднимаясь по широкой сверкающей лестнице, на которой так часто сбивалась со счета Энн, он припомнил картинку «Ступени, ведущие к небесам», висевшую в его детской тридцать четыре года назад. На верхней площадке он увидел Харбинджера, окруженного приятелями, тот сухо ему кивнул. Ревнивому глазу Куртье этот красивый, статный молодой человек показался еще более преуспевающим и самодовольным, чем всегда; и он, едко усмехаясь, прошел мимо и, лавируя в толпе, направился к леди Вэллис, которая, точно генерал, стояла на небольшом свободном пространстве, где непрерывно сходились и вновь расходились, подобно лучам

звезды, вереницы гостей. Хозяйка дома выглядела прекрасно, простор и сверкающий мрамор очень гармонировали со всем ее обликом; она поздоровалась с Куртье особенно сердечно, — тут было не только желание подбодрить залетную птицу, которая в этом доме, наверно, чувствует себя чужой, но еще, пожалуй, и некая дипломатия, потому что ей и хотелось его обезоружить и страшновато было нечаянным словом задеть его и сделать еще более опасным. Она сказала, что слышала, будто он собирается в Персию, и выразила надежду, что он не намерен осложнять и без того трудное положение; затем со словами: «Так мило с вашей стороны, что вы пришли!» — она вернулась к своим обязанностям генерала на поле сражения.

Поняв, что разговор с ним окончен, Куртье отошел к стене и принялся наблюдать. Стоя здесь, в стороне от всех, он напоминал одинокую кукушку, следящую, как кружит в воздухе стая грачей. Ему, столь далекому от правил и обычаев Вестминстера, вся эта суeta казалась не слишком осмысленной. Он слышал, как спорили о речи Милтоуна, подлинное значение которой они только сейчас поняли. До его ушей доносились слова: «доктринер», «экстремист», а вместе с тем — «новая сила». Речь Милтоуна их явно озадачила, обеспокоила, неприятно удивила, словно среди привычных созвездий вдруг появилось неведомое доныне светило.

Отыскивая взглядом в толпе Барбару, Куртье все время чувствовал себя пристыженным. С какой стати он затесался в это глубоко чуждое ему общество — только затем, чтобы ее увидеть? С какой стати вообще он томится по этой девушке, в душе прекрасно зная, что он и недели не вытерпел бы в атмосфере, где дышит она, а она не смогла бы дышать там, куда он мог бы ее привести; да и все равно ее сердце из-за него никогда не забьется сильнее: ведь он вдвое старше ее!

— Мистер Куртье! — раздалось позади него.

Он обернулся и увидел Барбару.

— Мне надо с вами серьезно поговорить. Пройдемте в галерею, хорошо?

Когда наконец они очутились подле семейного портрета Карадоков георгианской эпохи, в достаточном отдалении от толпы, Барбара заговорила:



— Милтоун ужасно несчастен, и я не знаю, чем ему помочь. Он просто убивает себя!

И неожиданно снизу вверх поглядела на Куртье. В эту минуту она показалась ему очень юной и трогательной. В глазах ее светилось совсем детское доверие, словно она ждала, что он распутает все узлы, поможет ей понять не только беду Милтоуна, но и всю жизнь, ее смысл и секрет — как быть счастливой. И он сказал мягко:

— Что же я могу сделать? Миссис Ноуэл в Лондоне. Но это не поможет, если только... — И он умолк, не зная, как закончить фразу.

— Была бы я на месте Милтоуна... — прошептала Барбара.

Странно прозвучали эти слова; Куртье стоило большого труда не взять в свои ее руки, которые были так близко. Бунтарская вспышка Барбары отозвалась в нем жарким волнением. Но она, словно поняв, что в нем происходит, сказала холодно:

— Все это бесполезно; с моей стороны глупо было вас беспокоить.

— Вы никак не можете меня беспокоить.

Она перестала рассматривать собственную перчатку и вдруг посмотрела ему прямо в глаза.

— Это правда, что вы едете в Персию?

— Да.

— Но я не хочу, чтобы вы сейчас уезжали! — сказала Барбара и, повернувшись, быстро вышла из галереи.

Необычно взволнованный, Куртье остался недвижим и вопросительно посмотрел в суровые лица Кара-доков.

— Недурная живопись, правда? — раздался голос.

Куртье обернулся — за ним стоял Харбинджер. И снова ему вспомнились слова леди Кастерли; вспомнились двое на балконе, над толпой в день выборов, взявшиеся за руки; вострепелась острая ревность к этому молодому красивому великану, вся враждебность к тому, в ком Куртье чутьем угадывал умение всегда сражаться на стороне победителей; мысль, что сам он ведет борьбу безнадежную, и сомнение, вправе ли он ее вести, — все это разом вспыхнуло в душе Куртье, и он ответил Хар-

бинджеру молчаливым взглядом в упор. На лице Харбинджера сквозь светскую маску медленно проступило упрямое бешенство.

— Я сказал: «Недурная живопись, правда?», — мистер Куртье.

— Я слышал.

— И что вы сооблаговолили ответить?

— Ничего.

— Учтивость, какой от вас и следовало ожидать.

— Если вам угодно разговаривать в таком духе, — с холодным презрением отозвался Куртье, — прошу выбрать место, где я смогу вам ответить.

Он круто повернулся и пошел прочь.

Но, выходя из этого дома, он скрипел зубами.

На выжженной солнцем траве в Хайд-парке не было ни росинки; звезды в небе затянуло пеленой зноя и пыли. Никогда еще Куртье так не жаждал утешения, какое обретаешь только глядя на небо, благословенного ощущения собственной ничтожности перед лицом темной красоты ночи, которая утишает пустую злобу и нетерпеливые желания, приобщает людей к своему величию, возвышает их и облагораживает.

## ГЛАВА VII

На другой день в пятом часу Барбара вышла из лондонского особняка Вэллисов; она шла по улице в скромном желтом платье, в котором надеялась не привлекать внимания, и все взоры обращались на нее. Скоро она взяла такси, доехала до Темпла, остановила машину у входа со стороны Стрэнда и узким проулком вошла в самое сердце обители закона. Слуги его потоком устремлялись из судебных зал и адвокатских контор, спеша подкрепиться чаем, или мчались к Лорду и в Парк — то были молодые слуги закона, еще не подвластные чарам славы или высоких гонораров. И у каждого при виде Барбары чесались руки от желания снять шляпу, и каждый с первого взгляда знал, что это и есть Она. Да и возможно ли иное чувство, если после долгого дня, отданного судебным делам и прецедентам и усилиям по-

нять, велики ли у А шансы отстоять свои права, а у Б — помешать ему в этом, перед тобою вдруг возникает такое невозмутимо спокойное видение, подобное шествующему по земле гибкому золотому деревцу. Один молодой человек, у которого Барбара спросила, как пройти к Милтоуну, застенчиво и церемонно показав ей дорогу, глядел вслед, пока она поднималась по пыльным ступеням, и еще помедлил в надежде, что она не застанет того, к кому пришла и, возвращаясь, может быть, спросит у него дорогу к выходу. Но она не вернулась, и он печально побрел прочь, потрясенный до самых недр души, — единственного своего достояния.

А между тем на стук Барбары никто не ответил, но, заметив, что дверь не заперта, она через прихожую, мимо каморки секретаря, превращенной в кухню, прошла в приемную. Она никогда еще не бывала у Милтоуна и теперь с любопытством осматривалась. Так как Милтоун не практиковал, многих необходимых принадлежностей адвокатской конторы тут не было. Потертый ковер на полу, несколько старых стульев да по стенам, до самого потолка, полки с книгами — вот и вся обстановка. Но простенок между окон занимала громадная карта Англии, сплошь исчерченная какими-то цифрами и крестиками, а перед нею на большущем столе громоздились стопками листы бумаги, исписанные четким, заостренным почерком Милтоуна. Барбара поглядела на них, наморщив лоб; она знала, что Милтоун работает над книгой по земельному вопросу, но никогда не подозревала, что для книги надо так много писать. На поместительном бюро лежала груда газет и Синих книг и стояли бронзовые бюсты Эсхила и Данте.

«До чего же неуютно!» — подумала Барбара. Самый воздух этой комнаты давил и угнетал ее. Из окна она увидела во дворе несколько цветочков, и ее отчаянно потянуло туда. Потом ей послышался за спиной чей-то голос. Но в комнате никого не было; а все-таки неведомо откуда доносился одинокий голос, произносящий какие-то отрывочные слова, и это было так жутко, что Барбара отступила к двери. Станные звуки, словно две тени переговаривались одним и тем же голосом, стали громче, и Барбара невольно покосилась на бронзовые бюсты. Но и у Эсхила и у Данте вид был самый невин-

ный. Когда она стояла у окна, голос слышался у нее за спиной, теперь, когда она отошла к двери, он опять слышался сзади; и вдруг она поняла, что он доносится из-за книжных полок, посредине стены. Барбара унаследовала отцовское мужество; она подошла к полкам и увидела, что они прикреплены к приотворенной двери, которую собою закрывают. Барбара потянула дверь и вошла в соседнюю комнату. Это была неприбранная спальня, и по ней из угла в угол шагал Милтоун в одной сорочке и брюках. Он был босой, с волос капала вода; Барбара взглянула в его худое потемневшее лицо, и у нее защемило сердце. Она подбежала к брату и взяла его за руку. Рука была горячая, как огонь, но глаза при виде Барбары словно оледенели, и он умолк. И от этой обжигающей руки и ледяного молчания Барбаре стало страшно. В замешательстве она свободной рукой коснулась его лба. Он тоже горел огнем.

— Зачем ты пришла? — спросил Милтоун.

Она едва сумела прошептать:

— Ох, Юсти! Ты болен?

Горячими руками он сжал ее запястья.

— Это ничего. Я слишком напряженно работал; меня немного лихорадит.

— Это я вижу, — сказала Барбара. — Тебе надо лечь в постель. Поедем домой.

Милтоун улыбнулся.

— Это не тот случай, когда зовут лекарей.

От его улыбки, от голоса Барбару пробрала дрожь.

— Я не оставляю тебя тут одного, — сказала она.

Милтоун крепче стиснул ее руки.

— Дорогая моя Бэбс, ты сделаешь, как я велю. Иди домой, держи язык за зубами и дай мне спокойно перегореть.

Барбара не поморщилась, хотя руки были, как в тисках; к ней вернулось самообладание.

— Но ты должен пойти со мной! У тебя тут ничего нет, даже освежающего питья!

— О господи! Как же без ячменной воды!

Презрение, прозвучавшее в этих словах, было куда убийственней любых филиппик по поводу спасительности житейских удобств. Барбара, уязвленная, замолкла.

Он выпустил ее руки и вновь принялся шагать из угла в угол; но вдруг остановился:

Во тьме ни солнца, ни звезды,  
Пустынной дали нет конца,  
Ни хлеба, ни глотка воды,  
Лишь тьма касается лица.

— Надо читать Блейка, Одри.

Испуганная Барбара почти выбежала из комнаты. Через приемную и коридор вышла на лестницу. Он болен... Бредит! Казалось, лихорадка, палившая Милтоуна, через жаркие тиски его рук проникла и в ее кровь. Лицо ее горело, мысли путались, дыхание прерывалось. В ней смешались и обида на брата и горькая жалость к нему; и снова обжигало воспоминание о поцелуях Харбинджера.

Она сбежала с лестницы, пошла, не сознавая, куда идет, и скоро очутилась на набережной. И вдруг, со своей обычной способностью быстро принимать решения, окликнула такси и поехала к ближайшему телефону.

## ГЛАВА VIII

Женщине, подобно Одри Ноуэл, созданной для того, чтобы стать чьим-то дополнением и отражением, которой чужды самостоятельность, стремление чего-то достичь, заняться какими-то важными делами, резкая перемена образа жизни, даже если она решается на такой шаг по доброй воле, дается очень нелегко.

Лишенная знакомых лиц, цветов, дружеского дыхания липы, бедняков, которым надо помогать, лишенная однообразных мелких хлопот по дому — опоры и утешения одиноких женщин, — она чувствовала себя потерянной и никому не нужной. Даже статьи для музыкального обозрения, казалось, уже не занимали ее. Она никогда не жила в Лондоне, у нее не было здесь любимых уголков и связанных с ними привычек; все надо было создавать заново, а чтобы создать привычки и найти любимые уголки, надо иметь сердце, способное хотя бы протянуть щупальца и коснуться окружающего мира, у ее же сердца сейчас не было на это сил. Она воевала со

старомодной обстановкой своей квартиры и налаживала распорядок своих неприхотливых трапез, а покончив с этим, растерялась, точно узник, выпущенный из тюрьмы, который должен начинать жизнь сначала. Ей даже не надо было скрывать свои чувства из страха кого-то обеспокоить, этой надежной опоры она тоже была лишена. Она оказалась наедине со своей тоской и горем — и некому и нечему было отвлечь ее от нее самой. Но поскольку она сама поставила себя в такое положение, она старалась переносить его с честью, и, во всяком случае, это было не так нестерпимо, как оставаться в Монкленде, где она совершила такую горькую, непростительную ошибку — позволила себе полюбить.

В грехе этом, как и в другом тяжком, непростительном грехе — в своем замужестве, женщина, наделенная великим талантом быть счастливой и дарить счастье, оказалась повинной потому, что слишком легко покорялась чужой воле. Но слабое это было утешение — сознавать, что желание любить и быть любимой дважды разбивало ее жизнь. Из чего бы ни возникло полудетское чувство, побудившее ее в двадцать лет выйти за преподобного Ноуэла, в ее любви к Милтоуну была не просто покорность, а страстное самоотречение. Она жаждала поступать так, как будет лучше для него, и не могла даже утешаться мыслью, что ее жертва принесла ему счастье. От нее ничего не зависело! И однако, неизменно покорная судьбе, она даже и в душе не бунтовала. Быть может, ей было суждено пятьдесят, а то и шестьдесят лет вести бесплодную, пустую, тоскливую жизнь, искупая ту первую ошибку юности, но если и так, бунтовать все равно было ей не свойственно. Если же она и могла взбунтоваться, то не в мыслях, а на деле. Отвлеченные теории были ей чужды; она не тратила сил на невеселые раздумья о том, справедлива ли ее участь, а лишь старалась примириться с ней.

Назавтра после посещения Куртье она весь день провела в Национальной галерее, — казалось, во всем Лондоне это было ее единственное прибежище. Один портрет кисти какого-то итальянского художника напомнил ей Милтоуна, и она так долго сидела перед ним, что подагрический старик — смотритель зала — стал коситься на нее. Эта женщина с мягким овалом лица, вся ее

печальная красота возбудили в нем и любопытство и кое-какие нравственные сомнения. Безусловно, она ждет любовника. Смотритель по опыту знал, что не станет женщиной сидеть так долго перед одной и той же картиной, если у нее нет для этого особого повода; и он глядел в оба, решив узнать, каков собой этот повод. И ощутил горькое разочарование, когда, вновь обходя зал, увидел, что эта пара избежала его бдительного ока. Так как он весь день провел на ногах, они порядком ныли, и он опустился на мягкую скамью, где прежде сидела посетительница, и невольно тоже стал смотреть на картину. Она была написана в манере, которая ему вовсе не нравилась, и лицо изображенного на ней человека показалось ему странным: как будто этого джентльмена что-то грызет изнутри. Но, просидев так недолгое время, смотритель вдруг заметил, что та женщина стоит подле картины, а нарисованный джентльмен что-то ей говорит, неслышно шевеля губами. Это уже было против правил, и смотритель тотчас поднялся и направился к ним, но почувствовал, что глаза его закрыты, и поспешно их открыл. У картины никого не было.

После Национальной галереи Одри пошла в кондитерскую выпить чаю, а оттуда домой. У подъезда стояло такси, и горничная сообщила, что в гостиной дожидается леди Карадок.

И в самом деле, посреди комнаты стояла Барбара; в лице у нее, как иной раз у ее отца на скачках, на охоте или на бурных заседаниях кабинета министров, были и тревога и решимость.

— Я узнала ваш адрес у мистера Куртье, — тотчас начала она. — Мой брат заболел. Боюсь, что у него горячка, вам надо сейчас же ехать к нему в Темпл; нельзя терять ни минуты.

Комната поплыла перед глазами Одри; и однако все ее чувства сверхъестественно обострились, она даже различала доносящийся с реки запах илистого берега, обнаженного отливом. Она сказала дрожащим голосом:

— Я поеду... да, я сейчас же поеду.

— Он совсем один. Он не просил вас позвать; но мне кажется, одна надежда — на вашу помощь. Он принял меня за вас. Когда-то вы мне говорили, что вы неплохая сиделка.

— Да.

Стены уже не плыли перед глазами, но сверхъестественная острота чувств исчезла, все словно окутал туман. Смутно донесся голос Барбары:

— Я довезу вас до самого дома.

— Я сейчас,— пробормотала Одри и ушла в спальню.

Минуту она стояла в растерянности, опустив руки. Потом все мысли захлестнула странная, тихая, почти мучительная радость. Она сразу словно преобразилась; и быстро, обдуманно, без суетливости она стала собираться. Уложила в чемодан самое необходимое для себя; затем — фланель, вату, одеколон, грелку, спиртовку, плед, термометр — все, что могло пригодиться для ухода за больным. Переоделась в простое, скромное платье и с чемоданом в руках вышла к Барбаре. Они сели в такси. И едва оно тронулось, приближая ее к испытанию, столь желанному и столь страшному, Одри вновь охватил ужас, и, молча, бледная, как полотно, она забилась в угол. Потом услышала, как Барбара окликнула шофера:

— Поезжайте через Стрэнд и остановитесь у мясной, нам нужен лед.

И когда им подали ящик со льдом, вновь послышался голос Барбары:

— Если он в самом деле серьезно заболеет, я доставлю вам все, что вы скажете.

Наконец они доехали. Одри увидела распахнутую дверь и лестницу, и тут к ней вернулось мужество.

Теплая рука Барбары сжала ее руку,— и, подхватив чемодан и ящик со льдом, Одри стала поспешно подниматься по ступеням.

## ГЛАВА IX

Покинув Нетлфолд, Милтоун возвратился к себе и тотчас принялся за работу над своей книгой по земельному вопросу. Он работал всю ночь напролет — это была уже третья бессонная ночь — и весь следующий день. К вечеру он почувствовал, что у него тяжелая голова, вышел из дому и прошелся взад и вперед по набережной. Потом, опасаясь, что будет ворочаться в постели



без сна, сел в кресло. Так, сидя, и уснул, но его мучили страшные сны, и, проснувшись, он не почувствовал облегчения. Приняв ванну, выпил кофе и опять заставил себя взяться за работу. Среди дня он совсем обессилел, голова непрестанно кружилась, но есть ничуть не хотелось. Он вышел на раскаленный солнцем Стрэнд, купил понадобившуюся ему книгу, выпил еще стакан кофе и, возвратясь домой, опять сел за работу. Часа в четыре он поймал себя на том, что тупо смотрит на строчки, не понимая ни слова. Лоб и виски горели, он пошел и подставил голову под кран. А потом, сам этого не заметив, начал ходить взад и вперед по спальне и разговаривать сам с собой; и так его застала Барбара.

Едва она ушла, силы совсем оставили его. Над кроватью висело небольшое распятие; Милтоун бросился на колени и замер, зарывшись лицом в постель, протянув руки к стене. Он не молился, только жаждал покоя. Оцепенелый мозг его изредка молниями пронизывали какие-то фантастические образы. А потом он уже ничего не чувствовал, кроме бесконечной тошнотворной слабости, и воля его возмутилась. Нет, он не поддастся болезни, это просто смешно — обратиться в беспомощный чурбан и чтоб с тобой нянчились женщины. Но приступы слабости возвращались все чаще, не отпускали все дольше, и в надежде прогнать их Милтоун поднялся и некоторое время опять шагал по комнате; потом закружилась голова и пришлось сесть на постель, чтобы не упасть. Жар сменился ледяным ознобом, и он рад был натянуть на себя одеяло. Потом его снова бросило в жар; но инстинкт больного подсказал ему, что надо не раскрываться и лежать тихо. Комнату заполнила какая-то вязкая белая масса; она тучей окутала Милтоуна, и он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Обоняние и слух неестественно обострились; он чувствовал запахи дальних улиц, цветов, пыли, кожаных переплетов, даже слабый запах духов, оставшийся после ухода Барбары, и запах ила, которым тянуло с реки. Часы пробили шесть, он сосчитал удары; и сразу весь мир наполнился боем часов, топотом конских копыт, велосипедными звонками, шарканьем ног. Зато видеть он ничего не видел, кроме окутавшей его белой, плотной, как одеяло, тучи, которая под глухой, непрестанный стук множества

молотков подняла его высоко над землей. На поверхности тучи засверкали несчетные золотые пятнышки; они шевелились, и Милтоун понял, что это жабы. Потом за ними возникло огромное, темное, словно отлитое из бронзы, лицо с огненными глазами, которые жгли ему мозг. И чем отчаянней Милтоун старался уйти от этих глаз, тем неотступней они сверлили его и жгли. Крикнуть он не мог, у него не было голоса, и внезапно этот грозный лик надвинулся на него.

Когда он очнулся, голова у него была влажная — кто-то, склонясь над ним, придерживал у него на лбу что-то мокрое. Подняв руку, он коснулся чьей-то щеки, услышал всхлип, мгновенно подавленный, и вздохнул. Легкие руки тихо сжали его руку, нежные губы коснулись ее.

В комнате было так темно, что он не различал ее лица, да и в глазах стоял туман; но он слышал ее дыхание, и шорох платья, и малейшее движение; благоухание ее рук и волос окутывало его, и, как ни мучительна была лихорадка, железный обруч, казалось, уже не так сжимал его мозг. Он не спрашивал, давно ли она здесь, и лежал совсем тихо, стараясь не сводить с нее глаз, в страхе, что тот грозный лик, притаившийся где-то, вновь надвинется на него. Потом вдруг почувствовал, что больше не в силах отгонять это видение, и, знаком подозревая ее, прильнул к ней, ища защиты у нее на груди. На этот раз обморок длился не так долго; потом начался бред, но в минуты просветления он сознавал, что она здесь, и при огоньке затененной свечи видел, как она легко, словно по воздуху, проходит мимо в своей белой одежде или сидит неподвижно, прикрыв его руку своей; и даже радовался, ощущая на голове пузырь со льдом или запах одеколона. И снова переставал сознавать, что она здесь, и погружался в непонятный и страшный мир, где распятие, висевшее над кроватью, вдруг распухало и наклонялось, готовое рухнуть на него. Он решил, что надо сбросить распятие; это желание обуревало его все сильнее, и наконец с великим трудом он приподнялся и сорвал его со стены. И, однако, даже в самых мрачных своих странствиях по той неведомой стране он каким-то чудом все же сознавал, что она где-то рядом; а однажды она оказалась там вместе с ним;

в таинственном сиянии открылись перед ним поля и деревья, темная полоса вересковой пустоши и лучезарное море, и все сверкало белым, чарующим и ослепительным блеском.

На рассвете сознание вернулось к нему надолго, и он с удивлением увидел ее на низеньком стуле у его кровати. Она сидела совсем тихо, в белом свободном платье, бледная от бессонной ночи, не сводя с него глаз, плотно сжав губы и вздрагивая при малейшем его движении. И он жадно впивал прелесть этого лица, дышавшего беззаветным самоотречением.

## ГЛАВА X

Барбара никому больше не сказала о болезни брата, здравый смысл подсказывал ей, что опасно было бы потревожить его уединение. Она сама пригласила к нему доктора и дважды в день заходила справиться о нем у Одри.

Родители на время Гудвудских скачек уехали к лорду Деннису, и надо было лишь как-то объяснить, почему она сама на сей раз пропускает это излюбленное развлечение. Барбара прибегла к полуправде, сказав, что Юстас просил ее остаться в городе; и поскольку лорд и леди Вэллис все еще чувствовали себя неловко после того, что произошло со старшим сыном, этого предлога оказалось достаточно.

Только на шестой день, когда кризис уже миновал и температура упала, Барбара возвратилась в Нетлфолд.

Здесь она прежде всего осведомилась, дома ли мать, и застала ее в спальне. Леди Вэллис отдыхала после Гудвуда, где жара была отчаянная.

Барбара не боялась матери, она вообще никого на свете не боялась, кроме Милтоуна, да, пожалуй, немножко побаивалась Куртье; и все же, когда горничная вышла, она не сразу начала свой рассказ. Леди Вэллис, только что услышавшая в Гудвуде подробности последнего великосветского скандала, начала делиться с нею этой новостью, заботливо опуская все не подхо-

дящее для девичьего слуха — не поделиться ни с кем было выше ее сил.

— Мама, — неожиданно сказала Барбара, — Юстас был болен. Сейчас он уже вне опасности и быстро поправляется. — И, в упор глядя на растерявшуюся леди Вэллис, прибавила: — За ним ухаживает миссис Ноуэл.

Прошедшее время, в котором было упомянуто о болезни, сразу же успокоило тревогу, охватившую было леди Вэллис, и на смену пришло смятение, вызванное последними словами Барбары. Она собиралась утолить свойственную всем смертным слабость, посплетничав на чужой счет, а вместо этого сплетня и скандал угрожали ей самой и ее семье, — положение не из приятных. Если женщина ухаживает за больным при подобных обстоятельствах, значит, она ему ближе всех, так рассудят люди. А дочь между тем продолжала:

— Это я привела ее к Милтоуну. Другого выхода не было; ведь это все оттого, что он измучился из-за нее. Разумеется, никто ничего не знает, кроме доктора и... Стейси.

— Боже милостивый! — прошептала леди Вэллис.

— Это его спасло.

В леди Вэллис вдруг проснулся страх за сына.

— А ты говоришь правду, Бэбс? Опасность в самом деле миновала? Как нехорошо, что ты ничего мне не сказала раньше!

Но Барбара и бровью не повела; и мать вновь погрузилась в раздумье.

— Стейси просто дрянь! — неожиданно сказала она. В очищенной от всего неподходящего истории, которую она начала было рассказывать дочери, тоже, как полагается, не обошлось без горничной. Но на сей раз она не уловила комичность такого совпадения. Тут она заметила, что Барбара улыбается, и сказала резко:

— Не вижу ничего смешного.

— Нет, мамочка, я только думала, что тебе будет приятно, если я припутаю к этому Стейси.

— Как! Значит, она ничего не знает?

— Ровным счетом ничего.

Леди Вэллис улыбнулась.

— Ты скверная девчонка, Бэбс! — и лукаво прибавила: — Поди переоденься. Сегодня у нас будут Клод

с матерью, они с Берти и Лили Мэлвизин приедут из Уайтуотер.

И она так зорко и пытливо посмотрела на дочь, что та залилась румянцем.

Когда Барбара ушла, леди Вэллис позвонила горничной и снова погрузилась в размышления. Сперва она подумала, что надо бы посоветоваться с мужем; затем — что в скрытности сила. Раз уж никто, кроме Бэбс, ничего не знает, пусть никто ничего и не узнает.

Проницательность и жизненный опыт подсказывали ей, что тут возможны далеко идущие последствия. Нельзя допустить ни единого ложного шага. Если ей надо будет следить только за собой и за Барбарой, не опасаясь еще чьего-либо вмешательства, легче избежать ошибки. Странная путаница мыслей и чувств поднялась у нее в душе, почти смешная и едва ли не трагическая: тут были и благоразумие светской женщины и материнская любовь, искреннее сочувствие всем влюбленным и трезвая забота о карьере сына. Быть может, еще не поздно предотвратить непоправимое; ведь все в один голос твердят, что эта женщина отнюдь не авантюристка. И ни в коем случае не следует забывать, что она ухаживала за ним во время болезни, спасла ему жизнь, как говорит Барбара! Необходимо отнестись к ней с должной добротой и уважением.

Леди Вэллис поспешила закончить свой туалет, и теперь она, в свою очередь, пошла к дочери.

Барбара, уже одетая, облокотилась на подоконник и глядела на море.

— Скажи, дружок, Юстас уже встал с постели? — почти робко начала леди Вэллис.

— Ему разрешено подняться сегодня на час-другой.

— Понимаю. А ему не повредит, если мы с тобой попробуем заменить миссис Ноуэл?

— Бедный Юсти!

— Да, да. Но постарайся рассуждать здраво. Ему от этого не станет хуже?

Барбара помолчала.

— Нет, — сказала она наконец, — думаю, что теперь опасности никакой нет; но это может решить только доктор.

Леди Вэллис вздохнула с облегчением.

— Ну, разумеется, прежде всего мы посоветуемся с доктором. Я полагаю, на первое время Юстасу понадобится самая обыкновенная сиделка. — Она украдкой взглянула на дочь и прибавила: — Я постараюсь обойтись с нею как можно деликатнее. Но пойми, Бэбс, нельзя давать волю романтическому воображению.

Улыбка, чуть тронувшая губы дочери, отнюдь не успокоила ее, напротив, в ней ожили все недавние страхи за Барбару, ощущение, что и она, как Милтоун, вот-вот решится на какую-нибудь сумасбродную выходку.

— Ну, я иду вниз, дорогая, — сказала она.

Но Барбара еще помедлила в спальне, где десять ночей назад она ворочалась без сна, пока не вскочила в отчаянии и не кинулась искать прохлады в ночных волнах. После мимолетной последней встречи с Куртье не так-то просто было вновь увидеть Харбинджера, с которым в день приема в особняке Вэллисов она постаралась ни минуты не оставаться наедине. Она сошла вниз позже всех.

Вечером, когда в небе густо высыпали звезды, на дороге, ведущей к берегу, было много гуляющих: это были горожане, приехавшие провести у моря две недели своего отпуска. По двое, по трое и компаниями по шесть — восемь человек они шли мимо невысокой стены, ограждавшей скромные владения лорда Денниса; обрывки разговоров и смех вместе с плеском волн доносились до слуха Берти, Харбинджера, Барбары и Лили Мэлвизин, которые вышли после обеда подышать морем. Приезжие равнодушно скользили взглядом по тем четверым во фраках и вечерних туалетах; они были заняты своими мыслями и с наступлением темноты становились все молчаливее. И тем четверым тоже не хотелось разговаривать. Было что-то в этом теплом темном звездном вечере, наполненном вздохами ветра и волн, отчего разговоры стихали сами собой, и вскоре четверо разделились на пары и пошли немного поодаль друг от друга.

Харбинджер стоял у ограды, вцепившись в нее обеими руками, и ему казалось, что в мире не осталось больше слов. Даже злейший враг не назвал бы этого молодого человека романтиком; но девушка рядом, чья щека и шея смутно белели в темноте, с небывалой остро-

той заставила его ощутить присутствие тайны. По натуре и по привычкам человек сугубо деловой, отлично разбирающийся во всем, что конкретно и осязаемо, он лишь смутно сознавал, что во тьме этой ночи, в темных водах моря, в смутно белеющей фигуре девушки, чье сердце тоже было для него темным и непостижимым, таится нечто... да, нечто выходящее за рамки его философии, нечто зовущее его из уютного и тесного угла в пустыню пред лицо божества. Но и это смутное сознание скоро исчезло потому, что аромат ее волос слишком мучительно волновал его, и он жаждал наконец прервать это непонятное, невыносимое молчание.

— Бэбс,— сказал он наконец,— вы меня простили?

— Да. Я ведь вам уже сказала,— ответила она спокойно, равнодушно, даже не повернув головы.

— И это все, что вы можете сказать человеку?

— О чем же нам поговорить? Как великолепно Казетта прошла круг?

У Харбинджера едва не вырвалось проклятие. Что за враждебная сила заставляет ее так с ним обращаться! Это все тот... тот рыжий! И он вдруг начал:

— Скажите, этот...— Но слова застряли у него в гортани. Нет! Если правда такова, он предпочитает ее не слышать. Всему есть предел!

Внизу, по берегу, в молчании прошли, обнявшись, влюбленные.

Барбара повернулась и пошла к дому.

## ГЛАВА XI

Дни, когда Милтоуну впервые разрешили вставать с постели, были для той, что ходила за ним во время болезни, днями и радости и печали. Она была счастлива, глядя, как он сидит в кресле, удивленный собственным бессилием, но мысль, что отныне он не зависит от нее всецело, что он уже не слаб священной слабостью беспомощного существа, пробуждала в ней грусть матери, чье дитя в ней больше не нуждается. Теперь он с каждым часом будет отходить от нее все дальше, замыкаясь в твердыне своего духа. С каждым часом она все меньше будет его нянькой и утешительницей, все больше —

женщиной, которую он любит. И хотя мысль эта освещала туманное будущее, словно лучезарный цветок, она порождала слишком печальную неуверенность в настоящем. Притом теперь, когда тревога за Милтоуна осталась позади, Одри почувствовала, как она устала, так устала, что плохо понимала, куда идет и что делает. Но все та же неизменная улыбка светилась в ее глазах, окруженных тенями усталости, и не сходила с ее губ.

Между бронзовыми бюстами Эсхила и Данте она поставила вазочку с ландышами; и в каждом свободном уголке этого царства книг в честь выздоровления Милтоуна были поставлены розы.

Он полулежал в глубоком кожаном кресле, облаченный в турецкий халат лорда Вэллиса, — это одеяние добыла для него Барбара, отчаявшись найти в его аскетическом гардеробе что-нибудь подходящее. Аромат ландышей оказался сильнее запаха книг, и пчела, смуглая странница, заполнила комнату своим хлопотливым жужжанием.

Они молчали и только, чуть улыбаясь, смотрели друг на друга. В эти тихие минуты, пока вновь не заговорила страсть, в дремотном спокойствии летнего дня сливались их души, медлительно и нежно встречались взоры, и ни тот, ни другая не в силах были отвести глаза. Упиваясь друг другом, льнули друг к другу их души, неразделимые, как музыка и струны, так самозабвенно теряясь одна в другой, что в эти минуты для них уже не было «я» и «ты».

Как и было решено, леди Вэллис утренним поездом вернулась в Лондон и часа в три отправилась с Барбарой в Темпл, а по дороге заглянула к доктору. Все станет много проще, если Юстаса сейчас же перевезти в их особняк; к великому ее облегчению, доктор против этого не возражал. Больной замечательно поправился, а ведь был на волосок от горячки! У лорда Милтоуна поразительно крепкий организм. Нет, против его переезда возражать не приходится. В такую жару в его теперешнем жилье слишком душно. Уход за ним превосходный — да, без сомнения! Еще бы! Тут взгляд доктора стал, пожалуй, несколько пристальней прежнего. Насколько он понимает, это не профессиональная сиделка. После пере-



езда можно будет достать другую. Этой леди необходимо дать отдых. Совершенно верно! Что ж, сиделку он пришлет. И рекомендовал бы взять санитарную карету. Все это можно устроить сегодня же, немедленно, он сам обо всем позаботится. Лорда Милтоуна можно будет увезти без особых приготовлений, санитары уже сами будут знать, что делать. А как только у него появится хоть какой-то аппетит,— к морю, немедленно к морю! В это время года нет ничего лучше! А чтоб поддержать силы, недурно бы уже сейчас прописать больному чуточку винца, самую малость, четыре раза в день во время еды — только во время еды — смешать с яйцом и тертым яблоком. Через неделю наш пациент встанет на ноги, а после двух недель у моря будет совершенно здоров. Неумеренные труды... не щадил себя... еще бы чуточку... и неизвестно, чем бы это кончилось! Да, да, совершенно верно! Перед обедом он сам еще заглянет, надо лично удостовериться, что все в порядке. Поначалу перемена обстановки все же может чуточку сказаться... На прощание доктор почтительно поклонился леди Вэллис, а когда она ушла, подсел к телефону, и на его резко очерченных губах мелькнула улыбка.

Окончательно утвердившись после этого разговора в своем решении, леди Вэллис села в автомобиль рядом с дочерью; но пока он скользил в потоке других экипажей по оживленным улицам, непривычное беспокойство вновь стало сквозить в ее всегда невозмутимых чертах.

— Хотела бы я, дружок, чтобы этот разговор взял на себя кто-нибудь другой, — неожиданно сказала она. — Что, если Юстас откажется?

— Не откажется,— сказала Барбара.— У нее такой усталый вид, у бедняжки. И потом...

Леди Вэллис с любопытством посмотрела на юное лицо дочери, которое вдруг густо порозовело. Да, она уже не девочка, и у нее истинно женское чутье. И леди Вэллис сказала серьезно:

— Это был с твоей стороны очень опрометчивый поступок, Бэбс. Будем надеяться, что он не повлечет за собою непоправимого несчастья.

Барбара закусила губу.

— Видела бы ты его в таком состоянии, как видела я!

И какое там несчастье? Почему им нельзя любить друг друга, раз они этого хотят?

Леди Вэллис слегка поморщилась. Она и сама так думала. Но все же...!

— Это только начало,— заметила она.— Ты забываешь, какой у Юстаса характер.

— Почему эту несчастную не выпустят из клетки? — воскликнула Барбара.— Кому нужно, чтобы она жила, как в тюрьме? Мама, если я выйду замуж, а потом когда-нибудь захочу стать свободной, я своего добьюсь!

Голос ее, всегда звонкий и веселый, так странно задрожал, что леди Вэллис невольно схватила и сжала ее руку.

— Девочка моя милая,— сказала она,— зачем такие мрачные мысли?

— Я говорю серьезно. Меня ничто не остановит.

У леди Вэллис вдруг стало суровое лицо.

— Все мы так думаем, дитя мое; а на самом деле это не так просто.

— Уж, во всяком случае, это не хуже, чем быть погребенной заживо, как несчастная миссис Ноуэл,— пробормотала Барбара.

Леди Вэллис не нашла, что ответить.

— Доктор обещал прислать санитарную карету в четыре часа,— прошептала она.— Что я ей скажу?

— Она поймет тебя с одного взгляда. Она такая.

Дверь им отворила сама миссис Ноуэл.

Леди Вэллис впервые видела ее не на улице и посмотрела на нее не только с напускной уверенностью, прикрывавшей невольную тревогу, но и с неподдельным любопытством. Хорошенькая женщина, просто прелесть! С искренней симпатией она сказала:

— Я вам так признательна! Вы, должно быть, совсем выбились из сил,— но тут же поспешно прибавила: — Доктор сказал, что его надо увезти домой, здесь слишком жарко и душно. Мы подождем тут, пока вы его предупредите.

И тут она увидела, что Барбара права: эта женщина из тех, кто все понимает мгновенно.

Оставшись в полутемном коридоре, она оглянулась на Барбару. Та стояла, прислонясь к стене, запрокинув

голову. Леди Вэллис не могла разглядеть ее лицо; но вдруг ей стало как-то сильно не по себе, и она прошептала:

— Двойное убийство и кража. Прямо «Наш общий друг», Бэбс.

— Мама!

— Что?

— Какое у нее лицо! Как будто ты хочешь выбросить цветок, а он на тебя смотрит.

— Дорогая моя, — в совершенном отчаянии прошептала леди Вэллис. — Ну что ты сегодня говоришь?

Прятаться в темном коридоре, слышать взволнованный шепот дочери — как все это странно, непривычно и дико!

А потом дверь снова открылась, и она увидела Милтоуна; он полулежал в кресле, очень бледный, но в глазах его и в складке губ было все то же, хорошо знакомое леди Вэллис выражение, и она сразу почувствовала себя в чем-то виноватой и неисправимо легкомысленной.

— Я так рада, что тебе лучше, милый, — начала она почти робко. — Должно быть, это было ужасное время для тебя. Такая жалость, что я до вчерашнего дня ничего не знала!

Но ответ Милтоуна, по обыкновению, совсем сбил ее с толку.

— Благодарю! Я прекрасно провел время и, как видно, должен за это расплачиваться.

Он так улыбнулся, что бедная леди Вэллис уже не могла наклониться и поцеловать его и просто не знала, как же быть дальше. На помощь пришла истинно женская слабость, и на руку Милтоуна вдруг упала слеза.

Обнаружив эту влагу, Милтоун сказал:

— Ничего, мама. Я охотно вернусь домой.

Все еще уязвленная его тоном, леди Вэллис тотчас овладела собой. И пока шли приготовления к отъезду, исподтишка следила за ними обоими. Они почти не смотрели друг на друга, а когда ей случалось поймать такой взгляд, он приводил ее в полнейшее недоумение. Она не могла понять его, словно он был из какого-то незнакомой ей мира, этот глубокий, проникновенный взгляд.

На душе у нее стало гораздо легче, когда Милтоуна, закутанного в меха, перенесли в санитарную карету, и она задержалась, чтобы сказать несколько слов миссис Ноуэл.

— Мы у вас в неоплатном долгу. Все могло бы кончиться много хуже. Не горюйте. Прилягте, вам нужно хорошенько отдохнуть.— И уже с порога прошептала:— Он придет поблагодарить вас, когда совсем поправится.

Спускаясь по каменным ступеням, она мысленно повторяла: «Незнакомка... Незнакомка... что и говорить, самое подходящее имя». И вдруг увидела, что навстречу почти бегом поднимается Барбара.

— Что случилось, Бэбс?

— Юстас хочет взять с собой немного ландышей,— ответила Барбара и, пройдя мимо матери, поднялась в квартирку Милтоуна.

Миссис Ноуэл уже не было в гостиной, и, подойдя к двери спальни, Бэбс заглянула туда.

Она стояла у кровати и снова и снова медленно разглаживала его подушку. Барбара схватила букетик ландышей и выбежала вон.

## ГЛАВА XII

Милтоун, унаследовавший железное здоровье леди Кастерли, быстро поправлялся. И на седьмой день, как только у него появился аппетит, ему позволено было в сопровождении Барбары отправиться к морю.

Брат и сестра все свое время проводили в маленьком летнем домике на самом берегу; они часами лежали на песке; а когда Милтоун окреп, стали бродить среди меловых холмов и совершали дальние автомобильные прогулки.

Барбаре, зорко наблюдавшей за братом, казалось, что он почти спокойно впитывает благотворное дыхание природы, стараясь набраться душевных и физических сил после тяжелой борьбы минувших недель. И, однако, ее не оставляло странное ощущение, как будто его тут и нет вовсе; словно перед ней пустой дом, дожидющийся, чтобы кто-то в нем поселился.

За две недели Милтоун ни разу ни словом не обмол-

вился о миссис Ноуэл и лишь в последнее утро, когда они вместе глядели на море, сказал с обычной своей непонятной усмешкой:

— Что ж, может быть, она права, что боги древности не умерли. Ты когда-нибудь их видишь, Бэбс, или ты так же слепа и глуха, как я?

Да, конечно, гибкие волны, словно нимфы с пепельными, струящимися волосами, все снова и снова бросались в объятия земли, и было в этом какое-то древнее языческое упоение, неизбывный восторг, страстная и нежная покорность извечной судьбе, чудесное смирение пред вечно новым таинством бытия.

Но Барбара, которую, как всегда, смутил странный тон Милтоуна и это внезапное погружение в пучину непривычных мыслей, не нашла, что ему ответить.

А Милтоун продолжал:

— Она еще говорит: только прислушайся и услышишь пение Аполлона. Попробуем?

Но они слышали только дыхание моря да вздохи ветра в кустах тамариска.

— Нет,— прошептал наконец Милтоун,— она одна умеет его расслышать.

И снова Барбара увидела на его лице знакомую тень — не грусть или нетерпение, но словно бы пустоту и ожидание.

На другой день она уехала в Лондон: там ее ждала мать, уже побывавшая на регате в Каузе и у герцогини Глостерской, чтобы сразу по окончании парламентской сессии ехать в Шотландию. И в тот же день Барбара отправилась к миссис Ноуэл. К этому ее побуждало не столько сочувствие, как беспокойство и тревожное любопытство. Теперь, когда Милтоун совсем поправился, на душе у нее было смутно. Не ошиблась ли она, позвав миссис Ноуэл в сиделки?

Когда она вошла в маленькую гостиную, Одри сидела на кушетке в оконной нише с книгой на коленях; Барбара заметила, что книга раскрыта на оглавлении,— как видно, хозяйка читала не слишком внимательно. Она не выказала волнения при виде гостьи и не спешила расспрашивать о Милтоуне. Но, пробыв в этой комнате каких-нибудь три минуты, Барбара невольно подумала: «Да у нее такое же лицо, как у Юстаса!» И в самом

деле, Одри тоже напоминала необитаемый дом: ни нетерпения, ни недовольства, ни скорби — только ожидание! И едва Барбара, смущенная и растерянная, это поняла, доложили о приходе Куртье. Было ли это простое совпадение или некоторый расчет с его стороны (ибо с побережья он получил записку, где говорилось, что Милтоун уже здоров, а она, Барбара, возвращается в Лондон и непременно зайдет поблагодарить миссис Ноуэл) — это было так же неясно, как и охватившие ее чувства; и она приняла неприступный вид, хотя, вероятно, помнила, что Куртье этого не выносит. Во всяком случае, пожимая им обеим руки, он сильно покраснел. Он пришел проститься, сказал он Одри. На той неделе он наверняка уедет. Там уже дошло до вооруженных столкновений; силы революционеров невелики, у врага огромное численное превосходство. Ему давно уже следовало быть там!

Барбара, еще раньше отошедшая к окну, вдруг обернулась.

— Два месяца тому назад вы проповедовали мир! — сказала она.

— Не всем дано быть безупречно последовательными, леди Барбара, — с поклоном ответил Куртье. — Эти бедняги борются за святое дело.

— Вам кажется, что оно свято только потому, что они оказались слабы! — И Барбара протянула руку миссис Ноуэл. — До свиданья, миссис Ноуэл. Наш мир предназначен для сильных, не так ли?

Она хотела этими словами задеть его — и по его голосу поняла, что это ей удалось.

— Не говорите так, леди Барбара; это естественно звучит в устах вашей матушки, но не в ваших.

— Но я тоже так думаю. До свиданья! — И она вышла из комнаты.

Она ведь сказала ему, чтобы он не уезжал — что сейчас она этого не хочет, — а он все-таки едет!

Но едва она после своей неожиданной вспышки вышла на улицу, ей пришлось закусить губы, чтобы сдержаться, так ей стало досадно и горько. Он был груб с нею, а она — с ним, вот как они простились! Потом она ощутила на лице солнечные лучи и подумала: «Что ж, ему все равно, ну, и мне тоже!»

— Разрешите позвать для вас такси? — раздался за нею знакомый голос, и тотчас обида стала утихать; но Барбара не оглянулась, только с улыбкой покачала головой и чуть посторонилась, чтобы он мог идти по тротуару рядом с нею.

Но хотя они пошли пешком, поначалу оба молчали. В Барбару точно бес вселился, ей нестерпимо хотелось понять, что за чувства скрываются за этой почтительной серьезностью. И как бы выпытать, вправду ли ему так уж все равно? Она не поднимала скромно опущенных глаз, но на губах ее играла чуть заметная улыбка, и ее ничуть не огорчало, что щеки ее разгорелись. Неужели она не услышит никакого... никакого... неужели он преспокойно уедет без... «Нет,— подумалось ей,— он должен что-то сказать! Должен объяснить мне — и без этой своей отвратительной иронии!»

Неожиданно для самой себя она сказала:

— Они просто ждут... Что-то должно случиться!

— Очень может быть,— серьезно ответил Куртье.

Барбара посмотрела на него и не без удовольствия увидела, что он вздрогнул, точно пронзенный ее взглядом, и сказала негромко:

— И, по-моему, они будут совершенно правы.

Она понимала, что это опрометчивые слова, да и не слишком задумывалась над их значением, но она знала, что в них звучит бунтарская нотка и что это его взволнует. По его лицу она увидела, что не ошиблась, и, минуто помолчав, сказала:

— Быть счастливыми — это так важно... — и почти с озорной медлительностью прибавила: — Ведь правда, мистер Куртье?

Но всегда оживленное лицо его помрачнело, он стал почти бледен. Приподнял руку и сразу бессильно уронил ее. Барбаре стало его жаль. Словно он просил пощадить его.

— Если уж говорить о счастье,— сказал он,— к сожалению, у судьбы припасены для нас не только розы, но и шипы. Впрочем, иногда жизнь бывает ужасно приятна.

— Как сейчас, например?

Он серьезно посмотрел на нее и ответил:

— Да, как сейчас.

Никогда еще Барбара не чувствовала себя такой пристыженной. Он слишком сильный, ей с ним не справиться... он нелепый донкихот... она его ненавидит! И, твердо решив ничем себя не выдать, быть такой же сильной, как и он, она сказала спокойно:

— Пожалуй, дальше я поеду на такси.

И когда она уже сидела в автомобиле, а Куртье стоял рядом, приподняв шляпу, она взглянула на него, как умеют смотреть только женщины, — он даже не понял, на него ли она взглянула.

### ГЛАВА XIII

Придя поблагодарить Одри Ноуэл, Милтоун застал ее в гостиной: она стояла посреди комнаты, вся в белом, губы ее улыбались, улыбались темные глаза, и она была тиха, точно цветок в безветренный день.

Взгляды их встретились, и, счастливые, они сразу забыли обо всем. Ласточки, в первый летний день окунувшись в ласковое тепло, не вспоминают о холодном зимнем ветре и не могут вообразить, что когда-нибудь солнце уже не будет согревать их; часами носятся они над обласканными солнцем полями, и кажется, они уже не птицы, а просто дыхание наступившего лета, но и ласточки, едва минует пора бедствий, не более забывчивы, чем были эти двое. Во взоре Милтоуна была та же тишина, что во всем облике Одри; а в ее взгляде, обращенном к нему, был покой истинно глубокого чувства.

Потом они сели и заговорили, совсем как в былые дни в Монкленде, когда он приходил к ней так часто и они беседовали обо всем на свете. И, однако, в тихой радости оттого, что они опять вместе, было какое-то благоговение, почти страх. Так бывает перед восходом солнца. Серая от росы паутина окутывала цветы их сердец, но каждый плененный цветок уже можно было разглядеть. И оба словно пытались сквозь эти ревнивые покровы рассмотреть очертания и краски того, что таилось внутри; и ни у одного не хватало мужества заглянуть в сердце другого до самого дна. Они были точно робкие влюбленные, которые плутают в лесу и не смеют оборвать бессвязную болтовню о деревьях, птицах и ко-



локольчиках из страха, как бы путеводная звезда всего, что еще ждет их впереди, не упала с небес и не утонула в пучине первого поцелуя. Каждому часу свое — этот час проходил как бы под знаком белых цветов, стоявших в вазе на окне за спиною Одри.

Они говорили о Монкленде и о болезни Милтоуна; о его первой речи и его впечатлениях от палаты общин; о музыке, о Барбаре, о Куртье, о текущей за окном Темзе. Милтоун рассказал о том, как он выздоравливал, как провел время на взморье. Одри, по своему обыкновению, почти не говорила о себе, уверенная, что даже и ему это не интересно; но рассказала, как была в опере и как увидела в Национальной галерее портрет, напомнивший ей Милтоуна. Всем этим мелочам — и нечисленному множеству других — звук их голосов, негромких, спадающих почти до шепота, полных какой-то восторженной нежности, придавал особенную, чудесную значительность, своего рода ореол, который ни Одри, ни Милтоун ни за что не согласились бы у этих мелочей отнять.

Был уже седьмой час, когда Милтоун собрался уходить, и за все время ни на минуту не нарушилась священная тишина, царившая в обоих сердцах. На прощание они обменялись еще одним полным спокойствия взглядом, словно говорившим: «Все хорошо — мы испытали счастья».

И это поразительное спокойствие не покидало его до вечера; в половине десятого он направился к парламенту. Был ясный теплый вечер из тех, что за городом обращается в унизанную светляками сказку и даже Лондону придает таинственное очарование. И Милтоун, радуясь, что к нему вернулось здоровье и силы, с новой остротой и свежестью ощущая всю прелесть чудесного вечера, наслаждался прогулкой. Он прошел Сент-Джеймским парком; в кругах света, подле фонарей лежали чернильные тени платанов, и такими живыми и красивыми показались ему четкие тени листьев, что жаль было на них наступать. Всюду вились ночные бабочки и налетевшие с реки комары, от лужаек пахло свежескошенной травой. У Милтоуна было легко на душе, точно у ласточки, которую он видел утром: она устремлялась на серое перышко, трепетавшее в воздухе, подхватывала

его и вновь выпускала, и вновь, играя, ловила. Вот такой же восторг переполнял и его в этот вечер. Близ палаты общин он подумал, что хорошо бы пройтись еще немного, и повернул на запад, к реке. Начинался прилив, течение как бы замерло, и вода казалась черной, гладкой косою самой природы, змеившейся по ложу земли в ожидании, когда ее ласково коснется рука божества. Далеко на другом берегу все еще прерывисто и шумно дышала какая-то огромная машина. В темном небе мерцали редкие звезды, но не было луны, которая заставила бы померкнуть ярко горящие фонари. Прохожие почти не встречались. Милтоун шагал по берегу, потом перешел улицу и оказался перед домом, где жила Одри. У ограды он остановился. В гостиной света не было, но окно—то, что в нише,—стояло настежь, и на подоконнике все еще смутно белел в сумраке букет цветов, точно опрокинутый концами книзу полумесяц. И вдруг так же смутно белеющие руки подняли вазу и скрылись с нею. Он вздрогнул, точно эти руки коснулись его. И снова они выплыли из темноты, белый полумесяц уже не соединял их, в вазе теперь стояли другие цветы, лиловые или алые. Нежданно повеял теплый ветер, в лицо Милтоуну пахнуло гвоздикой, и он едва удержался, чтобы не окликнуть Одри.

И снова руки исчезли, в раскрытом окне стояла тьма; неодолимая страсть охватила Милтоуна, он не в силах был пошевелинуться. Потом донеслись звуки фортепьяно. Мелодия струилась, точно сама ночь — вздымающаяся, трепетная, томная. Казалось, этой музыкой она звала его, поверяла свою страсть, тоску своего сердца. Потом музыка замерла, и у окна появилась стройная фигура в белом. Он не мог, да и не пытался отступить перед этим призраком, он шагнул вперед, под свет фонаря. Одри порывисто протянула к нему руки, но тотчас прижала их к груди. И тут Милтоун забыл обо всем, осталась одна лишь всепоглощающая страсть. Он кинулся через садик, в прихожую, вверх по лестнице.

Дверь ее квартирки была не заперта. Он вошел. В гостиной, полной аромата алых гвоздик, стоявших на окне, было темно, и он не сразу увидел Одри; потом у фортепьяно замерцало белое платье. Она сидела, уронив руки на едва белеющие клавиши. Упав на колени,

он зарылся лицом в складки ее платья. Потом, не глядя, поднял руки. Они легли ей на грудь, и ее слезы капали на них, а сердце ее стучало так, словно сама эта полная страсти ночь трепетала в нем, и все исчезло, кроме ночи и ее любви.

#### ГЛАВА XIV

На отроге одного из Сассекских холмов, поодаль от Нетлфолда, стоит буковая роща. Путник, усталый от зноя и слепящих солнечных лучей, входя в эту рощу, мысленно снимает обувь, точно на пороге храма; и дойдя до середины по чистейшему ковру буковых листьев, он садится, и тишина освежает его чело: здесь, в тени ветвей, солнечные блики редки и неярки, не жужжат пчелы и почти безмолвны птицы. А на опушке теснятся мирные молочно-белые овцы, укрываясь от полуденной жары. Здесь, высоко над полями и селениями, над неустанно ткущейся сетью людских дел и суетных речей, путника охватывает торжественное умиротворение. Большие белые облака парят над ним на медленных крыльях, слабо ропщет листва, вдали синее море, и во всем чудится ему присутствие божества. На время отступают все тревоги и страхи, и он познает божественный покой.

Так было и с Милтоуном, когда, на третий день после той памятной ночи, проблуждав несколько часов в одиночестве, в душевном смятении, он достиг этого храма. Три дня его несло течением; и вот, вырвавшись из Лондона, где невозможно было собраться с мыслями, он приехал сюда побродить среди пустынных меловых холмов и обдумать новый поворот своей судьбы.

Он понимал, что все стало очень и очень сложно. Упоенный исполнением желаний, он и не думал отказываться от своего счастья. Она принадлежит ему, он — ей, это решено. Но как быть дальше? У нее нет надежды стать свободной. Как видно, муж ее убежден, что брак не может быть расторгнут ни при каких условиях. Да и ему самому не стало бы легче после развода, ведь он верил, что оба они виновны, а виновные не могут сочетаться браком. Правда, она ничего не просила, ей довольно было втайне принадлежать ему; и он знал,

что почти каждый на его месте согласился бы на это, не задумываясь. Ничто на свете не препятствовало ему пойти на это, ничего другого в своей жизни не меняя. Это было бы так легко, так обычно. А она прекрасно умеет держаться в тени, она совсем не будет от этого страдать. Но совесть Милтоуна всегда была жестокой и беспощадной. Во время болезни она обернулась тем грозным лицом, что надвигался на него в бреду. В те недели, пока он выздоравливал, всякая внутренняя борьба утихла, но теперь, когда он поддался страсти, совесть вновь угнетала и мучила его. Он должен открыть тому человеку, ее мужу, правду, он непременно это сделает; но если это и не вызовет громкого скандала, разве может он и дальше обманывать тех, кто, зная они о его незаконной любви, впредь, конечно, не пожелали бы иметь его своим представителем в парламенте? Зная они, что Одри его любовница, он больше не мог бы заниматься общественной деятельностью. Так разве он сам как честный человек не обязан от нее отказаться? Днем и ночью его преследовала мысль: какое у меня право устанавливать законы для моих ближних, если я сам не повинуюсь законам? Как могу я оставаться общественным деятелем? Но если он от этой деятельности откажется, что ему тогда делать? Ведь это у него в крови, для этой деятельности он рожден и воспитан; только о ней он мечтал с детства. Никакое другое занятие не увлечет его ни на минуту, и вся жизнь пройдет впустую.

Так бушевала борьба в этой гордой смятенной душе — все существо Милтоуна властно требовало не отказываться от своего призвания, действовать в полную меру своих сил и способностей, а совесть столь же настойчиво твердила: если хочешь власти над людьми, умей сам чтить власть и закон.

Он вошел в буковую рощу, раздираемый этим мучительным внутренним спором, пылая гневом на судьбу, поставившую его перед таким выбором; в иные минуты его охватывала досада на страсть, за которую он должен расплачиваться либо своей карьерой, либо уважением к себе; и тут же его обжигало стыдом: как мог он хотя бы на миг пожалеть о своей любви к ней, такой нежной и преданной! Разве только с мрачным лицом самого Люцифера могло сравниться искаженное

страданием лицо Милтоуна в полутьме этой буковой роши, высоко над царствами мира, из-за которых сражались друг с другом его честолюбие и его совесть. Он бросился на землю под деревьями, широко раскинув руки,— и случайно ему под руку попался жук, бессильно барахтавшийся на голой земле. Его искалечила какая-то птица. Милтоун осторожно поднял насекомое. Ножи жука больше не действовали, но он был избавлен от судьбы, ожидавшей его, Милтоуна. Жук, потеряв способность двигаться, не будет сознавать, как он, что жизнь его загублена. Мир вокруг Милтоуна останется прежним. И он, утратив свою силу, будет сознавать, что только зря обременяет землю. Нестерпимо об этом думать! Для чего дано ему было встретить Одри, полюбить ее и быть любимым? Почему он с первой минуты твердо знал, что она создана для него, если рок судил иначе? Проживи он хоть до ста лет, никогда больше ему так не полюбить. Но почему из-за своей любви он должен похоронить свою волю и свои силы? Если бог так непоследователен в своих деяниях, так и он тоже будет непоследователен! Он будет устанавливать законы, но не будет их соблюдать! Стоит ли зарывать в землю свой талант во имя последовательности, которой нет на свете! Поистине, это было бы еще большим безумием, чем все остальное в этом безумном мире!

Тишина буковой роши не давала ему ответа, только ворковал голубь да негромко топотали овцы, вновь выходя на солнце. Но понемногу тишина эта влилась и в душу Милтоуна. «Быть может, и в могиле так? — подумалось ему.— И эти ветви—как черная земля надо мной? И шорох ветвей — тот шорох, что слышат мертвые, когда над ними растут цветы и в травах проносится ветер? И могильная земля давит не тяжелее, чем вот это чувство, когда целую вечность лежишь и смотришь в пустоту? Быть может, вся жизнь лишь тяжелый сон, а вот это и есть реальность? И зачем мое неистовство, зачем так мечется ничтожный огонек, ведь ветра нет, недвижный воздух — как саван, а блики солнца — брошенные на мой гроб цветы. И пусть бы мой дух мирно опочил, зачем терзаться и бунтовать? Лучше мне сразу покориться и ждать той подлинной сущности, ибо этот мир — лишь ее тень».

Так он лежал, почти не дыша, глядя вверх, на недвижные ветви — темную оправу жемчужного неба.

«Покой,— думал он,— разве этого мало? Любовь — разве этого мало? Неужели я не могу довольствоваться этим, как женщина? Разве не в этом спасение и счастье? И что все остальное, как не «безумца бред без смысла и без цели»?

И, словно опасаясь, как бы эта мысль от него не ускользнула, он поднялся и поспешно пошел из рощи.

Вся ширь полей и лесов, прорезанная светлыми полосками дорог, мерцала в лучах предвечернего солнца. Это был не дикий край, открытый всем ветрам, отливающий багряным и сизым, охраняемый серыми скалами,— прибежище вихрей и древних богов. Все здесь было безмятежно спокойным, отсвечивало золотом и серебром. Пронзительные рыдающие крики ястребов, с высоты подстерегающих добычу, сменились пением невидимых жаворонков, славящих мир и покой; и даже море — словно это не был неукротимый дух, все сметающий с берега взмахом крыла,— мирно прилегло отдохнуть подле суши.

## ГЛАВА XV

Милтоун не пришел — и все леденящие сомнения, которые отступали лишь в его присутствии, вновь нахлынули на ту, что всегда слишком мало верила своему счастью. Конечно же, оно не могло длиться — как может быть иначе?

Ведь они такие разные! Даже отдавая себя безраздельно — а это было таким счастьем! — она не могла забыть свои сомнения, потому что слишком многого в Милтоуне не понимала. В поэзии и в природе его привлекало только бурное, неприступное. Пылкость и нежность, тончайшие оттенки и гармония, казалось, нимало его не трогали. И он был равнодушен к простой прелести природы, к птицам и пчелам, к животным, деревьям и цветам, которыми так дорожила и так восхищалась она.

Еще не было четырех часов, а она уже начала сникать, как цветок без воды. Но она решительно подсела к фортепьяно и играла до самого чая, играла, сама не зная что, мысленно скитаясь по Лондону в по-

исках Милтоуна. После чая она взялась сначала за книгу, потом за шитье и опять вернулась к фортепьяно. Часы пробили шесть, и, словно от их последнего удара, распались доспехи ее души, нестерпимая тревога охватила Одри. Почему его так долго нет? Но она все играла, машинально перелистывая ноты и не видя их, и теперь ее преследовала мысль, что он опять заболел. Не дать ли телеграмму? Но куда? Она ведь понятия не имеет, где он сейчас. И так страшно было не знать, где любимый, что она уже не могла больше ни о чем думать, и оцепеневшие руки ее соскользнули с клавиш. Теперь ей не сиделось на месте, и она начала бродить от окна к двери, потом выходила в прихожую и вновь спешила к окну. А над тревогой, словно темная туча, сгущались страхи и опасения. Что, если это конец? Если он решил, что это самый милосердный способ с нею расстаться? Но нет, не может он быть таким жестоким! Мысль эта была нестерпима, и она тотчас стала убеждать себя, что думать так просто глупо! Он в парламенте, его задержали какие-нибудь самые обычные дела. И беспокоиться просто смешно! Ей придется к этому привыкнуть. Ужасно было бы стать для него обузой. Уж лучше... да, лучше пусть он не вернется! И она взялась за книгу: решено, она будет спокойно читать до самого его прихода. Но в тот же миг все страхи опять нахлынули на нее — с леденящим, тошнотворным ощущением бессилия она поняла, что ничего не может сделать, только ждать. Суеверная мысль, что, подстерегая его здесь, у окна, она только отдаляет его приход, прогнала ее в спальню. Отсюда ей видны были винно-красные закатные облака над Темзой. Говорливый ветерок пробежал меж домов; понемногу подкрадывались сумерки. Но она не зажигала огня, обманывая себя, что еще совсем светло. Она стала медленно переодеваться и, желая быть как можно красивее, подолгу занималась каждой мелочью, как-то невольно успокаиваясь при этом. Страшась вернуться в гостиную прежде, чем придет Милтоун, она распустила волосы, хоть они были убраны безукоризненно, и вновь стала их расчесывать. И вдруг с ужасом подумала: зачем же она наряжается и прихорашивается для него, не покарает ли ее судьба за такую самонадеянность! При малейшем стуке или шорохе она замирала и прислушивалась; вся в



белом, бледная — только чернели глаза и волосы — она походила на склонившийся в сумерках нарцисс, что тянется к едва различимому напеву, звучащему для него где-то в полях. Но всякий раз стуки и шорохи стихали, ничего ей не принося; и тогда душа ее возвращалась в эти слабо отсвечивающие в темноте стены, и вновь ожидали медлительные пальцы, сжимавшие гребень. За этот час в спальне она словно годы прожила. Когда она оттуда вышла, было уже совсем темно.

## ГЛАВА XVI

Милтоун пришел в десятом часу.

Она встретила его в прихожей и без слов, вся дрожа, прильнула к нему; и этот немой, словно бесплотный трепет невысказанного чувства глубоко растрогал Милтоуна. Как она чутка и нежна! Она казалась совсем беззащитной. А между тем ее волнение не только тронуло Милтоуна, но и раздосадовало. В эту минуту она была для него воплощением жизни, какую вынужден отныне принять и он, — жизни бездеятельной, отданной одной лишь любви.

Он долго не мог заговорить о своем решении. Каждым своим взглядом, каждым движением она словно заклинала его не нарушать молчание. Но было в Милтоуне что-то неумолимое, не позволявшее ему уклониться от однажды намеченной цели.

Выслушав его, Одри сказала только:

— Но почему мы не можем и дальше сохранять тайну?

И он почти с ужасом почувствовал, что придется начинать борьбу сызнова. Он встал и распахнул окно. Небо над рекой было совсем темное; поднялся ветер. Он дохнул в лицо беспокойным ропотом, и Милтоуну показалось, что вся бескрайняя звездная ночь опрокинулась на него. Он повернулся и, прислонясь к подоконнику, посмотрел сверху вниз на Одри. Какая она нежная, точно цветок! Ему вдруг вспомнилось: весною она у него на глазах бросила поникший цветок в огонь. «Не могу видеть, как они вянут! — сказала она тогда. — Уж лучше пусть горят». И сейчас ему почудились те восковые ле-



пестки, вот они съезживаются в жестоких объятиях подползающих все ближе язычков пламени, и гибкий стебель дрожит, вспыхивает, чернеет и корчится, как живое существо. И с отчаянием он заговорил:

— Я не могу жить двойной жизнью. Какое право у меня вести за собой людей, если я не подаю им пример? Я ведь не таков, как наш друг Куртье, который верует в свободу. Я не верю в нее и никогда не поверю. Свобода! Что такое свобода? Только те, кто подчиняется власти, вправе сами обладать властью. Тот, кто диктует законы другим, а сам не в состоянии их соблюдать, просто дрянь. Я не хочу пасть так низко, как те, о ком говорят: «Этот только другим умеет приказывать, а сам...»

— Никто ничего не узнает.

Милтоун отвернулся.

— Я сам буду знать,— сказал он.

Но она не поняла его, это он видел. Лицо у нее стало странно печальное и замкнутое, словно он ее испугал. И мысль, что она не может его понять, рассердила Милтоуна.

— Нет, я не стану заниматься политикой,— сказал он упрямо.

— Но при чем тут политика? Ведь это такие пустяки.

— Будь это пустяки для меня, разве я бросил бы тебя в Монкленде и мучился бы так те пять недель, пока не заболел? Пустяки!

— Но обстоятельства — это и в самом деле пустяки! — с неожиданным жаром воскликнула Одри. — Любовь — вот что важно.

Милтоун посмотрел на нее с изумлением; впервые он понял, что и у нее есть своя философия, столь же продуманная и глубоко укоренившаяся, как и его собственная. Но ответил безжалостно:

— Что ж, это важное меня и победило!

И тут она посмотрела на него так, словно заглянула в тайники его души и открыла там нечто невыразимо страшное. Такой скорбный, такой нечеловечески пристальный был этот взгляд, что Милтоун не выдержал и отвернулся.

— Может быть, это и пустяки,— пробормотал он. — Не знаю. Не понимаю, как мне быть. Я совсем запутал-

ся. Ничего не могу делать, сначала мне надо во всем этом разобраться.

Но она как будто не слышала или не поняла его и опять повторила:

— Нет, нет, пускай все остается по-старому; никогда я не потребую того, чего ты не можешь мне дать.

Ее упорство показалось ему лишенным всякого смысла: ведь он-то решился на такой шаг, после которого он будет принадлежать ей безраздельно!

— Я уже все обдумал,— сказал он.— Не будем больше об этом говорить.

И снова она как-то тоскливо и безнадежно прошептала:

— Нет, нет! Пусть все останется, как было!

Чувствуя, что больше не выдержит, Милтоун положил руки ей на плечи и сказал коротко:

— Довольно!

И сейчас же, охваченный раскаянием, поднял ее и порывисто обнял.

Она не сопротивлялась, но стояла, точно неживая, закрыв глаза, не отвечая на поцелуи.

## ГЛАВА XVII

В канун окончания сессии лорд Вэллис с легким сердцем отправился на прогулку в Хайд-парк. Хотя под ним была горячая кровная кобыла, он не пускал в ход ни шпор, ни хлыста, так как отлично ездил верхом, что и не мудрено, если человек впервые выехал на охоту семи лет от роду и двадцать лет носил звание полковника кавалерии территориальных войск. Он приветливо раскланивался со всеми своими знакомыми, непринужденно беседовал на любые темы и особенно охотно о политике, втайне наслаждаясь догадками и пророчествами собеседников, частенько попадавших пальцем в небо, и их вопросами, разбивавшимися о его непроницаемое простодушие. Весело говорил он и о Милтоуне, который «опять в добром здравии» и только и ждет осенней сессии, чтобы ринуться в бой. Лорда Мэлвизина он поддразнивал шуточками о его жене: если когда-нибудь в Берти пробудится наконец интерес к политике, сказал он, то един-

ственно по милости вашей супруги! Он проскакал дважды туда и обратно отменным галопом, уверенный, что полиция посмотрит на это сквозь пальцы. День выдался на славу, и лорду Вэллису жаль было возвращаться домой. Под конец он столкнулся с Харбинджером и пригласил его к завтраку. В последнее время молодой человек заметно переменился, вид у него был какой-то мрачный; лорд Вэллис вдруг почти со страхом вспомнил, что говорила ему жена о своей тревоге за Барбару. В последнее время он мало виделся с младшей дочерью и в обычной для конца сессии суматохе совершенно забыл об этой истории.

Агата с маленькой Энн все еще гостила у них, дожидаясь, когда можно будет поехать с матерью в Шотландию, но сейчас ее не оказалось дома, и они завтракали только вчетвером, с Барбарой и леди Вэллис. Разговор не вязался: молодые люди были необыкновенно молчаливы, леди Вэллис мысленно сочиняла отчет, который надо было подготовить перед отъездом, а лорд Вэллис осторожно наблюдал за дочерью. Услыхав, что пришел лорд Милтоун и сидит в кабинете, все удивились, но невольно вздохнули с облегчением. Слуге велено было позвать его завтракать, но на это последовал ответ, что лорд Милтоун уже завтракал и желает подождать.

— А он знает, что здесь только свои?

— Да, миледи.

Леди Вэллис отодвинула тарелку и поднялась.

— Ну, что ж,— сказала она.— Я уже кончила.

Лорд Вэллис последовал ее примеру, и они вышли вместе, а Барбара, которая тоже встала из-за стола, осталась в столовой, неуверенно глядя на дверь.

Лорду Вэллису лишь недавно рассказали о том, кто ухаживал за его больным сыном, и он был просто обескуражен. Будь Юстас без особенных причуд, как все молодые люди, отец только пожал бы плечами и подумал: «Что ж, бывает!» А сейчас он буквально не знал, что и подумать. И пока они с женой шли через гостиную, отделявшую столовую от кабинета, спросил с тревогой:

— Что же это, Гертруда, опять та женщина, или... в чем дело?

— Одному господу богу известно, дорогой,— ответила леди Вэллис, пожав плечами.

Милтоун стоял в амбразуре окна. Выглядел он вполне окрепшим и поздоровался с родителями самым обычным своим тоном.

— Ну-с, мой друг,— сказал лорд Вэллис,— я вижу, ты опять в добром здоровье. Что нового на свете?

— Только то, что я решил сложить с себя депутатские полномочия.

Лорд Вэллис широко раскрыл глаза:

— Это почему же?

Но леди Вэллис, как и подобает женщине, быстрее угадала, какие причины могут быть у Милтоуна, и густо покраснела.

— Вздор, мой милый,— начала она.— Это совсем не обязательно, даже если...— Тут она спохватилась и закончила сухо: — Объяснись, пожалуйста.

— Объяснение очень простое: отныне моя судьба связана с миссис Ноуэл, и я не могу жить двойной жизнью. Если бы это стало известно, я должен был бы немедленно вернуть мандат.

— Боже праведный! — воскликнул лорд Вэллис.

Леди Вэллис сделала порывистое движение. Два глубоко несхожие между собою представителя сильного пола — ее муж и сын — готовы были вступить в ожесточенный спор, и при виде такой опасности она, сбросив маску, стала истинной женщиной. Оба они бессознательно почувствовали перемену и теперь обращались к ней.

— Здесь не о чем спорить,— сказал Милтоун.— Для меня это вопрос чести.

— А дальше что? — спросила мать.

— Видит бог,— прервал ее лорд Вэллис с неподдельным волнением,— я полагал, что ты ставишь свое отечество выше личных интересов.

— Джеф! — сказала леди Вэллис.

Но он продолжал:

— Нет, Юстас, ты престранно смотришь на вещи. Я совершенно тебя не понимаю.

— Вот это верно,— подтвердил Милтоун.

— Слушайте меня оба! — сказала леди Вэллис.— Вы слишком разные, и вы не должны ссориться. Я этого не потерплю. Не забывай, Юстас, ты нам сын и тебе не следует так горячиться. Сядьте оба и обсудим все спокойно.

Она указала мужу на кресло и села сама. Милтоун остался стоять. С внезапным испугом леди Вэллис спросила:

— А это... а ты... а скандала не будет?

Милтоун угрюмо усмехнулся.

— Разумеется, я все скажу ее мужу, но вы можете не беспокоиться; как я понимаю, его взгляды на брак не допускают развода ни при каких обстоятельствах.

У леди Вэллис вырвался вздох глубокого, нескрываемого облегчения.

— Но в таком случае, мой мальчик,— начала она,— даже если ты непременно хочешь все сказать этому человеку, безусловно, незачем посвящать в это кого-либо еще.

Тут вмешался лорд Вэллис.

— Я был бы рад услышать, какая все же связь между твоей честью и отказом от депутатских обязанностей,— натянутым тоном осведомился он.

Милтоун покачал головой.

— Если вы до сих пор этого не понимаете, объяснять бесполезно.

— Да, я не понимаю. История эта весьма... весьма прискорбная, но без крайней необходимости отказываться от дела своей жизни было бы, с моей точки зрения, противоестественно и нелепо. Много ли найдется мужчин, которым ни разу в жизни не случилось вступить в подобную связь? Если тебя послушать, половину наших соотечественников придется считать недостойными и неправомочными.

В эту критическую минуту он, казалось, и избегал встречаться глазами с женой и взглядом спрашивал ее совета, искал ее поддержки и вместе с тем старался соблюсти приличия. И как ни сильна была тревога леди Вэллис, на минуту чувство юмора взяло верх. Забавно, что Джеф так себя выдает! Она просто не могла удержаться и посмотрела на него в упор.

— Дорогой мой, ты сильно преуменьшаешь,— мягко поправила она.— Таких мужчин не половина, а самое малое три четверти.

Но лорд Вэллис перед лицом опасности вновь обрел твердость духа.

— Не знаю, зачем тебе понадобилось смешивать любовные дела с политикой,— сказал он сыну.— Это выше моего понимания.

Милтоун ответил так медленно, словно признание жгло ему губы:

— Существует же на свете такая вещь, как убеждения. Я, например, не считаю, что жизнь можно делить на две независимые части — одна для общества, другая для себя. Моей мечте пришел конец, она разбита. Теперь меня не влечет общественная деятельность... Я больше не вижу в ней ни смысла... ни цели.

Леди Вэллис схватила его за руку.

— Ох, милый, это уж какая-то чрезмерная святость...— но, заметив кривую усмешку Милтоуна, поспешно поправилась:— Я хочу сказать, чересчур строгая логика.

— Ради бога, Юстас, призови на помощь свой здравый смысл,— опять вмешался лорд Вэллис.— Не кажется ли тебе, что твой прямой долг — спрятать в карман излишнюю щепетильность и отдать все свои силы и дарования на службу отечеству?!

— Я не обладаю здравым смыслом.

— В таком случае, разумеется, тебе действительно лучше отказаться от общественной деятельности.

Милтоун поклонился.

— Что за вздор!—воскликнула леди Вэллис.—Ты не понимаешь, Джеф. Еще раз тебя спрашиваю, Юстас, что ты будешь делать дальше?

— Не знаю.

— Ты изведешься.

— Вполне возможно.

— Если уж ты никак не можешь поладить со своей совестью,— опять прервал лорд Вэллис,— так будь, ради бога, мужчиной, расстанься с этой женщиной и разруби все узлы.

— Прошу прощения, сэръ! — ледяным тоном проговорил Милтоун.

Леди Вэллис положила руку ему на плечо.

— Попробуем все же рассуждать логично, милый. Неужели ты серьезно думаешь, будто она захочет, чтобы ты ради нее погубил свою жизнь? Я не так уж плохо разбираюсь в людях.

У Милтоуна так потемнело лицо, что она умолкла на полуслове.

— Вы слишком торопитесь,— сказал он.— Быть может, я еще буду свободен, как ветер.

Слова эти показались леди Вэллис загадочными и зловещими, и она не нашлась, что ответить.

— Если тебе кажется, что из-за этого... этого увлечения у тебя уходит почва из-под ног, ради бога, ничего не решай наспех,— снова заговорил лорд Вэллис.— Подожди! Поезжай за границу. Верни себе душевное равновесие. Вот увидишь, пройдет несколько месяцев и все уладится. Не торопи события; осеннюю сессию ты можешь пропустить, сославшись на свое здоровье.

— В самом деле,— с жаром подхватила леди Вэллис,— ты ужасно все преувеличиваешь. Ну, что такое любовная связь? Милый мой мальчик, неужели, по-твоему, из-за этого кто-нибудь станет думать о тебе хуже, если даже люди и узнают? Да и незачем никому об этом знать.

— Меня ничуть не интересует, что обо мне подумают.

— Значит, просто в тебе говорит гордость!— воскликнула уязвленная леди Вэллис.

— Вы совершенно правы.

— Не думал я, что у меня и у моего сына могут быть разные понятия о чести,— сказал лорд Вэллис, не глядя на Милтоуна, с болью в голосе.

А леди Вэллис, услышав слово «честь», воскликнула:

— Юстас, дай мне слово, что ты ничего не предпримешь, пока не посоветуешься с дядей Деннисом!

Милтоун усмехнулся.

— Это превращается в комедию,— сказал он.

Слова эти, показавшиеся родителям дикими и неуместными, повергли их в безмолвное изумление, и все трое застыли, глядя друг на друга. Легкий шорох в дверях прервал эту немую сцену.

## ГЛАВА XVIII

Когда родители вышли, предоставив ей одной заниматься Харбинджера, Барбара сказала:

— Кофе будем пить там,— и перешла в гостиную.

С тех пор, как Харбинджер поцеловал ее возле живой изгороди, Барбара ни разу не оставалась с ним наедине, если не считать того вечера, когда они стояли над берегом, глядя на гуляющих. И теперь, после минутного смущения, она смотрела на него спокойно, хотя в груди что-то трепетало, как будто в этой нежной и прочной клетке легонько билась плененная птица. У нее еще было сердце от последнего обидного разговора с Куртье. И притом, что нового ей может дать Харбинджер?

Словно нимфа, за которой гонится фавн — властитель лесов, — она, убегая, то и дело оглядывалась на преследователя. В его волшебном лесу не было ничего не известного ей, ни единой чащи, где она еще не побывала, ни единого ручья, через который она не переправлялась, не было поцелуя, который она не могла бы возвратить. Его владения были уже открытой страной, и здесь она могла царствовать по праву. Ей нечего было от него ждать, кроме власти и надежного, спокойного благополучия. И взгляд ее говорил: как знать, не захочется ли мне большего? А если я стану задыхаться в твоих объятиях? Если меня пресытит все, что ты можешь мне дать? Разве я еще не все от тебя получила?

Харбинджер опустил голову, он был мрачнее тучи, и Барбара поняла, что она кажется ему жестокой, и пожалела его. И, желая быть добрее, спросила почти робко:

— Вы все еще на меня сердитесь, Клод?

Харбинджер поднял голову.

— Почему вы так жестоки?

— Я не жестока.

— Нет, жестоки. Есть ли у вас сердце?

— Есть! — сказала Барбара и прижала руку к груди.

— Мне совсем не до шуток, — пробормотал он.

— Неужели это так серьезно, милый? — спросила она кротко.

Но этот ласковый голос только подлил масла в огонь.

— За этим что-то кроется! — с усилием выговорил он. — Вы не имеете права меня дурачить!

— Простите, а что же такое тут кроется?

— Это вас надо спросить. Но я не слепой. Что вы скажете об этом Куртье?



В эту минуту перед Барбарой предстало нечто ей еще незнакомое — истинный мужчина. Нет, жить с ним будет, пожалуй, не так уж скучно!

Лицо его потемнело, глаза расширились, он, казалось, даже стал выше ростом. Барбара вдруг заметила, что руки его, стиснутые в кулаки, покрыты волосами. Его светской обходительности как не бывало. Он подошел совсем близко.

Сколько времени они смотрели друг другу в глаза и что было в этом взгляде, Барбара понимала смутно; мысли и чувства неслись, обгоняя друг друга. Он был ей и противен и мил, она презирала его и восхищалась им, странное удовольствие и отвращение — все смешалось; так в майский день налетит град, и тут же солнце пробьется сквозь тучи, и трава курится паром.

Потом Харбинджер сказал хрипло:

— Вы сводите меня с ума, Бэбс!

Прижав пальцы к губам, словно стараясь унять их дрожь, она ответила:

— Да, пожалуй, с меня довольно,— и пошла в отцовский кабинет.

При виде родителей, которые остановившимися глазами смотрели на Милтоуна, к ней вернулось самообладание. Зрелище показалось ей комическим, хотя она и не подозревала, что именно это слово было всему виною. Но поистине контраст между Милтоуном и его родителями доходил в эту минуту до смешного.

Леди Вэллис заговорила первая.

— Лучше комедия, чем романтика. Полагаю, Барбаре тоже следует знать, в чем дело, поскольку она внесла свою лепту. Твой брат хочет сложить с себя обязанности депутата, дорогая; при его теперешних обстоятельствах совесть не позволяет ему оставаться членом парламента.

— Как! — воскликнула Барбара.— Но ведь...

— Мы уже обсудили все это, Бэбс,— прервал лорд Вэллис.— Если у тебя нет более веских доводов, чем все, что диктует простой здравый смысл, сознание долга перед обществом и перед семьей, не стоит возобновлять этот разговор.

Барбара посмотрела на Милтоуна: лицо его было как маска, жили одни глаза.

— Ох, Юсти! — сказала она.— Неужели ты вот так

загубишь свою жизнь! Подумай, ведь я никогда себе этого не прощу.

— Ты поступила, как считала правильным, так же поступаю и я,— холодно сказал Милтоун.

— И этого хочет она?

— Нет.

— Я думаю, единственный человек на свете, который хочет, чтобы твой брат похоронил себя заживо, это он сам,— вставил лорд Вэллис.— Но на него такие доводы не действуют.

— Подумай, что будет с бабушкой! — воскликнула Барбара.

— Что до меня, я стараюсь об этом не думать,— огозвалась леди Вэллис.

— Ты вся ее радость и надежда, Юсти. Она всегда так в тебя верила.

Милтоун вздохнул. Барбара, ободренная этим вздохом, подошла ближе.

Видно было, что бесстрастие его только кажущееся и прикрывает отчаянную внутреннюю борьбу. Наконец он заговорил:

— Меня уже умоляла и заклинала женщина, которая мне дороже всего на свете, и все-таки я не уступил, потому что еще сильнее во мне чувство, которое вам непонятно. Прошу извинить, что я сейчас употребил слово «комедия», мне следовало сказать — трагедия. Я поставлю в известность дядю Денниса, если это вас утешит; но, в сущности, все это никого, кроме меня, не касается.

И, ни на кого не взглянув, не сказав больше ни слова, он вышел.

Барбара бросилась к двери.

— Господи боже мой! — воскликнула она, чуть ли не ломая руки, что было совсем на нее непохоже. И, отвернувшись к книжному шкафу, заплакала.

Такой взрыв чувств, перед которым бледнело даже их собственное волнение, глубоко поразил лорда и леди Вэллис, не подозревавших, что нервы дочери были взвинчены еще до того, как она вошла в кабинет. Они не видели Барбару в слезах с тех пор, как она была совсем крошкой. Перед лицом такого горя они забыли все упреки, которыми готовы были осыпать дочь за то, что она толкнула Милтоуна в объятия миссис Ноуэл. Лорд

Вэллис, особенно тронутый, подошел к ней и остановился рядом, в темном углу у книжного шкафа, не говоря ни слова и только тихо поглаживая ее руку. Леди Вэллис, чувствуя, что и сама готова заплакать, укрылась в амбразуре окна.

Всхлипывания Барбары скоро утихли.

— Это потому, что у него было такое лицо...— объяснила она.— И зачем он так? Зачем? Никому это не нужно!

Лорд Вэллис, безжалостно теребя усы, пробормотал:

— Вот именно! Только сам себе портит жизнь!

— Да,— прошептала у окна леди Вэллис,— он всегда был такой— весь из острых углов. Даже в детстве. Берти никогда таким не был.

Потом наступило молчание, только сердито сморкалась Барбара.

— Поеду посоветуюсь с мамой,— вдруг прервала молчание леди Вэллис.— Вся жизнь мальчика пойдет прахом, если мы его не остановим. Поедешь со мной, детка?

Но Барбара отказалась.

Она ушла к себе. Роковой перелом в жизни Милтоуна глубоко потряс ее. Словно сама судьба открыла ей, что значит сойти хоть на шаг с проторенного пути, и она вдруг оказалась в разладе с собой. Расправить крылья и взлететь! Вот что из этого получается! Если Милтоун не передумает и откажется от общественной деятельности, он пропал! А она, Барбара? Разве не безрассудно восхищалась она рыцарством Куртье, его отвагой, которая словно рвется навстречу опасности? Да и восхищалась ли? А может быть, просто ей приятно было, что он ею восхищается? В путанице этих мыслей вдруг возник образ Харбинджера — лицо его, придвинувшееся совсем близко, сжатые кулаки и как внезапное откровение — его угрожающая мужская воля. Это был какой-то дурной сон, вихрь странных, пугающих чувств, над которыми она не властна. Привычная философия завоевательницы впервые изменила Барбаре. И вновь ее мысль устремилась к Милтоуну. Итак, то, что она тогда прочитала в их лицах, свершилось! И, представив себе ужас Агаты, когда она об этом узнает, она не могла сдерживать улыбку. Бедный Юстас! Почему он все принимает

так близко к сердцу? Ведь если он сделает, как решил — а он никогда не отступает от своих решений, — это будет трагедия! Для него все будет кончено!

А вдруг после этого миссис Ноуэл ему надоест? Нет, такие женщины не надоедают, это чувствовала даже Барбара, при всей своей неискушенности. У нее столько душевного такта, она сумеет не докучать ему, никогда ничего не станет требовать, не даст ему почувствовать, что он хотя бы тончайшим волоском с нею связан. Ах, почему они не могут жить по-прежнему, как будто ничего не случилось? Неужели никто не в силах убедить Милтоуна? И опять она подумала о Куртье. Он знает их обоих, и так привязан к миссис Ноуэл, — что если ему поговорить с Милтоуном? Пусть бы объяснил, что у каждого человека есть право быть счастливым и право взбунтоваться! Юстасу надо взбунтоваться! Это его долг. Она села и написала несколько строк: потом надела шляпу, взяла записку и потихоньку вышла из дому.

## ГЛАВА XIX

Летние цветы в просторной теплице Рейвеншема стояли последнюю вечернюю стражу, когда Клифтон предстал перед леди Кастерли со словами:

— В белой гостиной ожидает леди Вэллис.

С того дня, как старой леди сообщили, что Милтоун болен и при нем находится миссис Ноуэл, она выжидала; правда, нередко ею овладевали дурные предчувствия: как-то повлияет эта женщина на жизнь ее любимца; она ощущала и нечто подобное ревности, в чем не признавалась себе даже в молитвах, — молилась она довольно часто, но, пожалуй, не слишком горячо. В последнее время она не очень любила уезжать из дому даже в Кэттон, свое имение, и жила все еще в Рейвеншеме, куда к ней приехал погостить лорд Деннис сразу после отъезда Милтоуна из его приморского домика. Но леди Кастерли никогда особенно не нуждалась в чьем бы то ни было обществе. Она не утратила неизменного своего интереса к политике и по-прежнему состояла в переписке с разными выдающимися людьми. Недавно возобновились было июньские страхи, что возможна вой-

на, и леди Кастерли даже помолодела, как бывало с нею всегда, когда отечеству грозила хотя бы тень опасности. При звуке трубы неукротимый дух ее, как и в былые годы, воспрянув, выхватывал меч из ножен и замирал в торжественной готовности. В подобных случаях она раньше поднималась по утрам, позднее ложилась, менее подвержена была действию сквозняков и решительно отказывалась хоть что-нибудь перекусить в промежутках между трапезами. И собственноручно писала письма, которые при других обстоятельствах продиктовала бы секретарю. К несчастью, разговоры о войне почти тотчас прекратились; а после того, как минует опасность, леди Кастерли всегда бывала несколько раздражена. Приезд леди Вэллис пришелся очень кстати.

Поцеловав дочь, она подозрительно оглядела ее: что-то в ее поведении ей не понравилось.

— Ну, разумеется, я здорова! — сказала она. — А почему ты не привезла с собой Барбару?

— Она очень устала.

— Гм. Наглупила тогда с Юстасом, а теперь не хочет попадаться мне на глаза. Хорошенько смотри за девочкой, Гертруда, не то она и сама выкинет какую-нибудь глупость. Не нравится мне, что она все водит за нос Клода Харбинджера.

— Я привезла дурные вести о Юстасе, — прервала эти рассуждения дочь.

Последняя краска сбежала с бледных щек леди Кастерли, и избыток сердитой энергии тоже оставил ее.

— Что такое? Говори скорее!

Выслушав новость, она ничего не сказала, но леди Вэллис со страхом увидела, что глаза матери потускнели, словно их затянуло старческой пленкой.

— Что же вы посоветуете? — спросила она.

Сама усталая и огорченная, она вдруг непривычно пала духом при виде этой маленькой притихшей фигурки в белой тихой комнате. Казалось, над матерью про шумели зловещие темные крылья — впервые у нее было такое лицо, словно она потерпела поражение. И в порыве нежности к хрупкому, иссохшему телу, когда-то дававшему ей жизнь, она прошептала, сама себе удивляясь:

— Мамочка, милая!

— Да, — сказала леди Кастерли, словно думая

вслух,— мальчик все копит в себе; он не дает воли чувствам, а потом они вырываются наружу, и он уж не может с ними совладать. Сначала любовь; теперь совесть. В нем живут два человека: но на этот раз один из них погибнет.— И, подняв глаза на дочь, неожиданно прибавила: — Ты когда-нибудь слыхала, Гертруда, что с ним было в Оксфорде? Однажды он сбежал и беспутничал, как самый настоящий блудный сын. Ты об этом так и не узнала. Еще бы — ты ведь никогда ничего о нем не знала.

Леди Вэллис вспыхнула: как смел кто-то знать ее сына лучше, чем она сама! Но вид этой маленькой хрупкой старушки сразу утишил ее обиду, и она только спросила со вздохом:

— Что же делать?

— Уезжай, Гертруда,—прошептала в ответ леди Кастерли.— Мне надо подумать. Ты говоришь, он обещал посоветоваться с Деннисом? А адрес той ты знаешь? Когда вернешься домой, спроси у Барбары и скажи мне по телефону.— И в ответ на прощальный поцелуй дочери прибавила хмуро: — Я еще доживу до того дня, когда он станет у кормила, хоть мне и семьдесят восемь.

Как только дочь уехала, леди Кастерли позвонила.

— Клифтон, если леди Вэллис позвонит по телефону, не спрашивайте ее, что мне передать, а позовите меня.— И, видя, что Клифтон не уходит, спросила резко: — Что еще?

— Я надеюсь, здоровье молодого лорда не стало хуже?

— Нет.

— Прошу прощения, миледи, но я давно уже хотел вас спросить...

И старик с необычайным достоинством поднял руку, словно говоря: прошу извинить меня за то, что сейчас я говорю с вами просто как человек с человеком.

— Мне известна привязанность его светлости,— продолжал Клифтон.— Когда он был здесь в июле месяце, он сказал очень странные слова. Хорошо зная его светлость, я был ими чрезвычайно взволнован. Я был бы счастлив услышать от вас, миледи, что карьере его светлости ничто не воспрепятствует.

Лицо леди Кастерли выразило удивительнейшую

смесь изумления, доброты, настороженности и досады, точно перед нею был малый ребенок.

— Постараюсь, чтобы этого не случилось, Клифтон,— коротко сказала она.— Можете не беспокоиться. Клифтон поклонился.

— Прошу извинить, что я об этом заговорил, миледи.— По лицу его, обрамленному длинными белоснежными баками, прошла дрожь.— Но благополучие его светлости для меня гораздо важнее моего собственного.

Когда он ушел, леди Кастерли опустилась в низкое креслице; долго сидела она у нетопленного камина, пока в комнате не стало совсем темно.

## ГЛАВА XX

Неподалеку от загадочного, таинственного преддверия ада, где пребывала великая полуправда—Власть, страшное пугало Чарлза Куртье,— за пятнадцать шиллингов в неделю снимал две комнатки сам Куртье. Главная их прелесть заключалась в том, что в их пользу говорила другая великая полуправда — Свобода. Они его никак не связывали, но всегда были к его услугам, когда он попадал в Лондон; потому что хозяйка, хоть такого уговора у них и не было, всегда сдавала эти комнаты другим постояльцам с условием, что за нею остается право выставить любого из них, предупредив всего лишь за неделю. Это была тихая, кроткая женщина, на двадцать лет моложе своего супруга — водопроводчика по профессии, социалиста по убеждениям. Сей достойный муж наградил ее двумя сынишками, и все трое держали ее в такой строгости, что у нее и просвета в жизни не было, кроме присутствия Куртье. Когда он пускался в свои странствия, движимый духом то ли миссионера, то ли исследователя или, может быть, искателя приключений, она складывала все его пожитки в два обитых жестью сундучка и убирала их в шкаф, где пахивало мышами. А когда Куртье возвращался, сундуки вновь открывались, и из них вырывался сильный аромат засушенных розовых лепестков. Зная, что все изделия рук человеческих преходящи, она каждое лето доставала у своей сестры, муж которой выращивал цветы на прода-

жу, запас этого душистого товара, любовно зашивала его в мешочки и год за годом укладывала в сундук к Куртье. Только этим, да еще мастерски поджаривая до хруста хлеб к завтраку и тщательно проветривая постельное белье, и могла она выразить свои чувства к человеку столь независимого нрава, который к тому же привык всегда сам о себе заботиться.

Поняв по уже знакомым приметам, что он снова собирается в дорогу, она скрывалась в каком-нибудь чулане или кладовой, подальше от водопроводчика и двух живых свидетельств его любви, и тихо плакала; но при Куртье ей никогда и в голову не приходило выказать свое горе, как не рыдала она в час рождения или смерти или иной великой радости или беды. Она постигла с юных лет, что в жизни самое лучшее — следовать простому глаголу: *sto-stare* — держаться стойко.

А Куртье для нее был жизнью, самой сутью жизни, средоточием всех устремлений, утренней и вечерней звездой.

Итак, когда спустя пять дней после прощального визита к миссис Ноуэл он спросил свой чемодан слоновой кожи, неизменный спутник его скитаний, она, как всегда, укрылась в чулане, а затем, как всегда, вошла к нему, неся на подносе мешочки с сухими розовыми лепестками и в придачу—записку; Куртье она застала без пиджака: он укладывался.

— Ну-с, миссис Бентон, вот я опять уезжаю!

Миссис Бентон, в чьей внешности и повадках еще сохранилось что-то от маленькой девочки, застенчиво переплела пальцы и ответила грустным, но спокойным голосом:

— Да, сэр. Надеюсь, на этот раз вы не поедете куда-нибудь, где уж очень опасно. По-моему, вы всегда ездите в разные опасные места.

— Еду в Персию, миссис Бентон,— знаете, откуда привозят ковры.

— А... понимаю, сэр. Прачка только что принесла ваше белье.

Словно бы не поднимая глаз, она подмечала многое множество мелочей: как растут у него волосы, какая у него спина, какого цвета подтяжки. И вдруг сказала каким-то необычным голосом:



— А у вас не найдется лишней фотографической карточки, сэр? Мистер Бентон только вчера мне говорил: может, говорит, он больше не приедет, а у нас ничего нет от него на память.

— Вот, есть одна старая.

Миссис Бентон взяла фотографию.

— Ничего,— сказала она,— все-таки видно, что это вы.— И, держа карточку, пожалуй, излишне крепко, потому что пальцы ее дрожали, она прибавила:— Тут вам записка, сэр. Посыльный ждет ответа.

Пока он читал записку, она с огорчением заметила, что он весь красный, видно, устал укладывать чемоданы...

Когда Куртье, как просили его в записке, вошел в модную кондитерскую Гастарда, для чая было еще рано, и ему показалось, что здесь пусто; лишь три немолодые женщины перевязывали коробки с конфетами; потом в углу он увидел Барбару. Теперь кровь отхлынула от его лица; бледный, шел он по этой комнате, отделанной под красное дерево и пропитанной запахом свадебного пирога. Барбара тоже была бледна.

Сидеть так близко к ней, что он мог сосчитать все ее ресницы, и вдыхать аромат ее волос и одежды, и слушать, как она, запинаясь, нерешительно и печально рассказывает о Милтоуне, было все равно, что ждать с веревкой на шее и выслушивать, как тебе рассказывают про чью-то зубную боль. Право же, судьба могла бы не подвергать его еще и этому испытанию! И, как назло, ему вспомнилась их прогулка верхом по согретой солнцем вересковой пустоши, когда он переиначивал старую сицилийскую песню: «Здесь буду я сидеть и петь, держа любимую в объятьях». Нет, теперь ему было не до песен, и любимую он не держал в объятьях. Была перед ним чашка чая, и пахло свадебным пирогом, и минутами доносилось благоухание апельсиновой корки.

— Понимаю,— сказал он, когда Барбара закончила свой рассказ.— «Славно пиршество Свободы!» Вы хотите, чтоб я пошел к вашему брату и начал цитировать Бернса? Вы ведь знаете, он считает меня человеком опасным.

— Да, но он вас уважает, и вы ему нравитесь.

— И мне он нравится, и я тоже его уважаю,— сказал Куртье.

Одна из пожилых женщин прошла мимо с большой белой картонкой в руках; в полной тишине слышалось поскрипывание ее корсета.

— Вы всегда были так добры ко мне,— неожиданно сказала Барбара.

Сердце Куртье дрогнуло и словно перевернулось в груди; не поднимая глаз от чашки с чаем, он ответил:

— Всякий будет любезен с вечерней звездой. Я сейчас же пойду к вашему брату. Когда сообщить вам новости?

— Завтра в пять я буду дома.

— Завтра в пять,— повторил он и встал.

На пороге он обернулся, увидел в ее лице недоумение и едва ли не упрек и угрюмо вышел. Ему все еще мерещился запах свадебного пирога и апельсиновой корки, скрип корсета той женщины, стены под красное дерево; а в душе кипела глухая, подавленная ярость. Почему он не воспользовался неожиданным случаем? Почему не решился на страстное объяснение в любви? Не в меру соvestливый болван! Да нет, все это вздор. Она слишком молода. Видит бог, он счастлив будет убраться отсюда подальше. Если не уехать, он того и гляди наделает глупостей. Но ее слова «Вы всегда были так добры ко мне» преследовали его; и ее лицо — полное недоумения и упрека. Да, останься он в Лондоне, он неизбежно наделал бы глупостей! Он просил бы ее стать женою человека вдвое старше нее, без всякого положения в обществе, сверх того, какое он сам себе создал, и без гроша за душой. И он просил бы ее об этом так, что ей, возможно, не совсем легко и просто было бы отказать. Он дал бы себе волю. А ей всего двадцать лет, и при всех своих повадках светской женщины она еще просто ребенок. Нет! На сей раз он постарается быть ей полезным, если сумеет, а затем — прочь отсюда!

## ГЛАВА XXI

Выйдя из особняка Вэллисов, Милтоун пошел в сторону Вестминстера. Вот уже пять дней, как он вернулся в Лондон, но еще ни разу не переступил порог палаты

общин. После затворничества из-за болезни его почти мучительно влекли суeta и многолюдье городских улиц. Все увиденное и услышанное он воспринимал с необыкновенной остротой. Львы на Трафальгарской площади и огромные дома на улице Уайтхолл наполнили его чуть ли не восторгом. Он походил на человека, который после долгого морского плавания наконец увидел вдали землю и, напрягая зрение, едва дыша, одну за другой вновь узнает ее родные черты. Он вступил на Вестминстерский мост и, дойдя до середины, оглянулся назад.

Говорят, любовь к башням Вестминстера входит в плоть и кровь. Говорят, тот, кого они осеняли, никогда уже не будет прежним. Да, это верно, для него — до отчаяния верно. Сам он провел там всего каких-нибудь три недели, но у него было такое чувство, будто он сидел там многие сотни лет. И подумать, что отныне ему уже нет места в этих стенах! В нем поднялось неистовое желание вырваться из пут. Не горько ли оказаться пленником самого сокровенного своего желания — желания власти! Быть не вправе обладать властью, ибо это было бы кощунством! Господи! Это нестерпимо! Он отвернулся от башен и, в надежде рассеяться, стал разглядывать лица прохожих.

Конечно же, каждому из них приходится так или иначе бороться за то, чтобы сохранить уважение к себе. Или, может быть, они и понятия не имеют ни о борьбе, ни о самоуважении и предоставляют все на волю судьбы? На то похоже, судя почти по всем лицам. Он глядел на них, и в нем поднималось врожденное презрение ко всему заурядному и посредственному. Да, похоже, что все они такие! Напрасно он надеялся, что вид этих людей укрепит его в решении пойти на компромисс; вместо этого все его существо лишь еще упорней отказывалось идти на компромисс. Они такие неуверенные, поникшие, ни следа гордости или силы воли, словно они понимают, что жизнь им не по силам, и постыдно мирятся с этим. Они так явно нуждаются в том, чтобы им указывали, что делать и куда идти; они примут это, как принимают свою работу или развлечения. А он отныне лишен права им указывать, — мысль эта неистово терзала его. Они же, в свою очередь, мимоходом поглядывали на высокого человека, прислонившегося к парапету, не ведая, что в

эти минуты решается их судьба. В двух-трех прохожих его худое, изжелта-бледное лицо и тревожный, ищущий взгляд, возможно, пробудили интерес или беспокойство; но для большинства он, конечно, был просто обыкновенный встречный, один из многих в уличной сутолоке. У них не было ни времени, ни охоты задумываться над этим изваянием, олицетворявшим собою волю к власти, что бьется в путях своей веры во власть, ибо не было у них вкуса к трагедии: они не желали видеть муки души, припертой к стене.

Милтоун простоял на мосту до пяти часов, потом прошел, точно изгнанник, мимо врат Церкви и Государства и направился в клуб дяди Денниса. По дороге он послал телеграмму Одри, извещая, в котором часу можно завтра его ждать, а выходя с почты, увидел в соседней витрине несколько репродукций старых итальянских шедевров и среди них боттичеллиеву «Рождение Венеры». Он никогда не видел этой картины, но, вспомнив, что Одри называла ее среди своих любимых полотен, остановился взглянуть. Он неплохо разбирался в живописи, как и подобает человеку его круга, но ему не дано было умения покоряться тайной силе искусства, которое, проникая в святая святых души, незаметно подменяет отдельное, замкнутое «я» всеобъемлющим «я» всего мира; и он разглядывал прославленное изображение языческой богини холодно, даже с досадой. Рисунок тела показался ему грубым, а вся картина скучноватой и слишком примитивной, и Флора ему не понравилась. Счастлирое спокойствие и нежность, о которых говорила Одри, оставляли его равнодушным. Потом он поймал себя на том, что смотрит в лицо богини, и медленно, но с какой-то пугающей уверенностью почувствовал, что перед ним сама Одри. Волосы не те — золотые, и глаза не те — серые, и губы немного полнее; и однако это ее лицо: тот же овал, те же изогнутые, широко расставленные брови, то же удивительно нежное, неуловимое выражение. И, словно оскорбленный, он повернулся и пошел прочь. В витрине лавчонки он увидел образ той, на которую он променял все в жизни, — воплощение покорной, оплетающей любви, кроткое создание, которое так беззаветно ему отдалось и которое, кроме любви, цветов и деревьев, птиц, музыки, неба и стремительных ручейков,

ничего не требует от жизни; создание, которое, подобно той богине, казалось, само удивляется тому, что живет. И тут в нем вспыхнула искра понимания, поистине неожиданная для человека, столь мало способного читать в чужих сердцах. Зачем эта женщина рождена на свет, место ли ей в этом мире? Но вспышку пронизательности тут же погасили болезненно-мучительные мысли о его собственной судьбе, которые теперь ни на час его не оставляли. Что бы там ни было, а с этими мучениями надо покончить! Ну, а что же он теперь станет делать? Писать книги? Но какие книги он может писать? Только такие, в которых выразятся его гражданские чувства, его политическое и социальное кредо. Но ведь это все равно, что остаться в парламенте! Он никогда не сможет слиться с беспечным племенем служителей искусства — с этими изнеженными и неустойчивыми душами, не признающими никаких преград, которым достаточно понимать, истолковывать и творить. Представить себя среди них? Немыслимо! Пойти в адвокаты... Что ж, допустим. Ну, а дальше? Стать судьей? С таким же успехом можно остаться в парламенте! Начинать дипломатическую карьеру слишком поздно. Военную — тоже, да и не влечет его воинская слава. Похоронить себя в деревне, как дядя Деннис, и управлять одним из отцовских имений? Это ничуть не лучше смерти. Посвятить себя бедным? Быть может, в этом его новое призвание? Но что он станет делать среди бедняков? Устраивать их жизнь, когда он и свою-то не сумел устроить? Или просто служить для них источником денег? Но ведь он убежден, что благотворительность губит страну! Куда ни поверни, всюду преграждает дорогу демон или ангел с обнаженным мечом. И тогда он подумал: раз церковь и государство его отвергают, почему бы не вести себя в новой роли — роли падшего ангела, — как подобает мужчине: стать Люцифером и разрушать! И ему представилось, как он возвращается под эти своды, переходит на другую сторону, присоединяется к революционерам, радикалам, вольнодумцам, бичует свою теперешнюю партию, партию власти и порядка. Но он тут же понял всю нелепость этой идеи и прямо посреди улицы громко расхохотался.

Клуб на улице Сент-Джеймс, членом которого состоял

лорд Деннис, был тихой заводью, до которой не докатывались волны моды. Милтоун нашел дядю в библиотеке, он читал путевые записки Бартона и прихлебывал чай.

— Сюда никто не заходит,— сказал он,— так что, несмотря на эту надпись на двери, мы можем поговорить. Пожалуйста, еще чаю,— обратился он к лакею.

Нетерпеливо, но не без сострадания Милтоун смотрел, как изысканно изящно каждое движение лорда Денниса — с трогательной стариковской рачительностью он пытался всему, что делал, придать особое значение, хотя бы в собственных глазах. Что бы ни сказал дядя, уже один его вид — самое убедительное предостережение! Неужели стать всего лишь наблюдателем, как этот старик, и смотреть, как жизнь проходит мимо, и допустить, чтобы твой меч ржавел в ножнах! Надо было объяснить причину своего прихода, и все существо Милтоуна возмущалось против этого, но он дал слово; и вот, черпая силы в своем затаенном гневе, он начал:

— Я обещал матушке спросить вашего совета, дядя Деннис. Полагаю, вы знаете о моей привязанности?

Лорд Деннис наклонил голову.

— Так вот, я связал свою жизнь с жизнью этой леди. Скандала не будет, но я считаю своим долгом выйти из парламента и отказаться от всякой общественной деятельности. Как по-вашему, прав я или нет?

Лорд Деннис долго молча смотрел на племянника. Его темные от загара щеки чуть порозовели. Казалось, он мысленно перенесся в прошлое.

— Думаю, что не прав,— сказал он наконец.

— Могу я узнать, почему?

— Я не имею удовольствия знать эту леди, поэтому мне затруднительно судить, но, сдается мне, твое решение несправедливо по отношению к ней.

— Не понимаю.

— Ты задал мне прямой вопрос и, очевидно, ждешь прямого ответа?

Милтоун кивнул.

— Тогда, дорогой мой, не пеняй, если мои слова не придутся тебе по вкусу.

— Не буду.

— Хорошо. Ты говоришь, что хочешь отказаться от общественной деятельности, чтобы тебя не мучили угры-

зения совести. Я не стал бы возражать, если бы на этом все и кончилось.

Он умолк и добрую минуту молчал, видимо, подыскивая слова, чтобы выразить какой-то сложный ход мысли.

— Но этим не кончится, Юстас. Общественный деятель в тебе перевешивает другую сторону твоей натуры. Власть тебе нужнее любви. Твоя жертва убьет твое чувство. То, что кажется тебе твоей утратой и болью, обернется в конце концов утратой и болью для этой леди.

Милтоун улыбнулся.

— Ты со мной не согласен,— сухо, даже почти зло продолжал лорд Деннис,— но я вижу, что подспудно эта перемена уже совершается. В тебе есть что-то иезуитское, Юстас. Если ты чего-нибудь не хочешь видеть, ты и не взглянешь в ту сторону.

— Значит, вы советуете мне пойти на компромисс?

— Напротив, я объясняю тебе, что компромиссом будет попытка сохранить и чистую совесть и любовь. Ты погонишься за двумя зайцами.

— Вот это интересно.

— И не поймашь ни одного,— резко dokonчил лорд Деннис.

Милтоун поднялся.

— Иными словами вы, как и все прочие, советуете мне покинуть женщину, которая любит меня и которую я люблю. А ведь говорят, дядя, что вы сами...

Но лорд Деннис тоже встал, и ничто в нем сейчас не напоминало о преклонных годах.

— Сейчас речь не обо мне,— оборвал он.— Я не советую тебе никого покидать, ты меня не понял. Я тебе советую познать самого себя. И высказываю свое мнение о тебе: природа создала тебя государственным деятелем, а не любовником! В твоей душе что-то зачерствело, Юстас, а может быть, это произошло со всем нашим сословием. Мы слишком долго соблюдали условности и ритуалы. Мы разучились смотреть на мир глазами сердца.

— К несчастью, я не могу совершить низость, чтобы подтвердить вашу теорию.

Лорд Деннис зашагал по комнате. Губы его были плотно сжаты.

— Человек, дающий советы, всегда кажется глупцом,— сказал он наконец.— Однако ты меня не понял. Я не настолько бесцеремонен, чтобы пытаться влезть к тебе в душу. Я просто сказал тебе, что, на мой взгляд, куда честнее по отношению к самому себе и справедливее по отношению к этой леди вступить в сделку с совестью и сохранить и любовь и общественную деятельность, нежели притворяться, будто ты способен пожертвовать тем, что в тебе всего сильнее, ради того, что в твоей натуре отнюдь не главное. Ты, верно, помнишь изречение — кажется, Демокрита: нрав человека — его рок. Советую об этом не забывать.

Долгую минуту Милтоун стоял молча, потом сказал: — Простите, что беспокоил вас, дядя Деннис. Я не умею сидеть меж двух стульев. До свиданья!

Он круто повернулся и вышел.

## ГЛАВА XXII

В холле кто-то поднялся с дивана и шагнул ему навстречу. Это был Куртье.

— Наконец-то я вас поймал,— сказал он.— Давайте пообедаем вместе. Завтра вечером я уезжаю из Англии, а мне надо с вами поговорить.

«Неужели знает?» — промелькнуло в голове Милтоуна. Но он все-таки согласился, и они вместе вышли на улицу.

— Нелегко найти тихое местечко,— сказал Куртье,— но это, кажется, подойдет.

То был ресторанчик при маленькой гостинице, славившийся своими бифштексами, который посещали завсегдатаи скачек; сейчас он был почти пуст. Они уселись друг против друга, и Милтоун подумал: «Конечно же, знает. Но неужели надо вытерпеть еще один такой разговор?» И он чуть не с бешенством ждал нападения.

— Итак, вы решили выйти из парламента? — сказал Куртье.

Несколько мгновений Милтоун молча мерил его взглядом.



— Какой звонарь раззвонил вам об этом? — спросил он наконец.

Но в лице Куртье было столько дружелюбия, что гнев его сразу остыл.

— Я, пожалуй, единственный ее друг, — серьезно продолжал Куртье, — и это для меня последняя возможность... не говорю уже о моем, поверьте, самом искреннем расположении к вам.

— Что ж, я слушаю, — пробормотал Милтоун.

— Простите за прямоту. Но вы когда-нибудь задумывались о том, каково было ее положение до встречи с вами?

Кровь бросилась в лицо Милтоуну, но он только сжал кулаки так, что ногти вонзились в ладони, и промолчал.

— Да, да, — сказал Куртье. — А меня бесит эта точка зрения... Вы и сами ее придерживались. Либо женщину обязывают похоронить себя заживо, либо обрекают на духовный адюльтер — иначе это не назовешь. Третьего не дано, не спорьте. У вас было право восстать против этой системы не только на словах, но на деле. Вы и восстали, я знаю; но теперешнее ваше решение — шаг назад. Это все равно, что признать себя неправым.

— Я не могу это обсуждать, — сказал Милтоун и поднялся.

— Вы должны — ради нее. Если вы отречетесь от общественной деятельности, вы еще раз искалечите ее жизнь.

Милтоун вновь опустился на стул. Слово «должны» ожесточило его; хорошо же, он готов все это выслушать! — И в глазах его появилось что-то от старого кардинала.

— Мы с вами слишком разные люди, Куртье. Нам не понять друг друга.

— Это неважно, — возразил Куртье. — Вы признаете, что оба пути чудовищны, чего, впрочем, никогда бы не сделали, не коснись дело лично вас — и...

— Вы не имеете права так говорить, — ледяным тоном прервал Милтоун.

— Во всяком случае, вы это признаете. И если вы убеждены, что не вправе были ее спасти, то из какого же принципа вы исходите?

Милтоун облокотился о стол и, подперев ладонью

подбородок, молча уставился на рыцаря безнадёжных битв. В душе его бушевала такая буря, что ему стоило величайшего труда заговорить: губы его не слушались.

— По какому праву вы меня спрашиваете? — сказал он наконец.

Куртье побагровел и яростно задергал свои огненные усы, но в ответе его, как всегда, звучала невозмутимая ирония:

— Что ж, прикажете мне в последний вечер сидеть смиренно и даже пальцем не пошевелинуть, когда вы губите женщину, которая мне все равно, что сестра? Я скажу вам, из чего вы исходите: какова бы ни была власть — справедливая или несправедливая, желанная или нежеланная, подчиняйся ей беспрекословно. Преступить закон — неважно, почему или ради кого, — все равно, что преступить заповедь...

— Не стесняйтесь, говорите — заповедь божью?

— Непогрешимой власти предержащей. Правильно я определяю ваш принцип?

— Пожалуй, да, — сквозь зубы ответил Милтоун.

— Исключения лишь подтверждают правило.

— А в трудных тяжбах винят закон.

Куртье усмехнулся.

— Так я и знал, что вы это скажете. Но в данном случае закон и в самом деле безнадёжно плох. Вы имели право спасти эту женщину.

— Нет, Куртье, если уж воевать, давайте воевать, опираясь на бесспорные факты. Я никого не спасал. Просто я предпочел украсть, чтобы не умереть с голоду. Вот почему я не могу притязать на право быть примером. Если бы это выплыло наружу, я бы и часу не продержался в парламенте. Я не могу пользоваться тем, что случайно это пока никому не известно. А вы бы могли?

Куртье молчал, а Милтоун так впился в него глазами, словно хотел убить взглядом.

— Я бы мог, — ответил наконец Куртье. — Раз закон приводит тех, кто возненавидел своего мужа или жену, к духовному адюльтеру, то есть нарушает святость брака — ту самую святость, которую он якобы охраняет, надо быть готовыми к тому, что мыслящие мужчины и женщины будут нарушать его, не утрачивая при этом самоуважения.

В Милтоуне пробуждалась неодолимая страсть к острым словесным битвам, которая была у него в крови. Он даже, казалось, забыл, что речь идет о его собственной судьбе. В его полнокровном собеседнике, который спорил так горячо, воплотилось все, с чем он органически не мог и не желал мириться.

— Нет,—сказал он,—это все какая-то извращенная логика. Я не признаю за человеком права быть судьей самому себе.

— Ага! Вот мы и подошли к главному. Кстати, не выбратся ли нам из этого пекла?

Они вышли на улицу, где было прохладнее, и тотчас Куртье заговорил снова:

— Недоверие к человеческой природе и страх перед нею — вот на чем основана деятельность людей вашего склада. Вы отрицаете право человека судить самого себя, ибо не верите, что по сути своей человек добр; в глубине души вы убеждены, что он зол. Вы не даете людям воли, ничего не позволяете им, потому что уверены: их решения приведут их не вверх, а вниз. Тут-то и кроется коренная разница между аристократическим и демократическим отношением к жизни. Как вы однажды сами мне сказали, вы ненавидите толпу и боитесь ее.

Милтоун с неодобрением смотрел на уверенное, оживленное лицо противника.

— Да,—сказал он,—вы правы. Я считаю, что людей надо вести к совершенству насильно, наперекор их природе.

— Вы, по крайней мере, откровенны. Кто же должен их вести?

В груди Милтоуна опять начало закипать бешенство. Сейчас он прикончит этого рыжего бунтаря. И он ответил со свирепой насмешкой:

— Как ни странно, то существо, которое вы не желаете упоминать,— через посредство лучших.

— Верховный жрец! Взгляните-ка, вон девушка жметя к стене и поглядывает на нас; если бы вы не отстранялись брезгливо, а подошли и заговорили с нею, заставили бы ее открыть вам, что она думает и чувствует, вас бы многое поразило. В основе своей человечество прекрасно. И оно идет к совершенству, сэр, си-

лой собственных устремлений. Вы ни разу не замечали, что чувства народные всегда опережают закон?

— И это говорите вы, человек, который никогда не принимает сторону большинства!

Рыцарь безнадежных битв отрывисто засмеялся.

— «Никогда»—это слишком сильно сказано. Все меняется, и жизнь не свод правил, вывешенных в канцелярии. Куда это нас с вами занесло?

Им преградила дорогу толпа на тротуаре перед Куинс-Холл.

— Не зайти ли? Послушаем музыку и дадим отдых языкам.

Милтоун кивнул, и они вошли.

Сияющий огнями зал был набит до отказа и весь курился синеватыми дымками сигар.

Заняв место среди бесчисленных соломенных шляп, Милтоун услышал позади насмешливый голос Куртье:

— *Profanum vulgus!*<sup>1</sup> Пришли послушать прекраснейшую музыку на свете! Простонародье, которое, по вашему, не понимает, что для него хорошо, а что плохо! Плачевное зрелище, правда?

Милтоун не ответил. Первые неторопливые звуки Седьмой симфонии Бетховена уже пробивались сквозь строй цветов на краю эстрады, и, если не считать голубоватых дымков—как бы фимиама, что курился в честь бога мелодии,—весь зал замер, словно один ум, одна душа скрывались за всеми этими бледными лицами, обращенными к музыке, которая нарастала и гасла, точно вздохи ветра, приветствуя несущихся из глубины времен освобожденных духов красоты.

Едва симфония отзвучала, Милтоун повернулся и вышел.

— Что ж,—раздался за его спиной голос Куртье,—теперь вы, надеюсь, видите, как все растет и совершенствуется, как чудесен мир?

Милтоун улыбнулся.

— Я вижу лишь, какой прекрасный мир может создать великий человек.

И вдруг, словно под напором музыки в душе его прорвалась какая-то плотина, он разразился потоком слов:

---

<sup>1</sup> Чернь (лат).

— Посмотрите на эту толпу, Куртье: нигде в мире нет толпы, которую так спокойно можно бы предоставить самой себе; здесь, в сердце величайшего, благополучнейшего в мире города, она ограждена от чумы, землетрясений, циклонов, засухи, от нестерпимой жары и ледящего холода,— и однако, видите, вот он, полисмен! Какой бы свободной и безобидной она ни казалась, как бы мирно ни была настроена, в ней всегда есть и должна быть какая-то сдерживающая сила. Откуда исходит эта сила? Вы говорите: из самой толпы. Я отвечаю: нет. Оглянитесь назад, на истоки человеческих сообществ. С самых первых шагов бессознательными орудиями власти, сдерживающего и направляющего начала, божественной силы оказывались лучшие люди. Такой человек, ощутив в себе мощь — поначалу физическую,— пользовался ею, чтобы захватить первенство, и с тех пор удерживает его и должен удерживать всегда. Все эти ваши выборы, так называемые демократические органы — лишь отговорка для вопрошающих, подачка голодному, бальзам, утоляющий гордость бунтаря. Это не более как видимость, иллюзия, они не могут помешать лучшим людям достичь полноты власти: ибо такие люди ближе всего к божеству и раньше и лучше всех улавливают исходящие от него волны. Я говорю не о наследственных правах. Лучший — не обязательно тот, кто принадлежит к моему сословию, во всяком случае, я не думаю, чтобы в моем сословии лучшие люди появлялись чаще, чем в других.

Он замолчал так же внезапно, как начал.

— Не беспокойтесь,— сказал Куртье,— я вовсе не считаю вас человеком заурядным. Просто мы с вами на разных полюсах, и скорее всего оба далеки от истины. Но миром правит не сила и не страх перед этой силой, как думаете вы; миром правит любовь. Общество держится врожденной порядочностью человека, содружеством людей. В сущности, это и есть презируемый вами демократизм. Человек, предоставленный самому себе, стремится ввысь. Будь это не так, ваши полицейские ни за что бы не могли блюсти порядок. Человек интуитивно знает, что можно делать и чего нельзя, не теряя уважения к себе. Он впитывает это знание с каждым вдохом. Законы и власть — это еще далеко не все, это лишь механизмы, трубопроводы, подъездные пути, словом, вспо-

могательные средства. Это не само здание, а лишь строительные леса.

— Без которых не построишь ни одного здания,— возразил Милтоун.

— Да, милый друг, но это далеко не одно и то же,— отпарировал Куртье.— Леса снимают, как только в них отпадает надобность, и открывается сооружение, которое берет начало на земле, а отнюдь не в небе. Все леса закона возводятся лишь для того, чтобы сэкономить время и предохранить храм, пока его строят, сберечь верность и чистоту его линий.

— Нет,— сказал Милтоун,— нет! Леса, как вы их называете,— это материальное воплощение воли зодчего, без них не воздвигается и не может быть воздвигнут храм; и зодчий этот — сам всевышний, передающий волю свою через тех, чей ум и душа всего ближе к нему.

— Наконец-то мы добрались до самой сути! — воскликнул Куртье. — Ваш бог вне нашего мира. Мой — внутри.

— И им никогда не встретиться!

Только теперь Милтоун заметил, что они вышли на Лестер-сквер — здесь стояла тишина, театры еще не успели извергнуть шумные толпы; но в тишине этой было ожидание, фонари, точно приспущенные с темного неба желтые звезды, жались к белым стенам мюзик-холлов и кафе, и в их трепетном сиянии недвижная листва платанов казалась совсем светлой.

— Невинная распутница — вот что такое эта площадь! — сказал Куртье.— Изменчивая, точно лицо женщины, всегда прекрасная в своей сомнительной прелести! Но, черт возьми, если заглянуть поглубже, и здесь тоже есть добродетель.

— И порок, но его вы не желаете замечать,— сказал Милтоун.

Он вдруг очень устал, ему хотелось поскорей добраться до дому, и уже не было охоты продолжать спор, который не принес ему ни малейшего облегчения. А Куртье все говорил, и он с трудом заставил себя прислушаться.

— Давайте прогуляем всю ночь, ведь завтра нам конец... Вы хотели бы обуздать распущенность извне, я — изнутри. Если бы, просыпаясь и засыпая, глядя на

человека, на дерево или цветок, я не чувствовал бы, что созерцаю само божество, я распрощался бы с этим многоцветным миром хотя бы из одной только скуки. Вы же, как я понимаю, можете взирать на своего бога, лишь удалившись куда-нибудь на вершины. Но не одиноко ли там?

Милтоун не ответил, и некоторое время они шли молча. И вдруг он не выдержал:

— Вы говорите, тирания! Какая тирания может сравниться с вашей пресловутой свободой? Что может быть хуже тирании этой «свободной» грязной, узкой улицы с бесчисленными газетами на каждом углу? Она кишит, суется, точно муравейник, а для чего? Это детище вашей свободы, Куртье, не способно ни на восторг, ни на самообуздание, ни на жертву, оно признает лишь куплю-продажу да распущенность.

Минуту Куртье молчал, и Милтоун повернул в сторону реки, прочь от высоких домов, к освещенным окнам которых он только что обращал свои речи.

— Нет,— услышал он,— в чем бы ни была грешна эта улица, на ней дует свежий ветер, здесь тоже все может перемениться. Господи, да по мне лучше самые слабые звезды, что пробиваются в темном небе, чем все ваше распрекрасное искусственное освещение!

И вдруг Милтоуну показалось, что его вечно будет преследовать этот голос — от него не уйти, нечего и пытаться.

— Мы повторяемся,— сухо сказал он.

Безмолвно, медлительно, точно отдыхая, река катила свои черные воды, слабо освещенные неполной луной. Окутанные тьмой, громоздились на другом берегу краны, высокие строения, пристани; спали, уткнувшись в него, баржи; несметное множество загадочных темных силуэтов жило какой-то своей, напряженной жизнью. Там все полно было странной, величавой красоты. А фонари — жалкие цветы ночи — осыпали могучую спокойную подругу человека лепестками бледного сияния, и с запада веял благоухающий ветерок, пока еще слабый, неся трепет и аромат несчетных деревьев и полей, которым река, скользя мимо, дарила свою ласку. Она текла почти беззвучно, слышался лишь еле уловимый ропот, точно сердце шептало сердцу.

Потом раздались всплески весел и скрип уключин. И под самым берегом промелькнул маленький тупоносый ялик с двумя гребцами.

— Итак, «завтра нам конец»? — сказал Милтоун. — Вы, очевидно, хотите сказать, что общественная деятельность нужна мне как воздух и отказ от нее для меня равносителен смерти?

Куртье кивнул.

— На этот крестовый поход вас благословила моя младшая сестра, правда?

Куртье не ответил.

— Итак, — продолжал Милтоун, пронизывая его взглядом, — завтра и ваш последний день? Что ж, вы правы, что уезжаете. Она отнюдь не гадкий утенок, который сумеет жить вне привычного общественного пруда; ей всегда будет недоставать родной стихии. А теперь простимся! Что бы ни случилось с нами обоими, этот вечер я не забуду. — Он с улыбкой протянул руку. — *Moriturus te saluto*<sup>1</sup>.

### ГЛАВА XXIII

Дожидааясь условленных пяти часов, Куртье сидел в Хайд-парке.

День, обещавший поутру быть пасмурным, посветлел, словно за долгое жаркое лето воздух слишком накалился, чтобы уступить первой же атаке ненастья. Солнце, пробиваясь сквозь кудрявые облачка, подобные перьям на груди нежных голубок, пронзало своими лучами яркие листья и осыпало землю их мягкими тенями. Впервые, и словно бы слишком рано, стал ощутим щемящий душу аромат листвы, готовый вот-вот облететь. Загрустившие птицы настраивали свои свирели на осенний лад, но еще нет-нет да и сбивались на весенние гимны свободе.

Куртье думал о Милтоуне и его возлюбленной. Что за прихоть судьбы свела этих двух людей? К чему приведет их любовь? Семена скорби уже посеяны; что вырастет из них: цветы беспросветного горя или мятежа? Он мысленно вдруг увидел Одри задумчивой, мечтательной девочкой с кроткими, широко расставленными глазами под

---

<sup>1</sup> Идущий на смерть приветствует тебя (лат.).



темными дугами бровей, с ямочкой в уголке рта, которая появлялась всякий раз, как он ее поддразнивал. И такому нежному созданию, которое скорее умрет, чем навяжет кому-либо свою волю, суждено было полюбить именно такого человека! Этого аристократа по натуре и по рождению, с душой, иссушенной лихорадочным жаром, вскормленного и воспитанного для служения власти, который отрицает единство всего живого и поклоняется древнему богу. Богу, который бичом учит людей послушанию. Бога этого Куртье еще и сейчас помнил взирающим со стен детской. В этого бога верил его отец. Это бог Ветхого завета, не ведающий ни жалости, ни понимания. Как странно, что он все еще жив, что тысячи людей и по сей день поклоняются ему! А впрочем, не так уж странно — ведь говорят, что человек сотворил бога по своему образу и подобию! Да, удивительное получилось сочетание того, что философы назвали бы волей к любви и волей к власти!

Солдат с девушкой подошли и сели на соседнюю скамью. Они искоса поглядывали на подтянутого, хорошо одетого господина с воинственным лицом; но что-то неуловимое подсказало им, что он не из опасного племени офицеров, и тогда они перестали его замечать и предались безмолвному, невыразимому словами блаженству. Они сидели рука в руке, тесно прижавшись друг к другу, и Куртье залюбовался ими: вид людей, так самоабвенно отдающихся минуте, никогда не оставлял равнодушным этого человека, в чьих жилах текла слишком горячая кровь, чтобы он мог надолго задумываться о будущем или долго предаваться воспоминаниям.

Желтый лист, разомлевший под солнцем, сорвался с сучка над головой Куртье и упал к его ногам. Как быстро они увядают!

Не характерно ли: он, который всегда так горячо принимал сторону тех, кто проигрывает, сидя здесь за полчаса до того, как сам должен был окончательно проиграть, оставался совсем спокоен, чуть ли не равнодушен. Равнодушен отчасти потому, что унывать он был не способен и жизнь тщетно пыталась заставить его хоть раз пасть духом; а отчасти в силу неизлечимой привычки не дорожить собой и своей удачей.

Ему все еще не верилось, что он потерпит поражение

и вынужден будет признаться самому себе, что все последнее время страстно мечтал об этой девушке, а завтра всему конец — она будет так далека от него, словно он никогда ее и не видел. И это было не смирение, нет, просто он не способен был добиваться чего-нибудь для себя. Вот если бы это касалось кого-то другого! Как храбро он кинулся бы на приступ — и уж наверно пленил бы ее! Если бы только он сам мог оказаться этим другим, с какой легкостью, как пылко полились бы из его уст все те слова, которые просились на язык с той самой минуты, как он впервые увидел ее, и прозвучали бы так нелепо и недостойно, скажи он их ради себя! Да, ради другого он вынес бы ее из-под неприятельских пуль; уж он бы захватил эту прекраснейшую в мире добычу.

Так он сидел с видом странно веселого равнодушия, которое, пожалуй, сродни отчаянию, и смотрел, как срываются и падают листья, и время от времени взмахом палки рассекал воздух, в котором уже чувствовалось дыхание осени. Ему чудилось, будто он увлекает ее в глушь, в пустыню, и своей преданностью делает ее день ото дня счастливее, и, понимая, как далеко занесся он в мечтах, он невольно усмехался, а раза два крепко стиснул зубы.

Солдат с девушкой поднялись и пошли по аллее для верховой езды. Он смотрел, как медленно удаляются освещенные солнцем две фигуры — алая и синяя, потом их заслонила другая пара. Весело было смотреть, как приближаются эти двое — рослые, статные, как высоко они держат головы, как поворачиваются друг к другу, обмениваясь словом или улыбкой. Даже издали было ясно, что они принадлежат к высшему свету: в их походке чувствовалось почти вызывающее спокойствие людей, которым неведомы сомнения и заботы, уверенных в окружающем мире и в самих себе. На девушке было золотисто-коричневое платье в тон волосам и шляпа того же цвета, и солнце, посылая лучи ей вслед, окутало ее сияющим ореолом. И вдруг Куртье узнал эту пару!

Ни единым звуком или движением он не выдал своего присутствия, лишь невольно скрипнул зубами, и они прошли мимо, не заметив его. Если не слова, то голос ее он слышал отчетливо. Он видел, как она взяла Харбинд-

жера под руку и тотчас его отпустила. Усмешка, о которой он и не подозревал, тронула губы Куртье. Он встал, встряхнулся, точно пес после трепки, и, плотно сжав губы, пошел прочь.

#### ГЛАВА XXIV

Оказавшись одна в пустой кондитерской, уставленной столиками красного дерева, где вкусно пахло свадебным пирогом и апельсиновой коркой, Барбара сидела некоторое время, не поднимая глаз, точно ребенок, у которого отняли игрушку, не умея сразу разобраться в своих чувствах. Потом расплатилась с немолодой официанткой и вышла на площадь. Духовой оркестр исполнял делибовскую «Коппелию», и загубленная столь малоподходящим исполнением мелодия преследовала ее всю дорогу.

Она пошла прямо домой. В комнате, где три часа назад ее оставили после обеда наедине с Харбинджером, в оконной нише сидела явно расстроенная Агата. Уже целый час она не находила покоя. Зайдя с Энн в кондитерскую, где можно было купить особый сорт тянучек, по ее мнению, наиболее полезный для детей, она занялась покупкой и вдруг заметила, что Энн стоит как вкопанная, раскрыв рот и устремив дерзкий носик в глубь кафе; проследив за ее удивленным, вопрошающим взглядом, Агата, к своему изумлению, увидела Барбару с мужчиной, в котором тотчас узнала Куртье. С похвальной решительностью она сунула Энн в рот тянучку, распорядилась, чтобы остальное прислали на дом, и, взяв девочку за руку, вышла на улицу. Беда никогда не приходит одна: едва переступив порог дома, Агата услышала от отца, к чему привел роман Милтоуна. Барбара застала сестру искренне удрученной и расстроенной: она никак не могла решить, надо ли рассказать родителям о том, чему она была свидетельницей, но в то же время была возмущена до глубины души, как может быть возмущена преданная семье женщина, увидев попорченными все свои идеалы.

Поняв по лицу сестры, что она, очевидно, узнала о Милтоуне, Барбара сказала:

— Итак, мой ангел, меня ждет выговор?

— По-моему, ты сошла с ума. Зачем ты привела к нему миссис Ноуэл? — холодно ответила Агата.

— Женщина непременно должна быть чуточку сумасшедшей, — словно про себя сказала Барбара.

Агата молча посмотрела на нее.

— Не могу тебя понять, — сказала она наконец. — Ты ведь не глупая!

— Нет, но хитрая.

— Может быть, тебе и весело, когда рушится вся жизнь Милтоуна, — пробормотала Агата. — А мне нет.

Глаза Барбары сверкнули.

— Мир не ограничивается детской, мой ангел, — холодно ответила она.

Агата поджала губы, всем своим видом говоря: «И это очень жаль», — но сказала только:

— Ты, наверно, не знаешь, что я сейчас видела тебя в кондитерской Гастарда.

Мгновение Барбара изумленно смотрела на нее, потом рассмеялась.

— Вот оно что! — сказала она. — Какая чудовищная безнравственность!.. Бедный старик Гастард!

И все еще смеясь злым смехом, повернулась и вышла.

За обедом и после него весь вечер она была молчалива, и с лица ее не сходило выражение, какое бывало у нее обычно на охоте, особенно в трудные минуты, когда она боялась упустить дичь. Оставшись наконец одна в своей комнате, она испытала страстное желание досадить кому-нибудь, хоть бы и самой себе, чтоб отвести душу. Ложиться не стоило: в таком настроении ни за что не уснуть, только изведешься, ворочаясь с боку на бок. Не ускользнуть ли из дому? Это было бы забавно, и она досадила бы им всем; но нет, это не так-то просто. Ее могут увидеть, поднимется шум, это слишком унижительно. А что если выбраться на крышу башни? Однажды в детстве она уже это проделала. Там свежий воздух, там можно дышать, можно избавиться от владеющего ею беспокойства. Со злым удовольствием балованного ребенка, решившего всех наказать, она оставила дверь своей комнаты настежь — пусть горничная увидит, что ее нет, и встревожится, и растревожит их всех. Через залитую лунным светом галерею предков она выскользнула на пло-

щадку за отцовским кабинетом, откуда каменная узкая лестница вела на крышу, и стала по ней взбираться. Казалось, ступенькам не будет конца, но вот они все же позади; тяжело дыша, она стоит на крыше в северном конце дома, а земля далеко внизу, в добрых ста футах. От этой высоты у нее слегка закружилась голова, и она постояла, вцепившись в перила, идущие по самому краю плоской крыши, все еще поглощенная своими бунтарскими мыслями. Но постепенно картина, открывшаяся взору, захватила ее. Вознесенная высоко над всеми соседними домами, она была почти испугана величию увиденного. Город в вечернем убранстве, такой далекий и таинственный, такой ослепительный и живой, сверкающий мириадами золотых цветов огня, что распустились на его лиловых холмах и в долинах, город, из чьих недр доносится непрерывный глухой ропот,— неужели это тот Лондон, по которому она шла всего несколько часов назад! Великий, тоскующий дух его всплыл над погруженным в сон телом и низко парил над ним, искушая Барбару своей таинственной прелестью. Она поглядела в другую сторону: ей хотелось охватить взором всю эту поразительную панораму — от черных аллей Хайд-парка, раскинувшегося прямо перед нею, до белого, точно припудренного призрака церкви вдали, на востоке. Чудо как хорош этот ночной город! И перед лицом этого гигантского, полного беспокойных мыслей прекрасного творения рук человеческих она почувствовала себя маленькой и робкой, как тогда, в предрассветный час, у бескрайнего, объятого тьмой моря. Вон там смутно виднеются здания Пикадилли, а за ними дворцы и башни Вестминстера и Уайтхолла; и повсюду под темно-фиолетовым небом завораживает глаз хаос темных силуэтов и бледных извилистых цепочек света. А здесь, совсем близко, ясно видны все еще освещенные окна, автомобили, скользящие меж домов, на самом дне, и даже крохотные фигурки пешеходов; и не верится, что каждая фигурка — такой же человек, как и она, со своей жизнью, со своими мыслями и чувствами.

Испив из этого волшебного кубка, Барбара ощутила странное опьянение и уже не казалась себе маленькой и ничтожной; скорее наоборот, она обрела силу, как тогда во сне в Монкленде. Как и великий город там, внизу,

она точно вырвалась из своего тела, чтобы не ощущать никаких преград — блаженно парить, словно растворяясь в воздухе. Казалось, она слилась воедино с освобожденным духом города, погруженного в созерцание своего великолепия. Потом и это ощущение исчезло — она стояла, хмурясь и зябко вздрагивая, хотя ветер, дувший с запада, был совсем теплый. Что за нелепая причуда — забираться на крышу! Она тихонько спустилась и уже на пороге галереи услышала удивленный возглас матери:

— Это ты, Бэбс?

Обернувшись, она увидела леди Вэллис в дверях кабинета.

Барбара тотчас овладела собой и, готовая к отпору, молча смотрела на мать.

— Не войдешь ли на минутку, дорогая? — неуверенно предложила леди Вэллис.

В комнате, где все было создано для удобства и покоя, стоял спиной к камину лорд Вэллис, и лицо его выражало обиду и решимость. Сомнения Агаты, надо ли сказать родителям о встрече у Гастарда, разрешились самым жестоким образом: дождавшись первой же паузы в разговоре взрослых, Энн объявила:

— А мы видели в кондитерской тетю Бэбс с мистером Куртье, только мы с ними не поздоровались.

Леди Вэллис весь день была подавлена объяснением с Милтоуном, и обычное *savoir faire*<sup>1</sup> ей изменило. На сей раз она не могла не поделиться с мужем. Подобная встреча в кондитерской, знаменитой разве что свадебными пирогами, — в сущности, пустяк; но оба были уже расстроены решением Милтоуна, и выходка Барбары показала им зловещей, точно само небо вознамерилось погубить их семью. Лорд Вэллис был оскорблен в своих лучших чувствах: ведь он всегда так восхищался младшей дочерью; притом жена уже с месяц назад предостерегала его, а он так легкомысленно отнесся к ее словам... И, однако, сколько они ни толковали меж собой, они пришли лишь к тому, что леди Вэллис надо поговорить с Барбарой. Не обладая особой чуткостью, супруги были в достаточной мере наделены здравым смыслом и хорошо

---

<sup>1</sup> Находчивость (франц.).

понимали, что перечить Барбаре опасно. Это не помешало лорду Вэллису весьма резко высказаться по адресу «этого субъекта без стыда и совести» и составить свой тайный план действий. Леди Вэллис, которая знала дочь куда лучше и, как всякая женщина, была куда снисходительнее к мужчинам, хоть и не собиралась оправдывать Куртье, но про себя подумала: «Бэбс — ужасная кокетка», — ибо прекрасно помнила, какою была сама в молодые годы.

Столь неожиданно призванная к ответу, Барбара крепко сжала губы и с невозмутимым видом остановилась у отцовского письменного стола.

Застигнутый врасплох ее появлением, лорд Вэллис инстинктивно перестал хмуриться; долгий опыт политика и дипломата помог ему принять вид невозмутимый и бесстрастный, который никак не соответствовал его чувствам. Он предпочел бы оказаться лицом к лицу с враждебно настроенной чернью, чем столкнуться по такому поводу со своей любимицей. Хоть он этого и не признавал, в его смуглом от загара лице с жесткими седеющими усами, в самой посадке головы было сейчас больше истинно военного, чем обычно. Веки чуть опустились, брови слегка поднялись.

Перед тем, как взобраться на крышу, Барбара поверх вечернего платья накинула голубую накидку, и он невольно ухватился за этот пустяк, чтобы начать разговор.

— А, Бэбс! Ты выходила из дому?

Она вся насторожилась, но сдержала внутреннюю дрожь и ответила спокойно:

— Нет, только на крышу башни.

И не без злорадства заметила, что отец, несмотря на полную достоинства осанку, явно растерялся. Лорд Вэллис почувствовал в ее тоне скрытую насмешку и сказал сухо:

— Любовалась звездами?

И вдруг со свойственной ему порывистой решимостью, точно ему несносно стало тянуть и медлить, прибавил:

— Я не уверен, знаешь ли, что это очень разумно — назначать свидания в кондитерской, когда Энн в Лондоне.

Опасная искорка, блеснувшая в глазах Барбары,

ускользнула от его внимания, но леди Вэллис ее заметила и поспешила вмешаться.

— У тебя, конечно, были самые веские причины, дорогая.

Губы Барбары скривились в загадочной усмешке. Не будь тягостного разговора с Милтоуном, не будь родители не на шутку встревожены, они бы несомненно поняли, что, когда дочь в таком настроении, чем меньше будет сказано, тем лучше. Но оба слишком переволновались, и лорд Вэллис не сдержался.

— Ты, видно, не считаешь нужным объяснять свои поступки,— сказал он с плохо скрытым раздражением.

— Нет,— ответила Барбара.

— Гм... понимаю. Объяснения можно будет, разумеется, получить у джентльмена, который столь возомнил о себе, что посмел это предложить.

— Это не он предложил, а я.

Брови лорда Вэллиса поднялись еще выше.

— Вот как!

— Джефри,— негромко сказала леди Вэллис,— лучше я сама поговорю с Бэбс.

— Это было бы куда разумнее.

У Барбары, которой впервые в жизни выговаривали всерьез, было чрезвычайно странное ощущение — точно в тело ее вонзались острые когти; ей было и тошно, и в то же время словно бес в нее вселился. Она готова была убить отца. Но она опустила глаза и ничем не выдала бушевавших ее чувств.

— Дальше что? — спросила она.

Челюсть лорда Вэллиса вдруг выдвинулась вперед.

— Если вспомнить о твоей роли в истории с Милтоуном, эта новая выходка особенно очаровательна.

— Дорогой мой,— поспешила вмешаться леди Вэллис,— Бэбс мне все расскажет. Это просто пустяки, я уверена.

— Дальше что? — снова прозвучал спокойный голос Барбары.

При этих повторенных ледяным тоном словах лорду Вэллису едва окончательно не изменила сохраняемая с величайшим трудом выдержка.

— От тебя ничего,— с убийственной холодностью от-



ветил он.— Я буду иметь честь высказать этому джентльмену, что я о нем думаю.

Барбара внутренне подобралась и посмотрела сперва на отца, потом на мать.

Этот взгляд при всей его ледяной твердости был так красноречив, что и лорду и леди Вэллис стало не по себе. Словно дочь сорвала с них маски благовоспитанности и обнажила подлинные лица людей, столь давно привыкших быть довольными собой, что они утратили гибкость, широту и стали куда более заурядными, чем сами подозревали. Страшная то была минута! Наконец Барбара сказала:

— Если от меня больше ничего не требуется, я пойду спать. Спокойной ночи!

И вышла с таким же невозмутимым видом, как вошла.

Оказавшись у себя в комнате, она заперлась, сбросила накидку и поглядела в зеркало. Ей было приятно увидеть, что зубы ее крепко сжаты, тяжело вздымается и опускается грудь, и глаза точно пронзают насквозь.

«Ну хорошо же, мои дорогие! — думала она. — Хорошо же!»

## ГЛАВА XXV

С этим чувством обиды и возмущения она и уснула. И, как ни странно, приснился ей не тот, кого она в душе так яростно защищала, а Харбинджер. Ей привиделось, что она в заточении, лежит в темнице, убранной, как гостиная в Приморском домике, а в соседней темнице, в которую ей каким-то образом удастся заглянуть, вонзается ногтями в стену Харбинджер. Она ясно видела поросшие волосами кисти его рук, слышала его дыхание. Отверстие в стене становилось все шире и шире. Сердце Барбары неистово заколотилось, и она открыла глаза.

Она встала со злой решимостью ничем не выказывать своего бунта, весь день вести себя так, словно ничего не случилось, обмануть их всех, а потом... что именно значило это «а потом», она не объясняла даже самой себе.

В соответствии с этим планом она вышла к завтраку безмятежно спокойная, покаталась верхом с Энн, а потом с матерью ездила по магазинам. Из-за неожиданно-

го решения Милтоуна отъезд в Шотландию откладывался. Хладнокровно и искусно Барбара отражала все попытки леди Вэллис завести разговор о свидании в кондитерской, и о брате тоже не желала говорить; но в остальном она была такая же, как всегда. Среди дня она вызвалась сопровождать мать к старой леди Харбинджер, жившей по соседству с Принс-Гейт. Там наверняка будет и Клод; она думала об этом не без злорадства; ведь в пять у нее свидание с тем, другим. Как ловко она сумела отвести им всем глаза! Там, чувствуя себя великим мастером интриги, она сказала Харбинджеру так, чтобы леди Вэллис тоже слышала, что идет домой пешком и он может проводить ее, если хочет. Он, разумеется, хотел.

Но стоило ей ощутить на лице предвечернюю свежесть, легкий, юго-западный ветерок в ласковой тени деревьев, и ее мятежного безрассудства как не бывало: она вдруг почувствовала себя счастливой, доброй, и так приятно было, что рядом идет Клод. Он тоже в этот день был весел, словно решил не портить ей настроение; и она была благодарна ему за это. Раз-другой, когда ей хотелось, чтобы он поглядел на птиц или на деревья, она даже дружески брала его за рукав и после долгих часов горечи радовалась возможности дарить счастье. Расставшись с ним у особняка Вэллисов, она поглядела ему вслед со странной, чуть ли не печальной улыбкой, ибо настал урочный час.

Она уселась ждать в маленькой уединенной приемной, сверкающей белыми панелями и полированной мебелью. Отсюда была видна аллея, ведущая к дому: Барбара хотела встретить Куртье в холле как бы случайно. Она волновалась и слегка презирала себя за это. Она думала, что он будет точен, но вот уже шестой час; скоро ей стало не по себе; да ведь это просто смешно — сидеть в комнате, куда никто никогда не заходит. Она подошла к окну и выглянула.

— Тетя Бэбс! — вдруг послышалось у нее за спиной.

Обернувшись, она увидела Энн, которая смотрела на нее своими широко раскрытыми, ясными карими глазами. Барбара невольно поежилась.

— Это твоя комната? Какая хорошенькая комната, правда?

— Правда, Энн.

— Да. А я еще никогда тут не была. Кто-то пришел. Ну, мне пора.

Барбара машинально прижала ладони к щекам и вместе с племянницей быстро вышла в холл. И Уильям, лакей, тотчас подал ей записку. Она посмотрела на надпись. От Куртье. И пошла обратно в приемную. Из-за неплотно прикрытой двери она видела Энн — расставив ножки, держась за низко повязанный пояс и задрав дерзкий носишко, девочка смотрела на Уильяма. Барбара захлопнула дверь, сломала печать и прочла:

«Дорогая леди Барбара,  
с огорчением сообщаю Вам, что мой разговор с Вашим братом ни к чему не привел.

Мне случилось только что сидеть в Парке, и я хочу на прощание пожелать Вам всяческого счастья. Знакомство с Вами было для меня величайшей радостью. Я всегда буду думать о Вас с гордостью, и воспоминание о Вас поможет мне верить, что жизнь хороша. Если на душе у меня вдруг станет темно, я вспомню, что в этом мире живете Вы. С глубоким почтением я снимаю шляпу перед красотой и счастьем, благодарный за то, что был удостоен Вашего внимания. Итак, прощайте, и да благословит Вас бог.

Ваш покорный слуга  
*Чарльз Куртье*».

Щеки ее горели, с губ слетали быстрые вздохи; она принялась было перечитывать письмо, но так и не кончила: туман застлал ей глаза. Будь в этом письме хоть слово жалобы или сожаления! Нет, она не допустит, чтобы он так уехал: не простясь, не выслушав ее объяснений. Не должен он думать, что она холодная, бессердечная кокетка и просто хотела поиграть им недельку-другую. Она непременно объяснит ему, что он ошибается. Она заставит его понять, что он не так о ней подумал... что ей хотелось... хотелось... В голове у нее все перепуталось. «Что же это такое? — думала она. — Что я натворила?» И в гневе на самое себя она, скомкав, сунула письмо в перчатку и выбежала из дому. Она быстро пошла к Пикадилли и дальше, через улицу, в Грин-

парк. Здесь она чуть не столкнулась с лордом Мэлви-зином, который неторопливо шел с приятелем к Хайд-парку, и едва им кивнула. Сейчас ей тошно было смотреть на этих вылощенных, холеных мужчин. Ей хотелось бежать, лететь на это свидание: надо поскорей переубедить его, ведь он, конечно, уверен, будто она, Барбара Карадок, пошлая пожирательница сердец, низкая обманщица и кокетка! А его письмо — без тени упрека! Лицо ее так пылало, что она невольно пыталась укрыть его от прохожих.

До его дома было уже совсем недалеко, и она пошла медленнее, заставляя себя думать о том, как же ей себя вести и чего она от него хочет. Но она все так же решительно шла вперед. Она не отступит... чем бы это ни кончилось! Сердце ее трепетало, потом, кажется, совсем перестало биться и снова затрепетало. Она стиснула зубы; в ней поднималась какая-то отчаянная веселость. Да, это настоящее приключение! И тут на нее нахлынуло чувство, которое она испытала тогда на крыше. Все это дико, нелепо! Она приостановилась и вынула из перчатки письмо. Может, и нелепо, но так надо. И, крепко сжав губы, она пошла дальше. В мыслях своих она уже стояла перед ним, с закрытыми глазами, с бешено колотящимся сердцем, и ждала, что же она почувствует, когда он заговорит, а быть может, коснется губами ее лица или руки. И ей представилось, как она стоит — ресницы опущены, губы приоткрыты... Но странно: его она почему-то не видела. И тут оказалось, что она уже перед дверью его дома.

Она спокойно позвонила, но не опустила руку, а приложила выглядывавшую из перчатки ладонь к лицу — неужели это ее щеки так горят?

Дверь растворилась, и она увидела прихожую, лестницу, устланную красным ковром, и у ее подножия — старого лохматого коричневого с белым пса, которого явно одолевали блохи и печаль. Неизвестно почему Барбару обуял страх; она стояла, как статуя, но душа ее метнулась обратно, через Грин-парк, домой, в особняк Вэллисов. Но тут к ней вышла молодая женщина в синем фартуке, с кроткими, покрасневшими глазами.

— Здесь живет мистер Куртье?

— Да, мисс.

У этой еще молодой женщины было совсем мало зубов, да и те несколько почерневшие, и, не в силах вымолвить ни слова, Барбара смотрела на нее, застыв на пороге, между солнечной улицей и сумрачной прихожей, которая вела... куда?

Женщина снова заговорила:

— Очень жалко, если он вам нужен, мисс. Он только что уехал.

Сердце Барбары дрогнуло, как внезапно отпущенная струна. Она наклонилась и погладила по голове старого пса, который обнюхивал ее туфли.

— И я, конечно, не могу вам дать его адрес, — сказала женщина. — Потому что он уехал в чужие края.

Барбара пробормотала что-то невнятное и выбежала на залитую солнцем улицу. Рада ли она? Огорчена ли? На углу она остановилась и обернулась; две головы — женщины и собаки — все еще выглядывали из дверей.

Ей вдруг ужасно захотелось расхохотаться и почти тотчас — расплакаться.

## ГЛАВА XXVI

Западный ветер, шепот которого слышали накануне вечером Куртье и Милтоун, нес вдоль реки первые осенние облака. Кудрявые, серые, они медленно наползали на солнце, словно стараясь его пересилить, и даже в этот ранний час оно светило лишь урывками. Пока Одри Ноуэл одевалась, солнечные лучи самозабвенно плясали на белой стене, точно погибшие души, у которых нет будущего, или мошкара, которая кружит и кружит в краткий миг отпущенной ей радости и не оставляет по себе следа. От бокового окна, завешенного темной шторой, сквозь просветы тянулись к зеркалу, которое тыльной стороной преграждало им путь, дымчатые нити. Они свивались в серые дрожащие спирали, такие плотные на взгляд, что странно было, почему рука не может их поймать; ревниво, точно призраки, оберегая пространство, которым завладели, они на миг развлекли сердце, лишенное счастья. Ибо могла ли она быть счастливой, если не видела любимого уже тридцать часов, и в последнее

свидание его поцелуи не рассеяли ощущения непоправимой беды, которое нахлынуло на нее, когда он сказал ей о своем решении. Она видела глубже, чем он: рок послал ей весть.

Быть тяжким бременем, помешать ему приносить пользу; быть не опорой, а обузой; не вдохновляющими небесами, но тучей! И все из-за его щепетильности, которой она не могла понять! Одри не сердилась на эту непонятную щепетильность, но она была фаталистка, притом хорошо знала Милтоуна и потому предугадывала, к чему это приведет. Он скоро почувствует, что ее любовь калечит ему жизнь; даже если он все еще будет желать ее, то лишь плотью. И раз уж из-за этой щепетильности он способен отказаться от общественной деятельности, он способен оставаться с ней, даже если любовь его умрет! Мысль эта была невыносима. Она жгла ее. Но нет, жизнь не может быть такой жестокой — подарить такое счастье лишь затем, чтобы его отнять! Неужели ее любви дан такой короткий век, а вся его любовь — лишь одно объятие — и конец навсегда!

В это утро отчаяние придало ей уверенности, и она призналась себе, что хороша. Он поймет, он должен понять, что она ему нужней и желанней, чем та, другая жизнь, при одной мысли о которой лицо Одри темнело. Эта другая жизнь такая жестокая и так от нее далека! В ней нет души, в ней все — только видимость, и все же для него это и есть настоящая жизнь, до отчаяния, до отвращения настоящая! Если ему и в самом деле надо расстаться с общественной деятельностью, неужели жизнь, которую они поведут, не возместит ему потерю? Сколько может у них быть простых и светлых радостей: путешествия, музыка, картины, цветы, великое разнообразие природы, друзья, которым они дороги сами по себе; и можно быть добрыми к людям, помогать бедным и несчастным и любить друг друга! Но нет, такая жизнь не по нем! Что толку обманывать себя? Конечно же, справедливо и естественно его желание, чтобы силы его не пропали даром. Его призвание — вести за собой и служить отечеству! Она и не хотела бы видеть его другим. Мысли эти, сменяя друг друга, проносились у нее в голове, пока она заплетала и укладывала свои темные волосы и хоронила сердце за кружевной броней. С при-

вычным вниманием она заметила в вазе на туалетном столике два увядших цветка, выбросила их и сменила воду.

Солнечные лучи уже не плясали на стене, и серые спирали света тоже исчезли. В небе осень вступила в свои права. Одри вышла из спальни; зеркало в прихожей всегда было немилостиво к ней, и, проходя мимо, она не решилась в него посмотреться. Но внезапно ей пришла на помощь истинно женская вера в неотразимость ее чар; ей стало спокойно и радостно: конечно же, он любит ее больше своей совести! Но то была слишком трепетная уверенность, ее так легко было спугнуть. Даже приветливая румяная горничная, казалось, смотрела на нее сегодня с состраданием; и в ней тотчас поднялось врожденное чувство не столько «хорошего тона», сколько такта, которое всегда заставляло ее избегать всего, что может взволновать или огорчить кого-то или навести на мысль, что ее надо пожалеть; и она тщательней обычного старалась скрыть свою тоску и тревогу даже от себя самой. Все утро она машинально занималась привычными мелочами. Но ее ни на минуту не покидала мечта увезти Милтоуна из Англии — может быть, при виде тысячи красот, которые она ему покажет, он все же загорится любовью ко всему, что любит она! В юности она провела за границей три года. А ведь Юстас никогда не был в Италии, не был в ее любимых горных долинах! Потом ей представилась его квартирка в Темпле и заслонила это видение. Нет, ни пышные золотистые ковры горечавки, ни альпийские розы не опьянят восторгом любителя этих книг, этих бумаг, этой огромной карты. И она вдруг с такой остротой ощутила запах кожаных переплетов, словно опять хлопотала вокруг него, скользя по этой комнате неслышной походкой сиделки. Потом на нее вновь нахлынула радость, что наполняла ее в те счастливые дни, — радость любви, которая втайне знает о близящемся торжестве и завершении; несказанная отрада — отдавать все свое время, все помыслы и все силы; и сладкое неосознанное ожидание чудесного неотвратимого мгновения, когда она наконец отдаст ему себя всю. И еще вспомнилась усталость тех дней, священная усталость, и улыбка, не сходявшая с ее губ от мысли, что устает она ради него.

Раздался звонок — она вздрогнула. Ведь в его телеграмме было сказано: днем. Она решила ничем не выдавать своей тревоги, омрачавшей для нее весь мир, и глубоко вздохнула в предчувствии его поцелуя.

То был не Милтоун, а леди Кастерли.

От неожиданности кровь бешено застучала в висках. Потом Одри увидела, что маленькая фигурка, появившаяся перед ней, тоже вся дрожит, и придвинула кресло.

— Не угодно ли вам присесть? — сказала она.

Старческий голос поблагодарил, и Одри вдруг вспомнила сад в Монкленде, залитый ласковыми лучами летнего солнца, и Барбару у калитки, возвышавшуюся над маленькой фигуркой, что сидит сейчас такая тихая, без кровинки в лице. Это лицо, эти точеные черты, эти острые, хоть и подернутые дымкой глаза так часто преследовали ее! Казалось, дурной сон стал явью.

— Моего внука здесь нет?

Одри покачала головой.

— Мы слышали о его решении. Не стану ходить вокруг да около. Это — несчастье, а для меня — тяжкий удар. Я его знаю и люблю со дня его рождения, и я была настолько глупа, что мечтала о его будущем. Вы, может быть, не знаете, сколь многого мы от него ждали. Простите меня, старуху, что я вот так к вам пришла. В мои годы уже мало что важно, но это немногое — очень важно,

«А в мои годы важно только одно, но это одно важнее жизни», — подумала Одри. Но ничего не сказала. Кому, зачем говорить? Этой черствой старухе — воплощению высшего света? Что толку от слов! Серая фигурка, казалось, заполонила всю комнату. Леди Кастерли продолжала:

— Вам я могу сказать то, чего не в силах была сказать никому, ибо сердце у вас доброе.

Сердце, которому воздали такую хвалу, дрогнуло, и дрожь передалась губам. Да, сердце у нее доброе! Она способна даже посочувствовать этой старухе, в чьем голосе тревога заглушила обычную властность.

— Для Юстаса нет жизни вне его карьеры. Карьера — это и есть он сам, он должен действовать, руководить, дать волю своим силам. То, что он отдал вам, это



не настоящее его «я». Не хочу причинять вам боль, но от правды не уйдешь, перед ней все мы должны склониться. Быть может, я жестока, но я умею уважать горе.

Уважать горе! Да, эта серая гостья умеет уважать горе, как ветер, проносящийся над морем, уважает морскую гладь, как воздух уважает нежные лепестки розы, но уметь проникнуть в молодое сердце, понять его горе — на это старики не способны. Им это не легче, чем разгадать, что за тайные знаки чертят вон те ласточки, летая над рекой, или проследить до самых истоков слабый аромат лилий вон в той вазе! Откуда ей знать, этой старухе, чья кровь давно остыла, что творится в ее душе? И Одри казалось, что она смотрит со стороны, как в нее швыряют жалкими остатками ее мечты. Ей хотелось встать, взять эту старческую руку — холодную, иссохшую паучью лапку, — приложить ее к своей груди и сказать: «Тронь — и замолчи!»

И, однако, ее не оставляло какое-то глухое сострадание к этой старухе с бледным, точеным лицом. Она не виновата, что пришла!

— Это еще только начало, — снова заговорила леди Кастерли. — Если вы не откажетесь от него сейчас, сразу, очень скоро вам придется еще тяжелее. Вы знаете, какой он непреклонный. Он не изменит своего решения. Если вы оторвете его от дела его жизни, это отзовется на вас. Я понимаю, что за мои слова вы меня возненавидите, но поверьте, в конечном счете это не только для него, но и для вашего блага.

В душе Одри вспыхнула яростная ирония, сердце неистово заколотилось. Для ее блага! Для блага мертвеца, только что испустившего последний вздох; для блага цветка, попавшего под каблук; для блага собаки, которую покидает хозяин. Свинцовая тяжесть медленно навалилась на ее сердце и остановила его трепет. Если она не откажется от него сразу! Вот они прозвучали, слова, которые уже много часов, невысказанные, давили ей грудь. Да, если она этого не сделает, не знать ей ни минуты покоя, всегда она будет мучиться тем, что загубила его жизнь, осквернила свою любовь и гордость! И она дождалась, что ей это подсказали! Не она сама, а кто-то другой — жестокая старуха из жестокого мира — облек в слова то, что терзало ее любовь и гордость

уже целую вечность — с тех самых пор, как Милтоун сказал ей о своем решении: кто-то должен был сказать ей то, что в сердце своем она знала уже так давно! Эта мысль была, как удар ножа. Нет, это невыносимо!

Она поднялась и сказала:

— Теперь оставьте меня, прошу вас! У меня слишком много дел перед отъездом.

Не без удовольствия она увидела замешательство на лице старухи, не без удовольствия заметила, как дрожат руки, которыми она, вставая, опирается на ручки кресла, и услышала запинаящийся голос:

— Вы уезжаете? Не... не дождавшись его? Вы... вы больше с ним не увидите?

Не без удовольствия она видела, что старуха в нерешимости: не знает, то ли благодарить, то ли благословить, то ли скрыться без единого слова. Не без удовольствия она следила, как залились краской поблекшие щеки, как сжались увядшие губы. Но, уловив шепот «Благодарю вас, дорогая!», она отвернулась, не в силах больше ни видеть эту гостью, ни слышать ее голос. Она подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу, стараясь ни о чем не думать. Послышался шум колес — леди Кастерли уехала. И тогда Одри узнала самое ужасное из всех чувств, какие дано испытать человеку: у нее не было слез!

В этот самый горький и одинокий час своей жизни она была до странности спокойна, ясно понимала, что и как делать и куда ехать. Надо все делать быстро, иначе это уже никогда не будет сделано! Быстро! И без суеты! Она уложила самое необходимое, послала горничную за такси и села писать письмо.

Не надо ни делать, ни писать ничего такого, что слишком бы его взволновало и могло вернуть болезнь. Пусть письмо будет рассудительное, трезвое! Очень просто было бы сообщить, куда она едет, написать так, что он тотчас помчится за ней. Но писать спокойные, рассудительные слова, которые заставят его ждать и думать и никогда не приведут его к ней, было нестерпимо больно.

Она кончила письмо, запечатала его и сидела, не шевелясь, чувствуя, что и руки и мозг оцепенели, пытаюсь

сообразить, что же делать дальше. Ехать — других дел нет!

Чемоданы были уже вынесены. Она выбрала шляпку, в которой особенно ему нравилась, и прикрепила к ней самую густую свою вуаль. Потом надела дорожное пальто и перчатки и взглянула в зеркало; больше задерживаться было не из-за чего, она взяла свой несесер и вышла.

На набережной плакал ребенок; он отчаянно рыдал, прерывисто всхлипывая, и Одри закусил губы, точно услышав стенания своей отлетевшей души.

— Подите утешьте его, Элла, — сказала она горничной, уже сидя в такси.

Только оставшись одна в вагоне, уверенная, что ее никто не видит, дала она волю слезам. Белый дым, клубившийся за окном, был не долговечней ее счастья, ибо она не обольщалась — это конец! С первой их встречи до последней и года не прошло! Но даже в эту минуту она не жалела, что у нее была эта любовь, уже схороненная теперь, точно мертвое дитя, которое вечно будет касаться ее груди своими тоскующими пальчиками.

## ГЛАВА XXVII

Вернувшись из покинутого дома Куртье, Барбара была встречена сообщением, что леди Кастерли просит ее немедленно приехать.

Она послушно отправилась в Рейвеншем и застала бабушку и лорда Денниса в белой комнате. Они стояли у одного из высоких окон и, казалось, любовались видом. При звуке ее шагов они обернулись, но не заговорили и не кивнули. Барбара не видела деда с тех пор, как заболел Милтоун, и такой прием показался ей странным; она тоже молча стала у окна. Огромная оса взбиралась по стеклу, потом, слабо жужжа, соскальзывала вниз.

— Убей ее! — неожиданно потребовала леди Кастерли.

Лорд Деннис вытащил носовой платок.

— Не этим, Деннис. Так выйдет одна пачкотня. Возьми разрезальный нож.

— Я хотел ее выгнать, — пробормотал лорд Деннис.

— Лучше пусть Барбара: она в перчатках.

Барбара подошла.

— По-моему, это шершень,— сказала она.

— Он самый, — мечтательно произнес лорд Деннис.

— Чепуха,—возразила леди Кастерли.—Обыкновенная оса.

— Это шершень, бабушка, я знаю. У него полосы темнее.

Леди Кастерли нагнулась, а когда выпрямилась, в руках у нее была домашняя туфля.

— Не дразните его! — воскликнула Барбара, схватив ее за руку. Но леди Кастерли высвободилась.

— Не мешай! — сказала она и прихлопнула насекомое подошвой так, что оно мертвое упало на пол.— Не залетал бы, куда не надо.

И, словно не они здесь только что суетились, все трое снова молча уставились в окно.

Наконец леди Кастерли обернулась к Барбаре.

— Ну, теперь ты понимаешь, что натворила?

— Энн! — вполголоса сказал лорд Деннис.

— Да, да. Она твоя любимица, но это ей не поможет. Эта женщина... должна сказать к ее чести... я говорю, к ее чести... уехала, чтобы Юстас не мог найти ее, пока он не образумится.

У Барбары перехватило дыхание.

— Бедняжка! — вырвалось у нее.

Лицо леди Кастерли стало почти жестоким.

— Вот именно,—сказала она.— Но, как ни странно, я думаю о Юстасе.— Маленькая, сухонькая, она вся дрожала с ног до головы.— Будешь теперь знать, как играть с огнем.

— Энн! — опять негромко окликнул сестру лорд Деннис и ласково взял Барбару под руку.

— Наш мир — это мир фактов, а не романтических прихотей,—продолжала леди Кастерли.— Ты такое натворила, что вряд ли можно поправить. Я сама была у нее. Я глубоко тронута. Если бы не твое глупое поведение...

— Энн! — снова повторил лорд Деннис.

Леди Кастерли умолкла; слышно было лишь, как она притопывает по полу своей маленькой ножкой. Глаза Барбары блеснули.

— Вы бы хотели еще кого-нибудь раздавить, бабушка?

— Бэбс! — взмолился лорд Деннис. Но Барбара, сама того не замечая, прижала его руку к сердцу и продолжала:

— Ваше счастье, что вы можете ругать меня сегодня. Случись это вчера...

При этих загадочных словах леди Кастерли отвернулась и пошла в другой конец комнаты, оставляя на блестящем паркете маленькие тусклые следы.

Барбара притянула к горячей щеке стариковские пальцы, которые перед тем судорожно сжимала в своих.

— Пусть она замолчит, дядя! — прошептала она. — Сейчас я не могу слушать!

— Да, да, родная, — забормотал лорд Деннис. — Да, конечно... на сегодня довольно.

— Это все ты, — донесся через всю комнату голос леди Кастерли. — Твои сентиментальные глупости навлекли на мальчика несчастье.

Рука лорда Денниса вновь сжала локоть Барбары, и она послушно промолчала; и в тишине слышались легкие приближающиеся шаги. Ни старик, ни Барбара не обернулись; шаги снова стали удаляться; потом опять приблизились.

— Бабушка, ради бога остановитесь! — вдруг воскликнула Барбара, показывая на пол. — Вы и так уже растоптали несчастного шершня, довольно с него, даже если и вправду он залетел, куда не надо!

Леди Кастерли посмотрела на то, что осталось от насекомого.

— Отвратительно! — сказала она; но когда заговорила снова, в голосе ее слышалась уже не столько суровость, сколько досада: — А этот... как его там... ты от него отделалась?

Барбара вспыхнула до корней волос.

— Если вы будете оскорблять моих друзей, я сейчас же уеду домой и никогда больше не стану с вами разговаривать.

Казалось, леди Кастерли вот-вот ударит внучку: потом на ее губах появилась слабая язвительная усмешка.

— Похвальное чувство! — сказала она.

— Все равно я уйду! — крикнула Барбара, выпуская руку дяди. — Не понимаю, зачем вы меня звали!

— Затем, чтобы ты и твоя мать знали, как самоотверженно поступила эта женщина, — холодно ответила леди Кастерли. — Затем, чтобы вы были начеку: неизвестно, чего сейчас ждать от Юстаса; и я хотела дать тебе случай загладить свою вину. И, кроме того, предостеречь тебя... — она не договорила.

— Да?

— Лучше я... — вмешался лорд Деннис.

— Нет, дядя Деннис, пусть бабушка возьмется за свою туфлю!

Она прислонилась к стене, высокая и даже внушительная, гордо вскинув голову. Леди Кастерли молчала.

— Ну, вы приготовились? — крикнула Барбара. — К несчастью, он ускользнул!

— Лорд Милтоун, — раздалось в дверях.

Он вошел неслышно и быстро, опередив лакея, и прежде, чем его заметили, оказался почти вплотную к группе у окна. Лицо у него было серое — такими бывают смуглые лица, когда в минуту волнения от них вдруг отхлынет вся кровь, а глаза, по которым всегда легче всего было прочесть его чувства, горели таким гневом, что все трое невольно потупились.

— Я должен поговорить с вами наедине, — обратился он к леди Кастерли.

И, быть может, впервые в жизни эта неукротимая маленькая женщина дрогнула. Лорд Деннис увлек за собою Барбару, но в дверях прошептал:

— Останься, Бэбс, и молчи. Мне все это очень не нравится.

И никем не замеченная Барбара осталась.

Из дальнего конца длинной белой комнаты до нее с неправдоподобной ясностью доносились два негромких голоса; волнение придавало каждому слову сверхъестественную силу и отчетливость; и ее тревожному взгляду чудилась в каждом движении обоих непостижимая точность, словно у марионеток, которых она видела однажды в парижском кукольном театре. Ей слышны были беспощадно злые и горькие слова упрека, обращенные

Милтоуном к бабушке. Незаметно она подходила все ближе и, увидев, что ее не замечают, точно она не живой человек, а статуя, снова заняла свое место у окна.

Говорила леди Кастерли.

— Я не желала видеть тебя поверженным, Юстас. То, что я сделала, мне далось нелегко. Но я сделала для тебя все, что могла.

Ужасная улыбка исказила лицо Милтоуна — такой ненавидящей улыбкой жертва бросает вызов палачу.

— Я вижу, ты вне себя,— продолжала леди Кастерли.— Можешь меня возненавидеть... но не предавай нас, не падай духом оттого, что не можешь достать луну с неба. Облачись в доспехи и иди в бой. Не будь трусом, мальчик!

Ответ Милтоуна был, как удар хлыста.

— Замолчите!

И — о чудо! — она замолчала. Не грубость этих слов, но вид силы, внезапно сбросившей все покровы — точно свирепый пес, которого на миг спустили с цепи,— заставил Барбару испуганно ахнуть. Леди Кастерли, вся дрожа, упала в кресло. Даже не взглянув на нее, Милтоун метнулся мимо кресла. И Барбара поняла, что, упави их бабушка мертвой, он и тогда не взглянул бы. Она кинулась к старухе, но та отмахнулась.

— Ступай за ним,— сказала она.— Не оставляй его одного.

И, заразившись страхом, который звучал в этом безжизненном голосе, Барбара выбежала из комнаты.

Она догнала брата, когда он садился в такси, в котором приехал, и, не говоря ни слова, скользнула за ним. Шофер обернулся, ожидая приказаний, но Милтоун лишь мотнул головой, как бы говоря: куда угодно, лишь бы вон отсюда!

«Только бы удержать его здесь, со мной!» — пронеслось в голове у Барбары.

Она нагнулась к шоферу и тихонько сказала:

— В Нетлфолд, Сассекс... о бензине не заботьтесь... достанете по дороге. Я заплачу, сколько хотите. Скорей!

Шофер подумал, поглядел ей в лицо и сказал:

— Хорошо, мисс. Через Доркинг поедem?

Барбара кивнула.

Когда Милтоун и Барбара выехали за чугунные ворота в своей стремительной, припахивающей бензином колеснице, часы над конюшней отбивали семь. Автомобиль был закрытый, но брызги дождя залетали через опущенные окна, освежая пылающее лицо Барбары, слегка утишая ее страх перед этой поездкой, ибо теперь, когда судьба оказалась по-настоящему жестокой, когда избавление от мук уже не зависело от Милтоуна, сердце ее обливалось кровью, и она, чего давно уже не бывало, совсем забыла о себе. Безучастность, с какой он отнесся к ее появлению, ничего доброго не предвещала. Барбара молча сидела в своем углу, но мысль ее напряженно работала, с отчаянным, чисто женским упорством отыскивая способ пробиться в эту наглухо замкнувшуюся душу. Он, видно, даже не заметил, что они повернули прочь от Лондона и въехали в Ричмонд-парк.

Деревья, темные от дождя, казалось, мрачно наблюдали за шумным красным ящиком на колесах, все еще не желая мириться с вторжением этих грубых пришельцев в их овеваемую свежим ветром обитель. И лани, резвившиеся на душистых лужайках, вскинув головы, тревожно принюхивались, словно говорили: вот кто оскверняет папоротник! Вот кто оставляет в воздухе отвратительный след!

Барбара смутно ощущала покой, которым были напоены облака, и деревья, и ветер. Если б только он проник и в эту полутемную движущуюся тюрьму и помог ей! Если бы он обернулся сном и унес черную скорбь и мгновенно превратил горе в радость! Но он парил на задумчивых крылах, не заглядывая в их темницу; и не было моста через пропасть, разделявшую две души, ибо что могла она сказать? Как заставить его заговорить о том, что он намерен делать? Какой выбор стоит сейчас перед ним? Выйдет ли он в угрюмой решимости из парламента и будет ждать часа, когда вновь найдет Одри Ноуэл? Но если он и разыщет ее, они опять окажутся в том же тупике. Ведь она уехала, чтобы не связывать его,— и опять будет все то же самое! Или он, как требовала бабушка, облачится в доспехи и ринется в бой? Но тогда это конец, ибо, если у Одри хватило сил



уехать сейчас, она, конечно же, не вернется, не вторгнется второй раз в его жизнь. Страшная мысль поразила Барбару. Что если он решил на всем поставить крест! Уйти в небытие! Ведь так случалось иногда с людьми, над которыми судьба посмеялась в самый разгар страсти. Но нет, Милтоун этого не сделает: его удержит вера. «Если пение жаворонка ничего не значит... и эта лагуна над головой—пустая прихоть нашего воображения... если мы пресмыкаемся тут впустую и жизнь наша бессмысленна и бесцельна, убеди меня в этом, Бэбс, и я стану тебя благословлять». Но удержит ли его и сейчас этот якорь, не унесет ли его в неизвестность? Барбара, для которой жизнь всегда была радостью, а великое безмолвие чем-то неведомым, при этой внезапной мысли о смерти похолодела от ужаса. Она уставилась на спину шофера, на его серую куртку с красным воротником, и эта широкая спина ее немного успокоила. Ведь она в такси, они едут через Ричмонд-парк! Смерть... Нелепо, невероятно! Не глупо ли так пугаться? Она заставила себя посмотреть на Милтоуна. Он словно уснул: глаза закрыты, руки сложены; только дрожь ресниц выдавала его. Как угадать, что скрывается за этой угрюмой маской сна наяву? Он так ушел в себя, что Барбаре казалось, будто ее здесь вовсе нет.

Он открыл глаза и неожиданно проговорил:

— Итак, Бэбс, ты думаешь, что я собираюсь наложить на себя руки?

Он прочел ее мысли! Безмерно испуганная, она только и могла забиться еще дальше в угол и прошептала, запинаясь:

— Нет, нет!

— Куда мы едем?

— В Нетлфолд. Может быть, остановить его?

— Мне все равно, пусть едет.

Боясь, что он снова погрузится в мрачное молчание, она робко завладела его рукой.

Быстро смеркалось; оставив позади виллы Сербитона, автомобиль мчался среди сосен и зарослей вереска, хмурых в угасающем свете дня.

— Если я захочу, довольно открыть дверцу и выпрыгнуть,— странным тихим голосом сказал Милтоун.— Вы, которые верите, что нам «завтра конец», убедите меня,

что этот прыжок освободит меня от всего, и я не стану медлить!

Барбара испуганно сжала его руку, и он, словно пожалев ее, прибавил:

— Не бойся, Бэбс; сегодня мы спокойно выспимся в наших постелях.

Но в голосе его слышалось такое отчаяние, что уж лучше бы он ничего не говорил.

— Будем по крайней мере молчать, когда с нас заживо сдирают кожу,— пробормотал он еще.— Прости, что растревожил тебя.

— Если б только...— прошептала, прижавшись к нему, Барбара.— Не молчи!

Но Милтоун не ответил, лишь молча погладил ее по руке.

Автомобиль, уныло урча, с непривычной скоростью мчался по пустынным дорогам; и Барбаре страстно хотелось прижать голову брата к своей груди и убаюкать его, но она не смела. В сердце была пустота и робость; вот если бы у нее на груди покоилось что-то живое, теплое, все было бы по-другому. Все реальное, вещественное, успокаивающее, казалось, куда-то исчезло. Среди летящих навстречу темных призраков сосен, словно на безлюдной границе, она чувствовала себя потерянной, как ребенок в лесу; ощущение чьей-то щеки, прижавшейся к ее груди, одно могло бы утишить ее тревогу.

Автомобиль замедлил ход; шофер зажигал фары; потом в окошке появилось его обветренное лицо.

— Надо сделать остановку, мисс. Бензин кончился. Будете обедать или сразу поедem дальше?

— Дальше,— ответила Барбара.

Пока они проезжали незнакомым городком, покупали бензин, спрашивали дорогу, она чувствовала себя не такой несчастной и даже не без любопытства оглядывалась по сторонам. А когда снова двинулись в путь, подумала: «Хоть бы мне заставить его уснуть, а там море его успокоит!» Но Милтоун пристально смотрел в одну точку широко раскрытыми глазами. Тогда она сама притворилась спящей; чуть склонила голову набок и ровно, глубоко задышала. Шум колес, жалобное поскрипывание рессор, проносящиеся мимо темные деревья, запах влажного папоротника, приносимый ветром,— все это

не может не усыпить его! И правда, скоро он стал растворяться во тьме... а потом... потом она уже ничего не видела и не слышала.

Когда она очнулась от сна, в который, как ей казалось, погрузился Милтоун, автомобиль медленно взбирался на крутой холм, а над холмом светила луна. Воздух пах крепко и пряно, точно впитал в себя аромат бесчисленных лугов.

«Где это мы? — подумала Барбара. — Должно быть, я спала!»

И вдруг с ужасом оглянулась: здесь ли Милтоун? Но он все так же сидел в своем углу, откинувшись на спинку, глядя перед собой широко раскрытыми глазами и не подавая признаков жизни. Еще не совсем проснувшись, точно большое, теплое, сонное дитя, внезапно разбуженное среди глубокой ночи, она схватилась за него обеими руками и прильнула к нему. Мучительно было думать, что она предательски уснула на своем посту, а он сидел там, в углу, и душа его была далеко-далеко. Но он не отозвался на ее движение и, окончательно проснувшись, пристыженная, огорченная, Барбара отодвинулась и подставила лицо ветру.

А там, на воле, два плоских, густо-черных облака сошлись как два ястребиных крыла и совсем закрыли луну, так что от нее осталось одно лишь сияние меж двух быстрых взмахов тьмы, точно горящие глаза хищной птицы. Этот огромный пугающий призрак, зловеще простершийся над высокими, бледными в лунном свете холмами, словно ждал только удобной минуты, чтобы ринуться вниз, растерзать когтями и пожрать все, что вторгалось в дикие просторы этих вольных равнин. Барбаре казалось: вот-вот послышится протяжный ястребиный свист. И ей снова вспомнился тот чудесный сон. Где ее крылья — крылья, что в сновидении вознесли ее к звездам, крылья, которые наяву никогда не поднимут ее над землей? А где крылья Милтоуна? И опять она забилась в свой угол; из-под сомкнутых век выкатилась слезинка... за ней другая, третья. Они набегали все быстрее и быстрее. Потом рука Милтоуна обняла ее за плечи, и она услышала:

— Не плачь, Бэбс!

Чутье подсказало ей, что делать. Она прижалась го-

ловой к его груди и горько заплакала. И, пытаясь сдерживать рыдания, с каждой минутой все больше успокаивалась: она знала, что теперь он уже никогда не будет чувствовать себя таким одиноким, как прежде, до той минуты, когда начал ее утешать. Все это дурной сон, и они скоро проснутся! И будут счастливы, как были счастливы раньше... До этих последних месяцев. И она прошептала:

— Я сейчас, Юсти, сейчас.

## ГЛАВА XXIX

В первых числах февраля умерла старая леди Харбинджер, и свадьбу Барбары с ее сыном отложили на июль.

В утро свадьбы вокруг Монкленда еще совсем повесенному буйно зеленел вереск.

Барбара встала пораньше, и, когда горничная пришла ее будить, была уже одета для верховой езды; заметив, что девушка удивленно смотрит на ее сапожки, она спросила:

— Ну что, Стейси?

— Вы устанете.

— Пустяки, я ненадолго.

Она не пожелала, чтобы ее сопровождал грум, и одна направилась к вересковой пустоши, где каталась год назад с Куртье. Там, среди высоких холмов, мили на полторы протянулась ровная, поросшая невысоким, еще не расцветшим вереском полоса земли, удобная для верховой езды. Барбара подымалась в гору, а душа ее словно мчалась впереди. Ей хотелось поскорей очутиться среди чибисов и кроншнепов, увидеть, как убегает из-под ног коня пружинистая, торфянистая земля, подставить лицо свежему ветру, что гуляет там, под синими небесами. Ее любимец Хэл горячился, и так и играл каждой жилкой под лоснящейся шерстью, и посапывал, и фыркал от радостного нетерпения, и косил глазом, пытаясь угадать ее намерения, и звонко грыз удила и, казалось, надеялся ее напугать, чтобы она тесней прильнула к нему, а ей было весело и ни до чего не было дела, хо-

телось только длить это чудесное слияние с прекрасной несущей ее силой.

Взобравшись на плато, она пустила Хэла галопом. Ветер яростно набросился на нее, дул в лицо и шею, все ее мышцы напряглись, кровь бурлила — что может быть лучше!

Она остановила коня там, откуда они с Куртье смотрели на табунок лошадей. Теперь это было просто воспоминание, смутное и нежное, словно память о каком-нибудь на редкость прекрасном внешнем дне, когда деревья, кажется, распускаются прямо на глазах и будто из озорства источают запах лимона. Лошади паслись на том же месте, и так же, как тогда, вдали поблескивало море. И она думала только об одном: как это чудесно — жить! Во всем такая полнота, и свежесть, и свобода, и сила! На западе над одинокой фермой кружили два ястреба, высматривая добычу; Барбара не завидовала им: она была счастлива, счастлива, как это весеннее утро. И вдруг на нее нахлынула жаркая, неодолимая тоска по небесным высям.

«Я должна,— подумала она.— Я не могу иначе».

Спешившись, она легла на спину, и тотчас все исчезло, осталось только небо. Она лежала на теплом и мягком вереске, покрывшем жесткую землю, и над нею пролетал неслышный, неосязаемый ветерок. Душа ее слилась воедино с этим непостижимым вольным покоем. И она уже не знала, довольна ли она, счастлива ли.

Хэл принялся жевать ее рукав, и Барбара очнулась. Она вскочила в седло и пустилась в обратный путь. Неподалеку от дома она взяла напрямик через луг, по которому бежали два узеньких светлых ручейка; лужок между ними зарос сонным розовато-лиловым болотным яртышником и желтым касатиком. Из конца в конец по этому длинному лугу, такому пестрому, где всего было вдоволь — и деревьев, и камней, и цветов, и воды,—медленно отступала весна.

Несколько любопытных и боязливых лошадок подкрались поближе к Барбаре и ее скакуну и остановились, вытянув шеи, недоверчиво принюхиваясь и со свистом помахивая тощими хвостами. И вдруг высоко-высоко вдогонку своему крику устремились к вересковой

пустоши в поисках боярышника две кукушки. Они летели, точно две стрелы, и, провожая их взглядом, Барбара увидела, что из-за буковой рощи кто-то идет ей навстречу, и вдруг узнала миссис Ноуэл.

Вспыхнув, она продолжала свой путь. Что можно сказать? Заговорить о своей свадьбе и выдать присутствие Милтоуна? Что ни скажешь, от любого слова той будет больно... Она с досадой подавила свою нерешительность и сказала:

— Я так рада вас видеть. Я не знала, что вы еще здесь.

— Я только вчера вернулась в Англию и вот приехала сюда распорядиться, чтобы уложили мои вещи.

— А-а! — пробормотала Барбара. — Вы, наверно, знаете, какой у меня сегодня день?

Миссис Ноуэл улыбнулась, подняла на нее глаза и сказала:

— Да, я узнала еще вчера вечером. Желаю вам много радости!

Барбара почувствовала ком в горле.

— Я так рада, что повидала вас, — тихо повторила она. — Мне, пожалуй, пора... Прощайте...

— Прощайте... — отозвалось негромкое эхо, и она поехала прочь.

Но радость ее погасла; даже Хэл — и тот, казалось, шел невесело, хоть и возвращался в конюшню, где обычно рад был бы очутиться уже через десять минут после того, как ее покинул.

Миссис Ноуэл ничуть не переменилась, только глаза словно еще потемнели. Если бы она хоть чем-то показала, что чувствует себя несчастной, Барбаре не было бы так горько и грустно.

Выйдя из конюшни, она увидела, что ветер гонит по небу белую светящуюся тучу. «Кажется, в конце концов все будет хорошо», — подумала она.

Она вошла в дом старинным, так называемым потайным ходом, который вел прямо в библиотеку, и, чтобы попасть к себе, ей надо было пересечь всю эту большую, сумрачную комнату. Здесь перед камином в глубоком кресле сидел Милтоун, на коленях у него лежала раскрытая книга, но он не читал, он смотрел на портрет

старого кардинала. Затаив дыхание, Барбара быстро, на цыпочках прокралась по мягкому ковру: она страшилась прервать этот странный немой разговор и чувствовала себя виноватой от того, что узнала на прогулке и чем не собиралась с ним делиться. Однажды она уже обожглась пламенем, горевшим между ними; больше она этого не сделает!

Через окно в дальнем конце библиотеки она увидела, что туча разразилась проливным дождем. Никем не замеченная, она пробралась к себе. Там, на вересковой пустоши, ей было хорошо и радостно, и все же эта последняя в ее девичьей жизни прогулка оказалась не вполне удачной; на нее вновь нахлынули былые чувства, былые сомнения; а ведь она думала, что с ними покончено навсегда. Эти двое! Закрывать на все глаза и быть счастливой, возможно ли это? Большая радуга внезапно возникла совсем рядом, над садом,—никогда еще Барбара не видела ее так близко,—второй конец вонзился в соседнее поле. Сквозь уносимый ветром дождь уже пробилось и засияло солнце. Меж белых, черных, золотых туч засверкали, точно драгоценные камни, голубые просветы. Странно белый свет—призрак уходящей буйной и щедрой весны—тронул каждый лист каждого дерева; пустошь и луга заиграли сотнями ярких красок, точно на них опустилась стая райских птиц.

От этой неистовой красоты у Барбары перехватило дыхание. Сердце бешено заколотилось. Она прижала руки к груди, словно пытаюсь удержать прекрасное мгновение. Далеко-далеко закуковала кукушка, и ветер подхватил этот извечный зов. Казалось, в этом крике проносится мимо вся красота, свет и радость, все упоение жизни. Если б только можно было поймать его и навсегда сохранить в сердце, как вон те лютики захватили в плен солнце, и как в каждой дождевой капле на лепестках роз под окнами заточен переменчивый свет дня! Если бы в мире не было ни цепей, ни стен и ничто не решалось навечно!

Часы пробили десять. Завтра в этот час! Ее обдало жаром; она посмотрела в зеркало—щеки пылают, губы кривит презрительная усмешка и глаза какие-то чужие. Она долго стояла так и смотрела на себя, и мало-помалу все следы волнения исчезли, и лицо вновь стало не-

возмутимым, исполненным решимости. Сердце уже не колотилось, как бешеное, щеки побледнели. Она смотрела на себя как бы со стороны, и ей приятно было видеть свою спокойную, лучезарную красоту, которая вновь обрела сброшенные на миг доспехи.

Вечером, после обеда, когда мужчины вышли из столовой, Милтоун ускользнул к себе. Из всех присутствовавших в маленькой церкви он казался самым безучастным, но был взволнован больше всех. И хотя свадьба была очень тихая и скромная, он досадовал на дешевую пышность, сопровождавшую уход его младшей сестренки. Он предпочел бы, чтобы ее венчали в темной домовой часовенке, где уже давно не служили; и пусть бы там были только жених с невестой да священник. Здесь же, в этой полуязыческой деревенской церквушке, наскоро заставленной цветами, с полуязыческим крикливым хором, полной любопытных и почтительных сельских жителей, его все коробило, а от всего, что последовало за этим, стало совсем тошно. Сменив фрак на старую домашнюю куртку, он вышел на луг. Быть может, эта бескрайняя тьма ночи утишит его раздражение.

С того дня, как его избрали в парламент, он еще ни разу не был в Монкленде; после исчезновения миссис Ноуэл он ни разу не выезжал из Лондона. Он весь погрузился в Лондон и в работу; Лондоном и работой он тогда спасся! Он вступил в бой.

Роса еще не выпала, и он пошел напрямик через луга. Не было ни луны, ни звезд, ни ветра; коровы бесшумно лежали под деревьями; не слышно было уханья совы, криков козодоя, даже легкомысленные майские жуки не летали. В этой ночной тиши жил один лишь ручей. Милтоун шел узенькой, едва различимой тропкой среди слабо светящихся маргариток и лютиков, и странное чувство возникло у него, будто вокруг царит не сон, а нескончаемое ожидание. Звук его шагов казался святотатством. Такой благоговейной была эта тишина, курившаяся терпким фимиамом миллионов листьев и былин.

Последний перелаз остался позади, и вот он уже под-



ле ее покинутого домика, под ее липой, которая в ночь, когда Куртье повредил ногу, окружала луну иссиня-черным узором своих ветвей. С этой стороны сад отделяли от луга лишь невысокая ограда да редкие кусты.

Домик стоял совсем темный, но высокие белые цветы, точно светящийся пар, поднимающийся с земли, реяли над клумбами. Милтоун прислонился к старой липе и отдался воспоминаниям.

Среди осенявших его молчаливых ветвей пискнула сонная пичуга; в траве у его ног прошуршал еж или еще какой-то ночной зверек; в поисках пламени свечи пролетел мотылек. И что-то в сердце Милтоуна рванулось за ним, в тоске по теплу и свету, по угасшему пламени своей любви. Потом в тишине раздался звук, словно в высокой траве прошелестела ветка; все тише, слабее; и опять явственнее, и снова слабее; но что порождало этот бесприютный шелест, он разглядеть не мог. Ему стало чудиться, что совсем близко ходит кто-то незримый, и даже волосы зашевелились у него на голове. Если бы вошла луна или звезды, чтобы он мог увидеть! Если бы положить предел ожиданию, которым полна эта ночь, если бы засветилась хотя бы одна-единственная искорка в ее саду и одна-единственная искорка в его груди! Но тьма не расступалась, и бесприютному шелесту не было конца. А что если звук этот исходит из его собственного сердца, которое блуждает по саду в поисках утраченного тепла? Он закрыл глаза и тотчас понял, что то звучит не его сердце, но и в самом деле бродит кто-то безутешный. И, протянув руки, он пошел вперед, чтобы остановить этот шелест! Но когда он достиг ограды, звук прекратился. Вспыхнул огонек, по траве пролегла бледная дорожка света.

И, поняв, что она здесь, в доме, он едва не задохнулся. Он и не заметил, как вцепился в ограду с такой силой, что ломались ногти. Им овладело совсем иное чувство, чем в памятный вечер, когда алые гвоздики на ее подоконнике овеяли его своим ароматом; это был не просто порыв неодолимой страсти. Та жажда любви, что поднималась в нем сейчас, была глубже, грознее, словно он знал, что если ныне он не утолит ее, никогда уж ей больше не ожить, и любовь его падет бездыханная на эту темную траву, под этими темными ветвями. А если

она восторжествует — что тогда? Он неслышно отступил под дерево.

Маленькие белые мотыльки летели по световой дорожке; белые цветы были теперь ясно видны — бледные часовые, охраняющие своих темных спящих собратьев; и он стоял, не рассуждая, почти уже ничего не чувствуя, ошеломленный, подавленный. Лицо и руки его стали липкими от медвяной росы — медленно, незаметно ее источала липа. Он наклонился и тронул рукой траву. И вдруг с несомненностью понял, что Одри совсем близко. Да, она здесь, на веранде! Он увидел ее всю с головы до ног; и, не понимая, что она его не видит, ждал: вот сейчас она вскрикнет! Но она не вскрикнула, не протянула к нему руки, — она повернулась и вошла в дом. Милтоун рванулся к ограде. И опять остановился — без мыслей, без чувств, словно потеряв себя. И вдруг заметил, что прижимает руку к губам, словно пытаюсь удержать хлынувшую из сердца кровь.

Все еще прижимая руку к губам, стараясь бесшумно ступать по высокой траве, он крадучись пошел прочь.

### ГЛАВА XXX

В просторной теплице Рейвеншема у японских лилий стояла леди Кастерли с письмом в руке. Она была очень бледна, ибо сегодня впервые поднялась после инфлюэнцы; и в руке ее, державшей письмо, уже не было прежней твердости. Она прочла:

«Монкленд.

Пока не ушла почта, спешу в двух словах сообщить Вам, дорогая, что Бэбс благополучно родила прелестную малютку. Она шлет Вам сердечный привет и просит передать какие-то непонятные слова, которым вы якобы будете рады: что теперь она в полной безопасности и обеими ногами твердо стоит на земле».

По бледным губам леди Кастерли пробежала невеселая усмешка. Ну еще бы, давно пора! Девочка была на самом краю пропасти! Чуть было не совершила не-

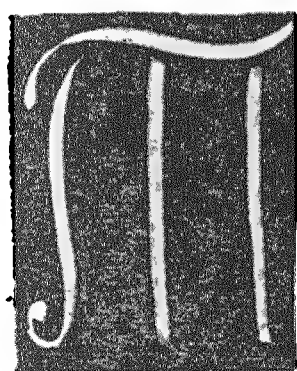
поправимую романтическую глупость! С этим покончено. И, опять поднеся к глазам письмо, она стала читать дальше:

«По этому случаю мы все, разумеется, были у нее, а завтра возвращаемся домой. Джеффри сам не свой. Нам очень не хватает Бэбс. Я все время приглядываюсь к Юстасу и думаю, что он наконец оправился от своего опасного увлечения. В палате он делает сейчас большие успехи. Джеффри говорит, что его речь по поводу закона о бедных была несравнимо лучше всех других».

Леди Кастерли уронила руку с письмом. Оправился? Да, опасность миновала. Он поступил правильно... как и следовало! И когда-нибудь будет счастлив! Он вознесется на вершины власти, о чем она мечтала для него, когда он был еще крошкой, мечтала с тех самых пор, когда они бродили среди цветов или среди старинной мебели в высоких комнатах и его тоненькая смуглая ручонка цеплялась за ее руку.

Так думала она, стоя среди стройных лилий, наполнявших своим ароматом просторную теплицу, бледно-серая, точно маленький непреклонный призрак, и, однако, рука ее комкала письмо и по лицу скользили тени. Отбрасывали их резвые лучи полуденного солнца? Или ей забрезжил смысл древнегреческого изречения: «Нрав человека — его рок», и открылась всеобъемлющая истина, что от себя не уйдешь и каждый в конечном счете становится рабом того, к чему больше всего стремится.

1911 г.



# ЕМНЫЙ ЦВЕТОК

«Ты возьми цветок с моей груди,  
Вынь второй цветок из черных кос моих,  
Теперь прощай — над нами ночь ясна,  
И звездам радостно смотреть, как ты уходишь».

*«Песни с берегов Дымбовицы».*

**Перевод с английского  
И. Бернштейн  
под редакцией  
И. Гуровой.**

# ЧАСТЬ I

## ВЕСНА

### I

Он шел по Холмуэлл-стрит ранним июньским вечером, сняв студенческую шапочку с темной густоволосой головы и приспустив с плеч короткую мантию. Юноша невысокого роста и такого сложения, словно в нем смешались две совершенно разные породы: одна — коренастая, плотная, другая — изящная, нервная. Лицо его также представляло собой редкостное сочетание разнородных качеств, ибо черты его были твердые, а выражение мягкое, чуть капризное. Его глаза — темно-серые, щедро освещенные изнутри и осененные очень черными ресницами, — умели глядеть куда-то вдаль, за пределы зримого, и оттого вид у него подчас бывал слегка отсутствующий; зато улыбка была неожиданно быстрая, обнажавшая вдруг белые, как у негра, зубы и зажигавшая лицо удивительной живостью. Встречные посматривали на него, ибо в 1880 году еще не принято было студентам ходить без шапочек. Особенно привлекал он внимание женщин; они видели, что он их вовсе не замечает, а просто идет, глядя вдаль, занятый какими-то своими мыслями.

Знал ли он сам, о чем думает? Мог ли он ответить на это определенно в ту пору своей жизни, когда повсюду, и в особенности за пределами сегодняшнего кругозора, было столько интересного и удивительного — столько всего он должен повидать и сделать, когда рас-

станется с Оксфордом, где к нему «ужасно добры» и вообще все, конечно, «милые люди», но не слишком интересные.

Он шел к своему профессору, чтобы прочесть ему реферат об Оливере Кромвеле; но, задержавшись под старой стеной, некогда замыкавшей в себе весь город, он вынул что-то из кармана. Это было живое существо, маленькая черепаха. Он с полным самозабвением смотрел, как она осторожно, вопросительно поводит плоской головкой, и не переставал ощупывать ее своими короткими, тупыми пальцами, словно хотел яснее представить себе, как она устроена. Ну и твердая же у нее спина! Не удивительно, что старику Эсхилу стало слегка не по себе, когда вот такая свалилась ему на голову!<sup>1</sup> У древних она служила основанием, на котором покоился мир—мир в виде пагоды, состоящей из людей, животных и деревьев, вроде той, что вырезана на дверцах китайского шкафчика в гостиной у его опекуна. Китайцы здорово делали животных и деревья, точно они верили, что у всех предметов есть душа и они существуют вовсе не для того, чтобы люди их ели, запрягали или строили из них себе дома. Эх, если б только в художественной школе ему позволили лепить «по-своему», а не заставляли без конца копировать и копировать! Честное слово, они словно опасаются, как бы человек не придумал что-нибудь свое.

Он поднес черепашку к жилету и придерживал, а она ползла вверх, но потом он вдруг заметил, что она жует угол его реферата, и пришлось положить ее обратно в карман. Что бы сказал его профессор, если б узнал, кто сидит у него в кармане? Чуть склонил бы голову набок и произнес: «Есть многое на свете, друг мой Леннан, что и не снилось мудрости моей»<sup>2</sup>. Это верно, немало существует такого, о чем старому Стормеру и не снилось; он, кажется, страшно боится всего мало-мальски необычного и всегда подсмеивается над тобой из страха, как бы ты не стал смеяться над ним. В Оксфорде много таких. И это очень глупо. Ведь если бояться людского смеха, то ничего не добьешься! Вот

---

<sup>1</sup> Существует легенда, что древнегреческий трагик Эсхил умер оттого, что орел уронил ему на голову черепаху.

<sup>2</sup> Перефразированная реплика Гамлета.

миссис Стормер, она не такая; она совершает поступки... просто потому, что ей так хочется. Но ведь она не англичанка, она австрийка, и потом она настолько моложе старого Стормера.

И, оказавшись у дверей профессорского дома, он позвонил...

## II

Когда Анна Стормер вошла в кабинет, ее муж стоял у окна, чуть склонив набок голову, — высокий, длинноногий, в мягком шерстяном костюме с отложным воротничком (что было редкостью в те дни) и синем шелковом галстуке, ею связанном, который он носил пропущенным через кольцо. Он что-то напевал, постукивая в такт по стеклу холеными ногтями. Хоть он и славился трудолюбием, она ни разу не застала его за работой в этом доме, который был выбран им за то, что отстоял более чем на милю от колледжа, где обитали «наши милые юные шуты», как он именовал своих учеников.

Он не обернулся — разумеется, в его привычки входило тратить свое внимание лишь на самое существенное, — но она знала, что он слышал, как она вошла. Она приблизилась к стоявшему у окна креслу и села. Тогда он обернулся и произнес: «О!»

То было почти выражение восторга, для него отнюдь не обычное, ибо он никогда ничем не восхищался, если не считать избранных мест из произведений древних авторов. Но она знала, что сейчас она особенно хороша: солнечный луч освещает ее прекрасную фигуру, играет на блестящих каштановых волосах и искрится в ее льди-сто-зеленых глубоко посаженных глазах, прикрытых черными ресницами. Для нее очень много значило, что она по-прежнему так красива. Сознать, что твой вид оскорбляет изысканный вкус супруга, — это было бы уж слишком. И без того скулы у нее, на его взгляд, чересчур выступали, символизируя чуждые ему черты ее характера, — ту безоглядность, страстность, то отсутствие какой-то английской ровности, что так его всегда раздражали.

— Харролд, — она так и не отучилась от раскатистого «р», — я хочу в этом году поехать в горы.



Горы! Она не видела их после того сезона в Сан-Мартино-ди-Кастроцца двенадцать лет назад, который кончился тогда их женитьбой.

— Ностальгия?

— Я не знаю, что это значит, — я соскучилась по родным местам. Мы поедем?

— Отчего же, если тебе хочется. Только что до меня, то, пожалуйста, без восхождений на Чимоне-делла-Пала.

Она поняла, что он хотел сказать: без романтики. А как великолепен он был в тот далекий день, когда они подымались на эту вершину! Она почти боготворила его. Как она была слепа! Как заблуждалась! Неужели это тот же человек стоит сейчас перед нею — с ясными, не верящими глазами, уже с сединой в волосах? Да, с романтикой покончено! Она сидела молча и глядела в окно на улицу — на ту старинную улочку, куда ей глядеть теперь дни и ночи. Кто-то прошел за окном, поднялся на крыльцо и позвонил. Она тихо сказала:

— Марк Леннан пришел.

Она почувствовала, как взгляд мужа мгновение задержался на ней, — это он отвернулся от окна и пробормотал: «Ах, шут-ангелочек!» Замерев, она ждала, чтобы открылась дверь. Вот он. Милая темная голова и эта мягкая, застенчивая серьезность. И реферат в руках.

— Ну, Леннан, как поживает старик Оливер? Генный лицемерия, а? Придвигайте стул; сейчас мы с ним живо покончим!

Она неподвижно сидела у окна и разглядывала пару за столом — юноша читал своим удивительным, бархатистым басом, а ее муж сидел, откинувшись, составив концами пальцы обеих рук, слегка наклонив набок голову и улыбаясь своей слабой, сардонической улыбкой, которая никогда не передавалась глазам. Да он дремлет, он заснул! А мальчик, не замечая, продолжает читать. Он дошел до конца и только тут поднял голову. Какие у него глаза! Другой бы посмеялся, но он только смутился. Она услышала, как он тихо произнес:

— Ради бога, простите, сэр.

— А, Леннан, каюсь, я попался! По правде сказать, этот семестр меня совсем доконал. Мы собираемся на лето в горы. Бывали вы в горах? Что? Никогда?! Вам

надо поехать с нами. Что ты на это скажешь, Анна? Как по-твоему, разве не должен этот молодой человек поехать с нами?

Она встала и пристально смотрела на них. Уж не ослышалась ли она?

Потом ответила очень серьезно:

— Да, по-моему, ему надо поехать.

— И прекрасно; вот пусть он и лазит на Чимоне-делла-Пала.

### III

Когда юноша простился и ушел, она задержалась у порога в полосе солнечного света, падавшей через открытую дверь, и стояла, прижав ладони к горящим щекам. Потом захлопнула дверь и припала лбом к окну, невидящими глазами глядя на улицу. Сердце у нее учащенно билось; она еще и еще раз переживала то, что сейчас произошло. Все это значило гораздо больше, чем казалось со стороны. Правда, тоска по родине бывала у нее и раньше, особенно весной, но в этот раз совсем иное чувство заставило ее сказать мужу: «Я хочу поехать в горы!»

Двенадцать лет она тосковала по горам, но не просилась в горы; в этом году она попросилась в горы, но она уже по ним не тосковала. Наоборот, она пришла умолять мужа о поездке, потому что вдруг с недоумением осознала, что ей не хочется уезжать из Англии, и поняла причину своего нежелания. Но почему же тогда, решившись бежать от мыслей об этом юноше, она ответила: «Да, по-моему, ему надо поехать»? Нужды нет, ведь она всю жизнь разрывалась между разумом и порывом — странная, напряженная, мучительная двойственная жизнь! Сколько времени прошло с того дня, как он впервые появился у них в доме, молчаливый и застенчивый, с этой внезапной улыбкой, когда он весь словно озаряется внутренним светом? В тот день она сказала мужу после его ухода: «Да он просто ангел!» Еще и года нет. Ведь это было в октябре, в самом начале осеннего семестра. Он так отличался от всех студентов — он, конечно, был не гений с растрепанными волосами, в меш-

коватой одежде и острый на язык,— нет, но просто в нем есть что-то... что-то особенное; просто потому, что он — это он; потому что ей страстно хочется сжать в ладонях его голову и поцеловать. Она так ясно помнит тот день, когда это желание пришло к ней впервые. Она угощала его чаем, это было в самом начале весеннего семестра. Он сидел, гладил ее кошку, которая всегда сама лезла к нему на колени, и рассказывал ей, что хочет стать скульптором, а его опекун против, так что приходится все отложить до совершеннолетия. На столе стояла лампа под розовым абажуром; он пришел к ним после гонок на реке — а день был очень холодный, и его обычно бледное лицо пылало. И вдруг он улыбнулся и сказал: «Очень неприятно ждать, правда?» Вот тогда-то она чуть было не протянула к нему руки и не прижалась губами к его лбу. Она тогда думала, что поцелуй, о котором она мечтает,— материнский, что ей больше всего хотелось бы быть его матерью. Она и в самом деле годилась ему в матери, ведь могла же она выйти замуж в шестнадцать лет. Но теперь она уже давно поняла, что ей хочется поцеловать его не в лоб, а в губы. Да, он вошел в ее жизнь, он точно огонь очага в холодном, непроветренном доме; трудно даже представить себе, как она могла все эти годы жить без него. Она так скучала без него все полтора месяца пасхальных каникул и так радовалась его трем письмецам, полуробким, полудоверчивым; покрывала их поцелуями и носила за корсажем! И в ответ писала ему длинные, добропорядочные послания, по языку которых все еще было заметно, что она иностранка. Она ничем не выдавала ему свои чувства; даже мысль, что он мог бы догадаться, страшила ее. Начался летний семестр, и думы о нем заполнили всю ее жизнь. Быть может, если бы не умер десять лет назад ее новорожденный ребенок, если бы его жестокая гибель — после мук, которые она приняла,— не убила бы в ней навсегда желание иметь детей, если бы она не жила все эти годы с сознанием, что ей уже нечего ждать тепла, что любовь для нее позади, если бы ее могла увлечь и захватить жизнь в этом красивейшем старинном городе,— тогда, быть может, у нее нашлись бы силы, чтобы подавить пробуждающееся чувство. Но ей нечем было защититься. Жизнь в ней

била ключом, и она чувствовала, как все это пропадает даром, ни за что. Подчас ее совсем захлестывала страстная потребность жить — дать выход своим жизненным силам. Сколько одиноких прогулок совершила она за эти годы, стремясь раствориться в природе, — торопливо шла, почти бежала через безлюдные рощи и поля, ища спасения от мыслей о напрасно загубленной жизни, пытаясь вернуть себе настроения своей юности, когда перед нею открывался весь мир. Для чего так великолепна ее фигура, так блестят ее темные волосы, а глаза лучатся светом! Она перепробовала много разных занятий. Благотворительность, музыку, любительский театр, охоту; бралась, потом бросала; потом с увлечением бралась снова. Раньше это помогало. Но в этом году не помогло... И в одно воскресное утро, когда она возвращалась с исповеди, так и не дойдя до исповедальни, она отважилась взглянуть истине в глаза. То, что с ней происходит, дурно. Она должна убить в себе это чувство, должна бежать от этого юноши, к которому ее так влечет. Надо действовать немедленно, иначе ее захватит и понесет. И тут же возникла мысль: ну так что ж? Жизнь дана, чтобы жить, а не тупо дремать посреди этого культурного заповедника, где старость у людей в крови! Жизнь дана для любви, для счастья! А ей через месяц будет уже тридцать шесть лет. Ей казалось, что это ужасно много — тридцать шесть! Скоро она уже состарится, совсем состарится, так и не изведав страсти. Поклонение, возведшее в героиню немолодого (он был на двенадцать лет старше ее) англичанина с благородным профилем, который возглавил тогда восхождение на Чимоне-делла-Пала, не было страстью. Оно, быть может, перешло бы в страсть, пожелай он этого. Но он весь — пристойность, лед, книги. Есть ли у него сердце, кровь ли течет в его жилах? Знакома ли радость жизни этому чересчур красивому городку и людям, в нем живущим? Этому городку, где даже вдохновение пристойно и бескрыло, где все имеет вид незыблемый и умудренный, как эти церкви и монастыри? Но все-таки... питать подобное чувство к юноше, почти мальчику, который ей чуть не в сыновья годится! Тут есть что-то... бесстыдное. Эта мысль преследовала ее, в темноте заливала краской ей щеки, когда

она лежала ночами без сна. И тогда она принималась страстно молиться,— ибо она была набожна,— чтобы ей было дано остаться чистой, чтобы ей ниспослано было святое материнское чувство, чтобы ее преисполнила простая готовность ради этого юноши, ради его блага, пойти на любые трудности и жертвы. После этих долгих молитв на душе становилось спокойнее, клонило в сон, словно она приняла снотворное. И так на несколько часов. А потом все начиналось сначала. Но она никогда не думала о том, что и он может полюбить ее; это было бы... противоестественно. Как может он ее полюбить? На это она не надеялась. После того воскресенья, когда она так и не зашла в исповедальную, она все пыталась придумать, как положить этому конец, как избавиться от страсти, которую у нее не было сил подавить. Вот тогда-то ей и пришла в голову мысль — уехать в горы, снова очутиться там, где ее муж впервые вошел в ее жизнь; быть может, там ее чувство угаснет. Если же нет, она попросит, чтобы муж оставил ее там, у ее родных, вдали от опасности. И вот теперь этот глупец — этот слепой, высокомерный глупец, с вечной своей сардонической усмешкой и неизменной снисходительностью — обратил ее план против нее самой. Ну что же, пусть пеняет на себя; она сделала, что могла. Она возьмет свою долю счастья, и будь что будет, пусть даже ей придется навсегда остаться там и потом никогда больше не видеть этого юноши.

Стоя в полутемной гостиной, где слабый запах древесной гнили просачивался в воздух всякий раз, стоило лишь закрыть окна и двери, она вся трепетала от тайной радости. Очутиться с ним в родных горах, показывать ему все эти удивительные утесы, сверкающие или бурые, землистые, подняться с ним вместе на их вершину и увидеть все царства земные у ног своих, бродить с ним по альпийским сосновым лесам, в аромате всех деревьев и цветов, в жарких лучах родного солнца! Первое июля — а сегодня только десятое июня! Как ей дожить до этого дня? Но теперь они поедут не в Сан-Мартино, а в Кортину, например, куда-нибудь в незнакомое место, свободное от воспоминаний.

Она отошла от окна и стала перебирать цветы в вазе на столике, потому что услышала, как напевает ее муж,—

этот звук нередко служил провозвестником его появления, словно предупреждая мир, дабы тот поспешил принять к его приходу благопристойный вид. Счастливая, она сейчас глядела на мужа дружелюбно и признательно. Хотел он того или нет, но он подарил ей радость! Муж спускался по лестнице через две ступеньки с тем «неакадемическим» видом, который был ей так знаком; сняв с вешалки шляпу, он обернулся к Анне.

— Славный юноша, этот Леннан. Будем надеяться, он на нас там не нагонит скуку.

В его голосе слышался какой-то призыв раскаяния, словно он просил простить его за необдуманное приглашение. И ее вдруг одолел смех. Чтобы скрыть это, она подбежала к нему, пригнула его к себе за лацканы сюртука и поцеловала в кончик носа. И рассмеялась. А он стоял и глядел на нее, склонив слегка набок голову и чуть-чуть приподняв брови.

#### IV

Когда раздался легкий стук в дверь, Марк хоть и встал уже с постели, но еще не кончил одеваться — он то и дело застывал, сонно глядя в окно на горы, которые нежились в раннем свете утра, подобные огромным животным. Та, на которую им предстояло взобраться, словно чуть-чуть приподняла от лап голову, — она казалась сейчас такой далекой! Приотворив дверь, он шепнул в щелку:

— А что, уже пора?

— Пять часов. Вы разве не готовы?

Как это грубо — заставлять ее дожидаться. Он торопливо спустился в пустую столовую, куда заспанная горничная уже несла им кофе. Анна сидела там одна. На ней была синяя блуза с открытым воротом, зеленая юбка и серо-зеленая бархатная шапочка с тетеревиным пером. Почему это люди не могут всегда так красиво одеваться и выглядеть так замечательно?! Он сказал:

— Как вы сегодня хороши, миссис Стормер!

Она так долго не отвечала, что он уже начал опасаться, не прозвучало ли это грубо. Но ведь у нее и в самом деле был сейчас такой здоровый, оживленный, счастливый вид.

Путь вел под гору, через лиственничную рощу, к реке, а оттуда по мосту и вверх по склону через луга, где косили сено. Как мог старик Стормер проспать такое утро! Крестьянские девушки в синих полотняных юбках уже сгребали траву, которую успели косить мужчины. Одна, работавшая на краю луга, выпрямилась, когда они проходили, и застенчиво им поклонилась. У нее было лицо мадонны — очень спокойное, серьезное, доброе, с тонкими, изогнутыми бровями; глядеть на такое лицо — просто наслаждение. Юноша оглянулся на нее. Здесь все для него, никогда не выезжавшего за пределы Англии, было странным и восхитительным. Маленькие шале с широкими деревянными галереями, выкрашенными темно-коричневой краской, под далеко выступающими краями кровель. Яркие платья крестьянских женщин; и приветливые низкорослые коровы, все желтоватые, как густые сливки, но с серыми короткими мордами. Даже воздух здесь был другой, в нем играло бодрящее, животворное тепло, оно словно бы покрывало легкой коркой недвижный массив мороза; и этот особый аромат предгорий — запах сосновой смолы, запах лиственничных дров и сладкий запах луговых цветов и трав. Но непривычнее всего было его собственное ощущение — гордость, сознание своей значительности, какой-то странный восторг оттого, что он с нею наедине, оттого, что он избран в спутники ею, которая так прекрасна.

Они обогнали всех других пешеходов, шагавших той же дорогой, — это чаще всего были толстяки немцы, у которых за спиной болтались стянутые ремнями куртки, а в руках были тяжелые альпенштоки и зеленые сумки; они двигались ровным, упорным шагом, пыхтя вслед Анне и ее юному спутнику: «Aber eilen ist nichts!»<sup>1</sup>

Но этим двоим все казалось недостаточно быстро, сердца их летели еще быстрее. Это было не настоящее восхождение, а только тренировочная прогулка на вершину Нуволау; к полудню они были уже наверху и скоро пустились в обратный путь, терзаемые муками голода. Добравшись до Приюта Пяти Башен, они поспешили в его маленькую столовую и там застали компанию

---

<sup>1</sup> Спешить не годится! (нем.)

англичан, которые ели омлеты и, наградив Анну едва узнающими взглядами, продолжали разговаривать какими-то вымученными голосами, лениво нажимая на отдельные звуки и глотая другие с аристократической небрежностью. Почти у всех болтались через плечо бинокли, а на столах и на стульях лежали их фотоаппараты. Чертами лица они не особенно походили друг на друга, но губы у всех у них кривились в одинаковой кислой улыбке, и брови они все поднимали на один манер, так что все казались вариациями единого типа. И зубы почти у всех у них немного выдавались вперед, точно поджатые углы губ выталкивали зубы наружу. Ели они с таким видом, будто вообще-то они не склонны полагаться на чувства низшего порядка и предпочли бы вовсе не ощущать ни вкусов, ни запахов. «Из нашей гостиницы», — шепнула Анна; и, заказав шницели и красного вина, они уселись за стол. Дама, явно возглавлявшая эту компанию англичан, осведомилась, как поживает мистер Стормер — он не болен, она надеется? Нет? Просто ленится? Как странно. Ведь он, насколько ей известно, большой любитель лазать по горам. Юноше почудилось, что эта дама их почему-то осуждает. Разговор в их компании шел между нею и господином, у которого был мятый воротничок и намотанный вокруг шляпы шарф со спущенными концами, а также еще одним господином, коренастым, седобородым, в черной просторной куртке с поясом. Стоило вмешаться кому-нибудь из молодежи, и его замечание встречалось круто вздернутыми бровями, опущенными веками, словно хотели сказать: «Ну что ж, пожалуй, для такого возраста недурно».

— Всего больше мне наблюдать способность человеческой натуры кристаллизоваться, — так заявила дама-командирша, и юнцы задвигали головами вверх и вниз, выражая согласие.

«Как они похожи на цесарок, — подумал Марк, — головки маленькие, плечики покатые, одежда серенькая, в крапинку».

— Ах, сударыня (это вступил господин с помятым воротничком), вы, романисты, все время нападаете на драгоценное умение следовать традициям. А беда нашего времени — это нынешний дух сомнения. Никогда еще не была так велика у нас тяга к бунту, особенно среди мо-



лодежи. Когда индивид начинает рассуждать — это уже тяжелый симптом национального вырождения. Но данная тема едва ли подходит...

— Поверьте, что эта тема, безусловно, представляет животрепещущий интерес для нашей молодежи.— И снова юнцы подняли головы и повели ими легонько из стороны в сторону.

— О нет, боюсь, что мы позволяем занимательности васлонять от нас вопрос о целесообразности обсуждения некоторых предметов. Мы даем свободу подобным философствованиям, и они оплетают и опутывают нашу веру и парализуют ее.

Тут вдруг один из юнцов воскликнул: «Madre!..»<sup>1</sup> — и умолк.

— Да простится мне такая вольность,— снова откликнулась дама,— но я скажу, что рассуждения опасны только тогда, когда ими занимаются грубые умы. Если культура нам ничего не дает, тогда откажемся от культуры; но если культура, как полагаю я, насущно необходима человечеству, тогда нам остается только принять и те опасности, которые она с собою несет.

И снова ее молодые собеседники задвигали головами, и младший из двух слушавших ее юнцов произнес: «Madre...»

— Опасности? Разве культурным людям грозят опасности?

Кто это спросил? Все брови высоко поднялись, углы губ у всех опустились, и стало тихо. Марк Леннан с изумлением смотрел на свою спутницу. Каким странным тоном задала она этот вопрос! И в глазах ее точно горело пламя. Наконец маленький господин с седой бородкой ответил ей своим тихим голосом, прозвучавшим на этот раз холодно и ядовито:

— Все мы, сударыня, живые люди.

Анна рассмеялась, и у Марка громко застучало сердце: смех ее звучал так, словно она хотела сказать: это вы-то живые люди? И, встав, он вышел вслед за ней из столовой. А там уже снова завязалась беседа — о погоде.

Они отошли уже довольно далеко от Приюта, когда Анна заговорила:

— Вам не понравилось, что я рассмеялась, да?

---

<sup>1</sup> Мать! (исп.)

— По-моему, вы их обидели.

— А я и хотела. Терпеть не могу ваших английских надутых бюстителей нравов! Право же, не сердитесь на меня. Ведь они и в самом деле надутые ханжи — все до единого, верно?

И она такими глазами заглянула ему в лицо, что кровь прихлынула к его щекам и голова закружилась, — его точно магнитом тянуло к ней.

— У них в жилах водица, а не кровь! Какими головами они разговаривают, какими презрительными взглядами окидывают тебя с головы до ног! О, я их знаю! И эта женщина с ее либерализмом, она не лучше, чем остальные. Ненавижу я их всех!

Ряди нее он тоже готов был их возненавидеть; но они казались ему всего лишь забавными.

— Разве они живые люди? Они не умеют чувствовать! Вы еще их когда-нибудь узнаете. Тогда они не покажутся вам забавными.

И она продолжала негромким, задумчивым голосом:

— И зачем только они приезжают сюда? Здесь все такое молодое, теплое, живое. Лелеяли бы свою культуру там, где не знают, что значит страдать, испытывать голод, где ни у кого не бьется сердце. Вот послушайте!

Охваченный беспредельным смятением, он сам не сумел бы сказать, где так стучит кровь: в ее сердце или у него в ладони. Рад ли он был, когда она отпустила его руку?

— Пусть! Сегодняшний день им все равно не испортить. Давайте отдохнем.

На опушке лиственничной рощи, где они присели отдохнуть, росли розовые горные гвоздики с бахромчатыми лепестками и чудесным ароматом. Анна вскоре встала и принялась рвать их. А он остался сидеть на месте, и какие-то странные чувства теснили ему грудь. Синева небес, перистая хвоя лиственниц, очертания гор — все было для него сейчас не таким, как утром.

Она возвратилась с большим букетом розовых гвоздик и разжала пальцы прямо над ним, засыпав его цветами. Они падали ему на лицо, на шею. Никогда еще не вдыхал он такого запаха, не испытывал такого странного чувства. Они цеплялись за его волосы, сыпа-

лись на лоб, слепили глаза, один цветок повис у него на губах; а он глядел на нее сквозь бахрому их розовых лепестков. И, верно, было что-то в его взгляде, какое-то отражение теснившего ему грудь чувства, ибо улыбка сбежала с ее лица; она отошла и стала спиной к нему. Смущенный, растерянный, он подбирал с земли рассыпанные цветы, и только собрав все до единого, поднялся и робко отнес их к ней туда, где она стояла, задумчиво глядя в полумрак рощи.

## V

Что знал он о женщинах, чтобы понять? В школьные годы он не был знаком ни с одной; в Оксфорде — только с этой. Дома, куда он приезжал на каникулы, тоже не было женщин, если не считать его сестры Сесили. Две страсти их опекуна — рыбная ловля и местные древности — не располагали к светской жизни; так что покой старинного девонширского дома, с его панелями из мореного дуба и обнесенным каменной оградой запущенным парком над рекою, годами не смущало присутствие представительниц слабого пола, помимо Сесили и ее гувернантки мисс Тринг. И, кроме того, Марк был застенчив. Нет, в его прошлом, не насчитывающем еще и девятнадцати лет, не было ничего, что помогло бы ему сейчас. Он не принадлежал к тем молодым людям, которые только и думают, что о легких победах. Ему такие мысли казались грубыми, низкими, отвратительными. Немало понадобилось бы ясных признаков, прежде чем он догадался бы, что женщина в него влюблена, в особенности женщина, которую он высоко чтит и которую считает такой прекрасной. Ибо перед красотой он преклонялся, самого же себя видел грубым, нескладным. То была священная сторона жизни, и приближаться к ней надлежало с трепетом. Чем больше возрастало его восхищение, тем трепетнее и смиреннее делался он сам. И потому после той смятенной минуты, когда она засыпала его благоухающими цветами, он испытывал неловкость; и, шагая рядом с нею, был еще молчаливее, чем всегда, и смущен до глубины души.

Если в его сердце, которое было невинно, царило сму-

шение, то что же должно было происходить в ее сердце, издавна лелеявшем тайную мечту о пробуждении в нем этого смятенного чувства? Она тоже молчала.

Когда они проходили мимо открытых дверей церкви на окраине деревни, она сказала:

— Я зайду туда, вы не ждите меня.

Внутри было пусто, полутемно. Там не видно было никого, только одна крестьянка, закутавшаяся в черную шаль, стояла на коленях неподвижная, точно изваяние. Ему очень хотелось остаться. Как прекрасна эта коленопреклоненная фигура, как играет улыбка солнечного света, просочившегося в полумрак! Он помедлил у входа и видел, как Анна тоже опустилась на колени в безмолвии храма. Значит, она молилась? И снова у него перехватило дыхание, как тогда, когда она рвала гвоздики. Как она сейчас прекрасна! Ему стало стыдно, что он испытывает такие чувства в то время, как она молится, и он решительно зашагал прочь. Но острое, сладкое стеснение в груди не покидало его. Он закрыл глаза, чтобы избавиться от ее образа, но от этого ее образ стал только еще ярче, а чувства его еще сильнее. Он поднялся к гостинице, там на террасе стоял его профессор. И странно, вид его смутил юношу не больше, чем если бы то был какой-нибудь портье. Стормера все это словно не касалось; он и сам, кажется, рад был остаться в стороне. И потом, он ведь так стар,— ему чуть не пятьдесят лет!

Этот столь старый человек стоял в своей излюбленной позе — руки в карманах просторной куртки, одно плечо чуть вздернуто, голова откинута немного набок; того и гляди, задаст какой-нибудь каверзный вопрос. Улыбнувшись подошедшему Леннану — но только не глазами,— Стормер сказал:

— Ну, молодой человек, куда же вы девали мою жену?

— Оставил ее в церкви, сэр.

— Вот как! Это на нее похоже. Она, верно, совсем затнала вас? Ах, нет? Тогда пройдемся немного и побеседуем.

Он прохаживался и разговаривал с ее мужем, словно так и надо, даже угрызений совести у него не возникало — будто все это не имело никакого отношения к

его чувствам, которые были ему так внове. Мелькнуло только недоумение: как она могла выйти за такого — и тут же ушло. Мысль эта была далекой и академичной, вроде того недоумения, которое у него в раннем детстве вызывало пристрастие его сестренки к игре в куклы. Если он ощущал сейчас еще что-то, то лишь настойчивое желание уйти и спуститься к церкви. Ему было холодно и одиноко после целого дня, проведенного с нею, словно он оставил себя там, наверху, где они сегодня столько ходили вместе и сидели рядом на солнечном склоне. О чем это толкует старик Стормер? Ах, о различиях между греческим и римским понятием чести! Всегда в прошлом — ему, верно, настоящее представляется дурным тоном. Он сказал:

— А мы встретили там, на горе, компанию «надутых англичан».

— Ах, вот как! Какого же именно толка?

— Там были, сэр, и прогрессивно мыслящие и отста-  
лые; но, по-моему, сэр, это все едино.

— Понимаю. Так вы говорите: «надутые англичане»?

— Да, сэр, они из нашей гостиницы. Это миссис Стормер их так назвала. Они просто упивались своей важностью.

— Несомненно.

Что-то странное прозвучало в голосе, каким было сказано это обычное слово. Юноша удивленно поглядел на своего собеседника — ему впервые подумалось, что и тот, кто стоит перед ним, — живой человек. Но тут же краска залила его щеки: сюда идет она! Подойдет ли она к ним? Как она хороша, загорелая, шагающая своей легкой походкой, будто только что вышла в путь! Но она скрылась в дверях гостиницы, даже не взглянув в их сторону. Неужели он обидел ее, оскорбил? И, сославшись на какое-то вымышленное дело, он попрощался со Стормером и ушел к себе в комнату.

Он остановился у окна, из которого утром любовался горами, что лежали, подобные львам, в туманном рассвете, и смотрел теперь, как солнце уходит за высокий горизонт. Что это приключилось с ним? Все стало другим, все стало совсем не таким, как с утра. Мир словно переродился. И снова грудь его стеснило неведомое чувство, словно на лицо, на плечи, на руки ему опять по-

сыпались цветы, щекоча бахромчатыми краями лепестков и разрывая сердце сладким ароматом. И снова он словно слышал, как она говорит: «Вот послушайте!», — и чувствовал под пальцами удары ее сердца.

## VI

Оставшись наедине с коленопреклоненной женщиной в черной шали, Анна не молилась. Стоя на коленях, она горько роптала в душе своей. Зачем судьба послала ей это чувство, зачем вдруг озарилась ее жизнь, если бог запрещает ей быть счастливой? Несколько горных геоэдик попали ей за пояс, и аромат их перебивал запахи ладана и старины. Нет, когда есть цветы, с их колдовством, с их воспоминаниями, молитва не придет. Да и хочет ли она молиться? Стремится ли она к тому состоянию отрешенности, в каком пребывает сейчас эта закутанная черной шалью женщина, которая за все время не двинула ни мизинцем, обрета столь полное отдохновение для своей смиренной души, что жизнь словно бы вовсе покинула ее, оставив наслаждаться небытием? Какова же эта жизнь, когда существование твое настолько тягостно и настолько изо дня в день и час за часом ничем не скрашено, что просто так постоять на коленях в тоскливом онемении чувств — и то уже счастье, единственное, доступное тебе? Это красиво, конечно, но грустно. И Анну охватило желание встать и подойти к этой женщине, чтобы сказать ей: «Открой мне свои печали, мы ведь с тобою обе женщины». Быть может, она похоронила сына или потеряла любовь, а может, не любовь, а так, мечту. Любовь... Отчего всякий дух тоскует по ней, отчего всякое тело, исполненное силы и радости жизни, чахнет и вянет, лишенное любви? И неужели в этом огромном мире не довольно любви, чтобы и ей, Анне, взять свою толику? Она не причинит ему вреда, ведь она заметит, когда перестанет быть нужна ему, и тогда у нее, уж конечно, достанет гордости и такта не удерживать его подле себя. Потому что она, естественно, вскоре надоест ему. Разве может она, в ее возрасте, надеяться, что удержит его дольше, чем на несколько лет — или даже месяцев? Да и достанется ли он ей

вообще? Юность так непреклонна, так жестока! Но тут ей вспомнились его глаза — глядящие на нее снизу, смятенные, страстные, — когда она осыпала его цветами. Воспоминание наполнило ей душу восторгом. Один ее взгляд тогда, одно прикосновение — и он бы сжал ее в объятиях. Она знала это и все же боялась поверить, это значило для нее так много. В тот миг мысль о муках, которые ждут ее, как бы все ни обернулось, показалась ей слишком жестокой и несправедливой. Она поднялась с колен. На пол от дверей все еще падал один косой солнечный луч; он дрожал на плитах примерно в ярде от молящейся крестьянки. Анна следила за ним. Успеет ли он коснуться коленопреклоненной женщины или же солнце раньше канет за горы, и луч погаснет? А та застыла, укутанная черной шалью, ничего не ведая, не подозревая. Луч все придвигался. «Если луч коснется ее, значит, он меня полюбит, хоть на час, да полюбит; а если погаснет...» Луч приближался. Эта меркнущая дорожка света, эти танцующие в ней пылинки — неужели и вправду вот оно, решение судьбы, знамение любви или тьмы? Луч гаснущего солнца медленно приблизился, поднялся над склоненной черной головой, затрепетал в золотой дымке — и исчез.

Едва держась на ногах, ничего не видя, Анна вышла из церкви. Почему она прошла мимо мужа и юноши, даже не взглянув в их сторону, она и сама не могла бы сказать. Разве потому, что жертвы не приветствуют своих мучителей. Очутившись у себя в комнате, она почувствовала смертельную усталость, легла на кровать и уснула крепким сном.

Разбудил ее какой-то звук, и, узнав в нем легкий стук мужа, она не отозвалась, — ей было все равно, войдет он или нет. Он бесшумно вошел. Если она притворится спящей, он ее будить не станет. Она лежала неподвижно и следила за тем, как он подвинул стул, сел на него верхом, обхватив спинку и уперев в руки подбородок, и пристально смотрел на нее. Из-под опущенных век Анна направила взгляд так, чтобы ей отчетливо видно было только одно его лицо, — вырванное из окружающего, оно обозначилось от этого еще четче и яснее. Ей вовсе не стыдно было такого взаимного разглядывания и того преимущества, которое у нее при этом

оказалось. Он еще ни разу не дал ей увидеть, что у него на душе, ни разу не открыл ей, что таится за этими ясными насмешливыми глазами. Может быть, теперь она наконец увидит? И она рассматривала его с тем увлеченным интересом, с каким глядят в лупу на крохотный полевой цветок, который, вдруг утратив свою незначительность, возрастает до размеров и важности роскошного питомца оранжерей. Одна мысль не покидала ее: вот на меня смотрит его подлинное «я», потому что ему ведь незачем ограждать от меня сейчас. Поначалу взгляд его маскировала всегдашняя непроницаемость, лицо сохраняло привычное любезное выражение, но незаметно в нем наступила перемена. Она едва узнавала его: вся его любезность, вся непроницаемость исчезли, растаяли, как тает иней, обнажая траву. И душа ее сжалась, ибо она словно и вправду стала тем, что видел перед собой он,— чем-то совершенно незначительным, просто пустым местом. Да, да, у него было выражение человека, глядящего на то, чего нельзя понять, а потому и недостойное понимания, на существо, лишенное души, на создание, принадлежащее к иному, низшему виду, чем мужчина, и не представляющее никакого интереса. В лице его читался некий окончательный вывод, такой определенный и бесповоротный, что не оставалось сомнения: это его сущность, неотъемлемая, неизменная часть его «я». Вот что такое он! Женоненавистник. Ее первой мыслью было: и этот человек женат— что за судьба! А вторая: если таково его воззрение, то, может быть, и тысячи других мужчин это воззрение разделяют. Неужели и вправду я и все мы, женщины, такие, какими считают нас они? Уверенность в его взоре— его полная, абсолютная убежденность— угнетала ее, и она на мгновение поддалась ей, раздавленная и уничтоженная. Но тут же дух ее восстал с такой яростью и кровь с такой силой устремилась по жилам, что она с трудом сохраняла неподвижность. Как смеет он считать ее такой— ничтожеством, бездушным клубком капризов, настроений и чувственности! Нет, тысячу раз нет! Это он— бездушное существо, сухарь, без жизни, без святости. Он, в своем отвратительном высокомерии отрицающий ее и с нею всех женщин! Он смотрел так, словно видел перед собою лишь куклу, раз-



ряженную в разноцветные тряпки, помеченные ничего не значащими надписями: душа, ум, права, обязанности, достоинство, свобода. Это мерзко, ужасно, что он видит в ней такую куклу! И в душе ее завязалась поистине титаническая борьба между желанием вскочить и бросить ему все это в лицо и сознанием, что было бы пошло, унижительно и глупо препираться с ним о том, в чем он никогда не признается, чего он никогда и не думал ей открывать. Потом на помощь ей пришла насмешливая, злая мысль: что за смешная вещь брак! Подумать только, она прожила с ним бок о бок все эти годы, даже и не догадываясь, что кроется в глубине его души! Подойди она, наверно, к нему сейчас и признайся, что любит этого мальчика,— он только подожмет губы и скажет насмешливым тоном: «Вот как? Очень интересно»,— потому что он увидит в этом лишь подтверждение своим взглядам на нее как на незначительное, бессмысленное существо низшего порядка, не представляющее для него особого интереса.

Как раз когда она почувствовала, что больше сдерживаться не может, он вдруг встал со стула, на цыпочках подошел к двери, бесшумно отворил ее и вышел.

Она соскочила с постели, как только за ним закрылась дверь. Так, значит, она связана на всю жизнь с человеком, для которого она, да и вообще женщины как бы и вовсе не существуют! Ей казалось, что это — открытие великой важности, ключ ко всем загадкам, ко всей безысходности ее замужней жизни. Если действительно он в глубине души тайно ее презирает, единственное чувство, которое причитается от нее этому узколобому слепцу и сухарю,— это такое же презрение. Она, правда, отлично сознавала, что презрение не повлияет на то, о чем она прочитала по его лицу,— слишком надежно он огражден рассудочным, унылым сознанием собственного превосходства. Он навсегда укрылся за этими прочными стенами, и штурмовать их бесполезно. Впрочем, не все ли равно сейчас?

Обычно такая скорая, почти небрежная, она в тот вечер провела довольно много времени за туалетом. Шея у нее сильно загорела, и она никак не могла решить, запудрить ли ее или смириться с этой цыганской смуглостью. В конце концов решила обойтись без пудры, так

как видела, что загар выигрышно оттеняет ее глаза в черных ресницах, такие прозрачно-зеленые, точно горные ледники, и темные волосы с их неожиданными проблесками пламени.

Когда позвонили к обеду, она вышла из комнаты, прошла мимо двери мужа, не постучав, как было у них заведено, и одна спустилась вниз.

В зале она застала кое-кого из компании англичан, повстречавшихся им днем в горном Приюте. Они не поклонились ей, вспыхнув вдруг повышенным интересом к барометру; но она чувствовала на себе их внимательные взгляды. В ожидании обеда она села и сразу же увидела юного Леннана, который через весь зал шел к ней, словно во сне. Он не произнес ни слова. Но какими глазами он на нее смотрел! Сердце ее учащенно забилося. Может быть, вот оно, мгновение, о котором она мечтала? И если это оно, то хватит ли у нее смелости не пропустить его? Тут она заметила мужа, спускавшегося по лестнице, увидела, как он раскланивается с компанией англичан, услышала их надменные голоса. И, поглядев на юношу, быстро спросила: «Какая была хорошая прогулка, правда?» Как восхитительно видеть у него на лице это выражение, словно он забыл обо всем на свете, кроме нее! В его взгляде светилось в этот миг какое-то благоговение, смиренный восторг перед чудесами Природы. Ужасно думать, что через минуту это выражение исчезнет, чтобы никогда уже, быть может, не вернуться на его лицо,— выражение, которое так много для нее значит! Вот ее муж, он подходит к ним! Пусть видит, если желает. Пусть видит, что перед ней преклоняются, что не для всех она низшее существо. И он, вероятно, видел лицо юноши, но в манере его ничто не изменилось. Нет, он, верно, ничего не заметил. Или просто не снизошел до того, чтобы заметить?

## VII

И для юного Леннана наступили удивительные времена, когда он сам от минуты до минуты не мог сказать, счастлив ли он или несчастен. Он постоянно стремился быть с нею, терзался, когда это ему не удавалось, стра-

дал, если она скажет слово или улыбнется кому-то другому; но и в ее обществе терзания не прекращались; его мучила и угнетала собственная робость.

Однажды дождливым утром, когда она играла внизу на рояле, а он сидел подле и слушал, воображая, что ему предоставлено безраздельно наслаждаться ее обществом, в зал вдруг вошел молодой немец-скрипач, с бледным лицом, в коричневом, в талию, сюртуке, с волосами до плеч и небольшими бачками — словом, на редкость неприятный субъект. Леннан и оглянуться не успел, как уж этот неприятный субъект попросил ее ему аккомпанировать, — как будто кому-нибудь интересно слушать, как он пикирует на своей скрипке! Каждое ее слово, каждая улыбка, которые доставались немцу, причиняли юноше боль, он убеждался, что с этим иностранцем ей гораздо интереснее, чем с ним. На душе у него становилось все тяжелее, он думал: «Я должен бы только радоваться, раз ей с ним хорошо, а я не могу радоваться! Разве я виноват?» Непереносимо было видеть, как она улыбается, а этот негодяй нагнулся к самому ее лицу. Вдобавок ко всему они еще говорили друг с другом по-немецки, так что он не знал даже, о чем у них разговор, и от этого муки его возрастали. Он и не подозревал, что человек может так страдать!

Потом ему захотелось, чтобы ей тоже стало больно. Впрочем, это ведь низкое чувство, да и как бы он мог причинить ей боль? Он же ей безразличен. Он для нее — ничто, мальчишка. Если правда, что она считает его всего лишь мальчишкой, его, который чувствует себя таким старым, то это просто ужасно. Может быть, мелькнуло у него в уме, она кокетничает с этим недоучкой-скрипачом, чтобы подразнить его? Нет, на такое она не способна. Но скотина-немец возомнит бог знает что из-за ее улыбок. Вот бы он позволил себе какую-нибудь непочтительность! Пригласить бы его тогда на прогулку в лес, а там сказать ему несколько слов и потом задать хорошую трепку. А ей бы он ничего не стал говорить, не стал бы выставлять себя в выгодном свете. Просто держался бы в отдалении, пока она сама не поймет. Но тут он вдруг с такой ясностью, с такой остротой, с такой мукой представил себе, что бы он испытал, если бы она и в самом деле вместо него избрала себе в друзья этого

немца, что встал порывисто и направился к двери. Неужели она ни слова не захочет ему сказать, не попробует остановить его, вернуть? Если нет, то все кончено: значит, кто угодно для нее важнее, чем он. Несколько шагов до двери были ему, как дорога на эшафот. Неужели не окликнет? Он обернулся. Она улыбалась. Но он в ответ улыбнуться не мог, слишком уж сильную боль она ему причинила! Отвернувшись, он вышел и ринулся без шапки под дождь. Холод струй на лице принес ему чувство мрачного удовлетворения. Вот сейчас он промокнет до костей. Простудится и, может быть, даже заболит. На чужбине, вдали от родных,— конечно, она должна будет за ним ухаживать. И, может быть, больной, он снова станет ей интереснее, чем этот тип со скрипкой, и тогда... ах, если б ему только заболеть!

Раздвигая мокрые ветки, он быстро взобрался по склону невысокой горы позади гостиницы. На вершину ее вела узкая тропка, и скоро он уже торопливо шагал по ней. Чувство обиды утихало, заболеть уже не хотелось. Дождь перестал, засветило солнце; а он шел все вверх и вверх. Он подымется на вершину быстрее, чем это кому-нибудь удавалось. Тут-то уж подлому скрипачу с ним не потягаться! Сосны сменились карликовыми лиственницами, те, в свою очередь, уступили место низкорослым сосенкам и голым каменистым осыпям, по которым он карабкался, хватаясь за кусты, задыхаясь, слыша лишь стук своего сердца и почти ослепнув от пота. Его интересовало сейчас только одно: успеет ли он долезть до вершины или прежде свалится, обессиленный. Казалось, он вот-вот упадет мертвый, так сильно билось его сердце; но лучше уж умереть, чем отступить перед какими-нибудь несколькими ярдами! И вот наконец маленькая площадка на вершине. Минут десять пролежал он на ней ничком, потом перевернулся на спину. Сердце перестало бешено колотиться, он с наслаждением перевел дух, раскинул руки на дымящейся после дождя траве,— он был счастлив. Как чудесно тут наверху, в горячих лучах солнца, сияющего с безоблачного уже неба! И каким маленьким кажется отсюда все внизу — гостиница, деревья, домики, улицы,— точно игрушечные! Никогда в жизни не испытывал он раньше этой чистой радости быть высоко вверху. В клочья разорванные тучи

тянулись, гонимые ветром, вдоль горных хребтов на юге, точно бегущие полчища титанов в запряженных белыми конями колесницах. Ему вдруг подумалось: «Что из того, если бы я и вправду умер, когда так страшно билось у меня сердце? На свете ничего бы не изменилось: все так же светило бы солнце, так же сияла бы лазурь в небесах и те же игрушечные домики стояли бы там в долине». Муки ревности, которые терзали его час назад, да они ничто! Он сам ничто! Не все ли равно, если даже она и была ласкова с тем немцем в коричневом сюртуке? Разве это имеет значение, когда мир так велик, а он лишь крохотная его частица?

На краю площадки, в самой возвышенной точке, стоял сколоченный кем-то грубый крест, резко обозначившийся на фоне синего неба. Он был здесь совсем не к месту, корявый, перекошенный, неумолимый — воплощенная безвкусица, точно люди, втащившие его сюда, знали власть лишь одной думы и им безразлично было, подходит сюда крест или нет. С равным же успехом можно было бы установить в той уютной церквушке, где тогда молилась она, один из этих вот утесов.

Очнулся он от звона колокольцев, шороха и сопения: возле него стоял большой серый козел и обнюхивал его волосы; скоро вслед за вожакom вокруг столпилось все стадо, с важным любопытством уставив на него продолговатые зрачки странных желтых глаз, потряхивая хвостами и забавными бородками. Какие славные создания — и доброжелательные. Вот хорошо бы вылепить их! Он лежал недвижимо (переняв от своего опекуна, страстного рыболова, это необходимое для знакомства со всякой живой тварью искусство) даже тогда, когда вожак надумал отведать, каков его затылок на вкус. Приятно было почувствовать, как прошелся по коже длинный шершавый язык, от этого в душе пробудилось какое-то странное братское чувство. Он с трудом удержался, чтобы не погладить козлиный нос. Ну вот, а теперь каждой понадобилось лизнуть его затылок; но иные из коз оказались чересчур робкими, и прикосновение их языка не царапало, а только щекотало, и он рассмеялся. При этих загадочных звуках козы отпрянули и снова уставились на него из отдаления. Он думал сначала, что за ними никто не смотрит, но потом в стороне

заметил пастуха — молодой парень, примерно его ровесник, неподвижно, точно изваяние, сидел в тени под скалой. Как тоскливо ему, должно быть, проводить здесь целые дни! Он, наверно, разговаривает с козами. Вид у него такой, что вполне на это похоже. Посидишь тут наверху, так странные мысли заведутся, узнаешь близко все эти скалы, и облака, и зверей, и птиц, будешь понимать, что они думают, чего хотят. Пастух издал какой-то особенный свист, и с козами что-то случилось — что именно, Леннан затруднился бы сказать, — словно бы они ответили ему: «Мы здесь!» Потом пастух вышел из-под скалы, подошел к краю площадки, и две козочки, щипавшие там траву, стали тереться об его ноги и тыкаться носами ему в ладони. Красиво они выглядели втроем на фоне неба...

Вечером, после обеда, в столовой расчистили место для танцев, чтобы постояльцы чувствовали себя свободно и празднично. И действительно, вскоре на воощенном полу уже двигалась одна пара с обычным для гостиниц извиняющимся видом. За ними вдруг на простор выскочили три итальянские пары — и закружились, завертелись, смотря в глаза друг другу; соблазненные примером, пошли танцевать американцы, легкими шагами, то пятясь, то наступая. Следующими оказались двое из компании «надутых англичан», старательно изображавшие на лицах веселье. Леннану казалось, что все они танцуют превосходно, куда лучше, чем сумел бы он. Осмелится ли он пригласить ее? И тут он увидел, как вскочил молодой скрипач, и она тоже подымается, опирается на его руку и исчезает в столовой среди танцующих. С унылым чувством в душе он прижался лбом к окну, глядя в ночь, освещенную лунным сиянием, и ничего, конечно, не видя. Потом услышал свое имя — рядом стоял его профессор.

— Нам с вами, Леннан, остается только утешать друг друга. Танцы — это не для нас, стариков, верно?

По счастью, характер и воспитание не позволяли юноше обнаруживать свои чувства; как ни страдаешь, учтивость — прежде всего.

— Да, сэр. Посмотрите, какая изумительная луна на дворе!

— О, да, луна превосходная. В вашем возрасте я не

хуже прочих «кружился, чуть земли касаясь стопами легкими, как сон»<sup>1</sup>. Но постепенно убеждаешься, что для танца нужна пара — вот в чем трудность. Скажите, считаете ли вы женщин полноценными людьми, способными отвечать за свои поступки? Мне хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу.

Конечно, сказано это было насмешливо, но что-то прозвучало в его словах, что-то неуловимое...

— Я думаю, сэр, это вы должны поделиться со мною своим мнением.

— Дорогой Леннан, мой опыт здесь ничтожен.

Это уже оскорбление ей. Он не станет отвечать! Хоть бы Стормер ушел наконец! Музыка смолкла. Они сейчас сидят там где-нибудь, разговаривают...

Он сделал усилие и сказал:

— Я сегодня лазил на гору позади гостиницы. Знаете, на которой крест стоит. Там были славные козы.

И увидел, что к ним идет она, одна, разругавшаяся, улыбающаяся; и платье на ней, вдруг поразило его, точно такого же цвета, как лунный свет за окном.

— Харолд, пойдем танцевать?

Сейчас он ответит «Да», и она опять исчезнет! Но Стормер только отвесил жене небольшой поклон и сказал со своей всегдашней улыбкой:

— Мы с Леннаном уговорились, что танцы не для нас, стариков.

— Иногда старики должны жертвовать собой. Марк, пойдете танцевать?

Позади себя он услышал голос профессора: «Ах, Леннан, Леннан! Вы меня предали».

Эти несколько мгновений, пока они молча шли в зал, были, кажется, счастливейшими в его жизни. И напрасно он так волновался, что плохо танцует. Конечно, он далек от совершенства, но все-таки не испортит ее танец — а она кружится упоенно, такая легкая, уверенная, ликующая! Танцевать с нею — наслаждение. Только когда смолкла музыка и они сели, он почувствовал, как

---

<sup>1</sup> Стормер перефразирует известные строки из поэмы Дж. Милтона «L'allegro».

кружится у него голова. Ему вдруг стало так странно, так не по себе. Он услышал ее голос:

— Что с вами, мой друг? Вы так побледнели!

Сам не понимая, что делает, он склонился к ее руке, лежавшей у него на локте, и больше ничего уже не чувствовал, потому что был в обмороке.

## VIII

Мальчик растет и переутомился с утра — только и всего. Он очень скоро пришел в себя и один, без помощи, добрался до постели. Но как это ужасно! Никто еще так не стыдился своей слабости, как он. Теперь, когда он и в самом деле оказался немного нездоров, даже мысль, что за ним станут ухаживать, была ему нестерпима. Он почти грубо ушел от нее. И только в постели вспомнил вдруг, как она на него тогда посмотрела. Взгляд у нее был печальный, страдальческий, словно моливший о прощении. Как будто она в чем-то была перед ним виновата! Как будто она не подарила ему величайшее блаженство, танцуя с ним! Он жаждал сказать ей: «Если бы я мог каждый день хоть на одну минуту быть вот так рядом с вами, тогда до остального мне дела нет!» Может быть, завтра он наберется храбрости и скажет ей это. Он лежал, и ему все еще было немного не по себе. Он забыл повернуть планки жалюзи, и лунный свет просачивался в окна; но было лень среди дремы вставать и закрывать их. Ему дали там выпить коньяку, и немало, поэтому, может быть, он чувствует себя сейчас так странно: не то чтобы плохо, а как-то ословело, словно навеки утратил желание шевелиться. Лежать бы так всегда, любоваться дымчатым лунным светом и слушать доносящееся снизу далекое биение музыки, не переставая чувствовать под своей рукой ее гибкий стан, покачивающийся в танце, и все время обонять чудесный запах цветов! Его мысли были сонными грезами, грезы — мыслями, и все вместе — божественной нереальностью. И вдруг ему почудилось, будто лунный свет весь собрался в один бледный луч, — что-то зашуршало, заколыхалось и лунный луч двинулся прямо к нему! Он приблизился настолько, что Леннан ощутил его тепло у себя



на лбу; а луч вздохнул, помедлил, неслышно отпрянул и пропал. Но Леннан, верно, уже забылся глубоким, спокойным сном...

В котором часу разбудил его легкий стук в дверь и он, открыв глаза, увидел на пороге своего профессора с чашкой чая в руках?

Ну, как здоровье юного Леннана? О, он превосходно себя чувствует и через две минуты спустится вниз! Мистер Стормер ужасно любезен, что зашел. Но ему, право же, ничего не нужно.

Ничего, ничего, ведь об увечных и немощных надо заботиться. Лицо у него в это мгновение было доброе — он почти не смеялся, только самую чуточку. И с его стороны это в самом деле было очень любезно — прийти и стоять, пока он, Леннан, выпьет чай. Но, право же, он совершенно здоров, ну, разве голова чуть побаливает.

Одеваясь, Леннан то и дело замирал, погружаясь в воспоминания. Этот белый лунный луч — только ли лунный свет это был? Или это его сон? Или — возможно ли? — это была она в своем лунном платье? Почему, почему он заснул? Теперь он ни за что не отважится спросить у нее и никогда не узнает, был ли то поцелуй — эта смутная память о теплом прикосновении к его лбу.

Он завтракал один в том зале, где вчера были танцы. Там для него лежали два письма. Одно было от опекуна, а в нем деньги и жалобы на то, что форель плохо клюет; второе — от сестры. Ее жених — молодой многообещающий дипломат, состоящий при посольстве в Риме, — опасается, что отпуск ему сократят. В таком случае они поженятся немедленно. Придется даже, может быть, взять специальное разрешение. Хорошо еще, что Марк скоро возвращается. Он просто обязательно должен быть у них на свадьбе шафером. А единственной подружкой будет Сильвия. Сильвия Дун? Да ведь она же совсем ребенок! И в памяти его возникла девочка в коротком полотняном платье, с льняными волосами, красивыми голубыми глазами и такой нежной кожей, что казалась совсем прозрачной. Впрочем, ведь это было шесть лет назад; сейчас-то она уже не носит платья до колен и ожерелья из бисера и не боится вечно каких-то воображаемых быков. Глупость это — ну какой из него

шафер? Могли бы найти какого-нибудь более подходящего человека. И вдруг он забыл про все: там, на террасе, была она! Со всех ног он бросился к ней мимо сидевшей возле двери компании «надутых англичан», которые проводили его косыми взглядами. Разумеется — ведь вчера вечером он оскорбил их лучшие чувства. Оксфордский студент падает в обморок в зале гостиницы! Нет, тут что-то не так!..

Очутившись подле нее, он неожиданно обрел храбрость.

— Неужели это был лунный свет?

— О да, один только лунный свет.

— Но он же был теплым!

На это она не ответила, и он испытал такое же светлое, пьянящее чувство, как в школе, когда он вышел победителем в беге.

Но его ждал жестокий удар. Стормер встретил здесь своего прежнего проводника, который спустился с гор с партией немцев-альпинистов. И в профессоре пробудился старый боевой конь. Он собирается сегодня же уйти в горы: добраться к ночи до высокогорного приюта, а завтра перед зарей начать восхождение на вершину. Но Леннана не возьмут. Почему? Из-за вчерашнего обморока; и еще из-за того, конечно, что у него «нет опыта». Какая глупость! Как будто уж... Раз она может, так неужели же он... Ведь он не ребенок! Уж, конечно, он мог бы подняться на эту дурацкую гору. Просто она не хочет, чтобы он с ними шел. Не считает его мужчиной! Неужели она думает, что ему не взобраться туда, куда может взобраться ее муж? А если там опасно, тогда и она не должна идти; оставлять его внизу одного — это просто жестоко! Но она только улыбалась, и он бросился прочь от нее, не видя, не понимая, как она радуется этим его страданиям.

А днем они все-таки ушли, без него. В какие мрачные думы он тогда погрузился! Как ненавидел собственную молодость! Какие мстительные рисовал себе картины: вот она возвращается, а его нет — он ушел на другую гору, куда более опасную и трудную! Если его не берут с собой, он будет совершать восхождения один. Это-то действительно опасно, так все говорят. А все она виновата. Тогда уж она пожалеет. Он встанет пораньше

и отправится еще до зари. Он собрал вещи, наполнил флягу. Луна вечером светила еще изумительнее, чем накануне, горы стояли под луною, точно гигантские призраки. А она где-то там наверху, среди этих призрачных вершин! Долго он не мог заснуть, все заново переживая свои обиды. Впрочем, он и не хотел засыпать—ведь в три часа он уже отправится в путь.

Он проснулся в девять часов. Гнев его прошел, оставались только стыд и досада на себя: если б он вчера не бросился вон, не стал бы попусту спорить, он мог пойти вместе с ними до приюта, переночевать там. Ну и дурак же он, ну и болван! Кое-что еще, пожалуй, можно поправить. Если выйти сейчас, то он еще успеет встретить их в приюте, когда они спустятся с горы, и потом вместе с ними вернуться в гостиницу. Он проглотил чашку кофе и пустился в путь. Сначала он уверенно шел по знакомому пути, потом заблудился в лесу, наконец вышел на тропу и только к двум часам добрался до приюта. Да, они здесь ночевали и рано утром начали восхождение, их видели и слышали, как они перекликались на вершине. Gewiss! Gewiss! <sup>1</sup> Только обратно они пойдут уже не этой дорогой. Нет, нет! Они будут возвращаться по западному склону, через другой перевал. И окажутся дома еще раньше, чем молодой Herr <sup>2</sup>.

Как ни странно, но он выслушал это известие едва ли не с облегчением. Долгая ли дорога тому причиной, или высота, на которой он сейчас находился? Или просто он голоден? Или причиной тому хозяева, такие славные, гостеприимные люди, и их дочка, у которой такое свеженькое личико, на голове смешная черная шапочка с длинными лентами, грудь стянута бархатным корсажем, а повадки так восхитительно просты; или серебристые коровушки, которые тычут ей в ладонь свои широкие черные носы? Отчего здесь улетучилось все его беспокойство и он почувствовал себя таким довольным и счастливым?.. Он ведь не знал, что резвящийся щенок всегда так: что последнее увидит, к тому и рвется. Он долго еще сидел после завтрака, пробовал рисовать низкорослых коровушек, смотрел, как солнечный зайчик дрожит на румяной

---

<sup>1</sup> Конечно! Конечно! (нем.)

<sup>2</sup> Господин (нем.).

девичьей щеке, пытался разговаривать с девушкой по-немецки. И когда наконец он сказал: «Adieu!» — и она пролепетала в ответ: «Küss die Hand. Adieu!»<sup>3</sup> — сердце у него ощутительно сжалось. Непостижимо и чудесно человеческое сердце!.. И все же, подходя к гостинице, он прибавил шагу и под конец даже побежал. Зачем, зачем он так долго там пробыл. Она, должно быть, уже вернулась, думала застать его, а вместо него теперь, наверно, опять проводит время с этим гнусным скрипачом! Он добрался до гостиницы перед самым обедом, так что ему едва достало времени взбежать к себе, переодеться и сойти в столовую. Ах! Ну конечно, они устали и отдыхают у себя. Он с трудом высидел обед; перед десертом вскочил и ринулся вверх по лестнице. Постоял минуту в сомнении: в чью дверь постучаться? Постучался робко к ней — ответа нет. Громко постучал к профессору. Нет ответа. Значит, они еще не вернулись. Не вернулись? То есть как это? Может, они просто спят? Он еще раз постучал в ее дверь; потом в отчаянии повернул ручку и заглянул в комнату. Пусто, чисто, все прибрано! Значит, не вернулись! Он снова спустился по лестнице. Из столовой навстречу ему потянулись люди, и он очутился в самой гуще «надутых англичан», обсуждавших несчастный случай, который произошел с альпинистами где-то в Швейцарии. Он прислушался, и ему стало совсем не по себе. Один из них, низкорослый господин с седенькой бородкой и пришепетывающим говорком, сказал ему: «Сегодня опять в одиночестве? Стормеры не возвращались?» Леннан хотел было ответить, но что-то сжало ему горло, и он смог только покачать головой.

— Но у них, конечно, есть проводник? — спросил тот.

И Леннан теперь сумел выдать из себя:

— Да, сэр.

— Стормер, я полагаю, имеет солидный опыт, — и, повернувшись к даме, которую молодые члены компании называли «Madre», добавил: — Для меня главная прелесть восхождений — это свобода от людей, удаленность.

---

<sup>3</sup> Целую руку. Прощайте! (нем.)

«Madre» юных ханжей отозвалась, устремив на Леннана взгляд полузакрытых глаз:

— На мой вкус, это скорее недостаток. Я люблю общество мне подобных.

На что господин с бородкой возразил приглушенным голосом:

— А! Опасное признание — ведь мы в гостинице!

И они продолжали беседовать между собою, но о чем, Леннан уже не понимал, весь охваченный внезапным острым чувством страха. Правда, перед этими «надутыми англичанами», столь глубоко презиравшими все вульгарные человеческие чувства, он не отважился дать волю своей тревоге; и так они относились к нему пренебрежительно из-за того обморока. Только немного спустя он осознал, что все вокруг него со вкусом рассуждают об одном: что бы это могло произойти со Стормерами? Спуск там ужасный, и траверс весьма опасен. Надутый господин с воротничком, который у него, однако, на сей раз не был помят, заявил, что, по его мнению, женщинам вообще нечего делать в горах. Женщины-альпинистки — это одно из плачевнейших знамений теперешнего времени. Мамаша надутых юнцов тут же ему возразила: фактически это может получаться плохо, но теоретически она не видит причин, почему бы женщинам и не заниматься альпинизмом. Один американец, очутившийся поблизости, поверг их всех в смятение, заметив, что горные восхождения, должно быть, расширяют женский кругозор. Леннан бросился на крыльцо. Луна только что взошла на юге, и прямо под нею высилась та самая гора. И перед его глазами замелькали видения, одно страшнее другого! Вот она лежит мертвая, а вот он сам героически спускается по отвесному склону на узкий уступ и подымает ее на руки, замерзшую, но еще живую. Даже это лучше, чем не знать, где она и что с ней. Из гостиницы выходили люди погулять при луне и с любопытством посматривали на его осунувшееся, застывшее лицо. Его спрашивали, как он думает, не случилось ли с ними что-нибудь, но он отвечал: «Да нет, что вы». Скоро на розыски отправится спасательная партия. Когда же? Он должен, он непременно хочет принять в ней участие. Уж теперь-то его никто не остановит. И внезапно ему пришла мысль: «Это все из-за меня, из-за того, что

я целый день пробыл там наверху и болтал с той девушкой. Из-за того, что я не думал о ней!»

Потом он услышал позади себя шум: по коридору, войдя через боковые двери, шли они — она впереди, с рюкзаком, с альпенштоком, улыбающаяся, довольная. Безотчетно он отпрянул от двери и спрятался за каким-то деревом. Прошли. Ее загорелое лицо с глубоко посаженными глазами было такое ликующее, усталое, счастливое. Отчего-то это показалось ему непереносимо, и когда они прошли, он сбежал украдкой в лес, бросился там ничком в глубокой тени и лежал, давясь сухим комком рыданий, который все подкатывал и подкатывал к горлу.

## IX

Весь следующий день он был счастлив; чуть не до вечера пролежал он у ее ног под сенью той же самой рощи, что и тогда, блаженно глядя в небо сквозь ветви лиственниц. Это было чудесно. И вокруг никого, только одна природа, живая, деятельная, великая!

Вчера, возвращаясь в долину из приюта, он заметил одну вершину, которая очень похожа на фигуру женщины, закутанной в покрывало, — грандиознейшая статуя на земле; а спустишься пониже, и это уже не женщина, а мужчина с бородой, рукой загородивший глаза. Видела она эту вершину? А замечала ли она, что в лунном свете или на восходе солнца все горы становятся похожи на зверей? Больше всего в жизни ему хочется создавать изображения зверей и всяких тварей, которые... в которых заключен... в которых живет... дух Природы; чтобы стоило только поглядеть на них, и испытать то же радостное, приятное чувство, как если смотришь на деревья, на животных, на эти скалы и даже на некоторых людей, — но только не на «надутых англичан».

Так он окончательно решил посвятить себя искусству?

О да, разумеется!

Значит, ему хочется уехать... из Оксфорда?

Нет, нет! Только когда-нибудь все же придется, конечно.

Она сказала:

— Некоторые остаются.

И он поспешил добавить:

— Я ни за что не хочу уезжать из Оксфорда, пока там вы!

И услышал, как она вздохнула:

— Еще захотите... Ну-ка помогите мне встать!

И они вернулись в гостиницу.

Она вошла внутрь, а он остался на террасе, и как только она скрылась за дверью, его вновь охватило гнетущее чувство. Рядом чей-то голос произнес:

— Ну, друг Леннан, что у вас: тоска зеленая или розовые мечты?

Поблизости в одном из тех плетеных кресел с высокой спинкой, которые надежно отгораживают сидящего от внешнего мира, полулежал его профессор, чуть откинув набок голову и составив концами пальцы обеих рук. Точно идол восседающий! И этот человек поднимался вчера на такую гору!

— Глядите бодрее! Вы еще успеете сломать себе шею! Помню, в вашем возрасте меня глубоко возмущало, когда мне не давали рисковать чужой жизнью.

Леннан еле выговорил:

— Об этом я как-то не... не подумал. Но, по-моему, если миссис Стормер могла пойти, я тоже мог.

— Ага! При всем нашем восхищении, мы тем не менее не можем допустить... когда доходит до дела, не правда ли?

Юноша горячо встал на ее защиту:

— Вовсе нет! Я считаю, что миссис Стормер ничуть не хуже любого мужчины, только... только...

— Только чуть похуже вас, а?

— В тысячу раз лучше, сэр!

Стормер улыбнулся. Ох, уж эта ирония!

— Леннан,— сказал он,— остерегайтесь гипербол.

— Я знаю, конечно, что в настоящие альпинисты не годюсь,— снова вспыхнул юноша.— Но только... по-моему, там, где ей позволяют рисковать жизнью, мне тоже должны позволить!

— Хорошо! Это мне понравилось.— Сейчас в его голосе не звучало и намек на иронию, и молодой человек даже смутился.

— Вы молоды, друг Леннан,— продолжал Стормер.— Как вы думаете, в каком возрасте к мужчине приходит благоразумие? И не мешает вам помнить — женщинам сия главнейшая сторона храбрости<sup>1</sup> вообще не присуща.

— По-моему, женщины — прекраснейшие в мире создания! — выпалил юноша.

— Дай вам бог подольше придерживаться такого мнения! — Профессор поднялся и саркастически разглядывал собственные колени.— Стали ноги затекать! — заметил он.— Оповестите меня, когда измените свои взгляды.

— Этого не будет никогда, сэр!

— Ах, Леннан, «никогда» — срок долгий. Пойду выпью чаю.— И он на плохо гнущихся ногах зашагал прочь, словно бы посмеиваясь на ходу над собственной немощью.

Леннан, с горящими щеками, остался, где был. Слова его профессора опять прозвучали укором ей. Как можно так отзываться о женщинах?! Если это и правда, он не желает ее слышать; а если неправда, то говорить такое — просто подло. Ужасно, должно быть, не ведать высоких чувств, вечно ко всему относиться саркастически. Ужасно быть таким, как эти «надутые англичане», хотя, конечно, старик Стормер от них отличается: ведь он гораздо образованнее и умнее, куда умнее, но только так же смотрит на все сверху вниз. «Некоторые остаются...» Что она хотела сказать? Остаются такими вот «надутыми»? Внизу прямо под ним крестьянское семейство косило и сгребало сено. Ее можно представить себе среди косцов, в таком же цветном платке на волосах и красивую, как всегда; ее можно представить себе за любой простой работой, а вот со стариком Стормером не вяжется никакое другое занятие, кроме его профессорства. И внезапно юноша почувствовал себя подавленным, несчастным от этого смутного провидения в чужие загубленные жизни. Он решил, что ни за что не станет таким, как Стормер, когда постареет! Нет, уж лучше быть последним подлецом, чем вот таким, как он!..

---

<sup>1</sup> Здесь Стормер перефразирует реплику Фальстафа (Шекспир, «Король Генрих IV», ч. I): «Главное в храбрости — это благоразумие».



Когда он вошел к себе в номер переодеться к обеду, он увидел на столике в стакане с водой большую темно-красную гвоздику. Кто ее сюда поставил? Кто мог ее поставить, кроме нее? У цветка был такой же аромат, как и у тех горных гвоздичек, которыми она тогда его засыпала, но только полнее, насыщеннее — волнующий, темный, сладкий запах. Прежде чем воткнуть его в петлицу, он прижал цветок к губам.

В тот вечер опять были танцы — танцующих было больше, и к роялю прибавилась еще скрипка. Она спустилась в черном платье. Он никогда прежде не видел ее в черном. Лицо и шея ее были напудрены — она прятала свой загар. При виде пудры Леннан сначала слегка оторопел — он как-то не думал, что порядочные женщины пудрятся. Но если это делает она, значит, так и надо! Его глаза не отрывались от нее ни на минуту. Он видел, что немец-скрипач не отходит от нее, что он даже танцевал с нею дважды; видел, как и с другими она танцевала, но смотрел на все, словно во сне, — без ревности, без смятения. Что же это? Уж не волшебство ли? Может быть, этот подаренный цветок у него в петлице волшебный? А когда он танцевал с нею, откуда возникало это ощущение счастья, хотя они оба хранили молчание? Он не ждал от нее ничего — никаких слов, никаких поступков; ничего не ждал, ничего не хотел. Даже когда он вышел вместе с нею на террасу, даже когда они спустились к обрыву и сели на скамью над теми лугами, где днем он видел косарей, даже и тогда у него не было иных чувств, кроме безмятежного, дремотного обожания. Ночь была темной и тоже какой-то дремотной — луна все еще скрывалась где-то низко за горами. В гостинице рояль со скрипкой опять играли вальс; а Леннан сидел, не двигаясь, не думая, словно всякая способность к движению и к мысли была у него похищена. Запах гвоздики подымался от лацкана прямо к его лицу, ибо ветра не было. И вдруг сердце его остановилось: она наклонилась к нему, ее плечо прижалось к его руке, ее волосы коснулись его щеки! Он закрыл глаза и повернул к ней лицо. Ее губы прижались к его губам быстрым, жгучим поцелуем. Он испустил вздох, протянул руки — и обнял пустоту, один воздух. Только платье ее прошуршало по траве! А цветок — цветок тоже исчез.

В ту ночь Анна ни на минуту не забылась сном. Раскаивание ли не давало ей уснуть, или пьянила память? Если она и опасалась, что поцелуй ее был преступлением, то не против мужа или себя самой, а только против юноши — быть может, она убила в нем возвышенную мечту, разрушила священную иллюзию? Но не чувствовать себя лихорадочно счастливой она тоже не могла, и мысль о том, чтобы отступить, даже не приходила ей в голову.

Так, значит, он готов хоть немножко любить ее! Совсем немножко в сравнении с ее любовью, но все-таки. Ничего иного не мог означать этот поворот головы с закрытыми глазами, словно он хотел зарыться лицом у нее на груди.

Стыдилась ли она своих уловок, к каким прибегала за последние дни? Улыбок, которыми дарила молодого скрипача, нарочно позднего возвращения в тот вечер, когда их ждали с вершины, цветка, который она ему подарила, — всей сознательной осадой, которую она вела с того самого вечера, когда муж вошел к ней и разглядывал ее, думая, что она спит? Нет, не стыдилась! Если она и раскаивалась, то только в поцелуе. Об этом страшно было думать, ибо здесь была смерть, полная гибель ее материнского чувства к этому мальчику; а в нем — пробуждение, но чего? Если она для него была загадкой, то чем только не был для нее он, с его пылкостью и мечтательностью, с его юной добротой и невинностью! Что, если поцелуй убил в нем веру, стер утреннюю росу, свергнул звезду с неба? Простит ли она себе это? Как ей снести вину, если из-за нее он сделается таким же, как и сотни других мальчиков, как тот молодой скрипач, — просто циничным юнцом, для которого женщины — это, как они выражаются, «законная добыча»? Но полно, сможет ли она сделать его таким, получится ли из него такой? Нет, конечно же, нет; иначе она бы не полюбила его с первого раза, когда только увидела и назвала его ангелом.

Она не знала, что он сделал, куда ушел после того поцелуя, или преступления, если он был преступлением. Быть может, бродил всю ночь, а может, сразу же

поднялся к себе. Почему она остановилась на этом, оставила его там на скамейке, бежала от его объятий? Она сама едва ли знала, почему. Не из стыда, не из страха — из благоговения, может быть, но перед чем? Перед любовью — перед мечтой, тайной, перед всем тем, что делает любовь прекрасной; перед юностью и поэзией юности; перед самой этой темной, тихой ночью и перед запахом цветка — темного цветка страсти, которым она завоевала его и который теперь взяла у него незаметно назад, всю ночь держала у губ, а утром, завядший, спрятала у себя на груди. Она так долго жила без любви, так долго ждала этой минуты — не удивительно, что теперь она сама не отдавала себе отчета, почему поступает так, а не иначе.

А как она встретится с ним сегодня, как посмотрит в его глаза? Изменились ли они? Исчез ли этот прямой взгляд, который она так любила? Решать все достанется ей, от нее зависит, что будет дальше. И она твердила себе: «Нет, я не побоюсь. Дело сделано. И я возьму то, что дарит мне судьба!» О муже она даже и не вспомнила.

Но при первом же взгляде на юношу она поняла, что какое-то неблагоприятное внешнее событие вмешалось в дело после ее поцелуя. Он, правда, сразу же подошел к ней, но не сказал ни слова, а стоял, весь дрожа, и протянул ей телеграмму, в которой было написано: «Приезжай немедленно. Свадьба на днях. Ждем тебя послезавтра. Сесили». Эти слова, лицо юноши — все затуманилось, расплылось у нее перед глазами. Потом, сделав над собой усилие, она спокойно произнесла:

— Разумеется, вы должны ехать. Не можете же вы не присутствовать на свадьбе вашей единственной сестры.

Он поглядел на нее безропотно; она не могла вынести этого взгляда — так мало знающего, так много просящего. Она сказала:

— Пустяки, каких-нибудь несколько дней. А потом вы вернетесь, или мы к вам приедем.

Его лицо сразу же посветлело.

— Вы, правда, приедете к нам скоро, сразу же, если они вас пригласят? Тогда мне не страшно, тогда я... я...

У него перехватило дыхание, и он замолчал.

Она опять сказала:

— Пригласите нас. Мы приедем.

Он схватил ее руку, сжал, сдавил между своими, потом отпустил, нежно погладил и сказал:

— Я сделал вам больно. Простите.

Она засмеялась, чтобы не заплакать.

Он должен был отправиться сейчас же, чтобы не опоздать на поезд и вовремя добраться до дома. Она пошла с ним и помогла ему упаковать чемоданы. Сердце ее точно свинцом налилось, но, не в силах переносить безропотно несчастного выражения его лица, она жизнерадостно болтала о том, что скоро и они вернутся, расспрашивала его про дом, про то, как к ним доехать, говорила об Оксфорде, о следующем семестре. Когда вещи были уложены, она обняла его и на мгновение притянула к себе. Потом она ушла. С порога, оглянувшись, она видела, что он стоит, застыв в том же положении, как она его оставила. Щеки ее были влажны, она вытерла их, спускаясь по лестнице. И только когда почувствовала себя вне опасности, вышла на террасу. Там сидел ее муж. Она спросила:

— Ты не сходишь со мной в город? Мне нужно купить кое-что.

Он поднял брови, туманно улыбнулся и последовал за ней. Они не спеша спустились по склону и пошли по длинной улице городка. Всю дорогу она что-то говорила, а сама все думала: «Его экипаж проедет мимо, его экипаж проедет мимо!»

Их обогнало уже несколько карет. Вот наконец и он. Он сидел, сосредоточенно глядя перед собою; их он не видел. Она услышала, как муж сказал:

— Вот так так! Куда это направляется наш юный друг Леннан, с видом львенка, попавшего в беду, да еще со всем багажом?

Она ответила, стараясь говорить как можно равнодушнее:

— Что-нибудь, наверно, случилось. А может быть, он просто спешит на свадьбу сестры.

Она чувствовала, что муж смотрит на нее, и подума-

ла: интересно, какой у меня сейчас вид? Минуту спустя у самого ее уха раздалось знакомое: «Madre!» — их нагнала компания «надутых англичан».

## XI

Эти двадцать миль на лошадях были, наверно, самой тяжелой частью пути. Всегда особенно трудно страдать, если сидишь, не шевелясь.

Минувшей ночью, когда Анна ушла, он долго бродил в темноте, сам не зная где. Потом взошла луна, и он увидел, что сидит у стены сарая на задворках какой-то мызы, где все было мир и сон; а под луной далеко внизу белел в долине городок — крыши и шпили, и мерцал кое-где в окнах слабый, призрачный огонек.

Во фраке, с взлохмаченной темной непокрытой головой, — вот поразились бы обитатели мызы, увидь они его, сидящего на осыпанной сеном поленнице под стрехой их сарая и глядящего перед собою таким задумчиво-восторженным взглядом! Но там жили люди, которым сон дорог.

И вот теперь у него все отнято, все перенесено куда-то в неимоверно отдаленное будущее. Удастся ли уговорить опекуна, чтобы он и в самом деле пригласил их к ним в Хейл? Да и приедут ли они? Его профессору наверняка не захочется забираться в такую глушь — далеко от книг, от всего! Вспомнив о профессоре, он нахмурился, но только от опасения, что тот не захочет приехать; ведь если они не приедут, как он вытерпит еще целых два месяца до начала семестра? Об этом он и думал по дороге, а лошади трусили рысцой, увозя его все дальше и дальше от нее.

В поезде было уже лучше; развлекала вся эта разноплеменная публика, вызывали интерес новые лица, новые места; а потом к нему, измученному, обессилевшему, пришел сон — целая ночь сна, проведенная в углу купе. На завтра опять новые виды в окне, новые лица в вагоне и на платформах; и настроение у него стало медленно изменяться — от тоски и смятения к восхитительной надежде, к вере в обетованную радость. Потом наконец Кале и ночное путешествие на маленьком мокром пароходике сквозь летний шторм, сквозь летящие в лицо клочья

пены, среди белых валов, беснующихся на черном лоне вод под дикие завывания ветра. Дальше — Лондон; утренняя поездка по городу, еще спящему в августовской дымке; английский завтрак — овсяная каша, отбивные котлеты, джем. И вот наконец он в поезде, едет домой. Тут, по крайней мере, можно написать ей письмо. И, вырвав листок из своего альбома для набросков, он начал так:

«Пишу Вам в поезде, поэтому простите каракули...»

Как продолжать, он не знал, ибо ему хотелось писать о таком, что просто невысказимо было выразить на бумаге, — о своих чувствах, которые невозможно передать словами; и потом в письме к ней не должно быть ничего такого, что нельзя было бы прочесть другим. Так о чем же оставалось писать?

«Я так долго ехал, расставшись с Тироле» (он не отважился поставить: «расставшись с Вами»), «мне казалось, это путешествие никогда не кончится. Но все-таки теперь оно позади — почти. Я всю дорогу думал о Тироле. Для меня это было счастливое время, счастливейшее в моей жизни. И теперь, когда оно прошло, я стараюсь утешить себя, думая о будущем, но ближайшее будущее для меня не слишком радостно. Каковы-то сегодня наши горы? Передайте им от меня привет, особенно тем, которые похожи на львов, что приходят понежиться в лунном свете, — боюсь, Вы не узнаете их по этому рисунку» (тут следовал набросок). «А это церковь, где мы были, а в ней некто стоит на коленях. А вот это долженствует изображать «надутых англичан», которые глядят, как некто очень поздно возвращается в гостиницу с альпенштоком в руке, — только мне лучше удались «надутые англичане», чем некто с альпенштоком. Как жаль, что я не принадлежу к их компании и не нахожусь сейчас в Тироле. Я надеюсь получить от Вас вскоре письмо и надеюсь, там будет написано, что Вы уже собираетесь обратно. Мой опекун будет ужасно рад, если Вы приедете и погостите у нас. Он вполне сносный старик, если познакомиться с ним поближе, и еще после свадьбы у нас будет гостить его сестра миссис Дун с дочкой. Если Вы с мистером Стормером не приедете, это будет просто убийственно. Я хотел бы написать о том, как хорошо мне было в Тироле, выразить все, что я чув-

ствую, но это мне не под силу, так что, пожалуйста, вообразите это себе сами».

И точно так же, как он не знал, какое написать обращение, не мог он теперь придумать, как подписаться, и поставил только: «Марк Леннан».

Отправил он письмо в Эксетере, где была пересадка, и мысли его совсем ушли от прошлого к будущему. Теперь, приближаясь к дому, он все больше думал о сестре. Через два дня она уедет в Италию, и он долго ее не увидит. Воспоминания обступили его, протягивая к нему руки. Как они с сестрой гуляли в саду и спускались на крокетную площадку, и она рассказывала ему всякие истории, обнимая его рукой за плечи, потому что она ведь на два года старше и тогда была выше его. Как они всегда болтали подолгу в первый день каникул, когда он приезжал домой, и как пили по этому случаю чай с вареньем — сколько кому захочется — в старой классной комнате с готическими окнами за ситцевыми занавесками в цветочек, — только они вдвоем и старушка Тринг (почтенная гувернантка, чьей власти над питомицей теперь пришел конец), да иногда еще беленькая Сильвия, если она в это время гостила там со своей матерью. Сесили всегда понимала его, когда он рассказывал, как плохо учиться в школе, где зверьми и птицами интересуются, только если хотят их убить, где ничего не рисуют, не лепят, — вообще ничего стоящего не делают. Они, бывало, уходили из дому и бродили по берегу реки или в парке, где все так дико и живописно: корявые дубы, огромные камни-валуны, чье присутствие в парке старый кучер Годден однажды объяснил так: «Не иначе как их потоп сюда занес, мастер Марк». Эти и им подобные воспоминания толпой теснились вокруг него. И когда поезд еще только подъезжал к станции, он в нетерпении устремился к дверям, чтобы спрыгнуть и броситься прямо к сестре. Вон и платформа с залом ожидания и с оградой, увитой цветущей жимолостью. Удивительно цветет жимолость в этом году! А вон и она, одна стоит на платформе. Но нет, это не Сесили! Он вышел из вагона, ощущая в сердце странную пустоту, будто воспоминания сыграли с ним шутку. Это и в самом деле была какая-то другая девушка, с виду лет шестнадцати, не более, в соломенной шляпке с большими полями, закрывавшими ее

волосы и пол-лица. На ней было голубое платье, за поясом — веточка жимолости. Кажется, она ему улыбалась и ждала, что он ей тоже улыбнется. Он так и сделал. Тогда она подошла и сказала:

— Я — Сильвия.

Он отозвался:

— О! Вот спасибо, с вашей стороны ужасно мило, что вы приехали меня встретить.

— Сесили страшно занята. Я приехала на двуколке. А у вас много багажа?

Она подхватила его портплед, который он у нее тут же отнял; подняла сумку — он и это взял у нее из рук; и они пошли к двуколке. Там стоял мальчик-грум и держал под уздцы низкорослого серебристо-чалого конька с черной гривой и черным неподрезанным хвостом. Она сказала:

— Ничего, если я буду править? Я как раз учусь.

Он ответил:

— Ну, конечно.

Она уселась на козлы; он заметил, что глаза у нее сияют от радостного волнения. Принесли и уложили в двуколку его чемоданы, и он сел рядом с нею. Она крикнула:

— Отпускай, Билли!

Чалый конек рванулся мимо маленького грума, который, сверкнув на солнце голенищами сапог, ловко вскочил на запятки. Двуколка быстро обогнула станцию, и Леннан, видя, что у его возницы губы слегка приоткрылись от напряжения, заметил:

— Он у вас своевольничает.

— Да, немножко. Но ведь он милый, верно?

— Да, ничего себе.

О! Когда приедет она, он будет ее катать; они уедут одни на этой двуколке, и он покажет ей все окрестности!

Его пробудил к действительности голосок:

— Ой, он сейчас шарахнется!

В тот же миг двуколку рвануло в сторону. Чалый перешел в галоп.

Оказывается, на пути попалась свинья.

— Правда, он сейчас такой красивый? А мне надо было его хлестнуть, когда он дернул в сторону, да?

— Да нет, лучше не надо.



— Почему?

— Потому что лошади — это лошади, а свиньи — это свиньи. И для лошадей вполне естественно шарахаться от свиней.

— А-а!

Он поглядел сбоку на ее лицо. Линия щеки и подбородка у нее мягкая и довольно красивая.

— А я ведь вас не узнал, — сказал он. — Вы так выросли!

— А я вас сразу узнала. И голос у вас все такой же, пуховый.

Они опять немного помолчали, пока она вдруг не призналась:

— Он и вправду не слушается поводьев. Это он домой торопится.

— Давайте я теперь буду править?

— Да, пожалуйста.

Он встал и взял у нее вожжи, а она пригнулась и под вожжами пробралась на его место. Волосы у нее пахли в точности, как свежее сено.

Избавившись от обязанностей возницы, она принялась с интересом разглядывать Марка своими яркими голубыми глазами.

— Сесили боялась, что вы не приедете, — заметила она вдруг. — Что за люди эти старики Стормеры?

Он почувствовал, что краснеет, подавил волнение и ответил:

— Это только он старый, а ей лет тридцать пять, не больше.

— Тридцать пять — это тоже старая.

Он удержался от ответа: «Конечно, для такого ребенка, как вы, все старые», — и вместо этого поглядел на нее. Точно ли она такой уж ребенок? Роста она, кажется, довольно высокого (для девушки) и не очень худощава, а в лице ее есть что-то чистосердечное, мягкое, словно ей очень хочется, чтобы все были к ней добры.

— Она очень красивая?

На этот раз он не покраснел: слишком уж велико было смятение, вызванное ее вопросом. Если он скажет: «Да!» — то словно перед всем миром признается в своем обожании, иной же ответ был бы просто предательст-

вом, подлостью. Поэтому он все же сказал: «Да», — изо всех сил прислушиваясь к собственному голосу.

— Я так и думала. Она вам очень нравится?

Он с трудом подавил что-то подкатившее к горлу и опять сказал:

— Да.

Ему захотелось возненавидеть эту девочку, но почему-то это было невозможно: она казалась такой кроткой, такой доверчивой. Она глядела теперь прямо перед собой, и губы у нее все еще были приоткрыты, так что это у нее, видно, не зависело от нрава чалого конька Болеро, и все равно, рот у нее красивый и носик тоже, коротенький, прямой, и подбородок, и вся она такая беленькая. Мысли его вернулись к другому лицу, яркому, полному жизни. И вдруг он обнаружил, что не может себе его представить — впервые за все время разлуки оно отказывалось возникнуть перед ним.

— Ой! Смотрите!

Она тянула его за рукав. На луг за живой изгородью с неба камнем падал ястреб.

— О-о, Марк! Он схватил его, схватил!

Она спрятала лицо в ладони, а ястреб с крольчонком в когтях уже взмывал ввысь. Все это было так красиво, что Леннан даже не испытал жалости к погибшему кролику, но девочку ему хотелось погладить по голове, успокоить. Он сказал:

— Ну, ладно, ладно, Сильвия, ну, не надо. Кролик уже мертвый. И вообще, ведь это же закон природы.

Она отняла ладони — казалось, она вот-вот заплачет.

— Бедный кролик! Он был совсем еще маленький!

## XII

Назавтра под вечер он сидел в курительной комнате с молитвенником в руках и, морща лоб, читал венчальную службу. Молитвенник был миниатюрный, специально рассчитанный на то, чтобы не оттопыривать кармана. Впрочем, это не имело значения, ибо даже если бы Марк и мог разобрать слова, он все равно не понял бы, что они означают, поскольку занят он был размышлениями на тему о том, как лучше обратиться с некоей просьбой к некоей персоне, которая сидела позади него

за большим бюро с выдвижными крышками и выбирала из коробки искусственных мух для наживки.

Наконец он остановился на следующем:

— Горди! (Почему они называли его Горди, трудно сказать,— то ли это было уменьшительное от его имени Джордж, то ли видоизмененное «гардиан», опекун.)— Как скучно будет, когда уедет Сесили, верно?

— Отнюдь.

Мистеру Хезерли было, наверно, года шестьдесят четыре, если, понятно, у опекунов вообще бывает возраст, и он больше походил на доктора, нежели на помещика; лицо квадратное, слегка одутловатое, глаза прищурены, губы изогнуты, а интонация речи изысканная и в то же время грубоватая, какая свойственна бывает потомкам старинных фамилий.

— Нет, правда, ведь будет ужасно тоскливо!

— Допустим. Ну, и что же?

— Я только думал, может быть, мы пригласим сюда погостить мистера и миссис Стормер — они были ко мне ужасно добры в Тироле.

— Мой милый! Двое незнакомых людей!

— Мистер Стормер увлекается рыбной ловлей.

— Вот как? А она чем увлекается?

Радуюсь, что сидит к старику спиной, юноша ответил:

— Не знаю... чем-нибудь,— она очень приятная женщина.

— Гм! Красивая?

Он ответил, теряя голос:

— Не знаю, как на ваш взгляд, Горди.

Он спиной почувствовал, как собеседник рассматривает его из-под своих полуопущенных припухших век.

— Пожалуйста, если хочешь. Пригласи их, и дело с концом.

Забилось ли у него сердце? Пожалуй, нет; но ему стало тепло и приятно, и он сказал:

— Спасибо, Горди. Честное слово, это ужасно мило с вашей стороны,— и снова вернулся к молитвеннику. Теперь он мог уже кое-что понять. Одни места казались ему прекрасными, другие — странными. Насчет повиновения, например. Если любишь человека, то просто подло требовать от него повиновения. Если ты любишь и тебя лю-

бят, то и вопроса нет ни о каком повиновении, потому что вы оба все будете делать по собственной воле. А если не любишь или тебя не любят, тогда — господи! — что может быть отвратительнее, чем жить с человеком не любя или если он тебя не любит! Но она-то, уж конечно, не любит старика Стормера. А раньше? Неужели когда-то она его любила? Марк отчетливо представил себе ясные скептические глаза, рот, искривленный в нарочито насмешливой улыбке. Нет, такого нельзя полюбить. А ведь он безусловно хороший человек. И в груди у юноши возникло нечто вроде жалости, почти нежности к отсутствующему учителю. Странно, что он испытывает сейчас подобные чувства, ведь когда они последний раз разговаривали там на террасе, он не чувствовал ничего такого.

Звук опущенной крышки бюро нарушил его задумчивость; мистер Хезерли убрал коробок с искусственными мухами, а это означало, что он собирается на речку удить. Как только за ним захлопнулась дверь, Марк вскочил, снова поднял крышку бюро и принялся сочинять письмо. Это была трудная работа.

«Дорогая миссис Стормер!

Мой опекун поручил мне передать Вам, что мы очень просим Вас и мистера Стормера приехать к нам погостить сразу же, как Вы вернетесь в Англию из Тироля. Передайте, пожалуйста, мистеру Стормеру, что лишь искуснейшие из рыболовов — вроде него — способны ловить нашу форель; остальным достаются только ветки деревьев. Вот это я поймал дерево (здесь следовал рисунок). Свадьба моей сестры завтра, и здесь станет ужасно тоскливо, если только Вы не приедете. Так что, пожалуйста, приезжайте непременно. Примите мои наилучшие пожелания.

Остаюсь Ваш покорный слуга  
М. Леннан».

Налепив на это творение марку и опустив его в почтовый ящик, он ощутил весьма странное чувство — точно он вырвался на каникулы из школы. Хотелось носить-

ся вокруг дома, шалить. Что бы такое сделать? Сесили, конечно, не до него — всем им не до него: заняты приготовлениями к свадьбе. Пожалуй, он пойдет оседлает Болеро, покатается в парке. Или лучше пройтись по берегу реки, посмотреть на соек? Все как-то одиноко. Он понуро остановился у окна. Когда ему было лет пять, он однажды сказал на прогулке своей няне: «Мне хочется печенья, няня, мне неотступно хочется печенья!» — и в общем-то это у него и по сей день осталось: ему по-прежнему неотступно хочется печенья.

Потом он подумал, не заняться ли лепкой, и пошел через сад к старой пустой теплице, в которой издавна хранились его шедевры. Но сейчас они показались ему никуда не годными, а два из них — индюка и барана — он тут же решил уничтожить. Потом ему пришло в голову попытаться вылепить того ястреба, взмывающего ввысь с кроликом в когтях; он начал, но вдохновение не пришло, он побросал все и вышел. Бегом помчался по заросшей дорожке к теннисному корту — в то время теннис только входил в моду. Трава была густая, слишком высокая. Но ведь в этом старинном поместье все теперь было запущено, а почему — никто бы не смог объяснить, да никому и дела не было. Пока он разглядывал корт, ему послышалось, что рядом кто-то негромко напевает. Он взобрался на ограду: на лугу сидела Сильвия и плела венок из жимолости. Он замер и слушал. Она была увлечена своим занятием и казалась очень красивой. Потом он соскочил вниз и негромко окликнул ее.

Она обернулась, глаза у нее были раскрыты широко-широко.

— У вас славный голос, Сильвия.

— Ну, что вы!

— Правда. Пошли залезем на дерево.

— А где?

— Да в парке, конечно.

Они долго выбирали подходящее дерево: на одни было слишком легко взобраться ему, на другие — слишком трудно ей; наконец нашли старинный развесистый дуб с грачиными гнездами. Марку пришлось сбегать в дом за веревкой, так как он убедил Сильвию, что лезть можно только в связке. И ровно в четыре начался подъем, кого-

рый он назвал «Восхождением на Чимоне-делла-Пала». Возглавлял отважную экспедицию он, зацепляя каждый раз веревку за сук, прежде чем позволить своей спутнице сделать следующий шаг. Раза два или три веревку пришлось закрепить, а самому спуститься на подмогу: ведь она неопытный альпинист. Руки у нее были слабые, и она все время норовила сесть на сук верхом, когда надо было упереться одной ногой. Но вот наконец восхождение закончено, и они, обсыпанные мхом, сидят на предпоследнем суку. Они молча отдыхали, слушая, как возмущенно кричат потревоженные грачи. Помимо грачиного стихающего негодования, ничто здесь не нарушало чудесного покоя и отрешенности — они были на полпути к синему небу, и оно просвечивало над ними сквозь колышущийся шатер зелено-бурой листвы. Стоило чуть тронуть рукой или ногой кору ствола, и воздух наполнялся горьковатым запахом сухого мха, каким обычно пахнут старые дубы. Земля внизу скрылась из глаз, и со всех сторон загораживали вид другие корявые деревья.

Марк сказал:

— Если просидеть тут дотемна, то можно увидеть сов.

— Ой, не надо! Совы такие отвратительные!

— Что? Совы очень хороши, особенно белые.

— У них такие глаза — бр-р! И они как-то пищат во время охоты.

— Очень даже мило пищат. А глаза у них какие красивые!

— Они ловят мышей, и цыпляют, и вообще всех маленьких.

— Но ведь они же не со зла; они их ловят, чтобы есть. А верно, ночью все красивее, да?

Она просунула руку ему под локоть.

— Нет, я темноты не люблю.

— Отчего же? Ведь это великолепно: все становится таким таинственным.— Он произнес последнее слово с особым чувством.

— Я не люблю таинственного. Мне от него страшно.

— Да что вы, Сильвия!

— Да. А вот раннее утро я люблю. Особенно весной, когда только лопаются почки.

— Ну, конечно.

Она чуть заметно к нему прислонилась, наверно, побаивалась упасть; тогда он вытянул руку и ухватился сзади за сук так, чтобы для нее получилась удобная спинка. Они помолчали. Потом он сказал:

— Вы какое бы дерево выбрали, если бы вам предложили только одно какое-нибудь?

— Только не дуб. Липу... нет, березу! А вы?

Он задумался. На свете столько прекрасных деревьев! Конечно, липы, березы; но и бук, и кипарис, и тис, и кедр — тоже; и еще платаны; и вдруг сказал:

— Сосну. Знаете, такие высокие сосны с рыжими стволами и с ветками на самом верху.

— Почему?

Он снова задумался. Ему очень хотелось правильно объяснить ей, почему именно сосну; это было связано вообще со всеми его ощущениями. Пока он размышлял, она глядела на него, словно удивлялась, что человек может так глубоко задуматься. Наконец он сказал:

— Потому что они сами по себе, всегда величественные, всегда немного теплые, и верхушки у них будто о чем-то думают, но главным образом еще потому, что те, какие как раз мне нравятся, всегда встречаются в одиночку. Знаете, стоит такое дерево в стороне, могучее, темное на фоне неба.

— Они слишком уж темные.

Он вдруг спохватился, что забыл про лиственницы. Конечно, и они тоже бывают божественно хороши, когда лежишь под ними и смотришь в небо, как тогда. Но тут она сказала:

— А если цветок, то я выбираю ландыши, но только не садовые, а маленькие — те, что растут в лесу и так чудесно пахнут.

Перед ним мелькнуло видение другого цветка — темного, иного. Он промолчал.

— А вы бы что выбрали, Марк? — В ее голосе слышалась обида. — Вы ведь сейчас тоже задумали цветок, да?

Он честно ответил:

— Да.

— Какой же?

— Вам не понравится: он тоже слишком темный.

— Но вы ведь не знаете...

— Красную гвоздику.

— Отчего ж... они мне нравятся... только не очень. Он серьезно кивнул.

— Я так и знал.

Потом они надолго замолчали. Она перестала опираться на него, и ему недоставало уютной дружественности ее прикосновения. Теперь, когда смолкли их голоса и грачиный грай, в тишине слышен был лишь сухой шелест листьев да за речкой над каменистым косогором жалобный крик коршуна, занятого охотой. Там всегда парили два коршуна, поделив между собою небо. Юноше по душе была эта тишь: чудилось, будто сама природа говорит с тобою—ведь природа всегда говорит в тишине. Животные, птицы, насекомые показываются по-настоящему, только когда молчишь и не двигаешься; и с цветами, с растениями тоже нужна тишина, иначе ты не увидишь ту настоящую, прекрасную жизнь, что заключена в каждом из них в отдельности. Даже валуны в парке, о которых старик Годден говорил, что их принесло сюда потопом, даже и они не покажут тебе своих настоящих причудливых очертаний и не дадут тебе почувствовать твое родство с ними, пока не забудешь обо всем остальном и не станешь думать только о них. А Сильвия оказалась лучше, чем он предполагал. Она могла сидеть молча и не шевелиться (он считал раньше, что девочки в этом отношении безнадежны); она милая, и смотреть на нее приятно.

Сквозь листву к ним донесся слабый, отдаленный звон колокольчика — звали к чаю. Она сказала:

— Надо спускаться.

Тут было так хорошо, что, право же, не хотелось уходить домой. Но раз уж ей непременно хочется чаю... девочкам всегда хочется чаю. И, закрутив веревку вокруг сука, он начал руководить ее спуском. Но когда он уже готов был соскочить к ней, она вдруг вскрикнула:

— Ой, Марк! Я не достаю ногами! Я повисла!

И он увидел, что она и в самом деле висит — на веревке и на руках.

— Отпустите руки! Прыгайте на нижний сук, веревка выдержит, пока вы не схватитесь за ствол.

Но снизу донеслось жалобное:



— Не могу... нет, не могу... я не удержусь!

Он закрепил веревку и поспешно соскользнул на тот сук, до которого не доставали ее ноги; потом, прислонившись спиной к стволу, обхватил ее за талию и за колени; но теперь ее держала привязанная наверху веревка, не давая ей опуститься и стать рядом с ним. Он не мог держать ее и одновременно отвязать веревку, туго затянутую вокруг ее пояса. А если он ее отпустит и вытащит свой нож, ему ни за что не удастся перерезать веревку и в то же время подхватить девушку. Он уже подумал было, что придется снова лезть наверх и освободить там веревку, но по лицу Сильвии было видно, что ей становится страшно; он чувствовал, что она дрожит.

— Я сейчас вас приподыму, а вы ухватитесь за верхнюю ветку, можете? — И, не дожидаясь ответа, он приподнял ее повыше. Она изо всех сил вцепилась в ветку.

— Подержитесь одну минуточку.

Она не ответила, но он видел, что лицо ее стало совсем белым. Он выхватил нож и перерезал веревку. Сильвия продержалась еще какое-то мгновение, потом руки ее разжались, но он подхватил ее и поставил рядом с собой у ствола. Почувствовав себя в безопасности, она уткнулась лицом ему в плечо. И он стал гладить ее и тихонько что-то приговаривать, чувствуя, что ему так и полагается утешать и защищать ее. Он знал, что она плачет, хотя она даже не всхлипнула, и он старался, как мог, ничем не обнаружить, что он это знает, чтобы ей не стало стыдно. Может быть, поцеловать ее? Поколебавшись, он так и сделал — тихонько поцеловал ее в макушку. Тут она подняла голову и сказала, что ей стыдно за свое малодушие. И тогда он поцеловал ее еще раз — в висок.

После этого она как будто успокоилась, и они с великими предосторожностями спустились наконец на землю, где на папоротники уже ложились длинные тени и косые лучи солнца били прямо в глаза.

### XIII

Поздно вечером после свадьбы сестры Марк стоял у окна своей старой спальни-мансарды; в которой одна стенка была покатая и слабо, но явственно пахло мышами. Он стоял усталый, взбудораженный, голова его бы-

ла полна видений. Он впервые в жизни присутствовал при венчании, и теперь перед ним неотступно маячила грациозная белая фигурка сестры и лицо с сияющими, как звезды, глазами. Усхала — больше она ему уже не принадлежит! Как страшно звучал Свадебный Марш на этом старом, сиплом органе! А проповедь какова! Когда хочется плакать, то не очень-то приятно слушать такое. Даже у Горди вид был подавленный, когда он вручал Сесили жениху. Марк и сейчас с совершенной ясностью видел их всех у алтаря, словно и сам там находился. Вот Сесили вся в белом, Сильвия в чем-то воздушно-сером; вот невозмутимая высокая фигура новобрачного; Горди, такой необычный в черном фраке, но глаза, как всегда, полужакрыты на изжелта-бледном лице. Неприятнее всего было то, что хотелось просто отдаться своим переживаниям, а вместо этого надо было думать о кольце, о перчатках и расстегнута ли, как надлежит, нижняя пуговица на твоём белом жилете. Вот девушки, они как-то умеют сочетать и то и это — Сесили все время словно видела перед собой что-то прекрасное, и Сильвия была просто в экстазе. Его же постоянно отвлекал голос священника, раздражала та заученность, с какой он все проделывал и говорил, словно выписывал рецепт на лекарство и объяснял, как его принимать. И все же церемония эта была по-своему довольно красива: все лица повернуты в одну сторону, стоит торжественная тишина — только старый Годден громко сморкается в огромный красный платок — и мягкий сумрак клубится под сводами и в боковых приделах, а с южной стороны в окнах играет яркий солнечный свет. Но все равно, куда лучше было бы, если б они просто сами взялись за руки и выразили богу все, что чувствуют они в сердце своем, ведь бог — всюду, во всем, а не только в этих душных храмах. Он, Марк, хотел бы венчаться только так — вот в такую же звездную ночь, под открытым небом, чтобы чувствовать, как все прекрасно и удивительно вокруг. Уж, конечно, бог не так мал, как люди его себе всегда представляют, словно он просто какой-то важный человек, чуть побольше ростом, чем прочие! Самые прекрасные, удивительные или чудовищные вещи, какие только может представить себе человек, покажутся ничтожными богу, которому храм — эта ночь. Но только сам с собой ведь не обвен-

чаешься, а ни одна девушка на свете не согласится выйти замуж без всех этих колец, цветов, нарядов и слов, от которых все становится таким маленьким и домашним. Разве только Сесили, но и она бы не согласилась, чтобы не огорчать других; а Сильвия — Сильвия никогда, — она бы побоялась. Но ведь она еще совсем ребенок! Нить его дум нарушилась, и они рассыпались, точно разорванные бусы.

Он лег грудью на подоконник, положил подбородок на руки и глубоко вдохнул свежий ночной воздух. Жимолостью пахнет, или это все еще лилии? На небе выпали звезды, и что-то сегодня сов много летает! Четыре, по меньшей мере. Что за ночь была бы без сов и звезд? Но в том-то вся хитрость, что мы ничего не можем представить себе не таким, и не так, как в данную минуту. И что будет дальше, мы тоже не знаем; но когда это наступает, то кажется, что ничего другого и быть не могло. Как странно — ты можешь делать все, что тебе захочется, но когда сделаешь, оказывается, что именно это ты и должен был сделать... А что это за свет там, внизу слева? Чье это окно — старушки Тринг? Нет, это маленькая комнатка для гостей... а-а, там Сильвия! Значит, она не спит! Он свесился как мог за окно и тихо окликнул ее голосом, который она назвала пуховым: «Сильвия!»

Свет заколебался, и в окне появилась ее голова. Лицо, обрамленное распущенными волосами, обратилось к нему. Он лишь наполовину различал его, а наполовину воображал его себе, — таинственное, смутное. И шепотом спросил:

- Как чудесно, да?
- Изумительно, — донесся ответный шепот.
- Отчего вы не спите?
- Не хочется. А вам?
- Ни капельки. Слышите, как совы кричат?
- Конечно, слышу.
- А пахнет-то как!
- Замечательно. Вы меня видите?
- Чуть-чуть. А вы меня?
- Мне не видно вашего носа. Принести свечку?
- Нет, нет. Вы все испортите. На чем вы сидите?
- На подоконнике.
- У вас так шея заболит.

— Н-нет, ничего.

— Хотите есть?

— Да.

— Подождите секундочку. Я спущу вам шоколаду в полотенце — оно длинное, как раз достанет. Держите!

Из окна высунулась смутно различимая белая рука.

— Поймали? Послушайте, а вы не простудитесь?

— Да нет.

— Так красиво, что просто невозможно спать!

— Марк!

— Что?

— Вы какую звезду выбираете? Моя — вон та белая, над большим кленом.

— А моя — вон та, что мерцает красным, во-он, над еседкой! Сильвия!

— Что?

— Ловите!

— Ой! Я не смогла — что это было?

— Ничего.

— Нет, правда. Что?

— Ничего. Просто моя звезда. Она запуталась у вас в волосах.

— О!

— Слушайте!

Стало тихо, потом послышался ее испуганный шепот:

— Что?

И его замирающее:

— Спасайся!

Что это было — окно ли где отворилось? Он внимательно оглядел длинный фасад окутанного сумраком дома. Нигде ни огонька. И белое смутное пятно в ее окне тоже исчезло. Все вокруг было темное, спокойное, напоенное по-прежнему запахом чего-то чудесного. И тут он вдруг увидел, откуда струился этот запах. Под окнами, заслонив стену, рос жасмин, и жасмин был весь в цвету! Звезды, звезды не только на небе! Быть может, небо на самом деле — это поросший белыми цветами луг; и там гуляет бог и срывает звезды...

Утром, когда он спустился к завтраку, около его прибора лежало письмо. Но он ведь не мог его вскрыть, сидя вот так, между Сильвией и старушкой Тринг. Потом чуть не со злобой он все-таки разорвал конверт. Напрас-

но он боялся. Письмо было написано так, что его могли бы прочесть все; там говорилось об еще одном восхождении, о том, что погода испортилась, что они скоро вернутся. Какие чувства испытал он при этом известии — облегчение, беспокойство, радость или всего лишь неясный стыд? Его второго письма она еще не получила. Он ощущал на себе острые, мигающие глаза старушки Тринг и откровенный, внимательный взгляд Сильвии. И чувствуя, как кровь прихлынула к лицу, сказал себе: «Не покраснею!» И не покраснел. Через три дня они будут в Оксфорде. Поедут ли они прямо сюда? Старушка Тринг что-то говорила. Он услышал, как Сильвия ответила: «Нет, мне не нравятся «жевалки». Они такие каменные!» «Жевалками» они в детстве называли выступающие скулы. У Сильвии, конечно, не было «жевалок», ее щеки плавно закруглялись к глазам.

— А вам, Марк?

Он медленно ответил:

— На некоторых лицах нравятся.

— Люди с таким скулами все имеют железную волю. Правда?

А как же она, Анна, разве у нее железная воля? И он вдруг понял, что ничего о ней не знает.

После завтрака Марк пошел в свою мастерскую-теплицу. На душе у него было неприятно и тяжело. Ах, какой же он негодяй, он почти не думал о ней все это время! Он вытащил из кармана письмо и, нахмуря лоб, старался как мог на нем сосредоточиться. Почему он почти ничего не чувствовал? Да что это с ним в самом деле? Как можно быть таким ничтожеством, чтобы не думать о ней день и ночь? В унынии он долго стоял посреди темной теплицы с письмом в руках, окруженный фигурками своих зверей и птиц.

Потом выбрался оттуда потихоньку и никем не замеченный спустился к реке. Все-таки приятный звук—это ласковое, настойчивое журчание текущей воды; приятно сидеть на камне тихо-тихо и выжидать, чтобы вокруг случались разные вещи. Так человек растворяется в окружающем, становится ветками, и камнями, и водой, и птицами, и этим небом... И уже не чувствуешь себя таким негодяем. Горди никогда не понимал, почему ему не нравится удить рыбу; а что хорошего, когда одно живое

существо ловит другое, вместо того чтобы им рассматривать и понимать друг друга? Сколько ни глядишь в воду, или в траву, или на папоротник, никогда не прискучит: все что-нибудь новое, необычное. И в тебе самом тоже: если сидеть смирно и внимательнее присмотреться, то страшно интересно все то, что происходит у тебя в душе.

Пошел дождик, тихонько шурша по листьям, но Марку все еще по-мальчишечьи нравилось мокнуть под дождем, и он не сдвинулся со своего камня. Некоторые люди видят фей в чаще леса или в воде, по крайней мере так они говорят. Но ему этого вовсе не хотелось. Вот что в самом деле интересно, так это замечать, как на свете нет ничего одинакового, различать всюду своеобразие; пока не почувствуешь этого — ничего не нарисуешь и не вылепишь. Восхитительно видеть, как твои создания принимают присущие им обличья как бы сами по себе, независимо от твоей воли. Но только этим летом у него ничего не получается, ни на бумаге, ни в глине.

Ярдах в сорока от него села на камень сойка и, красуясь на виду, чистила свои разноцветные перышки. Самые прекрасные на свете создания — это птицы! Он долго смотрел на нее, а когда она вспорхнула и полетела дальше, он проводил ее взглядом за высокую ограду парка. Он слышал, как вдалеке звонили ко второму завтраку, но решил, что не пойдет. Здесь, на дожде, с птицами, с деревьями, он защищен от того неприятного, щемящего чувства, которое он испытал утром. Вернулся он только к семи часам, насквозь промокший и страшно голодный.

За обедом он все время чувствовал, что Сильвия на него смотрит, как будто хочет спросить о чем-то. Она была в белом платье, открывавшем шею, и вся такая нежная, мягкая, а волосы такие светлые, чуть золотистые, как лунный свет. Ему очень хотелось, чтобы она знала, что это не из-за нее он провел один у речки целый день. После обеда, пока раздвигали стол, чтобы играть в «девятку», он тихонько спросил у нее:

— Вы спали сегодня ночью — после?

Она утвердительно закивала.

Дождь теперь припустил всерьез, струи хлестали по стеклам и низвергались в темноте за окном. Марк шепнул:

— Наши звезды сегодня затопит.

— А вы вправду думаете, что у нас есть свои звезды?

— Отчего ж, вполне может быть. Но я за свою не беспокоюсь: она в безопасном месте. Ваши волосы в самом деле очень красивы, Сильвия.

Она поглядела на него удивленно и признательно.

#### XIV

Анна не получила письма Марка в Тироле. Его переслали ей в Оксфорд. Она как раз собиралась уходить, когда его принесли, и она взяла его в руки с тем блаженно-трепетным ужасом, какое испытывает любящий, касаясь письма любимой. Она не стала вскрывать его на улице, а дошла с ним до ближнего колледжа, чтобы там в саду прочитать его под сенью кедра. Коротенькое это письмецо, такое мальчишеское и сухое, вознесло ее чуть не к небесам. Она увидит его теперь же, и не надо будет ждать столько недель до начала нового семестра, когда он возвратится сюда, быть может, уже забыв ее! Муж сегодня за завтраком заметил, что Оксфорд без «милых шутов», безусловно, очарователен, но Оксфорд, «кишащий туристами и прочими инородными телами», столь же безусловно непереносим. Куда бы им пока уехать?

Как удачно, что это письмо вполне можно ему показать! И все-таки ей было больно, что в письме нет ни единого слова, из-за которого нельзя было бы его показывать. И тем не менее она была счастлива. Никогда еще ее любимый сад не казался ей так красив, весь такой приветливый, ухоженный; даже ветру сюда нет доступа, даже птицы здесь совсем ручные. Солнце светит ласково, и даже облака плывут веселые, сверкающие. Она долго сидела там, задумавшись, а потом вернулась домой, забыв обо всех делах, ради которых вышла утром.

Не испытывая недостатка ни в храбрости, ни в решительности, Анна не стала носить это письмо за корсажем и в тот же вечер за столом протянула его мужу, глядя ему прямо в лицо и невозмутимо заметив:

— Как видишь, провидение отвечает на твой вопрос.

Он прочел, поднял брови, улыбнулся и, не отрывая взгляда от бумаги, проговорил:

— Ты хотела бы продолжить это романтическое приключение?

На что он намекал? Или это просто его манера выражаться?

— Разумеется, я хочу очутиться сейчас где угодно, но только не здесь.

— Может быть, ты предпочла бы поехать одна?

Конечно, он сказал это, заранее зная, что она не может ответить «да». И она сказала «нет».

— В таком случае, давай поедem оба. Ну, скажем, в понедельник. Я буду ловить у него форель, ты будешь ловить... э-м-м... он будет ловить... Что он там ловит, деревья? Прекрасно. Стало быть, решено.

И три дня спустя, не обменявшись более ни словом на эту тему, они отправились в Хейл.

Испытывала ли она к нему благодарность? Нет. Боялась его? Нет. Презирала? Не очень. Но она боялась себя — боялась ужасно. Как ей держать себя в руках, как скрыть свою любовь от его домашних? Она боялась собственного безрассудства. Но раз она желает ему всего самого хорошего, что может дать жизнь, значит, у нее должно достать сил не причинить ему вреда. И все-таки она боялась.

Он встречал их на станции. На нем был костюм для верховой езды и очень милая ворсистая куртка с поясом, которой она что-то у него не помнила, хотя думала, что знает наизусть все его вещи; и когда поезд, замедлив ход, остановился, память о последнем мгновении наедине с ним, там, в его комнате, среди чемоданов, которые она помогала ему укладывать, чуть-чуть было не взяла верх над всем остальным. Так бесконечно трудно было холодно, вежливо здороваться, зная, что предстоит, быть может, долгое ожидание, прежде чем удастся хоть на минуту остаться с ним наедине! А он был так вежлив, так изысканно внимателен, так по-хозяйски заботлив: не утомила ли ее дорога? А мистер Стормер не забыл ли захватить свои удочки? Хотя, конечно, здесь их и так сколько угодно; только бы погода была хорошая; а сейчас придется им проехать мили три по проселку, — и хлопотал об их багаже. И все это, когда ей хотелось просто



обнять его, откинуть ему волосы со лба и смотреть, смотреть в его лицо!

Он не сел вместе с ними в коляску — опасаясь стеснить их,— а трусил рядом на «скакуне», как называл ее муж гнедого конька с неподстриженным черным хвостом, и давал пояснения к открывавшимся видам.

Эти живописные места, такие плодородные, но сохранившие что-то от первобытной дикости, с независимыми, гордыми обиталищами фермеров, с темным, приветливым, старым помещичьим домом, являли примечательное зрелище для глаз, привычных лишь к Оксфорду и Лондону. Они были восхитительны. Восхитительным показался ей даже опекун Марка. Ибо когда судьба вынуждала Горди занимать незнакомую женщину, в нем просыпалась какая-то подкупающая грубоватая галантность. И сестра его, миссис Дун, с ее старомодной благовоспитанностью, тоже оказалась очень приятной.

Оставшись одна в своей комнате, куда ее привела боковая лесенка, Анна стояла и разглядывала кровать с резными деревянными столбиками, широкое окно с частым переплетом и ситцевыми занавесями, цветы в синей вазе. Да, все было восхитительно. И все-таки... Что же было не так? Чего ей не хватало? Ах, глупо об этом думать! Он просто очень хотел поудобнее их устроить и, кроме того, боялся выдать себя. Какие у него были глаза—там, в последние дни! А теперь? Она долго, серьезно размышляла, какое ей надеть платье. Так легко смуглевшая под лучами солнца, она за неделю после отъезда из Тироля успела утратить свой заггар. Взгляд у нее сегодня был усталый, лицо бледное. И она не намерена была пренебречь никакими средствами, сулящими помощь. Месяц назад ей исполнилось тридцать шесть, а ему завтра будет девятнадцать! Она остановилась на черном. Она знала, что черное подчеркивает белизну ее шеи и необычный оттенок глаз ее и волос. Никаких украшений не надо. И не приколов даже розы к груди, она взяла белые перчатки и вышла. Муж не зашел за ней, поэтому она поднялась на несколько ступеней и вошла к нему. Его она застала уже одетым к обеду; он стоял у камина и, как обычно, слегка улыбался. О чем он думает, когда стоит вот так и улыбается? Да есть ли кровь у него в жилах?

Он чуть наклонил голову и произнес:

— Превосходно! Непорочность ночи. Черное тебе к лицу. Ну, что ж, разыщем дорогу к пиршественным языческим залам?

Они сошли вниз.

Все уже были в сборе. Для ровного счета к обеду был приглашен сосед — местный судья и сквайр, старый холостяк по фамилии Трашем. Наконец доложили, что кушать подано; все вошли в столовую. За круглым, мореного дуба столом, при свечах, под устрашающими портретами почивших предков Анна сидела между Горди и судьей. Марк оказался напротив, между забавной старушкой и молоденькой девушкой в белом, которую Анне не представили, с очень светлыми волосами и очень белой кожей, с яркими синими глазами и чуть приоткрытым ртом; вероятно, это была дочка поблекшей миссис Дун. Девочка, похожая на серебристую ночную бабочку, на голубенькую незабудку! Анне трудно было от нее оторваться; не потому, что она была красива, хотя, конечно, лицо у нее миловидное, только слабое, с этими приоткрытыми губами, мягким подбородком и каким-то страдальческим взглядом, точно ее синие, ищущие глаза живут своей собственной жизнью. Но она была молода, так молода! Вот почему не глядеть на нее было невозможно. Сильвия Дун? Сильвия... Нежное имя, поэтичное и очень к ней подходит! Всякий раз, как ей удавалось украдкой во время разговора с Горди или со сквайром Трашемом, на которых она явно произвела впечатление, взглянуть в ту сторону, где эта девочка сидела рядом с Марком, и увидеть, как эти два юных существа улыбаются, что-то говоря друг другу, сердце ее сжималось и ныло. Уж не поэтому ли исчезло в его взгляде что-то для нее очень важное? Нет, нет, это просто глупо! Если каждая его знакомая женщина или девочка будет вызывать у нее такое чувство, во что обратится для нее жизнь? И усилием воли она подавила свои страхи. Она сама сейчас выглядит превосходно; она заметила, что девочка тоже невольно заглядывалась на нее, взволнованная, чего-то ищущая и такая непереносимо юная! А он? Анна знала, что медленно, верно, неодолимо, как магнит, притягивает его к себе, видела, что он стал украдкой смотреть в ее сторону. Один раз ей удалось перехватить его взгляд.

Какие у него смятенные глаза! В них не было прежнего обожания; и все-таки она чувствовала, что может сделать так, чтобы он ее любил или мучился ревностью, может без труда зажечь его своими поцелуями, если захочет.

Обед медленно подходил к концу. Теперь предстояла минута, когда она и эта девочка очутятся лицом к лицу под взглядами престарелой мамы и зоркой старушки гувернантки. Да, это будет трудная минута. И вот она наступила, эта трудная минута и к тому же долгая, ибо Горди отсиживал за вином весь положенный срок. Но Анна недаром столько лет день за днем жила под взглядами оксфордского света: она сумела быть обаятельной, с интересом слушала, задавала вопросы, с милым акцентом произнося английские слова. Мисс Дун — скоро она была уже Сильвией — непременно должна показать ей все древности и все сокровища. А сейчас не слишком темно, чтобы выйти полюбоваться старым домом снаружи? Нет, нет, ничуть! В прихожей есть галоши. И они вышли в темноту — впереди Сильвия, неумолчно говорившая о чем-то, чего не слышала идущая за ней Анна, которая целиком была поглощена мыслями о том, как бы ей на минуту, ну, хотя бы на минуту остаться с Марком наедине.

Ничего примечательного в этом старом здании не было, но тут живет он — когда-нибудь, быть может, оно будет принадлежать ему. Дома по вечерам всегда кажутся такими странно живыми с освещенными окнами-глазами.

— Вон мое окно, — говорила девушка, — там, где жасмин, видите? А окно Марка сверху, вон там, под выступающим карнизом, левее. Один раз ночью...

— Что же один раз ночью?

— Да нет, это я так... Слышите? Это сова. У нас их тут страшно много. Марку они нравятся. А мне не очень. Да у нее Марк с языка не сходит!

— Его вообще ужасно интересуют все животные и птицы: он их ведь лепит. Показать вам его мастерскую? Она у него в старой теплице. Вон там, видите?

За стеклом Анна и в самом деле различила его причудливые творения, сгрудившиеся во тьме на голом полу, — фантастическое сборище маленьких чудовищ. Она сказала:

— Да, вижу, но я лучше не буду смотреть, пока он меня сам сюда не приведет.

— Сюда-то он вас непременно приведет. Для него это самое главное в жизни.

Несмотря на решимость быть предельно осмотрительной, Анна не удержалась и тут же спросила:

— Как? Даже главнее, чем вы?

Девочка взглянула на нее невесело и сказала:

— О, я-то не очень иду в счет.

Анна засмеялась и взяла ее под руку. Какая мягкая, юная рука! И в сердце ее кольнуло — не то ревность, не то раскаяние.

— Вы знаете, что вы прелесть как милы? — спросила она.

Девочка ничего не ответила.

— Вы его кузина?

— Нет. Горди — дядя Марку только по жене. А моя мама — сестра Горди. Так что я ему никто.

Никто!

— Понимаю: то, что называется родственные связи.

Они помолчали, быть может, любуясь ночью. Потом Сильвия сказала:

— Мне ужасно хотелось вас увидеть. Вы не такая, как я думала.

— Да? А какой же вы меня себе представляли?

— Я думала, что у вас будут черные глаза, рыжие волосы, как у венецианки, и что вы не такая высокая. У меня вообще нет фантазии.

Они уже возвращались, когда она сказала это, и свет из дверей упал прямо на нее, освещая всю ее маленькую белую фигурку. Ах, какая она вся юная, и как юно было все, что она говорила!

В ответ Анна чуть слышно сказала:

— И вы тоже... Я не думала, что вы такая.

Только теперь вышли наконец из столовой мужчины: ее муж с выражением лица, сказавшим ей, что он остался доволен тем, как его слушали; сквайр Трашем, смеющийся смехом, характерным для людей без чувства юмора; Горди, отдувающийся, ироничный, и Марк, бледный, задумчивый, будто не ведающий, что происходит вокруг. Он шагнул было к ней, но словно бы раздумал и сел подле старушки гувернантки. Почему он так сделал: по-

боялся к ней подойти или же просто увидел, что старушка сидит одна? Может быть, и поэтому.

Так прошел этот вечер, совсем иной, чем она рисовала себе в мечтах. Отбыл сквайр Трашем в своей двуколке, запряженной знаменитой кобылой, о чьих достоинствах Анна вдоволь наслышалась за время обеда. Ей дали свечу; она уже пожелала всем спокойной ночи — всем, кроме Марка. Как ей поступить, когда его рука очутится в ее руке? Они будут наедине в этом рукопожатии, силы которого никто не сможет увидеть. Сдавить ли страстно его руку или холодно отпустить? Предъявить ли свои права на него или ждать? Но она не смогла удержаться и лихорадочно сжала его ладонь. В тот же миг на его лице она опять увидела потерянное выражение, как за обедом, и сердце ее мучительно заныло. Она выпустила его руку, и, чтобы не видеть, как он прощается с этой девочкой, повернулась и поднялась к себе.

Не раздеваясь, бросилась она на кровать и так лежала, закрыв рот носовым платком и лихорадочно покусывая его уголки.

## XV

День, когда Марку исполнилось девятнадцать, вошел в тумане, медленно совок с себя и уронил на траву серые кисейные покровы и засиял, юный и сверкающий. Марк проснулся чуть свет. Из окна ему видны были в парке, уходящем вверх по склону, лишь округлые синесерые кроны дубов, как бы парящие друг над другом, и высокие валуны между ними. Обычно желание лепить с наибольшей силой охватывало его по утрам и еще по вечерам, когда это уже все равно невозможно, потому что темно. И сейчас эта тяга была в нем особенно настойчива, и сознание собственной неумелости особенно угнетало. Его рисунки, его зверушки — все это такое жалкое, непрофессиональное. О, если бы ему сегодня исполнилось не девятнадцать, а двадцать один, если б у него уже были деньги и он мог делать что хотел! Он не остался бы в Англии. Уехал бы в Афины, или в Рим, или хотя бы в Париж и работал бы, пока не почувствовал, что теперь наконец может что-то сделать. А в свободное от учения время уезжал бы изучать зверей и птиц где-нибудь в диком краю, где их много и можно наблюдать их

в естественных условиях. Глупо, что приходится сидеть в Оксфорде; но при воспоминании о том, что означает для него быть в Оксфорде, его воспарившая было фантазия, подобно птице при появлении ястреба, затрепетала, замерла в воздухе и кинулась к земле. И тяга творить тут же оставила его. Словно он проснулся утром самим собой, а потом снова самого себя утратил. Он спустился вниз, стараясь не шуметь. Засовы на двери в сад были отодвинуты, даже замок не защелкнут: видно, забыли запереть с вечера. Ох, этот вчерашний вечер! Вот уж не думал он, что будет чувствовать себя так, когда придет она,— томительно, неловко. Точно что-то его к ней тянет, а что-то удерживает. Это злило его, он сердился на себя и чуть ли не на нее. Почему он не может быть просто счастливым, как это счастливое, радостное утро? Он взял бинокль и стал разглядывать луг за рекой. Ну, конечно, вон кролики! Белые ромашки и паутина в росе — все было такое лунное, серебристое, а кролики на лугу делали картину законченно прекрасной. Вот бы добыть одного кролика для модели! Он пошел было за своим старым духовым ружьем, но потом передумал: от мертвого кролика что проку? К тому же они так весело там скачут! Он положил бинокль и пошел к теплице за своим альбомом. Ему пришло в голову залезть на ограду и оттуда зарисовать кроликов на цветущем лугу — в духе шекспировского «Сна в летнюю ночь». Но в теплице кто-то находился! Кто-то, низко наклонившись, возился с его фигурками. Да кто это посмел? Господи, Сильвия, в халатике! От ярости он похолодел, потом ему стало жарко. В этом святилище он никого не потерпит! Он не выносил даже, когда смотрели на его вещь, а она... она, кажется, их трогает! Рывком отворив дверь, он рывкнул: «Вы что здесь делаете?» И в ослеплении праведного гнева даже не заметил, как она вскрикнула, отшатнулась к стене и, пробежав мимо него, исчезла. Он подошел к своим фигуркам и увидел, что она положила каждой на голову веточку жасмина. Еще недоставало! Какой дурацкий вид! В первую минуту он ни о чем ином не мог думать, кроме этой несуразности; цветы на головах зверей! Потом его тронула искренность этой попытки придумать что-нибудь поэтичное, как-то сделать ему приятно, ибо теперь он осознал, что мастерская укра-

шена в честь его рождения. А еще через секунду он уже ужаснулся тому, что наделал. Бедняжка Сильвия! Какая же он скотина! Она рвала эти цветы, свесившись из окна и рискуя упасть, встала ранехонько поутру и прибежала сюда в халатике, чтобы устроить ему приятный сюрприз. А он что наделал! Ужасно. Теперь, когда было уже поздно, он вдруг с ясностью увидел перед собой ее испуганное бледное личико, дрожащие губы, прижавшуюся к стене фигурку. Какая она была хорошенькая с распущенными, разметавшимися волосами, точно вспугнутая маленькая фея. Он отдал бы сейчас все на свете, чтобы как-то искупить свою жестокость. Покровительственное чувство, которое он всегда к ней немножко испытывал с тех, очевидно, еще времен, когда ему приходилось защищать ее от вымышленных ею быков, чувство признательности за ее неизменное дружелюбие и тепло и еще какое-то другое чувство — все сейчас вдруг достигло мучительной остроты. Во что бы то ни стало надо заслужить ее прощение! Он бегом вернулся в дом и на цыпочках поднялся к ее комнате. Долго прислушивался, но из-за двери не доносилось ни шороха. Тогда он тихонько, ногтем постучался и, приложив губы к замочной скважине, шепотом позвал: «Сильвия!» Он снова и снова повторял ее имя, попробовал даже нажать ручку двери, думая чуть-чуть приоткрыть ее, но дверь была заперта изнутри. Один раз ему послышалось приглушенное рыдание, и на душе у него стало совсем скверно. Но она не отзывалась, не хотела, чтобы он ее утешил. Он отошел от двери. Он согласен: он заслужил это; но ему очень тяжело. И, совершенно упав духом, он прошел к себе, взял листок бумаги и попробовал написать:

«Милая, дорогая Сильвия!

С вашей стороны было ужасно мило посадить звездочки на моих зверей. Вы это просто замечательно придумали. А я, конечно, ужасный негодяй, но если б я знал, для чего вы пришли в мастерскую, я бы только обрадовался. Ну, пожалуйста, простите меня. Я знаю, что я очень виноват,— но простите меня хотя бы ради моего рождения.

Ваш виноватый *Марк*».

С запиской в руках он спустился по лестнице, подсунул ее Сильвии под дверь, стукнул легонько, чтобы она заметила, и ушел. Теперь на душе у него стало полегче, и он снова вышел в сад.

В теплице, усевшись на табурет, он стал раскаянно разглядывать своих венценосных зверушек. Это были овца, индюк, ворона, две голубки, лошадка и еще кое-какие неоконченные фигурки. Сильвия прилепляла им жасмин на головы с помощью крохотного шарика мокрой глины, и он прервал ее, видимо, как раз в ту минуту, когда она пыталась приладить веточку в клюве у голубки, потому что цветок теперь болтался под клювом на тоненькой полоске глины. Он отлепил его и вставил себе в петлицу. Бедняжка Сильвия! Она принимает все так близко к сердцу! Надо сегодня целый день быть к ней особенно внимательным. Покачиваясь на табурете, он глядел на ту стену, к которой она прижималась, и видел мягкую линию ее подбородка и шеи. Странно, что он может представить себе только это — как трепетало ее белое, нежное горло. Это он заставил ее горло так трепетать! Время до завтрака тянулось бесконечно.

Перед завтраком он бродил у лестницы, надеясь, что она спустится первая. Наконец раздались шаги, он спрятался за дверь в столовую, чтобы при виде его она сразу не повернула обратно, и затаил дыхание. Он уже придумал, что сделать: он преклонит колени, поцелует ей руку и скажет: «Дульцинея из Тобосо — прекраснейшая дама в мире, я же злосчастнейший на земле рыцарь» — любимые слова из любимого «Дон Кихота». Она его тогда обязательно простит, и на сердце у него опять будет легко. Она не стала бы его мучить, если бы знала только, как он страдает. Для этого она слишком нежна и добра. Но увы! По лестнице спускалась не Сильвия; это была Анна, свежая после сна, с зелеными льдистыми глазами и яркими волосами. И, охваченный внезапной антипатией к этой сильной, высокой женщине, Марк стоял и молчал. Так прошла эта их первая минута с глазу на глаз, которую в мечтах он столько раз проводил в ее объятии. Они даже не поцеловались. И сразу же стали один за другим появляться остальные. Но Сильвии не было — миссис Дун сказала, что она лежит с головной болью и сегодня не выйдет.



Ее подарок — книга «Сартор Резартус»<sup>1</sup> с надписью «Марку от Сильвии, 1 августа 1880 года» — лежал на буфете вместе с чеком от Горди, жемчужной булавкой от миссис Дун, «Камнями Венеции»<sup>2</sup> от старушки Тринг и еще одним пакетиком в папиросной бумаге, содержащим четыре шелковых галстука переходящих тонов — от зеленого в синий и красный, — за вязанием которых скоротали немало часов, мечтая о том, как он их будет носить. Он сумел надлежащим образом выразить свою признательность, но признавал ли он в тот миг, что вплетено было в это вязание?

Нет.

Дни рождений, как и дни рождества, сотворены для разочарований. Всегда это притворное, заранее расписанное веселье — всегда это дуло к виску: «Веселись, кому говорят!» Как мог он радоваться, когда наверху лежала в своей комнате Сильвия, больная от его грубости! Видение ее белого горла, трепещущего, глотающего свою обиду, преследовало его, словно маленький беленький призрак, всю дорогу, пока они ехали на дальнюю вересковую пустошь, витало перед ним во время пикника и всю долгую дорогу обратно, и поэтому, когда Анна прикоснулась к нему или глядела на него, у него не хватало духу ей ответить, он не искал случая побыть с ней наедине, скорее, напротив, избегал этого.

Когда же они снова очутились дома и Анна шепотом спросила:

— В чем дело? Чем я провинилась? — он смог только пробормотать в смущении:

— Ни в чем. Просто я вел себя, как последний негодяй.

Напрасно она пыталась прочесть на его лице объяснение столь загадочному ответу.

— Это из-за моего мужа?

Ну, тут-то он, во всяком случае, мог ответить:

— О, нет, нет!

— Тогда из-за чего же? Скажите!

Они стояли в маленькой прихожей и делали вид, буд-

---

<sup>1</sup> Тракта́т об искусстве английско́го писателя Т. Карлейля.

<sup>2</sup> Кни́га английско́го критика и искусствоведа Дж. Рескина.

то разглядывают испокон веков висевшее там старинное родословное древо, вокруг которого со всех сторон изображены были во множестве маленькие дельфинчики и крохотные каравеллы, на всех парусах спешащие в гавань.

— Скажите мне, Марк. Я не хочу страдать!

Что мог он ей сказать, когда он и сам не знал? Он замялся, начал было что-то говорить, но так ничего и не смог из себя выдавить.

— Из-за этой девочки?

Он вздрогнул, отвел глаза и ответил:

— Разумеется, нет.

Она поежилась, словно от холода, и ушла. А он остался и глядел на геральдическое древо с гнетущим, запутанным чувством, в котором смешались стыд, раздражение, жалость, досада, страх. Что же это он сделал, что сказал, что утратил? У него сейчас было такое ощущение, какое мучает человека, когда он сознает, что был недостаточно добр и не совсем искренен, а мог бы быть гораздо добрее, держись он еще чуть менее искренне. Ах, как все у него перепуталось! И на душе было мрачно, по-зимнему беспросветно, словно его уж больше никто на свете не любит.

Потом он вдруг увидел, что рядом с ним стоит его профессор.

— А, друг Леннан! Разглядываем прошлое с высоты неромантического сегодня? Эти старые родословные очень милы. Дельфины особенно хороши.

Нелегко было взять себя в руки и держаться учтиво. Почему старик Стормер всегда так над всем издевается? Он едва сумел ответить:

— Да, сэр. Мне бы хотелось иметь такого дельфинчика.

— На свете много лун, которые нам хотелось бы иметь, Леннан, однако ни одна из них не падает с неба по нашему желанию.

Голос его звучал почти серьезно, и раздражение Марка пропало. Ему было грустно, но почему, он не знал.

— А пока,— услышал он голос профессора,— следует пойти переодеться к обеду.

Когда он спустился в гостиную, Анна в своем лунном платье сидела на диване и болтала... с Сильвией! Он не

стал подходить к ним: ведь ни той, ни другой, думал он, это не могло быть приятно. Но ему, плохо знавшему женщин, показалось странным, что она так оживленно разговаривает с Сильвией, когда сама всего лишь полчаса назад спрашивала у него: «Из-за этой девочки?»

За обедом он сидел с ней рядом. И опять ему было непонятно, как она может так безмятежно смеяться рассказам Горди. Тогда, выходит, их разговор шепотом в прихожей ничего не значил? И Сильвия на него не смотрела: он был убежден, что она отводит глаза просто потому, что чувствует, как он на нее смотрит. И в душе у него подымалась обида: в нем все в тот вечер вызывало обиду. Это несправедливо, с ним обращаются, как с отверженным, а за что — неизвестно. Он ведь не хотел их обидеть — ни ту, ни другую. Почему же они хотят во что бы то ни стало причинить ему боль? И тогда он вдруг почувствовал, что для него все это не имеет значения. Пусть себе обращаются с ним, как вздумают, на свете есть еще много другого, помимо любви! Раз они в нем не нуждаются, он в них не нуждается тоже! И со всем увлечением юности он отдался этому новому горькому, хмельному чувству головокружительного безразличия. Но даже и дни рождения имеют конец. И тогда чувства и мысли, представлявшиеся такими важными, растворяются и перестают существовать в небытии сна.

## XVI.

Если для Марка день его рождения был днем смятенных разочарований, то для Анны он был воистину медленной пыткой: ведь для нее не было утешения в мысли, что на свете есть еще много другого, помимо любви. Но утро вернуло ей долю прежней уверенности, открыло ей меру собственного вчерашнего безрассудства, принесло возрожденную надежду. Нет! Не может быть, чтобы за две недели она утратила то, что она так прочно завоевала! Надо только быть решительной. Не отдавать того, что ей принадлежит. Неужели после всех этих пустых лет так и не настанет ее час? Что ж ей, сидеть безропотно и смотреть, как какая-то глупенькая девочка выхватывает у нее из рук то, что принадлежит ей по праву? Нет, тысячу раз нет! И она стала ждать случая.

В полдень она видела, как он с удочкой ушел к реке. Теперь надо было немного переждать, пока Горди с управляющим находится возле теннисной площадки. Когда путь освободился, она выскользнула из дому и побежала к воротам парка. Очутившись в парке, она почувствовала себя в безопасности: муж, она знала, сидит у себя и работает; эта девочка где-то прячется; старая гувернантка занята хозяйственными заботами; миссис Дун пишет письма. Она исполнилась храбрости и надежды. Старый, густой, заросший парк, в котором она еще не бывала, показался ей прекрасным — здесь только и устраивать лесным нимфам свидания с фавнами, среди этих мшистых стволов, в высоких зарослях папоротников между крутыми валунами. Она шла вдоль стены по направлению к речке, но калитки все не было, и она уже стала беспокоиться, что идет не туда. За оградой слышно было журчание, и Анна решила подыскать дерево поудобнее, чтобы можно было на него залезть и как следует оглядеться. Она выбрала старый, развесистый ясень. Вскрабкалась на развилку и посмотрела через стену. Совсем рядом речка катила свои темные чистые воды под густой завесой листвы. На берегу лежал огромный камень, а на нем другой, почти такой же огромный. И у этого камня стоял Марк, прислонив к нему удочку. А на траве, упершись локтями в колени и положив подбородок на руки, сидела эта девочка и снизу вверх смотрела на него. Какое оживленное было у него лицо — как непохоже оно было на угрюмое вчерашнее!

— Только и всего. Право же, вы могли бы меня простить, Сильвия!

И Анне вдруг почудилось, что два этих юных лица слились в одно лицо юности!

Гляди она на них хоть всю жизнь, и тогда бы у нее на сердце так не запечатлелось это видение. Видение Весны, видение всего, чего ей уже не вернуть никогда! Сама не зная как, она соскользнула по стволу старого ясеня и, точно раненый зверь, понеслась прочь, спотыкаясь среди камней и кустов. Так она бежала, наверно, с четверть мили, потом вскинула кверху руки и упала на папоротники вниз лицом. Сначала ей так теснило грудь, что она ничего не чувствовала, кроме физической боли. О, если б она могла сейчас умереть! Но она

знала, что просто задохнулась от бега. Боль эта скоро прошла, и ту, что пришла ей на смену, Анна тщетно пыталась прогнать, прижимаясь грудью к земле, ломая в пальцах стебли папоротников,— мука непереносимая, страшная пустота в сердце! Юность уходит к юности! Ей его не вернуть. Опять одиночество! Она не плакала: что проку в слезах? Но ее снова и снова захлестывали волны стыда — стыда и ярости. Вот, оказывается, и вся ей цена! Солнце жгло ей спину сквозь папоротники, под которыми она лежала. Она почувствовала слабость, дурноту. Она и сама не знала, как много значила для нее любовь к этому юноше, как крепко была связана с ней вся ее вера в себя, вся ее уходящая молодость. Как горько! Какая-то глупенькая беленькая девочка, молоденькая девочка — и она, Анна, забыта! Но полно, так ли это? Разве не может она еще и сейчас вырвать его и вернуть себе силою страсти, о которой эта девочка ничего не знает? Конечно, о, конечно же, может! Пусть только однажды вкусит он блаженства, которое она может ему подарить! При этой мысли пальцы ее перестали ломать стебли папоротника, и она лежала теперь на земле, неподвижная, как камни вокруг. Разве это невозможно? Разве поздно попытаться даже сейчас? Все чувства покинули ее, остался лишь этот трепет сомнения — она словно застыла в трансе. Зачем она будет щадить эту девочку? К чему колебания? Ведь за ней право первенства. Там, в Тироле, он принадлежал ей. Она и сейчас обладала властью над ним. В тот первый вечер за обедом она сумела привлечь к себе его взоры, оторвать его от этой девочки, от юности, притянуть его к себе, как магнит притягивает сталь. И сейчас она может связать его узами, которые он — какое-то время, во всяком случае,— сам не захочет разорвать! Связать его? Какое гнусное слово! Завладеть им, когда он так страстно тянется к тому, чего она не может ему дать,—к юности, к белой невинности, к Весне! О, это было бы низко, низко! Она вскочила и бросилась бежать наискось по склону, не глядя, куда ступает, спотыкаясь, кружа в лабиринте валунов и густого кустарника, пока наконец не опустилась, задыхаясь, без сил, на какой-то камень. Она огляделась: парк кончился, и видна была за речной поймой далекая вершина холма, увенчанная лиственницами.

Небо высилось над нею ясное, ярко светило солнце. В вышине над холмом, под самой лазурной твердью, парил ястреб. Низость! До этого она никогда не дойдет! Не одурманит его, не опутает его узами чувственности, всем, что в нем есть наименее возвышенного. Ведь она, точно мать, желает ему самого прекрасного, что только может дать жизнь. Ни за что! Это было бы подло. И в миг острой душевной муки ей представилось, что те двое там, в лучах солнца у темной воды, защищены, укрыты от нее. Личико девочки — белый цветок, трепетно воздетый кверху; взволнованный взор юноши, устремленный вниз! Как странно, что сердце, которое испытывает такие чувства, может в то же время со всей силой ненавидеть белое лилейное личико и страстно желать, чтобы ее собственные поцелуи убили это оживление в юношеском взгляде. Буря в душе ее медленно утихала. Она молила бога об одном — чтобы только ничего не ощущать. Что ж, это естественно, что она упустила свой час. Естественно, что жажда ее останется неутоленной, что страсть ее никогда не расцветет; естественно, что юность уходит к юности, что юноша тянется к себе подобным, — так и должно быть по законам самой любви. Ветерок, потянувший с реки, остудил ей щеки и принес еле ощутимое чувство облегчения. Благородство! Что это, пустое слово? Или благородными чувствуют себя те, кто оставил надежду на счастье?

Потом она долго бродила по парку. Был уже вечер, когда она вышла из ворот, в которые входила утром полная надежд. Ей удалось, ни с кем не встретившись, подняться к себе, но она не чувствовала себя в безопасности, пока не разделась и не легла в постель. Главное, чтобы не прошло это ощущение бесконечной, отупляющей усталости, чтобы духовные и физические силы не возвратились, пока она не окажется вдали от этих мест. Она не будет ни есть, ни пить — только спать, если сумеет. А утром, если есть ранний поезд, можно уехать, пока никто не встал; ее муж должен будет обо всем позаботиться, все устроить. Что он при этом подумает и что она скажет в объяснение, это еще успеется решить. Да и не все ли равно? Главное — это не встречаться больше с Марком, потому что второй раз вынести такую внутреннюю борьбу она не в силах. Она позвонила и сказала

удивленной горничной, чтобы та позвала к ней мужа. Но пока она ждала его прихода, гордость в ней возмутилась. Он не должен видеть! Это невозможно! И, встав с постели, она успела положить себе на лоб платок, смоченный одеколоном. Он явился сразу же, быстрыми бесшумными шагами вошел в комнату и остановился, глядя на нее. Не заговаривал, не спрашивал, что случилось, а просто стоял и ждал. И, как никогда прежде, ясно она поняла, что он как бы начинается там, где кончается она, начинается на том уровне, откуда, как нечто святотатственное, безжалостно изгнаны чувства и инстинкты. Она призвала всю свою храбрость и проговорила:

— Я гуляла в парке, и, наверно, солнце напекло мне голову. Мне хотелось бы завтра же утром уехать домой, если ты не против. Неприятно стеснять чужих людей.

Кажется, на его лице мелькнула улыбка, но оно сразу же сделалось серьезным.

— О, — сказал он, — разумеется. Последствия небольшого солнечного удара сказываются несколько дней. Но сможешь ли ты перенести дорогу?

И внезапно она почувствовала, что он понимает все, но, что поскольку все понимать значит для него чувствовать себя смешным, он заставляет себя верить, что ничего не знает. Благородно это с его стороны или отвратительно?

Она закрыла глаза и сказала:

— У меня сильная головная боль, но все равно я доеду. Только мне бы не хотелось подымать тут переполох. Нельзя ли нам уехать, пока они еще будут спать?

И услышала, как он ответил:

— Ну, что ж. В этом есть свои преимущества.

Затем стало совершенно тихо, но он, она знала, был еще рядом. Это немое, недвижимое присутствие — отныне вся ее жизнь. Да, да, таково ее будущее — без чувств, без движения. И, несмотря на страх, ей мучительно захотелось взглянуть на это свое будущее. Она открыла глаза. Он стоял на том же месте, в той же позе и смотрел на нее. Но его опущенная рука, как бы за рамой картины, нервно сжималась и разжималась над карманом куртки. И внезапно Анна почувствовала жалость. Не к себе или к своему будущему, воплощенному в этой картине, а к нему. Как страшно стать таким — челове-

ком, изгнавшим чувства, как страшно! И она мягко сказала:

— Мне очень жаль, Харолд.

Словно он услышал что-то странное и недопустимое, глаза его болезненно расширились, он спрятал в карман нервно сжимавшуюся руку, повернулся и вышел.

## XVII

Когда Марк нашел Сильвию у большого камня-дольмена, он мог бы удивиться больше, не зная он наверняка, что найдет ее здесь, ибо он видел, как она сюда направилась. Она сидела, поджав ноги, и смотрела на воду, и соломенная шляпка болталась у нее за спиной, открыв солнцу чуть золотящиеся волосы, в которых в ту ночь запуталась его звезда. Он неслышно подошел по траве и немного поодаль решил остановиться. Если ее спугнуть, она убежит, а у него не хватит духу за ней погнаться. Как тихо она сидит, вся охваченная своими думами! Если б увидеть, какое у нее сейчас лицо. Наконец он негромко сказал:

— Сильвия!.. Можно мне побыть тут с вами?

И, видя, что она не шевельнулась, он подошел. Не может быть, чтобы она все еще на него сердилась!

— Большое вам спасибо за подарок — такая красивая книга!

Сильвия не ответила. Он прислонил удочку к камню и вздохнул. Ее молчание было несправедливо; что же, интересно, он должен, по ее мнению, сказать или сделать? Стоит ли жить, право, если вот так все и держать про себя?

— Я ведь не хотел вас обидеть. Я ужасно не люблю никого обижать. Просто мои фигурки такие плохие, я не могу, когда на них смотрят, а особенно вы; я хочу, чтобы вам было приятно, честное слово. Вот. Только и всего. Право же, вы могли бы меня простить, Сильвия!

За оградой слышалось какое-то движение, зашуршали листья, в папоротниках что-то метнулось — олень, должно быть. И он повторил, мягко, настойчиво:

— Право же, вы могли бы не мучить меня, ну, Сильвия!

Она отвернулась и скороговоркой произнесла:



— Теперь уже не в этом дело. Теперь уже совсем другое.

— Другое? Но что же?

— Ничего... просто я теперь не иду в счет... когда...

Он стал возле нее на колени. Что она подразумевала? Но разве он не знал, что?

— Как так вы не идете в счет? Больше всех идете! Ну, пожалуйста, Сильвия, развеселитесь! Я так не люблю, когда грустят! Не грустите же, Сильвия!

И он стал ласково гладить ее по руке. На душе у него было странно, смутенно; ясно понимал он только одно: что не должен ни в чем признаваться. И, словно угадав эту мысль, ее глаза вдруг заглянули ему прямо в душу. Она вырвала несколько травинок и сказала, заплетая их в косичку:

— Теперь она идет в счет.

Вот оно! Нет, он не станет отрицать. Это было бы предательством. Даже если она больше и не идет в счет — да и так ли это? — все равно сказать такое было бы низко, подло. В глазах у него вновь появилось то выражение, из-за которого профессор сравнил его однажды с попавшим в беду львенком.

Сильвия тронула его рукав.

— Марк!

— Что?

— Не надо.

Он встал и взял удочку. Что проку оставаться здесь, когда он не может, не должен говорить?

— Вы уходите?

— Да.

— Вы сердитесь? Ой, пожалуйста, не сердитесь на меня.

Он почувствовал комок в горле, наклонился и поцеловал ее руку, потом вскинул удочку на плечо и зашагал прочь. Оглянувшись на ходу, он видел, что она сидит все так же, под большим камнем, и глядит ему вслед, маленькая, одинокая. У него было такое чувство, что ему некуда сейчас идти, что его место — лишь среди птиц, зверей и деревьев, которым все равно, даже если на душе у тебя смутно и тяжело. Он лег в траву у реки. Видно было, как маленькие форельки выются в воде над камнями; а в воздухе низко над ним носились взад-впе-

ред ласточки; лохматый шершень прилетел и побыл с ним немножко. Но его ничто не развлекало, точно дух его был в заточении. О, если бы стать этой водою, бежать, не останавливаясь, все дальше, дальше; или ветром, что притрагивается ко всему, но никогда никому не дается в руки! Что бы ты ни делал, обязательно причинишь кому-то боль — вот что ужасно. Быть бы, как эти цветы: вырос, прожил свою жизнь сам по себе — и нет тебя! А сейчас что бы ты ни сказал, ни сделал, все будет либо ложь, либо жестокость. Остается только не показываться никому на глаза. Но как можно не показываться на глаза собственным гостям?

Он вернулся домой ко второму завтраку, но оба гостя отсутствовали, — где они, никто толком не знал. Несчастный, потерянный, обескураженный, слонялся он повсюду до самого вечера. А перед обедом ему сообщили, что миссис Стормер плохо себя чувствует и что завтра они уезжают. Уезжают — не прошло и трех дней! Он еще больше затосковал и растерялся. И окончательно погрузился в унылое безмолвие. Он понимал, что привлекает к себе внимание, но ничего не мог с собой сделать. Несколько раз за время обеда он ловил на себе пытливый взгляд Горди из-под припухших полуопущенных век. Но он просто не мог выговорить ни слова. Все, что приходило ему в голову, было фальшь, ложь. О, как печален был этот вечер, отмеченный неотступным видением чужой душевной раны, за сердце хватающим чувством какого-то конца, не сбывшихся чужих надежд. И вместе с тем непроходящим чувством растерянности, недоумения: «Разве я мог что-нибудь с этим поделать?» И все время — жалобное лицо Сильвии, на которое он изо всех сил старался не смотреть.

Он ушел, оставив Горди и своего профессора за недопитым вином, и долго блуждал по саду, печально слушая, как кричат совы. С облегчением он вздохнул, только когда можно уже было наконец подняться к себе, хотя, разумеется, уснуть он и не мечтал.

Однако он уснул. И спал всю ночь, и видел сны, и под утро ему приснилось, что он лежит на склоне горы и Анна, заглядывая ему в глаза, все ниже наклоняется над ним. Он проснулся, когда ее губы коснулись его губ. Весь еще во власти этого смятенного сновидения, он

вдруг осознал, что за окном слышен скрип колес и стук лошадиных подков по гравию. Он выскочил из постели. Так и есть: от крыльца отъезжала коляска, на козлах возвышался старый Годден, возле него — чемоданы и картонки, а в коляске друг против друга сидели Стормеры. Уезжают вот так, даже не попрощавшись! На мгновение он испытал такое чувство, какое бывает, наверно, у человека, неумышленно сделавшегося убийцей: он застыл, совершенно подавленный и несчастный. Но потом с отчаянной торопливостью принялся одеваться. Он не позволит ей так уехать! Он должен во что бы то ни стало еще раз ее увидеть! Что он сделал, почему она вдруг уезжает? Он ринулся вниз по лестнице. В гостиной никого. Без девятнадцати минут восемь! Поезд отходит в восемь ровно. Довольно ли времени, чтобы оседлать Болеро? Он бегом бросился в конюшню, но лошади там не оказалось: ее увели в кузницу. Но он все равно непременно должен поспеть. Тогда она по крайней мере увидит, что он не окончательный подлец. До поворота он шел, потом бросился бежать. Уже через четверть мили на душе у него сделалось гораздо легче, он перестал чувствовать себя таким виноватым и несчастным, — все-таки это совсем другое дело, когда перед тобою трудная задача и все прочее ушло на задний план: надо экономить силы, выбирать на бегу кратчайший путь, держаться теневой стороны, стараться не задохнуться, когда бежишь в гору, и лететь, набирая скорость, когда дорога идет под уклон. Было еще прохладно, и роса прибила пыль; никто не ехал навстречу, и не было пешеходов, которые останавливались бы и глядели ему вслед. Что он сделает, если добежит в срок, как будет объяснять этот сумасшедший трехмильный пробег, — об этом он не думал. Осталась позади ферма, которая, как он знал, находится как раз на полпути. Часы он не взял. Собственно говоря, он успел натянуть только брюки, рубашку и куртку — ни галстука, ни шляпы, ни даже носков под теннисными туфлями на нем не было. От бега он страшно разгорячился, волосы развевались — необычное зрелище для всякого, кто бы ни повстречался по пути. Но он утратил все чувства, кроме воли добежать. С поля на дорогу высыпало стадо овец. Он пробрался между ними, но потерял несколько секунд.

Осталось больше мили; а он уже задыхается, и у него вот-вот подкосятся ноги! С горы они, правда, бегут сами собой, но впереди — ровный участок пути, ведущий к станции; и уже слышно, как поезд, неторопливо пыхтя, катит по долине. Тут, усталости вопреки, дух его воспрянул. Нет, он не влетит на перрон совершенным чучелом, в полном изнеможении, на радость зрителям. Надо будет под конец взять себя в руки и войти легким шагом, словно с прогулки, от нечего делать. Но как? Ведь он того и гляди рухнет прямо в пыль и так и останется лежать навеки! И он попытался на бегу, как мог, стереть пот и пыль с лица, отряхнуть одежду. Вон уж и вход на перрон — осталось ярдов двести. Поезда он больше не слышал. Должно быть, стоит уже у платформы. Из его перетруженных легких вырвалось рыдание. Уже у входа на перрон он услышал свисток кондуктора. И тогда, не подымаясь к кассе, он свернул и побежал вдоль перронной ограды. Там был открыт багажный выход, Марк устремился в него и едва успел отпрянуть в заросли жи-моности: мимо медленно двинулся паровоз. Марк провел рукавом по лицу, чтобы смахнуть пот. Перед глазами у него все плыло. Нет, он должен увидеть ее: не для того же он все-таки успел, добежал, чтобы так ее и не увидеть! Он провел ладонями снизу вверх по лбу и волосам и, преодолевая дурноту, стал глядеть на медленно идущий мимо поезд. Вон она, в окне! Стоит и смотрит! Он не выступил вперед, потому что боялся упасть, но протянул руку!.. Она заметила его. Да, да, она заметила! Подаст ли она ему знак? Неужели не подаст? И тут он вдруг увидел, как она рванула платье у себя на груди, выхватила что-то и бросила к его ногам. Он не поднял: он хотел до последнего мгновения видеть ее лицо. Оно было чудесным — бледное и очень гордое. Она поднесла руку к губам. Потом перед глазами у него опять все затуманилось, а когда он пришел в себя, поезда уже не было. Но у ног его осталось то, что она ему бросила.

Он нагнулся, поднял — темный, засохший, на его ладони лежал тот самый цветок, который она в Тироле однажды ему подарила, а потом похитила из его петли.

Едва живой, Марк пробрался позади пакгауза на луг и долго лежал там ничком, прижимаясь лбом к сухо-

му, темному цветку, все еще источавшему какой-то свой аромат...

Оказалось, что опекун не зря так внимательно поглядывал на него из-под опухших полуопущенных век. Марк не вернулся в Оксфорд. Вместо этого он поехал в Рим — жить в доме сестры и посещать школу ваяния. Так начался период в его жизни, когда, кроме его работы, ничто не шло в счет.

Он дважды писал Анне, но ответа не получил. От профессора же пришло короткое письмо:

«Мой дорогой Леннан!

Итак, Вы покидаете нас для Искусства? Увы. Впрочем, что ж, насколько мне помнится, это Ваша луна, одна из Ваших лун. Достойное светило, слегка запыленное в наши дни, но для вас, без сомнения, оно — девственная богиня, у коей лишь края одежд, и т. д.

Вашему отступничеству вопреки мы сохраним о Вас самые дружественные воспоминания.

Некогда Ваш наставник и по-прежнему Ваш друг

*Харолд Стормер».*

С того лета прошло много, очень много времени, прежде чем он снова увидел Сильвию.

## ЧАСТЬ II

### ЛЕТО

#### I

Сияние тысячи огней; говор и бормотание несчетных голосов, смех, шарканье ног по плитам тротуаров; свист и грохот стремительных поездов, увозящих игроков назад в Ниццу, в Ментону; отчаянное пиликанье четверки смуглокожих бледных скрипачей у входа в кафе; и над всем, отовсюду, со всех сторон — темное небо, и темные горы, и темное море, точно гигантский темный цветок, в чью сердцевину впился переливающийся всеми красками жук. Таким было Монте-Карло в эту майскую ночь 1887 года.

Но Марк Леннан, сидевший за мраморным столиком, был слишком во власти обуревавших его чувств и восторгов, чтобы замечать этот блеск и сутолоку и даже эту красоту. Он сидел так неподвижно, что соседи по столику с той естественной неприязнью, какую всегда вызывает у представителей рода человеческого все, что слишком отличается от их собственного настроения, раз поглядев на него, спешили отвести глаза, словно от чего-то несуразного, даже возмутительного.

А он был поглощен воспоминаниями о только что пережитых мгновениях. Ибо оно пришло наконец после стольких недель томительного ожидания, после всего этого странного смятенного времени.

Оно подкрадывалось к нему незаметно с самой той случайной встречи почти год назад, когда он только что

возвратился в Лондон после шести лет жизни в Риме и в Париже. Сначала это было просто дружеское расположение, потому что она с интересом отнеслась к его работе; потом почтительное поклонение, ибо она была прекрасна; потом сострадание, так как она была несчастлива в замужестве. Будь она счастлива, он бы бежал, уехал. Сознание, что она страдала еще задолго до того, как появился он, успокаивало его совесть. И вот наконец однажды она сказала: «Ах, если бы вы тоже могли туда приехать!» Как чудесно, как тонко было воздействие этого одного случайно сорвавшегося признания на всю его душу, словно раз прозвучав, оно обрело собственную жизнь, как сказочная птица, что залетела в сад его сердца и поселилась в нем со своей незнакомой песней, с трепыханием крыл и горным полетом и со своим тоскливым, день ото дня все более настойчивым зовом! Это, и еще одно мгновение, несколько дней спустя, когда у нее в гостиной он сказал ей, что едет тоже, а она, он чувствовал, не смогла, не отважилась поднять на него глаза. Как странно, ведь ничего значительного не было сказано, сделано или не сделано, а между тем все будущее оказалось перевернутым!

Потом она уехала — с теткой и дядей, под чьим крылышком с ней заведомо не должно было произойти ничего непредусмотренного и экзотического. И он получил от нее такое письмо:

«Монте-Карло.  
Отель «Золотое Сердце».

Дорогой Марк!

Мы приехали. Приятно очутиться на солнышке. Здесь чудесные цветы. Я откладываю Горбио и Рокбрюн до Вашего приезда.

Ваш друг Олив Крэмьер».

Письмо это осталось у него единственным отчетливым воспоминанием от тех дней, которые прошли между ее отъездом и его собственным. Оно пришло днем, когда он сидел на низкой садовой ограде и весеннее солнце сияло сквозь ветки яблонь в цвету, и у него было такое чувство, будто все счастье мира лежало перед ним и

стоило лишь протянуть руки, чтобы заключить ее в свои объятия.

После этого — что-то туманное, беспокойное, все, как в дымке, пока в конце путешествия он не ступил на перрон Болье, чувствуя, как отчаянно колотится у него сердце. Но почему? Неужели он ждал, что она приедет из Монте-Карло его встречать?

С тех пор в одном неослабном стремлении быть подле нее и не показать другим, как это для него важно, прошла неделя; два концерта, две прогулки с нею наедине, когда, что бы он ни говорил, все оставалось не сказано, и все, что бы она ни отвечала, было лишь отзвуком того, что он жаждал услышать; неделя смятения чувств, семь дней и семь ночей, пока сегодня, вот только что, она не обронила на пыльную дорогу свой платок, а он поднял его и прижал к губам. Теперь ничто не отнимет у него взгляда, которым она на него посмотрела. Ничто на свете не сможет отныне сделать их чужими. Этим взглядом она призналась в той же сладостной, робкой беде, что теснила и его грудь. Она ничего не сказала, но он видел, как приоткрылись ее губы, как вздымалась и опускалась грудь. Он тоже ничего не сказал. Зачем слова?

Он засунул руку в карман. Там, у него под пальцами, лежал комочек кружев и батиста, мягчайший и словно бы живой. Он украдкой вынул его из кармана. Будто сама она, благоуханная, коснулась его лица в этом прикосновении батистовой каймы с белыми жесткими звездочками. Осторожно, чтобы никто не заметил, он положил платок в карман и впервые огляделся. О, эти люди! Они принадлежат к миру, который он покинул. Они вызывали у него такое же чувство, как ее тетка с дядей, когда они только что прощались с ним, чтобы вместе с нею скрыться в подъезде гостиницы. Любезный полковник и милейшая миссис Эркотт! Подлинное воплощение того мира, который его взрастил, воплощение британского взгляда на вещи; две символические фигуры здоровья, разума и прямого пути, с которого он-то как раз теперь свернул. Лицо полковника в профиль, красное сквозь загар, с седыми, не знающими ни воска, ни фабры усами, его высокий жизнерадостный голос: «Доброй ночи, Леннан!» Изысканная улыбка его жены, ровные, уверенные, тусклые ее интонации — как далеко, как



чуждо ему теперь все это стало! И вот эти люди, которые пьют и болтают здесь,— до чего они странны, до чего ему чужды! Или это он чужд и странен им?

И, встав из-за столика, он мимо смуглокожих бледных скрипачей вышел на площадь.

## II

По узкому переулку он подошел к ее гостинице и остановился у решетчатой ограды сада — одного из тех садов, которые существуют при гостиницах лишь для упоминания в проспектах: несколько худосочных пальм, зияющие белые дорожки между ними, а по краю — пыльные кусты сирени и мимозы.

И вдруг его посетило странное чувство — ему показалось, что он уже был здесь, вот так же стоял и смотрел сквозь цветы на зияющие дорожки и на закрытые ставни. В воздухе стоял запах древесного дыма, и какое-то сухое растение еле слышно шелестело на чуть заметном ветерке. Что связано было в его памяти с этой ночью, с этим садом? Что-то темное, ароматное, невидимое, ощутить чье присутствие значило одновременно испытать и блаженство и жгучую жажду, которой нет утоления.

Он пошел дальше. Все дома, дома! Наконец он оставил их позади и шагнул один по шоссе, уже за пределами Монако. Он шел сквозь ночь, обуреваемый чувствами, каких, думалось ему, не переживал до него ни один человек. Сознание, что она его любит, породило в нем чувство благоговения и ответственности. Как бы он ни поступал, главное — не причинить вреда ей. Женщины так беззащитны!

Несмотря на шесть лет пребывания в Париже и в Риме, он сохранил целомудренное благоговение перед женщинами. Если бы она любила своего мужа, от него она была бы ограждена; но быть вынужденной делить жизнь с мужем, который ей неприятен,— это вызывало его негодование еще до того, как он ее полюбил. Как может человек требовать подобного? Как можно иметь так мало гордости, так мало сострадания? Это непростительно. Что можно уважать в таком браке? Только бы не причинить ей вреда! Но теперь, когда ее глаза сказали:



«ТЕМНЫЙ ЦВЕТOK»



«ТЕМНЫЙ ЦВЕТOK»

«Я люблю тебя!»... Что же теперь? Разве не чудо — сознать это здесь, под звездами теплой южной ночи, воскуряющей фимиам деревьев и цветов!

Он взобрался на склон над дорогой и лег там. О, если бы она была сейчас рядом с ним! Благоухание остывшей земли наполнило его ноздри; и на одно мгновение ему почудилось, что она и вправду рядом. О, если бы удержать ее навеки подле себя в этом объятии, которого не было, в этом призрачном блаженстве, на этой дикой благоуханной постели, которую никогда еще не мяли любовники, — только кузнечики и цветы; только солнечный луч и лунный и отброшенные ими тени; только ветер, целующий землю!.. Но она исчезла. Его ладони нащупали лишь ломкие, сухие сосновые иглы да спящий цвет дикого тимьяна на откосе.

Он стоял у обрыва над дорогой, тянувшейся между темными горами и черным от глубины морем, — слишком уж запоздалый путник, чтобы ждать встречи хоть с одним прохожим, и такой далекий от мыслей и дел человеческих, как сама эта теплом дышащая ночь. Снова и снова рисовал он перед собой ее лицо: глаза, ясные, карие, широко расставленные; плотно сомкнутые милые губы, темные волосы — всю ее окрыленную прелесть.

Потом он спрыгнул на дорогу и побежал — не идти же просто шагом, когда на твою долю выпало чудо, до тебя никем не изведенное, — чудо любви.

### III

В номере респектабельнейшего отеля «Золотое Сердце», с тех пор давно уже перестроенного и переименованного, миссис Эркотт лежала в своей кровати с бронзовыми спинками и при свете звезд смотрела на полковника, лежавшего на другой кровати с бронзовыми спинками. Уши ее намеренно не касались подушки, ибо, кажется, она слышала комара. Вот уже тридцать лет верная спутница человека, чья жизнь вся была размечена лихорадящим вниманием этих крохотных тварей, она их очень не любила. В этом — и, быть может, только в этом — воображение ее оказывалось сильнее, чем ее здравый смысл, ибо, вообще-то говоря, никакого комара там не было и быть не могло, поскольку полковник

по приезде в любое место, расположенное к югу от 46-й параллели, начинал с того, что распахивал окна во всю ширь и с помощью множества мелких кнопок укреплял поперек этого освежающего пространства противомоскитную сетку, в то время как супруга крепко держала его за фалды. То обстоятельство, что другие так не делают, не смущало полковника, который, будучи настоящим англичанином, любил поступать по-своему, а думать, как другие. После этого они ждали наступления ночи, а тогда зажигали особую горелочку, от которой исходил особый аромат, и при полном свете газа оба взгромождались на стулья, держа каждый по туфле и не сводя глаз с реально существующих и воображаемых насекомых. Слышались легкие шлепки, оставлявшие следы на стенах, и негромкие возгласы, радостные или плачевные: «Ага, этого я прикончил!», «Ах, Джон, я промахнулась!» А посреди комнаты в пижаме и в очках (надеваемых лишь в наиболее важных случаях жизни и притом на самый кончик носа) стоял и медленно обращался вокруг своей оси полковник, водя взором, издавна и неизменно выражавшим бесстрашие перед лицом смерти, дюйм за дюймом по стенам и потолку, пока наконец удовлетворенно не восклицал: «Ну, Долли, кажется, все». На что она отвечала: «Поцелуй меня, милый!», — и он целовал ее и укладывался в постель.

И потому комара там быть не могло, разве только призрак комара в заботливой душе той, кто была так предана своему мужу. Видя перед собой его профиль — ибо он лежал на спине, — она не спросила: «Ты спишь, Джон?» Размеренный, прерывистый звук исходил из его носа, которому, от природы прямому, добросовестное выполнение обязанностей солдата придало небольшую горбинку в полудюйме под седыми бровями, приподнятыми, словно они удивлялись этому звуку. Она едва различала его, но все-таки подумала: «Какое у него хорошее лицо!» Так оно и было. Лицо человека, не способного ко злу, во сне светившееся ясностью, какая бывает присуща лишь тому, кто в душе ребенок, кто, не зная, как богата приключениями жизнь духа, искал приключений в бродячей солдатской жизни. Потом она все-таки позвала:

— Джон! Ты не спишь?

Полковник, в ту же секунду очнувшись, как в старину при тревоге, откликнулся:

— Сплю.

— Бедный молодой человек!

— Который молодой человек?

— Да Марк Леннан. Разве ты не видел?

— Чего?

— Дорогой мой, ведь это было у тебя под носом. Но ты никогда не замечаешь таких вещей.

Полковник медленно повернул голову. Его жена — женщина с фантазиями. И всегда была такой. Он смутно предвидел, что сейчас она произнесет нечто романтическое. Но с той почти профессиональной деликатностью, какая бывает свойственна мужчине, срубившему в свое время немало вражьих голов, он поинтересовался:

— Каких именно?

— Он поднял ее платок.

— Чей?

— Платок Олив. И положил к себе в карман. Я ясно видела.

Наступило молчание, потом снова прозвучал голос миссис Эркотт, отвлеченный, философствующий:

— Одно меня всегда удивляет в молодых людях: как это они воображают, будто никто ничего не видит, бедняжки?

Снова молчание.

— Джон! О чем ты думаешь?

От него исходило теперь не прерывистое, ровное сопение, а ясное и довольно шумное дыхание — верный знак для его жены.

Полковник и в самом деле думал. Долли, конечно, женщина с фантазиями, но что-то подсказывало ему, что на этот раз она вовсе не столь уж далека от истины.

Миссис Эркотт приподнялась на локте. Сейчас у него лицо еще лучше, чем всегда: складка озабоченности поднялась с бровями и разошлась по давно прорезавшим лоб морщинам.

— Я очень люблю Олив, — сказал он.

Миссис Эркотт снова откинулась на подушки. Сердце ее чуть щемило — как раз в меру для женщины за пятьдесят, у мужа которой есть племянница.

— Ну еще бы! — еле слышно пробормотала она.

В душе полковника что-то дрогнуло; он протянул руку. И в темной полосе между кроватями его рука встрети-лась с другой рукой, которая сжала ее довольно сильно.

— Послушай, дорогая,— сказал полковник, и снова последовало молчание.

Миссис Эркотт тоже думала. Мысли ее были ровны и быстры, как ее голос, но они сопровождались умиленной грустью, которую всегда вызывает у женщин с добрым сердцем умственное напряжение. Бедный молодой человек! Бедняжка Олив! Но надо ли жалеть женщину, которая так хороша собой? И потом в конце-то концов у нее же есть красавец муж, член парламента, человек с будущим и, несомненно, очень ее любящий. И их лондонский дом, у самого Вестминстера,— просто игрушка; а можно ли представить что-либо очаровательнее их загородного домика у реки? Так надо ли жалеть Олив? И все-таки,.. все-таки ведь она несчастлива. Бесполезно убеждать себя, будто она счастливая жена. Легко говорить, что-де такие вещи в нашей власти, но если хоть иногда читать романы, то ясно, что это не так. Существует же несходство темпераментов. А потом еще эта разница в возрасте! Ей двадцать шесть лет, а Роберту Крэмьеру— сорок два. И вот теперь молодой Марк Леннан влюбился в нее. Что если и она в него влюблена? Тогда Джон, может быть, наконец поймет, что молодость тянется к молодости. Ведь мужчины — даже лучшие из них, как Джон, например,— так смешны! Ей бы и в голову не пришло испытывать к своим племянникам такие чувства, какие Джон откровенно питал к Олив.

Голос полковника прервал ее размышления:

— Славный молодой человек, этот Леннан! Очень жаль его. Ему надо разом перерубить, если он...

Но тут она неожиданно для себя сказала:

— А если он не может?

— Как это не может?

— Разве ты не слышал про «grande passion»? <sup>1</sup>

Полковник приподнялся на локте. Опять он убеждался, что за последние годы, пока он служил в Мадрасе и в Верхней Бирме, а здоровье Долли уже не позволяло

---

<sup>1</sup> Великая страсть (франц.).



ей жить в таком жарком климате, она понабралась без него в Лондоне довольно странных взглядов на вещи — словно бы добро было не так уж хорошо, а зло не так плохо, как... как считал он. И, повторив на свой лад эти два французских слова, он сказал:

— А разве я не то же самое говорю? Чем скорее он все порвет, тем лучше.

Но миссис Эркотт тоже села на постели.

— Не будь бесчеловечным,— сказала она.

Полковник испытал то же ощущение, какое бывает у человека, вдруг почувствовавшего, что проглоченную им пищу его желудок усвоить не в состоянии. Оттого что молодой Леннан того и гляди преступит границы порядочности, ему, полковнику, велят не быть бесчеловечным! Право, Долли иногда... В его сознание вдруг вторглось белое пятно ее нового ночного чепца. Уж не заразилась ли она заграничным духом? В ее-то годы!

— Я думаю об Олив,— сказал он.— Я не хочу, чтобы ей досаждали такими вещами.

— Олив, наверное, сама найдет выход. Теперь не принято вмешиваться в такие дела, как любовь.

— Любовь! — буркнул полковник.— Что? Чушь!

Если твоя собственная жена зовет это... вот такое... любовью, для чего же тогда он хранил ей верность все эти годы под горячими небесами? Чувство бесплодности, несправедливости всего начало было подымать в нем голову, чуждое той стороне его натуры, которая придавала определенным словам определенное значение и ставила в зависимость от этого его поступки. Бунт этот был ему внове и вызывал самые неприятные ощущения. Любовь! Есть слова, которые нельзя применять так свободно. Любовь ведет к браку, а здесь не может быть брака, разве только через... развод, суд. И в темноте перед внутренним взором полковника возник образ его покойного брата Линдсея, отца Олив,— серьезное, изжелта-бледное лицо с ясными чертами в обрамлении черных волос, доставшихся ему, как считалось, по наследству от прапрабабки-француженки, бежавшей из Франции после Варфоломеевской ночи. Он всегда был безукоризнен, брат Линдсей, даже и до того, как стал епископом. Странно как-то, что у него такая дочь, как Олив. Она, разумеется, тоже безукоризненна, вне сом-



нения. Но в ней есть какая-то мягкость. В Линдсее мягкости не было. Что если бы он увидел, как этот молодой человек кладет платок Олив себе в карман! Да верно ли, что молодой Леннан это сделал? Долли ведь женщина с фантазиями! Может, просто по ошибке, подумал, что это его платок? Понадобится высморкаться, так сразу заметит. Наряду с почти детским чистосердечием полковнику свойствен был настоящий командирский талант, дух подлинной практичности в суждениях; один наглядный пример значил для него больше, чем сто теорий. Долли — страстная любительница развивать всякие теории. Слава богу, в жизни она ими не руководствуется!

Он ласково сказал:

— Дорогая моя! Молодой Леннан, конечно, скульптор, художник, но ведь он джентльмен! Я знаком со старым Хезерли, его опекуном. И ведь я сам представил его Олив!

— При чем тут это? Он влюблен в нее.

По праву принадлежа к числу людей, чье мировоззрение сводится к ряду взятых на веру истин, в суть и глубь коих они и не думали вдаваться (а имя таким людям—легион), полковник был ошарашен. Подобно туземцу с островка, окруженного бурным морем, на которое он всю жизнь взирал с презрительным ужасом, но ни разу не вошел в его воды, полковник, когда ему предложили оставить твердую почву берега, совершенно растерялся. Да еще кто предложил? Собственная жена.

По совести говоря, миссис Эркотт не хотела заходить так далеко; но в душе у нее, как у всякой женщины, чье воображение более деятельно, чем воображение ее мужа, была какая-то пружинка, всегда толкавшая ее дальше, чем она того хотела. И она почувствовала укоры совести, когда услышала, что полковник говорит:

— Я должен встать и выпить воды.

В одно мгновение она вскочила с кровати:

— Ни в коем случае! Сначала надо прокипятить.

Вот, оказывается, как он из-за нее разволновался! Теперь он не уснет — у него так быстро приливает кровь к голове. Будет лежать всю ночь без сна и стараться не потревожить ее. Это так мучительно — она чувствует себя ужасной эгоисткой. Как она не сообразила, что такую серьезную тему опасно обсуждать ночью!

Она почувствовала, что он стоит позади нее; тело его в легкой пижаме казалось особенно худым, лицо как-то странно осунулось.

— И зачем ты натолкнула меня на такие мысли! — проговорил он. — Я люблю Олив.

И снова сердце миссис Эркотт кольнула ревность, которую на этот раз тут же заглушило материнское чувство бездетной женщины к своему мужу. Она не должна его волновать. Ему нельзя волноваться. Она сказала:

— Кипит. Теперь выпей стаканчик, только мелкими глотками, и ложись в постель, не то я сейчас поставлю тебе градусник.

Полковник послушно принял у нее из рук стакан и стал медленно пить, а она стояла рядом и гладила его по голове.

#### IV

А в комнате под ними та, кто была предметом их спора, тоже лежала без сна. Она понимала, что выдала себя, что открыла Марку Леннану то, в чем до сих пор не признавалась самой себе. Но этот страстный взор, который она, застигнутая врасплох, не желая того, ему подарила, почему-то заставил ее почувствовать, что она безвозвратно преступила какие-то границы, ибо до сих пор мир женщин делился для нее на тех, кто способен бросать мужчинам такие взгляды, и тех, кто этого себе никогда не позволит; и оттого, что она теперь сама не знала, к которой половине принадлежит, ей было страшно. Но что было проку размышлять и бояться? Еще вчера она не знала о том, что это случится, а сегодня не знает, что принесет ей завтрашний день. С нее довольно этой ночи! Этой ночи с разлитым в воздухе очарованием. Довольно, что она может чувствовать, может любить и быть любимой!

Ей было внове это чувство, столь же отличное от того, что испытывала она девушкой, когда за ней ухаживали, и потом в замужестве, как свет отличен от тьмы, ибо она никого еще не любила, даже своего мужа. Теперь она это поняла. Есть, оказывается, солнце в мире, а она-то считала, что солнца нет. Это ни к чему не приведет. Но все-таки солнце сияет, и в его лучах она сможет немного погреться.

И она начала строить планы на оставшиеся шесть дней. Они еще не были ни в Горбио, ни в Кастелларе, не совершили еще ни одной из задуманных пеших или конных прогулок по живописным местам. Придет ли он завтра рано? Куда им завтра поехать? Никто не должен знать, как много дадут ей эти шесть дней,— никто, даже он. Быть с ним, видеть его лицо, слышать его голос и иногда коснуться его руки! Об этом никто не узнает, она может положиться на себя. А потом — потом все кончится! Конечно, они будут и в Лондоне видаться...

Лежа в темноте, она вспоминала, как впервые встретила с ним однажды воскресным утром в Хайд-парке. Полковник свято соблюдал обычай присутствовать на Церковном Параде и всегда готов был из своей квартиры у Найтсбриджа заехать в Вестминстер, если можно было захватить с собою племянницу. И вот однажды, когда они прогуливались по парку, он вдруг остановился перед старым господином с обрюзгшим, желтоватым лицом и полузакрытыми глазами:

— А, мистер Хезерли! Приехали в Лондон из вашего Девоншира? А как ваш племянник... э-э... скульптор?

Старик посмотрел, как ей показалось, сердито из-под приспущенных век и серого цилиндра и ответил:

— Полковник Эркотт, не так ли? А племянник — вот он сам. Марк!

И какой-то молодой человек поклонился, сняв шляпу. Она сначала заметила его волосы, недлинные, но необычно густые, и глаза, посаженные очень глубоко. Потом он улыбнулся, и она увидела, что лицо его все озарилось, стало взволнованным, но не утратило застенчивого выражения; и тогда она подумала, что он милый. Вскоре после этого она с Эркоттами ездила смотреть его «вещи»: ибо в те дни знакомый скульптор — это был не пустяк, все равно как живая зебра в вашем родовом парке. Оказалось, к вящему восторгу и тайной радости полковника, что почти все «вещи» — это фигурки зверей и птиц. Они были «весьма интересны» для него, хранящего в памяти множество удивительных историй о животных, ибо он немало перестрелял их на своем веку, а под старость вдруг почувствовал, что больше их убивать ему почему-то не хочется, хоть он никогда не выразил этого нежелания словами.

После первого визита в его мастерскую знакомство их быстро развивалось, и теперь настал и ее черед радоваться, что Марк Леннан посвятил себя почти исключительно животным и птицам, а не «божественному» человеческому телу. Да, да, ей было бы неприятно; теперь, когда она его любила, она поняла это. По крайней мере она может следить за его работой, может оказывать ему поддержку своим вниманием. В этом нет ничего дурного.

Наконец она уснула, и ей приснилось, что она одна в лодке на реке против их загородного дома, плывет среди островерхих цветов, похожих на асфodelи, а вокруг летают птицы и громко поют. Она застыла, не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, но это ощущение беспомощности ей приятно. Постепенно она замечает, что ее несет все ближе к чему-то, что ни суша, ни вода, ни свет, ни тьма, но просто что-то необъяснимое, чего не выразить словами. А потом она увидела, что из камышей на берегу на нее смотрит большая бычья голова. Лодку несет, и голова движется тоже, она и справа и слева, но это только одна голова. Она хочет поднять руки, заслонить глаза, но не может. Она проснулась с рыданием... Было уже утро.

Без малого шесть часов! После того сновидения страшно было засыпать снова. Впрочем, теперь ей всякий сон был врагом, он отнимал драгоценные минуты от этих шести дней. Она встала и выглянула в окно. Утро было ясное, воздух уже теплый, благоухающий росой и гелиотропом, подвязанным у стены за окном. Стоит лишь распахнуть дверь террасы и можно выйти прямо на солнце. Она оделась, взяла зонтик, осторожно, чтобы не шуметь, открыла створки двери и вышла. Не рискуя оставаться в саду, где прогулка в столь неурочное время могла бы выдать постороннему глазу состояние ее духа, она вышла на улицу и пошла в сторону казино. Сама, быть может, того не замечая, она направлялась туда, где накануне сидела рядом с ним и слушала музыку. Она шла без шляпки, под зонтиком, вызывая восхищение у еще немногочисленных встречных знатоков, спешивших в своих синих блузах на работу; и это простодушное восхищение было ей приятно. Она вдруг ясно ощутила всю грацию своих движений и словно увидела, как прелестно ее живое, нежное лицо, как блестят ее

черные волосы и глаза,— это было особенное, на редкость сладкое чувство.

В садах казино она пошла медленнее, с наслаждением вдыхая аромат деревьев в цвету, наклоняясь с восторгом над каждой клумбой, а потом опустилась на скамейку, где вчера сидела вместе с ним. В нескольких шагах от нее начиналась лестница, ведущая к вокзалу, по ступеням которой каждый день и каждую ночь столь многие всходили в трепете предвкушения, а вниз спускались веселые или печальные. Над ее головою две сосны, мастиковое дерево и пальма сплели свои кроны — как причудливо сходятся деревья и души в этом удивительном городке! Она закрыла зонтик и откинулась на спинку скамьи. Взгляд ее, свободный и добрый, скользил от ветки к ветке. На фоне яркого синего неба, не тронутого еще пылью и жарою, ветки сами казались небесными, вытянутые и распластанные в прозрачном воздухе. Она сорвала гроздь розоватых ягод с мастикового дерева, раздавила и растерла между ладонями, чтобы насладиться их ароматом. Вся эта красота, все благоухание вокруг были лишь частью ее радости — радости быть любимой, были частью этого нечаянного лета в ее сердце. Небо, цветы, огромный кристалл синезеленого моря, золотые акации — все это была любовь.

А редкие прохожие, видя ее сидящей так под живописным деревом, дивились, без сомнения, неподвижности этой *dame bien mise*<sup>1</sup>, поднявшейся сегодня так рано.

## V

В предрассветный час, который для бодрствующих тянется так долго, полковник Эркотт проснулся,— история с носовым платком представилась ему еще серьезнее, чем ночью. Муж его племянницы не нравился полковнику: необщительный, в глубине души, возможно, злой и грубый, всегда идущий напролом; но раз Олив находится здесь под их покровительством, мысль о том, что под самым носом у него и его жены в его племянницу влюбился молодой Леннан, сильно тревожила его, человека очень щепетильного. И только когда, поспав еще

---

<sup>1</sup> Хорошо одетая дама (франц.).

немного, он опять проснулся, теперь уже в ясном свете утра, его осенила спасительная мысль. Ее надо развлекать. Они с Долли просто нерадивы; занялись этим странным городком, здешней странной публикой! А ей не уделяли внимания, предоставили ее... Ах, мальчики и девочки! Об этом нельзя забывать ни на минуту. Но и сейчас еще не поздно. Она дочь Линдсея, она не может настолько забыться... Бедный старина Линдсей, отличный человек, но только... слишком много в нем было от... от гугенота. Странная это вещь — наследственность. Он еще раньше замечал у лошадей: белое пятнышко над репицей хвоста, по-особому вскинутая голова — пропадут, а через несколько поколений вдруг, глядишь, и снова появятся. Так и у Олив есть во внешности что-то французское, как у Линдсея, — та же смугловатая кожа, тот же цвет глаз и волос! Но в ней нет его суровой твердости... этого в ней не хватает. И полковника опять пронизало неприятное ощущение, смутный страх, что он не оправдал оказанного ему доверия. Впрочем, в ванне это чувство рассеялось.

Не было еще восьми, когда он вышел из гостиницы, худощавый, прямой, в твердой соломенной шляпе и сером фланелевом костюме. Он шел с той неподражаемой непринужденной выправкой, которая отличает старого солдата-англичанина от французских, немецких и всех прочих военных, потому что в ней, в этом безукоризненном развороте плеч, утверждается их неотъемлемое право носить штатскую одежду и выражается их глубокое убеждение в том, что, как там ни говори, а есть только один правильный способ носить эту одежду и передвигать ноги. Он шел, поглаживая седые усы и соображая, как бы ему лучше взяться за развлечение племянницы. Выйдя на набережную, он остановился и несколько минут глядел на море. Потом двинулся дальше, пошел мимо казино и очутился в саду. Красиво здесь. Сколько заботы вложено в каждый кустик! Напоминает Тушавор, где его приятель раджа — порядочный мошенник! — жил во дворце, окруженном вот таким же садом. Он снова вышел на набережную. Утром здесь, у моря, всегда приятно, тихо, и никто не стремится взять верх над другими. Есть такие люди, которые счастливы только, когда подставят кому-нибудь ножку. Он знал таких, кому

сам черт не брат, кто выудить у приятеля фунт-другой считает делом чести. Странное место это «Монте» — сады Эдема навыворот. И вся его подлинная, хотя и не нашедшая выражения в словах, любовь к природе, поддерживавшая его в пустынях и джунглях, не покидавшая его ни на морских транспортах, ни на высокогорных биваках, с новой силой проснулась в нем при виде этих райских куш. Никогда не забудет он, как покойная матушка однажды показала ему, девятилетнему мальчугану, закат за рощей в Уайт-Нортоне и сказала: «Вот это, Джек, и есть красота. Ты ее чувствуешь, милый?» Он, конечно, не чувствовал тогда: он был толстокожим проказливым юнцом. Даже попав в Индию, он еще не понимал прелести закатов. Теперешнее поколение уж не такое. Вон та юная парочка на скамейке под мастиковым деревом, например, — сидят, не говоря ни слова, и смотрят на деревья. Интересно, давно ли они так сидят? И вдруг в груди у полковника что-то рванулось; и в его глазах цвета стали появилось выражение бесстрашия перед лицом смерти. Он кашлянул было, глотнул, резко повернулся к набережной... Олив и этот молодой человек! Тайное свидание! Земля уходила у него из-под ног. Дитя его брата, его любимая племянница! Женщина, которой он так восхищался, к которой он больше всего привязан! Облокотившись на каменный парапет, он не видел ни шелковистой зелени лужаек, ни шелковистой синевы моря за ними: он был взволнован, подавлен, обескуражен сверх всякой меры. До завтрака! Это угнетало его больше всего. Это было как признание во всем. А он к тому же видел, как их руки соприкасались на скамейке. Кровь прихлынула к его лицу; он видел, он подсмотрел то, что не предназначено было для его взгляда. Малоприятное положение! Долли тоже заметила кое-что накануне вечером. Но это — совсем другое дело. Женщины могут замечать все что угодно, на то они женщины. Но мужчине, джентльмену!.. Неловкость положения, в котором он очутился, до конца открылась ему только теперь. Наверно, даже с Долли нельзя посоветоваться. Он чувствовал себя отрезанным от мира, непередаваемо одиноким. Никто, ни одна живая душа, не сможет понять его тайных мучительных переживаний. Что ему делать: принимать ме-



ры, которые ему, как ее ближайшему родственнику и покровителю, надлежит принять на основании сведений, полученных пусть и неумышленно, но однако таким неблагоприятным путем? Ни разу за все годы у себя в полку — а там немало приходилось ему распутывать тонких дел, где речь шла о чести, — не сталкивался он ни с чем подобным. Бедная девочка! Нет, нет, нельзя думать о ней так. Ведь она... не так ведет себя, чтобы... Но додумать эту мысль он не смог, отчего-то не хватало духу заклеить Олив. А что если они встанут и пойдут сюда?

Он снял руки с парапета и зашагал в гостиницу. Ладони у него были совсем белые: так крепко вцепился он в холодный камень. На ходу он повторял себе: «Надо обдумать все спокойно, надо все как следует взвесить». От этого становилось легче. На молодого Леннана он, во всяком случае, может сердиться. Однако и тут, к вящему своему смущению, он оказался не в силах произнести окончательный приговор. Подобная нерешительность в собственных суждениях была ему внове и ужасно его угнетала. Было что-то в позе молодого человека, когда он сидел там подле Олив на скамейке... что-то тихое, почти робкое... почему-то полковник был немного растроган. Никуда не годится, нет, нет, это никуда не годится! Красивая из них получилась пара... Да что это он, черт возьми? Повстречавшийся священник из английской церквухи окликнул его: «Чудесное утро, полковник Эркотт!» Полковник поклонился, но ничего не ответил. Слова приветствия показались ему нелепы. Разве может быть чудесным утро, в которое совершаются такие открытия? Он вошел в гостиницу, свернул в обеденный зал и сел. Там никого не было. Все завтракали у себя наверху, даже Долли. Одна только Олив обычно приходила есть вместе с ним английский завтрак. И вдруг он понял, что уже теперь столкнулся с ужасной сложностью. Позавтракать, не дожидаясь, как прежде, Олив, было бы слишком уж нарочито. Она должна теперь прийти с минуты на минуту. Подождать ее и завтракать с ней вместе — но сумеет ли он?

Позади него раздался легкий шелест — она уже здесь. А он так ничего и не решил. И в эту минуту полкового смятения полковник поступил так, как подсказало



ему сердце: он встал, потрепал племянницу по щеке и придвинул ей стул.

— Ну, моя милая,— сказал он,— проголодалась?

Она выглядела очаровательно — такая нежная, в кремовом платье, от которого только ярче кажутся ее черные волосы и глаза... и глаза словно улетают куда-то... Да, да, звучит смешно, но именно так, иначе не скажешь. Вид ее не вернул полковнику спокойствия и уверенности. И он задумчиво очистил банан, с которого всегда начинал завтрак. Бранить ее, даже если это не значило бы признаться в бесчестном поступке,— да это все равно, что пристрелить ручную голубку или разорвать живой, красивый цветок.

И он искал спасения в разговоре:

— Гуляла? — спросил он, и тут же готов был прикусить себе язык: что если она ответит «нет»?

Но она не ответила «нет». Краска залила ей щеки, но она кивнула и сказала:

— Изумительное утро.

Как она была хороша, говоря это! А он вышел из игры, и по собственной вине — он теперь уже ни за что не расскажет ей о том, что видел, раз уже задал ей этот вопрос-ловушку. Немного погодя он спросил:

— У тебя есть на сегодня какие-нибудь планы?

Она, не запнувшись, ответила:

— Мы с Марком Леннаном собираемся на мулах подняться от Ментоны до Горбио.

Он потрясен был ее невозмутимостью; на его памяти ему не приходилось видеть женщины, обладавшей столь совершенным оружием для битвы за свою любовь, за любовь, которую она намерена спасти всему свету вопреки. Разве угадаешь, что она прячет за этой улыбкой! И в великом смятении чувств, причинявшим почти боль, он услышал, как она сказала:

— А вы с тетей Долли не хотели бы поехать?

Раздираемый между чувством ответственности и нежеланием портить чужую радость, между пониманием грозящей ей опасности и смешанным с жалостью восхищением ее красотой, между искренней неприязнью ко всему недозволенному и тайному (а разве здесь иное что-нибудь, если уж на то пошло?) и смутными догадками о том, что он столкнулся здесь с тем, чего

ему не понять никогда в жизни, в чем, быть может, только они двое сами могут разобраться,— раздираемый между этими крайностями, полковник совсем растерялся.

— Мне... я должен спросить твою тетку,— кое-как пробормотал он.— Она... она плохо переносит езду на мулах.

А потом, повинувшись порыву нежности, вдруг спросил:

— Дорогая моя, я давно хотел у тебя узнать: счастлива ли ты дома?

— Дома?

Что-то зловещее прозвучало в этом повторенном слове. И зачем только он задал такой идиотский вопрос?

Она допила кофе и встала; полковник смотрел на нее со страхом: он боялся услышать ее ответ. Лицо его стало очень красным. Но случилось наихудшее — она просто ничего не ответила; только пожала слегка плечами и улыбнулась слабой улыбкой, которая пронзила полковнику сердце.

## VI

Среди дикого тимьяна, под оливами горной деревушки Горбио, пока мулы щипали траву чуть в стороне, сидели они вдвоем и слушали, как кукует кукушка. После той удивительной нечаянной утренней встречи в парке, где они сидели и руки их соприкасались, а души замирали и возносились ввысь от такого небывалого, нечаянного счастья, им не было нужды говорить о своих чувствах, нарушать словами блаженство этой близости — такой робкой, такой страстной, такой призрачной. Они были точно два эпикурейца над стаканом старого вина, не устающие наслаждаться его ароматом и радостью предвкушения.

И потому разговор они вели не о любви, но, по печальному обычаю всех влюбленных, которым не благоприятствует судьба, о том, что они любят,— только не друг о друге.

И только ее рассказ об утреннем сновидении вырвал у него наконец слова; но она отстранилась, сказав:

— Нет, нет, этого не может быть... этого не должно быть.

Он задержал ее руку, а чуть погодя, увидев, что глаза ее полны слез, отважился поцеловать ее в щеку.

Трепетным, несмелым было это их свидание. Слишком непохож был Марк на властного мужчину-победителя, а Олив — на обыкновенную кокетку.

Потом, не утратив власти над собой, они пустились в обратный путь по каменистым склонам в Ментону.

Но всю дорогу до Болье, когда он ехал уже один в сером, пыльном купе вагона, он сидел, как замороженный, глядя перед собой туда, где еще недавно сидела против него она.

Два часа спустя, сидя за обедом в ее гостинице, между нею и миссис Эркотт, напротив полковника, он вдруг осознал, что ему предстоит. Следить за каждой своей мыслью, чтобы не выдать себя ни малейшим знаком; маскировать и взвешивать слова и взгляды, обращенные к ней; ни на минуту не забывать, что эти двое — живые и опасные соглядатаи, а не смешные, жалкие тени, какими кажутся ему. Притворяться, что он не любит — в этом теперь, быть может, и будет состоять почти вся его любовь. О свершении своей любви он не дерзал и мечтать — ему предстоит быть ей другом, постараться, чтобы она была счастлива. Сгорать, терзаться тоской, но не думать о вознаграждении. Это была его первая настоящая страсть, столь непохожая на увлечения его весны, и он вложил в нее всю свою наивность, это трогательное свойство молодых англичан, которые в глубине души предпочитают спрятаться от истинной, окончательной природы любви, даже от признания за ней этой природы. Они двое обречены любить — и не любить! Впервые ему стал отчасти доступен смысл этих слов. Лишь порой несколько минут, полных восторга, а в остальном — неизменное присутствие внешнего мира, который они должны обманывать. Он уже почти ненавидел этого добропорядочного загорелого полковника с его ровным, но ничего не видящим взглядом, и его скучную любезную супругу с ее приятным светским разговором, то и дело обращающуюся к нему за обедом с какими-то вопросами, на которые он должен был отвечать, не понимая их смысла. Он вдруг осознал,

что жизнь утратила для него всякий интерес, кроме одного; даже его работа потеряла смысл, оторванная от нее. Равнодушно выслушивал он похвалы каким-то отвратительным картинам в Королевской Академии из уст миссис Эркотт, которая почтительно посетила это заведение накануне своего отъезда за границу. А по мере того, как приближалась к концу мучительная трапеза, он начал страдать еще и оттого, что Олив держится так весело, любезно и спокойно. Как может она болтать так непринужденно, когда им невозможно даже обменяться ни единым взглядом любви? Любит ли она его — можно ли любить и не выразить этого ни малейшим знаком? И вдруг он почувствовал, как ее туфелька коснулась его ноги. То было лишь легчайшее, мимолетное прикосновение, но в нем была мольба, словно она говорила: «Я знаю, ты страдаешь; я страдаю тоже. Не вини же меня!» И он сразу почувствовал, чего стоило ей прибегнуть к этому старинному приему простой любви; ее прикосновение вызвало у него лишь наплыв рыцарских чувств. Пусть он сгорает вечным огнем, но больше он не причинит ей боли, не обнаружит перед нею своих страданий.

После обеда они сидели на балконе. Звезды сияли над пальмами; квакали лягушки. Он выбрал для своего стула такое место, чтобы смотреть на нее незаметно для других. Как бездонны, как нежно черны ее глаза, когда на мгновение она встречается с ним взглядом! Ночная бабочка села ей на колено — хитрое создание; круглое совиное лицо, рожки, черные черточки глаз. Опустилась бы она так же доверчиво к кому-нибудь другому? Полковник знал, как она называется: у него в коллекции есть такая. Самый обычный вид. Интерес, вызванный бабочкой, прошел, но Леннан остался сидеть, подавшись вперед, глядя на прикрытое шелком колено.

Голос миссис Эркотт резче, чем обычно, произнес: — Что пишет Роберт, дорогая? Когда он тебя ждет домой?

Он сумел не оторвать взгляда от бабочки, он даже снял осторожно мехнатое тельце с ее колена, а она в это время спокойным голосом ответила:

— Во вторник, кажется.

Он встал и выпустил бабочку в темноту ночи; руки

и губы у него дрожали, и он боялся, что это заметят. Он никогда не испытывал, не подозревал даже, что можно испытать такую сильную, такую мучительную боль. Этот человек может вот так, когда ему вздумается, призвать ее к себе! Это было нелепо, невероятно, жутко, но это было правдой! Во вторник она разлучится с ним и вернется назад, во власть своего злого рока! Мысль эта причинила ему такую боль, что он со всей силой сжал перила балкона и стиснул зубы, чтобы не закричать. А за нею пришла другая мысль: с этой мукой я буду теперь жить дни и ночи и должен буду прятать ее от всех на свете.

Они попрощались с ним; и он должен был глупо ухмыляться, раскланиваться и делать вид — прежде всего перед нею, — что он совершенно счастлив. А она, он видел, все равно понимала его притворство.

Он остался один, чувствуя, что подвел ее при первой же трудности; и сердце его разрывалось между ужасом от того, что ему открылось, и страстным желанием быть с нею все равно, чего бы это ни стоило... Так завершился день их первого поцелуя, который, как он тогда подумал, отдал ее ему безраздельно.

Он сел на скамью против казино. Ни огни, ни люди, входившие в игорные залы и выходившие обратно, ни даже музыка цыганского оркестра не развлекали его. Неужели и суток еще не прошло, как он подобрал ее платок вон там, совсем близко отсюда? За эти двадцать четыре часа он, кажется, пережил все чувства, какие способен испытывать человек. И на всем свете ни с одной живой душой он не мог бы теперь поделиться своим горем, даже с нею, потому что от нее прежде всего он должен скрывать, как он несчастен. Так вот она, преступная любовь, как ее называют! Одиночество и страдание! Не ревность — ибо ее сердце принадлежит ему, — но потрясение, ярость, ужас. Нескончаемая одинокая мука! И никто на свете, даже если бы знал, не вздохнул бы, не пожалел бы его!

Что же, может, в самом деле существует, как думали древние, демон, которому любо играть людьми, как люди иной раз играют с козьявкой, а под конец возьмут и раздавят ее ногой?

Он встал и пошел к вокзалу. Вот скамейка, на ко-

торой сидела она, когда он увидел ее сегодня утром. Тогда звезды на путях своих благоприятствовали им, но на радость ли — этого он теперь не знал. На скамейке еще валялись раздавленные и рассыпанные ею ягоды мастикового дерева. Он сломал еще одну веточку и растер ягоды между ладоней. Их запах был словно призраком тех минут, когда ее рука лежала на скамейке, касаясь его руки. Звезды на путях своих — на радость ли, на горе...

## VII

Полковник и миссис Эркотт утратили покой. Они чувствовали себя заговорщиками, а к заговорам они отнюдь не привыкли. Но как действовать в открытую, когда все, внушающее тревогу, было узвано случайно, подсмотрено ненароком? Что не предназначено для ваших глаз и ушей, то как бы вовсе не существует — таков священный закон порядочности. Тогда уж и чужие письма можно вскрывать, если допустить, что можно воспользоваться подобного рода сведениями. В этом привычка и натура позволяли им быть заодно, и планы они строили вместе. Но где-то глубже они расходились. Миссис Эркотт высказала мнение, что они имеют дело с чем-то таким, что не подвластно человеческой воле, а полковник сам почувствовал это — большая разница! В теории менее терпимый, в душе он был растроган, миссис Эркотт же, в теории готовая чуть не одобрить — недаром она читала эту опасную романистку Джорджа Эллиот, — в душе оставалась холодна к племяннице мужа. И по этой причине они не могли спокойно строить свои тайные планы, в конце концов один из них вдруг восклицал: «Ах, что проку об этом спорить!» — чтобы почти сразу же снова заспорить на эту тему.

Предлагая жене утром поездку на мулах, полковник не нашел довольно времени или, вернее, решимости, а пожалуй, и желания объяснить ей, почему так важно, чтобы она согласилась. Только когда она, к его непонятному облегчению, отказалась и Олив уехала без них, он поведал ей о встрече в парке, свидетелем которой оказался. Тогда она тут же заявила, что, зная она об этом, она бы, конечно, всем пожертвовала, лишь бы только со-

проводить их; не потому, что она считает правильным вмешиваться, а потому, что надо ведь подумать о Роберте! Полковник тогда сказал: «Черт бы побрал этого субъекта!» И на том дело временно остановилось, ибо ни он, ни она не знали точно, кто именно этот субъект, которого должен был побрать черт. И в этом-то заключалась вся трудность. Если бы полковник не любил так свою племянницу, если бы Роберт Крэмьер был ему симпатичен, если бы миссис Эркотт не находила Марка Леннана «милым молодым человеком» и не считала в глубине души, что мужнина племянница угрожает спокойствию ее духа, если бы, иными словами, эти трое были не люди, а деревянные куклы, движимые определенными законами,— это было бы куда проще для всех заинтересованных сторон. Именно открытие, что в таких делах действует не простое тройное правило, а сложное уравнение характеров и сердец, смутило покой полковника Эркотта и вызвало у него чуть ли не ярость; именно оно угнетало миссис Эркотт, сделав ее такой молчаливой... Простые души, они натолкнулись тут на загадку, которая от сотворения разделяла мир. Как судить о делах человеческих: по всей их сложности или по формальному кодексу?

За внешностью, за словами, как никогда непримиримыми, вера полковника Эркотта в законы благопристойности была подорвана; он просто не мог выбросить из головы ни образ двух юных созданий, сидящих рядышком на скамейке, ни тон, которым Олив повторила его нелепый вопрос, когда он вздумал спросить ее, счастлива ли она дома.

Если бы все это не касалось его так близко! Если бы Олив была не его племянница, а чья-то еще, ясно было бы, что ее долг — и впредь оставаться несчастной. Но она была его племянницей, и чем больше он думал, тем меньше понимал, что ему следует думать. За все годы так и не приобретший приличного счета в банке, не приобретший за свою бродячую жизнь особого почтения к обществу, которое обычно вызывало у него лишь скуку, полковник не преувеличивал опасностей, проистекавших из этой истории; положив руку на сердце, не верил он и в то, что ей уготованы вечные муки, если она не сумеет сохранить верность «этому темному субъекту», как он звал про

себя Крэмбера. Он испытывал лишь глубокое сострадание и понимал с тоской, что женщины в их семье так не поступают, что его покойный брат перевернулся бы в гробу; одним словом, что это «не принято». Однако он отнюдь не принадлежал к числу тех, кто, признавая свободу за женщинами вообще, бичует женщин своей семьи, если те воспользуются этой свободой. Напротив, свято веруя в то, что Женщина вообще должна быть безупречна в глазах света, он склонен был отыскивать оправдания для тех, которых он знал и любил. Давнее подозрение, что Крэмбер — «яблочко не без пятнышка», быть может, тоже оказало на него незаметно какое-то воздействие. Дело в том, что, как он слышал, даже фамилия Крэмбер досталась ему не по праву крови, а перешла к нему от одного бездетного человека, который его усыновил, воспитал и оставил ему большое состояние. Что-то в этом было такое, что не нравилось бездетному полковнику. Он сам никого не усыновлял, и его не усыновляли тоже. Приемным детям не хватает некоторой разумной гарантии — словно невыдержанному вину или лошади без родословной; в таком нельзя быть уверенным, потому что у него нет традиций в крови. Внешность Крэмбера, его манера держаться, в свою очередь, усугубляли недоверие полковника. Нет, он не чистых кровей, и к тому же упрям, скрытен — из таких, что не останавливаются ни перед чем. Почему Олив решила выйти за него замуж? Но, впрочем, женщины — капризные создания, а дорогой Линдсей с его церковным облачением и строгими взглядами на дочерний долг послушания был, должно быть, бедняга, настоящий деспот. И, кроме того, Крэмбер, несомненно, принадлежит к числу тех, кого женщины считают красавцами — у него куда более выигрышная внешность, чем у этого тихого молодого человека, Леннана, у которого черты лица не ахти какие, хотя в общем-то приятные, и улыбка хороша — такой человек не может не понравиться и уж, конечно, не обидит и мухи! И внезапно полковника осенило: почему бы ему не пойти к молодому Леннану и не поговорить с ним напрямик? Сказать ему, что он влюблен в Олив? Ну, не в лоб, а так как-нибудь — там видно будет. Полковник долго обдумывал свой замысел и наутро за бритьем поделился



им с миссис Эркотт. Ее ответ: «Какой вздор, милый Джон!» — положил конец его сомнениям.

Не сказав, куда направляется, он сразу же после завтрака ушел — и поехал в Болье. В гостинице, где остановился молодой Леннан, он велел снести наверх свою визитную карточку, но услышал в ответ, что мосье уже ушел и, возможно, не вернется до вечера. Так его готовность шагать прямо пушечным жерлам навстречу оказалась пресечена в самом начале, и он в растерянности не мог решить, что ему делать дальше. Потом подумал, что, пожалуй, можно осмотреть Болье (поговаривали, что это местечко входит в моду), и зашагал вверх по отлогому склону, который весь порос розовыми кустами. Тысячи роз рдели над землею, осыпавшиеся лепестки ковром покрывали склон. На ходу полковник наклонился, чтобы понюхать цветов-другой, но они почти не пахли, словно понимали, что сезон уже кончается. Кое-где среди роз еще работали крестьяне в синих блузах. И вдруг он увидел молодого Леннана, который сидел на камне и мям пальцами какую-то замазку. Полковник растерянно остановился. Помимо явных причин для замешательства, было у него еще свойственное многим представителям его касты определенное почтение к искусству. Это, конечно, не работа, но все-таки штука хитрая — уму непостижимо, как люди умеют такое? Увидев его, Леннан поднялся навстречу, уронив носовой платок на свою лепку, но не раньше, чем полковник успел заметить в ней что-то смутно знакомое. Лицо молодого человека было очень красным, и полковник тоже вдруг почувствовал, что жара стоит непереносимая. Он протянул руку.

— Приятное, тихое местечко, — запинаясь, проговорил он. — Я здесь еще не бывал. Заходил к вам в гостиницу.

Теперь, когда представилась возможность, полковник совершенно не знал, как приступить к разговору. Увиденное мельком в куске «замазки» лицо лишило его всякого присутствия духа. Мысль, что молодой человек лепит его тут в одиночестве, всего на какой-то час или два разлученный с оригиналом, очень тронула полковника. Как же сказать то, ради чего он приехал? Все получилось совсем не так, как он думал. И внезапно мелькнула

мысль: Долли-то оказалась права! Она всегда права — вот что обидно!

— Вы заняты, — сказал он, — я не хочу вам мешать.

— Напротив, сэр. Я очень признателен, что вы ко мне заглянули.

Полковник удивился. В манере молодого Леннана появилось что-то, чего он раньше не замечал: какая-то твердость, словно бы предупреждавшая: «Я не потерплю фамильярности!» От этого слова вовсе не шли с языка, но полковник не уходил, а стоял и смотрел на молодого человека, который с таким вежливым видом ждал, что он скажет дальше. Наконец в голову ему пришел спасительный вопрос:

— Э-э-э... когда вы собираетесь назад, в Англию? Мы уезжаем во вторник.

Пока он говорил, ветерком приподняло носовой платок над вылепленным лицом. Поправит ли его молодой человек? Нет, он не стал этого делать. И полковник Эркотт подумал: «Это было бы дурным тоном. Он знает, что я не воспользуюсь подобной случайностью. Да, он настоящий джентльмен!»

И, подняв руку к шляпе, он сказал:

— Ну, мне пора идти. Я, наверно, увижу вас за обедом? — И, решительно повернувшись, зашагал прочь.

Всю обратную дорогу его преследовало воспоминание об этом полувывлепленном из «замазки» лице. Дело плохо: это всерьез! И в душе у него все росло и росло сознание, что сам он тут совершенно ничего не значит.

О своей поездке он не рассказал никому.

Когда полковник Эркотт, отсалютовав по-военному, ушел, Леннан снова сел на плоский камень, взял в руки свою «замазку», сдвинул, и в мановение ока проглядывавшее в ней лицо исчезло. Он долго сидел, застыв в неподвижности, казалось, поглощенный игрой голубых мотыльков, порхающих над алыми и багряными розами. Потом пальцы его снова заработали, лихорадочно вылепливая чью-то голову — не человека, не животного, но что-то смешанное, грузное, отягощенное рогами. И в движениях его коротких тупых пальцев было что-то отчаянное, словно они пытались задушить то, что создавали.

В те дни люди, честно послужившие своей стране, путешествовали, как истые спартанцы, в обычных спаль-ных вагонах первого класса и утром просыпались в Ла-роше или еще в каком-нибудь месте со странным назва-нием, чтобы пить бледный кофе с не менее бледными бриошами. Так было и с полковником Эркоттом, его же-ной и племянницей, ехавшими в обществе книг, которых они не читали, провизии, которую они не ели, и одного сонного ирландца, который возвращался домой с Восто-ка. С ногами возникли обычные сложности: всем как-то неловко было класть ноги на диван, и все в конце концов положили, кроме Олив. Не однажды за эту ночь пол-ковник, лежа на диване против нее, просыпался и видел, что она сидит в своем уголке и глаза ее по-прежнему от-крыты. Он смотрел на эту головку, которой он так вос-хищался, высоко поднятую, недвижную в черной соло-менной шляпке, не прикасающуюся к спинке дивана, и сон его вдруг проходил. Тогда, слегка задев ирландца, он опускал ноги, наклонялся к ней в темноте и, вдыхая слабый аромат фиалок, сдавленным шепотом спраши-вал: «Не нужно ли тебе чего-нибудь, моя милая?» Когда она улыбалась и качала в ответ головой, он откидывался на своем диване, слушал, затаив дыхание, не просну-лась ли Долли, и снова укладывался, опять задев но-гами ирландца. Один раз после такой вылазки он целых десять минут лежал без сна, дивясь ее неутомимой не-подвижности. А она всю эту ночь была как зачарован-ная — ей чудилось, что Леннан сидит подле нее и дер-жит ее за руку. Она словно чувствовала прикосновение его пальца на своей ладони, в том месте, где открывает-ся перчатка. Как чудесна, как сказочна была эта их бли-зость в темноте летящей мимо ночи — ни за что на све-те не согласилась бы она уснуть! Она еще никогда не чувствовала себя так близко к нему, даже в тот день, когда он под оливами единственный раз поцеловал ее; даже вчера, на концерте, когда его плечо прижалось к ее плечу и его голос шептал ей слова, которым она так жадно внимала. И золотые четырнадцать дней на Ривьере все проносились и проносились перед нею бес-конечным замкнутым кольцом воспоминаний. И каждый

был точно цветок, полный аромата, красок, жизни. Но живее всех был в памяти тот миг, когда, прощаясь у подножки вагона, он сказал тихо-тихо, так что и она едва расслышала: «До свидания, моя любимая». В первый раз он назвал ее так. И не было для нее ничего дороже этих простых слов, даже поцелуй в щеку там, под оливами, не мог с ними сравниться. Летели часы ночи, но сквозь грохот и стук колес, сквозь храп ирландца они все еще звучали у нее в душе. И, может быть, не стоит удивляться, что за всю эту ночь она ни разу не подумала о будущем — не строила планов, не пыталась осмыслить свое положение; она просто отдалась во власть воспоминаний, отдалась этому пригрезившемуся ей чувству его присутствия, его близости. Что бы ни было потом, сейчас она принадлежит ему. Таков был этот сон наяву, погрузивший ее в странное, тихое, неутомимое сцепление, которое так трогало полковника, когда он просыпался.

В Париже они с вокзала на вокзал доехали в тесном экипаже, «где троим негде ног вытянуть», как выразился полковник Эркотт. Не видя в племяннице признаков уныния и тоски, полковник понемногу воспрянул духом и в буфете на Gare du Nord<sup>1</sup>, пока Олив уходила вымыть руки, сказал жене, что ничего серьезного во всем этом не было, раз Олив так легко переносит разлуку.

Но миссис Эркотт сказала:

— Разве ты не замечал, что Олив никогда не показывает своих чувств, если не хочет? Недаром же у нее такие глаза.

— Какие глаза?

— Глаза, которые все видят, но словно бы ничего не замечают.

Уловив боль в голосе жены, полковник хотел было взять ее за руку. Но миссис Эркотт удалилась туда, куда он не мог за ней последовать.

Вдруг брошенный на произвол судьбы, полковник глубоко задумался, барабая пальцами по столу. Еще того не легче! Долли просто несправедлива. Бедняжка Долли! Он любит ее ничуть не меньше, чем прежде. Разумеется! Он же не виноват, что Олив молода и так хо-

---

<sup>1</sup> Северный вокзал (франц.).

роша собой; не виноват, что должен заботиться о ней, что ей надо помочь выпутаться из этой истории. И он сидел, сокрушаясь и дивясь женскому неразумию.

Ему и невдомек было, что минувшую ночь миссис Эркотт так же не сомкнула глаз, как и его племянница, и была свидетельницей всех его ночных вылазок, с болью говоря себе каждый раз: «А вот как я переносу дорогу, об этом он не думает!»

Впрочем, вернулась она успокоенная, запрятав свою обиду, и вскоре они снова мчались по дороге в Англию.

Но будущее понемногу овладевало Олив; власть прошлого теряла силу; и с каждой минутой росло в ней чувство, что все это было лишь грёзой. Пройдет еще несколько часов, и она вновь переступит порог дома, что стоит чуть не под самыми стенами старого собора,— почему-то это сумрачное строение напоминало ей о детстве, о ее суровом отце с тонким, словно вырезанным из камня лицом. Встреча с мужем! Как пройти через это? А потом? Но она не желала думать о том, что предстояло позднее. И о завтрашнем дне и о всех других днях, когда она вновь станет узницей, не принуждаемой ни к чему, на что можно было бы пожаловаться, но ежедневно чувствующей отсутствие тепла, вдохновения, радости. В это будущее ей предстояло вернуться из своей мечты — без надежды, без сопротивления. Загородный домик на Темзе, куда муж приезжал лишь по субботам, был для нее раньше убежищем, но там с ней не будет Марка, если только... Но уверенность, что она должна, что она непременно будет хоть изредка видеться с Марком, снова вернула жизни отсвет очарования. Только бы видеться с ним, а все остальное не имеет значения! И никогда больше уже значения иметь не будет!

Полковник протягивал ей сумку, говоря: «Похоже, что поболтает нас изрядно». И она очнулась. Радуюсь возможности остаться одной и испытывая усталость после бессонной ночи, она скрылась в дамской каюте и проспала все плавание, пока ее не разбудил голос старой стюардессы: «Славно вы поспали. Мы уже у пристани, мисс». Ах, если бы это обращение причиталось ей по праву! Ей снилось, будто она сидит на цветущем лугу, а Леннан поднимает ее за руки и говорит: «Вот мы и здесь, моя любимая!»

На палубе полковник Эркотт, нагруженный картонками и портпледами, оглядывался и высматривал ее, стараясь сохранить свободное место между собою и своей женой. Он подбородком сделал ей знак пробираться к ним. Но еще на полпути она случайно подняла глаза и над собой, у парапета пристани, увидела мужа. Перегнувшись, он искал глазами ее; и рядом с его высокой массивной фигурой другие люди казались пигмеями. В гладко выбритом квадратном лице его, с властными, пронзительными глазами, была такая твердость и сила, что все лица по обе стороны от него просто переставали существовать. Она видела его очень ясно, различала даже седину в его черных волосах на висках под соломенной шляпой и заметила, что он немного грузноват для такого щеголеватого голубого костюма. Лицо его смягчилось; он помахал рукой. И тогда ее вдруг пронзила мысль: что если бы Марк поехал с ними, как он хотел? Отныне всегда и навеки этот большой темный человек, который улыбается ей сейчас,—ее враг; от него она, если сумеет, будет хранить и прятать самое себя и уж, во всяком случае, будет прятать каждую свою мысль, каждое движение души! Она готова была закричать, забиться в плаче, но вместо этого сжала покрепче ручку сумки и улыбнулась. Привыкшая разбираться в его настроениях, она на этот раз, здороваясь с ним, почувствовала в силе, с какой он сжал ее плечи, что-то новое и непонятное. Его голос прозвучал с угрюмой искренностью: «Очень рад, что ты наконец вернулась». Переданная его заботам, она испытывала такое сильное физическое отвращение, что у нее едва хватило сил дойти до занятого им купе. Несмотря на все дурные предчувствия, она поняла теперь, что и отдаленного представления не имела о том, что ее теперь ожидало. И когда он вполголоса спросил: «Нельзя ли как-нибудь отделаться от стариков?»,—она поспешила оглянуться и удостовериться, что дядя с теткой идут следом. Чтобы не разговаривать с ним, она сделала вид, будто плохо перенесла дорогу, и откинулась в углу купе, закрыв глаза. Если бы она могла, открыв их, увидеть не это мрачное лицо с квадратной челюстью и властным собственническим взглядом, а то, другое, с покорными, восхищенными глазами! Бесконечно длинное путешествие до обидного бы-

стро подошло к концу. На платформе Чэринг-кросса она все никак не могла выпустить руку полковника Эркотта. Исчезнет его доброе лицо — и тогда она пропала! Потом, когда захлопнулась дверца кэба, она услышала голос мужа: «Что же ты, разве не хочешь меня поцеловать?» — и подчинилась обнявшим ее рукам.

Как она старалась убедить себя: «Что за важность, это не я, не душа моя, не мои чувства, а всего лишь мои бедные губы!»

И услышала, как он сказал:

— Что-то ты не слишком рада меня видеть.

А немного спустя:

— Я слышал, вы встречались на Ривьере с молодым Леннаном? А он там что делал?

Вихрем налетел испуг, тут же мелькнуло опасение: не заметно ли это по ней, — ему на смену пришла сверхъестественная ясность мысли и небывалая выдержка — все это за миг перед тем, как она ответила:

— Ничего, развлекался, по-моему.

Прошло еще несколько секунд, и он сказал:

— Ты о нем ничего не писала.

Она ответила спокойно:

— Разве? А он много бывал с нами.

Она знала, что он на нее смотрит — пронизательно, с угрозой. Почему — ах, почему? — не могла она тут же, сейчас, крикнуть ему в лицо: «И я люблю его, слышишь? Люблю!» Как мучительно было предавать собственную любовь такой полуложью! И все это еще гораздо мрачнее и безнадежнее, чем она полагала. Невозможно представить себе, как она могла отдать себя на всю жизнь этому человеку! Если бы спрятаться от него сейчас, очутиться в своей комнате и все спокойно обдумать! Ибо его глаза ни на минуту не отрывались от нее, шаря по ее лицу и фигуре с какой-то жалкой жадностью и в то же время с угрозой, с вопросом, пока вдруг он не проговорил:

— Ну что же, во вред тебе это не пошло. Ты выглядишь превосходно.

Но его прикосновения она, при всей выдержке, стерпеть не смогла и отшатнулась, словно он ее ударил.

— Что с тобой? Я сделал тебе больно?

Ей показалось сначала, что он издевается, потом она

с предельной ясностью поняла, что ошиблась. И со всей безжалостной силой осознав ту опасность, которая угрожает ей, а может быть, даже и Марку, если она будет шарахаться от его прикосновений, она сделала над собой отчаянное усилие и, просунув руку ему под локоть, сказала:

— Я очень устала... И как-то не ждала...

Но он высвободил руку, отвернулся и стал смотреть в окно. Так доехали они до своего дома.

Когда он оставил ее одну, она еще долго стояла на том же месте, у шкафа, молча, без движения, и думала: «Что я буду делать? Как я буду жить?»

## IX

Когда Марк Леннан, вернувшись из Болье, добрался до своей квартиры в Челси, он сразу же поспешил к пачке дожидавшихся его писем, дважды перебрал ее лихорадочно и в растерянности застыл у стола. Почему она не прислала ему записку, как обещала? И он начал понимать — хотя еще и не до конца, — что это значит: любить замужнюю женщину. Ему предстоит в этом мучительном неведении прождать еще по крайней мере восемнадцать часов, пока можно будет пойти к ней с визитом и узнать причину ее молчания и услышать из ее уст, что она его еще любит. Разнодушнейший из законных мужей может в любую минуту видеть его возлюбленную, он же должен, сгорая от любви, ждать с убийственным терпением, чтобы опрометчивым поступком не повредить ей. Послать телеграмму? Он не решался. Написать письмо? Она получит его с утренней почтой, но какие слова написать, чтобы не опасаться, как бы Крэмер их случайно не прочитал? Поехать к ней? И того невозможнее; самое раннее, завтра в три часа — вот когда к ней можно будет поехать. Взгляд его блуждал по мастерской. Неужели все здесь и все его работы остались такими же, как двадцать дней назад, когда он уезжал? Казалось, теперь весь смысл их существования в том, что смотреть на них может прийти она, сесть вот в это кресло, пить вот из этой чашки, позволить ему положить ей за спину вот эту подушечку, а под ноги поставить вот эту скамейку. Он до того ясно представил себе, как она



сидит, откинувшись на спинку кресла, и смотрит на него, что так и верилось, будто все это уже было на самом деле. Как странно — ничего еще не решено между ними, не сделано признания, что любовь их не может остаться платонической, ничего не изменилось в их отношениях, не считая одного робкого поцелуя и нескольких шепотом произнесенных слов, — а все стало совсем иным. Месяц назад он, если ему хотелось, мог, не откладывая, преспокойно пойти к ней в гости. В этом не было бы ничего необычного, ничего дурного. А теперь сделалось невозможным даже малейшее отступление от самых строгих правил приличия. Рано или поздно на это обратят внимание, и тогда его сочтут тем, чем он не является, — ее любовником! Перед ее пустым креслом опустился он на колени, протянул руки!.. Ничего — пустота неосязаемая, без тепла, без аромата. Только дуновение страсти в воздухе, словно дыхание ветра в траве...

Он подошел к круглому окошку, выходившему на реку. Последний вечер мая — сумерки над водой, полумрак затаился в ветвях деревьев, и так тепел, так мягок воздух! Лучше быть там, в ночном городе, в потоке жизни, среди таких же, как ты, среди тех, у кого тоже бьется сердце, а не оставаться в этом доме, где все без нее — холод и бессмыслица.

Фонари — эти страстоцветы больших городов — из бледных становились ярко-оранжевыми, в небе зажигались звезды. Половина десятого! В десять часов, и ни минутой раньше, он пройдет мимо ее дома. Эта перспектива, как ни скромна, как ни жалка она была, все же придала ему бодрости. Но субботними вечерами в парламенте не бывает заседаний. Значит, Крэмьер дома, или же они оба куда-нибудь ушли, или, может быть, уехали в свой загородный дом на Темзе. Крэмьер! Какой жестокий демон распорядился так изуродовать ее жизнь? Почему, почему она ему не повстречалась до того, как связала свою жизнь с этим человеком? Вместо спокойного презрения к мужчине, который либо недостаточно чуток, чтобы понять, что его брак не удался, либо же недостаточно благороден, чтобы от последствий этой неудачи не страдала его жена, Марк уже давно испытывал к нему ревнивое отвращение, как к какому-то чудовищу. Схватиться с Крэмьером один на один в смертном

бою — только это могло утолить его жгучую ненависть... а ведь он был по натуре мягким и кротким.

Сердце его бешено колотилось, когда он подходил к ее улице — одной из тех красивых старинных улочек, что принадлежат к Лондону минувших времен. Она была очень узка, и на ней некуда было бы укрыться, повстречайся ему кто-нибудь в этой отдаленной тихой заводи, из которой не было пути никуда. Он, разумеется, должен будет сказать какую-нибудь ложь. Ложь отныне — его повседневное занятие. Ложь и ненависть, эти жестокие силы жизни, станут совершенной заурядностью в сравнении с жестокой силой его любви.

В нерешительности постоял он немного у ограды старого собора. Черный, с белыми прожилками и туманными башнями, высился он в полутьме, точно грандиозный призрак. Казалось, сама таинственность воплощена в нем. Марк повернулся и, быстро перейдя через улицу, зашагал под самыми стенами домов. В ее доме окна освещены! Значит, она там! Тусклый свет в столовой, огонь наверху — без сомнения, это ее комната! Неужели не существует способа привлечь ее к окну, неужели его душа не может подняться туда и воззвать к ее душе? Быть может, ее там и нет, может, это всего лишь горничная принесла наверх горячую воду. Он дошел уже до конца улицы, но уйти, не пройдя еще раз мимо ее окон, у него не было сил. Теперь он шел медленно, опустив голову, изображая глубокую задумчивость, шел, сожалея о каждом уже пройденном дюйме и не переставая вглядываться в то окно, где горел за шторами свет. Ни знака! Опять очутился он у ограды старого собора и опять не мог себя заставить уйти. На пустынной, узкой улочке не было ни живой души, ни кошки, ни собаки, ни признака жизни — только молчаливые освещенные окна. словно лица, прикрытые вуалью, с полным бесстрастием взирали они на его нерешительность. И он подумал: «Ну что ж, не я один такой. Немало сейчас, наверно, есть людей, кто находится так же близко и одновременно так далеко! Немало обреченных на страдание!» Но чего бы не отдал он в тот миг, чтобы раздёрнулись шторы на ее окне! Потом, испугнутый появлением пешехода, он повернулся и зашагал прочь.

Назавтра в три часа он явился к ней с визитом.

Посреди ее белой гостиной, где окно в частом переплете занимало целую стену, стоял столик, а на нем — серебряная ваза с ранними дельфиниумами, наверно, из их загородного сада. Дожидаясь, Леннан стоял и разглядывал эти цветы, похожие на голубых мотыльков и редкой окраски кузнечиков, повисших на светло-зеленом стебле. В этой комнате проводила дни она, отторгнутая от него. Раз в неделю, не чаще, сможет он сюда приходить — раз в неделю на час или два из тех ста шестидесяти восьми часов, что он будет стремиться к ней.

И вдруг он почувствовал, что она уже здесь. Она вошла неслышно и стояла подле рояля, такая бледная в своем кремовом платье, что глаза ее казались черными, как смоль. Он едва узнавал это лицо, закрывшееся, точно цветок под дыханием холодного ветра.

Что он сделал? Что могло произойти за эти пять дней, отчего она так к нему изменилась? Он взял ее руки и хотел поцеловать их, но она быстро сказала:

— Он дома!

Марк стоял молча и глядел в ее глаза, скованные ледяным спокойствием, растопить которое он должен был во что бы то ни стало, — от этого, казалось, зависела сейчас его жизнь. Потом спросил:

— Что случилось? Или я для вас ничего не значу?

Едва только выговорив это, он увидел, что спрашивать было незачем, и обнял ее. Она порывисто прижалась к нему, но в следующее мгновение высвободилась из его объятий со словами:

— Нет, нет, сядем спокойно!

Он подчинился, наполовину угадывая, наполовину отказываясь ясно представить себе, что крылось за этой странной холодностью и этим ее страстным порывом — и жалость к самой себе, и отвращение, стыд, и гнев, и тоска замужней женщины, впервые принимающей своего возлюбленного в доме своего мужа.

Теперь она старалась заставить его забыть ее странное поведение; старалась снова быть с ним такой, как в те солнечные дни на Ривьере. Но вдруг, одними губами, она быстро проговорила:



«ТЕМНЫЙ ЦВЕТ»



«ТЕМНЫЙ ЦВЕТ»

— Скорее! Когда мы можем увидаться? Я приду завтра в пять...

И, следуя за ее взглядом, он увидел, как растворились двери и вошел Крэмьер. Без улыбки на лице, огромный в этой низкой комнате, он пошел прямо на них и протянул Леннану руку, потом пододвинул себе кресло и сел как раз между ними.

— Итак, вы вернулись в Лондон,— сказал он.— Хорошо провели время?

— Да, благодарю вас.

— Удачно вышло для Олив, что вы там оказались: в этих городишках бывает тоскливо.

— Для меня еще удачнее!

— Не сомневаюсь.

И с этими словами он повернулся к жене. Руки его лежали на подлокотниках стиснутыми кулаками вверх; казалось, он понимал, что держит их обоих в своих руках — его в одном, ее в другом кулаке.

— Удивляюсь,— медленно сказал он,— как люди, вроде вас, ничем не связанные, могут жить в Лондоне. Я бы сказал, Рим, Париж — вот ваш рай.

В его голосе, в его всегда чуть красноватых глазах с их властным, самоуверенным взглядом, во всем его облике чувствовались скрытая угроза и презрение, словно он говорил про себя: «Попробуй только встать у меня на дороге — я тебя раздавлю!»

Марк думал: «Долго ли еще мне нужно тут сидеть?». И вдруг из-за профиля этого грузного мужчины, бесповоротно усевшегося между ними, он поймал ее взгляд, быстрый, уверенный, рассчитанный с удивительной точностью, а потом еще и еще один — словно сама опасность побуждала ее оставить притворную холодность. Что, если Крэмьер перехватит один такой взгляд? Но надо ли бояться, как бы ласточка не расшиблась о стену, над которой она пролетает? И все-таки, не в силах этого дольше видеть, Леннан поднялся.

— Уже? — Сколько в одном этом учтивом слове было холодной наглости!

Он не видел, как рука его встретила с тяжелой ладонью Крэмьера. Он заметил, что Олив встала так, чтобы, когда они будут прощаться, их лица не были видны. Глаза ее улыбались и в то же время молили; губы сло-

жили слово «Завтра!»; и, сжав отчаянно ее руку, он ушел.

Он и не подозревал, какой мучительной окажется встреча с нею в присутствии того, кто ею владеет. Может быть, все-таки ему надо от нее отказаться, отказаться от этой любви, которая сводит его с ума?

Он взобрался в омнибус и поехал в сторону Вест-Энда. Начались еще одни сутки голода. Как он убьет эти двадцать четыре часа — безразлично. Потому что это часы его боли, и надо хоть как-то их перетерпеть — перетерпеть, а что потом? Час или два, которые он проведет с нею, из последних сил держа себя в руках?

Как большинство артистов и меньшинство англичан, он жил чувствами, а не фактами; и потому бесповоротные решения не приносили ему облегчения. Но он их все-таки принимал, и немало: и что откажется от нее, и что сохранит верность идеалу служения без награды, и что будет молить ее, чтобы она оставила Крэмьера и пришла к нему, — и каждое такое решение он принимал по нескольку раз.

У Хайд-парка он слез с омнибуса и вошел в парк, надеясь, что от прогулки ему станет полегче. Но там повсюду сидело великое множество народу, и все предавались единственно разумному в этот час и в этом месте занятию: дышали целебным свежим воздухом; чтобы не видеть их, он пошел вдоль ограды и наткнулся прямо на полковника Эркотта и его супругу, которые шли со стороны Найтсбриджа, оба немного возбужденные и покрасневшие после завтрака у знакомого генерала, где рассказывали про «Монте».

Они приветствовали его с наигранным изумлением людей, не раз говоривших друг другу: «Вот посмотришь, он там долго не задержится!» Как приятно, сказали они, его встретить. Давно ли он вернулся? Они думали, он собирался в Италию. А вид у него довольно усталый. Виделся ли он с Олив, они не спросили — по доброте, а, может, из опасения, что он скажет «да», и им будет неловко, или скажет «нет», а это будет и того хуже, когда выяснится, что ему следовало бы ответить «да». Не присядет ли он с ними на минутку? Они идут навещать Олив. Леннан почувствовал, что это — предупреж-



дение. И заставив себя глядеть им прямо в глаза, сказал: «А я как раз оттуда».

В тот же вечер миссис Эркотт так выразила свои впечатления:

— Бедный молодой человек, у него совсем измученный вид! Боюсь, ничем хорошим это не кончится. Ты заметил, как он от нас убежал? И похудел он сильно; если бы не загар, он выглядел бы совсем больным. Глаза такие страдальческие, а раньше они у него всегда так мило улыбались.

Полковник, который застегивал крючки на женином платье, прервал это требующее полнейшего внимания занятие.

— Ужасно жалко,— заметил он,— что у него нет настоящего дела. Вся эта его пачкотня с глиной — пустая забава.

И медленно застегнул один крючок, отчего несколько других сразу расстегнулось.

А миссис Эркотт продолжала:

— Я сегодня смотрела на Олив, когда она думала, что ее не видят. Такое впечатление, будто она снимала маску. Но Роберт Крэмьер с этим мириться не станет. Он в нее по-прежнему влюблен, я видела его лицо. Джон, это трагедия!

Полковник выпустил крючки.

— Если бы я думал, что это так,— промолвил он,— я бы что-нибудь сделал.

— Если бы ты мог сделать что-нибудь, это не было бы трагедией.

Полковник широко открыл глаза. Что-нибудь да всегда бывает можно сделать.

— Ты читаешь слишком много романов,— сказал он без особого убеждения в голосе.

Его жена улыбнулась и ничего не ответила на его выпад: это она слышала не в первый раз.

## XI

Когда после встречи с Эркоттами Леннан добрался до дому, он обнаружил у себя в почтовом ящике визитную карточку, на которой значилось: «Миссис Дун» и «Мисс Сильвия Дун», а снизу карандашом было при-



писано: «Зайдите навестить нас до того, как мы уедем в Хейл, пожалуйста. Сильвия». Он долго, бессмысленно смотрел на этот круглый, так хорошо ему знакомый почерк.

Сильвия! Наверно, ничто не могло бы с такой ясностью показать ему, как безнадежно поглотил потоп его страсти весь остальной мир. Сильвия! Он забыл даже о ее существовании; а ведь еще только в прошлом году, когда он окончательно поселился в Лондоне, они опять часто встречались, и он даже начал снова посматривать на нее с нежностью — такая она милая, такие у нее красивые светло-золотистые волосы и такой преданный взгляд. Потом они на всю зиму уехали в Алжир: этого требовало здоровье ее матери. Когда они возвратились, он уже избегал встреч с нею; хотя это было еще до того, как Олив уехала в Монте-Карло, до того даже, как он самому себе признался в своем чувстве. А с тех пор! Он ни разу и не вспомнил о ней. Ни единого разу! Мир перестал существовать. «Зайдите навестить нас, пожалуйста. Сильвия». Даже думать об этом было как-то неприятно. Нет, там ему не рассеять своей тоски и нетерпения.

Ему вдруг пришло в голову: почему бы, чтоб убить время в ожидании завтрашней встречи, не поехать ему на лодке по Темзе мимо ее загородного дома? Можно было еще поспеть на последний поезд.

Уже затемно добрался он до деревни, вблизи которой находился их дом, переночевал там в гостинице, а утром встал пораньше, взял лодку и поплыл вниз по течению. Дальний берег был обрывистый, поросший высокими деревьями. Солнце играло в их листве, а серебристую воду рябил легкий ветерок, клоня камыши и тихо качая водяные лилии. Через синее небо тянулся узкий белый след ветра. Леннан положил весла в лодку и отдался на волю течения, слушая, как воркуют лесные голуби, глядя, как ласточки носятся в вышине. Ах, если бы с ним сейчас была она! Провести бы так один нескончаемый день, тихо плывя вниз по реке! Хоть однажды получить передышку от своей тоски! Их дом, он знал, находился на той же стороне, что и деревня, за островком. Она говорила ему про живую изгородь из тисов и про белую голубятню почти у самой воды. Он поравнялся с островом и медленно поплыл по боковой протоке.

Здесь, в ивняке и ольшанике, было темно даже в это солнечное утро и удивительно тихо. Грести было невозможно: негде весла развернуть; он вытащил багор и погрузил его в зеленую воду, чтобы отпихиваться ото дна, но там оказалось слишком глубоко и повсюду попадались большие коряги, так что пришлось подтягиваться, цепляясь багром за ветки. Птицы сторонились этого темного уголка, только одинокая сорока перелетела узкий клочок ясного неба над головой и скрылась за ивами. В воздухе стоял сладкий, гниловатый запах слишком сочной листвы; сияние дня здесь словно погребено было в тесной гробнице. Он был рад, когда наконец, обогнув огромный тополь, выплыл на открытое место навстречу золотым и серебристым переливам утра. И сразу же увидел тисовую живую изгородь по краю ярко-зеленой полянки и белую голубятню на высоком столбе. Вокруг сидели и летали белоснежные голуби и сизые горлинки; а выше, за зеленым газоном, видна была темная веранда низкого дома, увитого отцветающими глициниями. Ветерок принес запах поздней сирени и свежескошенной травы, а с ними стрекот ручной косилки и жужжание пчел. Красивое место, и, несмотря на глубокий покой, царящий вокруг, что-то здесь напомнило ему летучую легкость, которая так очаровывала его в ее лице, в откинутых прядях ее волос, в быстром нежном взгляде ее темных глаз,—или виною тому были темные тисы, белая голубятня и полет горлинок в вышине?

Он долго сидел в лодке под самым берегом, стараясь ничем не привлечь внимания старого садовника, который размеренно катал ручную косилку взад-вперед по газону. О, как он мечтал, чтобы сейчас с ним была она! Удивительно, как это может быть в жизни такая красота и дикая нежная прелесть, что сердце щемит от восторга, и в той же жизни есть серые правила, угрюмые барьеры — гробы счастья! Зачем любви, радости закрыты двери? Ведь не так-то много любви и радости на свете. Она, сама душа этого волшебного летучего лета, заточена безвременно за тяжелыми зимними засовами угрюмого ненастья. Какое бессмысленное, злое дело! Мрачная жестокость, преступная, мертвая, узколобая расточительность! Для чего, кому могло понадобиться, чтобы она была несчастна? Пусть даже он и не любил

бы ее, все равно ему ненавистна была бы ее судьба — еще в ранней юности всякая повесть о пленной, загубленной жизни будила ярость в его сердце.

Нежные белые облака — эти светлые ангелы реки, — все время парившие неподалеку, простерли теперь свои крыла над верхушками деревьев; улегся ветер, дремотное тепло и лепет леса стекались к воде. Старый садовник кончил подстригать газон и с маленькой корзинкой зерна вышел кормить голубей. Леннан видел, как белые голуби слетались к нему, а грациозные сизые вяхири держались в стороне. Вместо этого старика ему виделась на берегу она, кормящая из руки нежных птиц Киприды<sup>1</sup>. Какую замечательную скульптурную группу мог бы он сделать — она и голуби, сидящие и порхающие вокруг нее! Если бы она принадлежала ему, чего бы он не достиг, чтобы сделать ее бессмертной, подобно старым итальянским мастерам, которые уберегли своих возлюбленных от власти Времени!..

В свою лондонскую квартиру он вернулся за целых два часа до того, как можно было начинать ее ждать. Он жил один, если не считать уборщицы, которая приходила на часок-другой по утрам, подымала пыль и исчезала, и потому ему не было нужды в предосторожностях. А когда он принес цветы, фрукты и печенье — которых они, конечно, все равно не станут есть — и, накрыв к чаю стол, раз двадцать обозрел комнату, он уселся наконец с книгой у круглого окна высматривать ее на улице. Так и сидел он без движения, не прочтя ни слова, и только облизывал то и дело пересохшие губы да вздыхал, чтобы унять волнение своего сердца. Наконец он увидел ее. Она шла, держась поближе к оградкам домов, и не глядела по сторонам. На ней было батистовое платье и шляпка из блекло-кофейной соломки с узкой черной бархоткой вокруг тульи. Перешла переулок, остановилась на мгновение, торопливо оглянулась и решительно направилась дальше. Отчего он ее так любит? В чем секрет ее очарования для него? Уж, конечно, не в сознательных уловках. Наверно, никто не прилагал так мало стараний, чтобы очаровать. Он не мог припомнить ни одного ее поступка, нарочно рассчитанного на то, что-

---

<sup>1</sup> Голуби и воробьи в Древней Греции были посвящены Афродите Кипрской.

бы привлечь его. Быть может, все дело в самой ее пассивности, в ее врожденной гордости, которая ничего не предлагает и ничего не просит, в каком-то мягком стоицизме ее натуры и еще — в той таинственной прелести, так неотъемлемо, так глубоко присущей ей, как аромат присущ цветку?

Он ждал у двери и распахнул ее, когда легкие шаги прозвучали у самого порога. Она вошла, не сказав ни слова, даже не взглянув на него. Он тоже ни слова не произнес, пока не запер дверь и не убедился, что она действительно тут, у него. Потом они повернулись друг к другу. Грудь ее под легким платьем слегка вздымалась, но все же она была спокойнее его — чудесным спокойствием, не покидающим в любви красивую женщину, ибо она может сказать: «Вот воздух, дышать которым я рождена!»

Они стояли и смотрели друг на друга, словно не могли насмотреться. Потом он сказал:

— Я думал, что умру, так и не дождавшись этого мгновения. Не проходит минуты, чтобы я так стремился к вам, что жизнь мне не в жизнь.

— Вы думаете, я не стремлюсь к вам?

— Тогда приди ко мне!

Она поглядела на него печально и покачала головой.

Ну что ж, он знал, что таков будет ее ответ. Он еще не заслужил ее. Какое право у него звать ее, чтобы она пошла против всего света, чтобы презрела все, до конца доверилась ему? Он не мог настаивать, он начал вдруг понимать ту обезоруживающую истину, что отныне в его любви не ему решать; так велика была его любовь, что он перестал быть отдельным существом, наделенным отдельной волей. Он слился с нею и мог действовать лишь тогда, когда его и ее воля были едины. Никогда не скажет он ей: «Ты должна!» Он слишком сильно ее любит. И она это знает. И потому остается только забыть о своей боли и радоваться этому часу счастья. Но что ему делать с другой истиной: в любви не бывает передышки, не бывает остановок на полпути? Даже скудно поливаемый цветок будет расти, расти, покуда не настанет ему время быть сорванным... Этот оазис в пустыне, эти несколько мгновений с ней наедине, пронизанные горячим, испепеляющим ветром. Приблизиться к ней! Как

не стремиться к этому? Как не жаждать ее губ, когда ему дана для поцелуев лишь ее рука? И как уберечься от горькой отравы, которую приносила мысль, что через несколько минут она покинет его и вернется к тому, другому, кто может, как бы отвратителен он ей ни был, видеть и касаться ее, когда захочет? Она сидела, откинувшись на спинку того самого кресла, в котором воображение недавно ему ее рисовало. А он отваживался лишь взирать на нее снизу вверх, примостившись на скамеечке у ее ног. И все, что неделю тому назад представлялось ему несказанным блаженством, оказалось теперь едва ли не мукой — так далеко это было от его желаний. Мукой было заставлять свой голос звучать в согласии с трезвой ласковостью ее голоса. Он думал с горечью: «Как она может сидеть так и не томиться по мне, как я томлюсь по ней?» Потом, почувствовав прикосновение ее пальцев к своим волосам, он потерял власть над собой и поцеловал ее в губы. Она уступила лишь на секунду.

— Нет, нет, не надо!

Ее неожиданный грустный отпор сразу же его отрезвил.

Он выпрямился, отошел в сторону, просил о прощении.

Когда она ушла, он сел в кресло, где она сидела. Это объятие, этот поцелуй, который он просил ее забыть — забыть! — этого у него никто не отнимет. Он совершил проступок, он ослушался ее, нарушил законы рыцарства! А между тем улыбка несказанного счастья не сходила с его губ. Его целомудренному воображению представлялось даже, будто бы это — все, к чему он стремился. О, если бы ему закрыть сейчас глаза и умереть прежде, чем покинет его эта радость полусвершения!

Все еще с улыбкой на губах лежал он в кресле и глядел, как под потолком вьются и гоняются друг за другом вокруг лампы мухи. Мух было шестнадцать, и они все кружились, все преследовали одна другую, без передышки, без остановки!

## XII

Когда, вернувшись пешком из мастерской Леннана, Олив вошла в свою темную прихожую, она прежде всего поспешила к вешалке и окинула взглядом шляпы. Все

на месте — и цилиндр, и котелок, и соломенное канотье! Значит, он дома! И в каждой шляпе по очереди она представила себе голову мужа — лицо отвернуто, и так ясно видны грубые складки на шее и на щеке. Она подумала: «Господи, хоть бы он умер! Это грешно, но я молю: хоть бы он умер!» Потом тихонько, чтобы он не услышал, поднялась наверх к себе в спальню. Дверь в его комнату была распахнута, и она подошла, чтобы закрыть ее. Он стоял там, спиной к окну.

— А! Ты вернулась! Куда-нибудь ходила?

— Да, в Национальную галерею.

То была первая сказанная ему ложь, и она, к удивлению своему, не испытала ни стыда, ни страха, а только нечто похожее на радость, оттого что может нанести ему поражение. Он был ее враг, стократ ей враг еще и потому, что в этой войне она воевала также против самой себя и, как это ни странно, ради него.

— Одна?

— Да.

— И не скучно было? Я бы на твоём месте взял себе в спутники молодого Леннана.

— Почему?

Инстинкт подсказал ей, что надо взять самый смелый тон; по ее лицу нельзя было догадаться ни о чем. Если он превосходил ее силой, она превосходила его быстротой ума.

Он опустил глаза и ответил:

— Ну, это ведь его профессия.

Пожав плечами, она повернулась и закрыла дверь. И долго сидела неподвижно на краю своей кровати. В этой схватке умов победила она, победит без труда и в других; но ей только сейчас стала до конца ясна вся мерзость ее положения. Ложь, ложь! Вот что отныне станет ее жизнью! Лгать — или же сказать «прости» всему, что ей дорого, и обречь мраку отчаяния не только себя, но и того, кто ее любит, — а во имя чего? Чтобы тело ее оставалось во власти мужчины, который стоит там, в соседней комнате, безвозвратно утратившего власть над ее душой. Таков был выбор. Если только слова: «Тогда приди ко мне» — были не просто словами. Но так ли это? Возможно ли это? Они сулят великое счастье, если — если только его любовь к ней не была лишь весенним

увлечением. А ее любовь? Как знать, больше ли она, больше ли их любовь друг к другу, чем простое увлечение весны? А не зная, как причинить всем такую боль? Как нарушить клятву, которую она всегда считала позором нарушить? Как отважиться на бесповоротный разрыв со всеми традициями и убеждениями, в которых она вращена? Но в самой природе страсти есть нечто, противящееся вмешательству обдуманных и твердых решений... И внезапно Олив подумала: «Если наша любовь не сможет остаться такой, как сейчас, и если я все-таки не в состоянии буду уйти к нему навсегда, есть ведь и еще один путь...»

Она встала и начала одеваться к обеду. Стоя перед зеркалом, она подивилась тому, что на лице у нее нет и следов тех страхов и сомнений, которые сделались теперь ее неразлучными спутниками. Не потому ли это, что вопреки всему она любит и любима? Интересно, какое у нее было лицо, когда он так страстно поцеловал ее; обнаружила ли она свою радость, прежде чем оттолкнула его?

У нее в саду над рекой были такие цветы, которые, как ни ухаживала она за ними, вырастали чахлыми и не того цвета; им нужна была другая почва. Может быть, и она тоже, как те цветы? Дайте ей только нужную почву, и она распрямится, обретет верные краски!

И тут на пороге своей комнаты она увидела мужа. До этого она не испытывала к нему настоящей ненависти, но сейчас, при взгляде на него, почувствовала, что ненавидит его слепо и яростно. Что нужно от нее ему, так пристально на нее глядящему этими властными, налитыми кровью глазами, которые в одно и то же время грозят, вожделеют и молят? Она плотнее закутала плечи шарфом. Тогда он шагнул к ней и произнес:

— Погляди на меня, Олив.

Она повиновалась, хотя все в ней восставало против этого. Он продолжал:

— Остерегись! Говорю тебе: остерегись!

Он взял ее за плечи и притянул к себе. Она, точно утратив всякую волю к сопротивлению, стояла покорно.

— Ты нужна мне,— проговорил он.— И ты останешься моею.

И вдруг, отпустив ее, прикрыл глаза ладонями. Это

испугало ее больше всего: так непохоже на него это было. Только сейчас начала она понимать, между какими грозными силами она поневоле лавирует. Она не произнесла ни слова, но лицо ее стало белым. Не отнимая ладоней, он издал какой-то звук, нечленораздельный, нечеловеческий, повернулся резко и вышел. Она упала на стул перед своим туалетом, вся во власти какого-то нового, неведомого ей ощущения: словно она утратила все, даже любовь свою к Леннану, даже потребность быть любимой им. Какая цена этому, какая цена всему в таком мире? Все отвратительно, она сама отвратительна! Все пустота! Гадость, гадость! Словно у тебя вовсе нет сердца!

И в тот же вечер, когда муж ее уехал в парламент, она написала Леннану:

«Наша любовь никогда не должна обращаться в земную, как это чуть было не произошло сегодня. Все мрак и безнадежность. Он подозревает. Вам сюда приходить невозможно: для нас обоих это будет непереносимо. У меня нет права просить вас об осторожности, мне больно думать, что вы вынуждены лгать и таиться, и сама я не в силах этого сносить. Не знаю, что мне делать, что сказать. Не пытайтесь пока меня увидеть. Мне нужно время. Я должна подумать».

### XIII

Полковник Эркотт не увлекался скачками, но все же, подобно большинству его соотечественников, питал религиозное почтение к Дерби. Связанные с Дерби воспоминания восходили ко дням его детства, ибо он родился и вырос чуть не у самой проезжей дороги на Эпсом. Дважды в году — в дни больших скачек — он на своем пони выезжал смотреть, как проплывают мимо цилиндры и перья великих мира сего, котелки и перья малых сих. А потом дома, на лужайке, скакал взапуски со стариной Линдсеем, назначив финиш между коровой, она же — судья, и зарослью бурьяна, долженствовавшей изображать Главную трибуну.

Но как-то получилось, что самих скачек он так ни разу в жизни и не видел, и теперь вдруг он почувствовал,



что побывать на них — его долг. С некоторой робостью изложил он свое намерение миссис Эркотт. Она читала слишком много романов — кто знает, может быть, она не одобрит? Но она одобрила, и тогда он вскользь добавил:

— Мы могли бы захватить с собой Олив.

Миссис Эркотт сухо заметила в ответ:

— А что, разве в Палате Общин нет заседаний?

Полковник буркнул:

— Этот субъект мне вовсе не нужен.

— Может быть, пригласишь Марка Леннана? — отозвалась миссис Эркотт.

Полковник поглядел на жену с глубоким недоумением. Как Долли может: называет все это трагедией и... как это?.. великой страстью, и сама же предлагает подобную вещь! Но потом морщины на его лице пришли в движение, и он крепко обхватил жену за талию.

Миссис Эркотт не устояла.

— Поезжай с Олив вдвоем, — предложила она. — У меня, по правде говоря, вовсе нет охоты туда ехать.

Когда полковник заехал за племянницей, она была уже готова, и он скрепя сердце осведомился о Крэмьере. Оказалось, что она ничего не говорила мужу о поездке.

С облегчением, но слегка смущенный, полковник осведомился:

— А он не обидится, что мы едем без него?

— Если бы он поехал, я осталась бы.

При этом спокойном ответе все прежние страхи вновь одолели полковника. Он положил свой белый цилиндр и взял племянницу за руку.

— Дорогая моя, — сказал он, — я не хочу вмешиваться, но... но, может быть, я могу что-нибудь сделать? Мне мучительно видеть, что ты страдаешь!

Он почувствовал, как она поднесла его руку к своему лицу и прижалась к ней щекой. Сердце его разрывалось. Он другой рукой, затянутой в новую перчатку, погладил ее локоть и проговорил:

— Мы с тобой отлично проведем день, родная, и забудем обо всем.

Она поцеловала его руку и отвернулась. И полковник мысленно поклялся, что не допустит, чтобы она страдала — такая красивая, хрупкая, стройная и такая

элегантная в этом жемчужно-сером платье. Он с трудом подавил волнение и долго яростно тер рукавом свой белый цилиндр, забыв, что на них не бывает ворса.

По дороге в Эпсом он был сама нежность: предупреждал все ее желания, рассказывал ей про Индию, советовался, на какую лошадь им лучше поставить. Можно бы, конечно, на герцогского жеребца, но есть другая лошадка, которая ему особенно по сердцу. Ему назвал ее Тейбор—тот самый Тейбор, у которого были лучшие в Индии лошади арабской породы,—и ставки очень приличные. Как всякому новичку, полковнику приятно было помечтать, чтобы выбранная им лошадь принесла ему как можно более ощутимый выигрыш, если уж ей суждено выиграть; о проигрыше он и не думал. Одним словом, надо поглядеть на нее своими глазами, и тогда уже самим судить. Надо пройти туда, где сейчас прогуливают лошадей,—там, в стороне от гама и пыли, и Олив будет лучше. Однако, добравшись до ипподрома, они не стали смотреть первые скачки: гораздо важнее было, по мнению полковника, пойти сначала перекусить. Он хотел, чтобы краски заиграли на ее лице, хотел услышать ее смех. У него был пропуск в павильон его старого полка, где шампанское подают наверняка лучшего качества. И он был горд показаться там с нею—ни на что на свете не променял бы он восторженных взглядов, которыми награждали ее все эти юнцы; хотя вообще-то приводить туда даму было против правил. Только перед самым началом вторых скачек подошли они к загону, где прогуливали лошадей, которым еще предстояло скакать. Лошади вышагивали не спеша, каждая в сопровождении отдельной свиты знатоков, скользящих взглядами по их стройным ногам и крутым бокам в попытке определить, оправдаются ли их надежды, и двух-трех любителей из тех, что просто получают удовольствие от вида хорошей лошади. Они скоро увидели лошадь, про которую говорили полковнику. Гнедая, с белой звездочкой во лбу, она прохаживалась в дальнем углу. Полковник, понимавший толк в лошадях, пришел в восхищение. Ему понравилась ее голова, понравились ее бабки, но всего более понравился ее глаз. Прелестное создание, вся ум и огонь. Разве чуть-чуть жестковата в плечах: это может помешать на склоне. И вдруг, любуясь лошастью, он пой-

мал себя на том, что перевел взгляд на свою племянницу. Какая породистость; какие тонкие, дугой, брови, маленькие уши, узкие, изящные ноздри; а как она движется — уверенно, упруго. Нет, она слишком хороша, чтобы страдать! Какая подлость! Не будь она так хороша, юный Леннан в нее не влюбился бы. Не будь она так хороша собой, этот муж ее тоже не стал бы... Полковник опустил глаза, потрясенный своим случайным открытием. Не будь она так хороша собой! Значит, в этом вся суть происходящего? Циничный смысл собственного умозаключения совершенно его ошеломил. И все-таки что-то в глубине души подсказывало ему, что так оно и есть. Ну и что же? Неужели он позволит, чтобы эти двое разорвали ее пополам, погубили ее из-за того, что она так хороша? Неожиданное открытие, что страсть рождается из преклонения перед красотой и горячей кровью, перед прекрасными линиями и красками, глубоко его взволновало, ибо у него не было привычки философствовать. Мысль эта казалась ему до странности грубой, даже безнравственной. Что же она, вот так, очутилась между двумя неотступными желаниями — словно птица меж двух ястребов, яблоко меж двух ртов? Ему никогда не приходило в голову, что на вещи можно смотреть так. Он представил себе, как муж держит ее мертвой хваткой, а Леннан, который кажется таким деликатным юношей, выбирает минуту, чтобы тоже вцепиться в нее; представил себе, как, когда она ответит, подурнеет, утратит свою красоту, их алчность, да и алчность всякого мужчины, сразу пропадет, исчезнет, — и от мыслей этих ему становилось тем больнее, что пришли они так внезапно и он был к ним так неподготовлен. Трагедия! Так сказала Долли. Станные, скорые на суждения — таковы женщины. Но потом он вспомнил свою решимость доставить ей за этот день побольше удовольствия и поспешил снова заняться рассматриванием приглянувшейся им лошади. Пожалуй, можно поставить на нее десять фунтов и пора как будто бы поторопиться назад на трибуну. Они направились туда, и полковник обратил внимание на стоящего под деревом человека — он готов был поклясться, что это Леннан. Хотя, конечно, какой художник станет ездить на скачки? Но тем не менее это и в самом деле был молодой Леннан, одетый тщательно и в

цилиндре. К счастью, он смотрел в другую сторону. Полковник ничего не сказал Олив, ему не хотелось — тем более, с такими, как у него, мыслями — брать на себя ответственность, и он повел ее ко входу, радуясь собственной зоркости. Там в давке ее на минуту от него оттерли, но вскоре она уже опять была подле него; и он еще больше возрадовался тому, что не произошло ничего такого, что могло бы расстроить Олив и испортить ей день. Щеки ее теперь горели, в глазах появился блеск. Она была возбуждена, без сомнения, мыслями о предстоящей скачке и о «десятке», которую он собирался за нее поставить.

Позже он рассказывал миссис Эркотт:

— Эта гнедая кобыла, которую указал мне Тейбор, пришла чуть не последней — под гору она вовсе не берет, — я это сразу понял, только посмотрел на нее. Но девочка развлеклась. Жалко, что тебя с нами не было, дорогая!

О своих глубокомысленных размышлениях и о мельком увиденном Леннана он не упомянул, потому что по дороге домой у него вдруг возникло черное подозрение: может быть, молодой человек все-таки видел их и ухитрился в этой давке у входа на трибуну подойти к Олив?

#### XIV

Ее письмо раздуло пламя в груди Леннана, как ничто еще его не раздувало. Земная любовь! Неужели это земное: любить так, как любит он? А если это и есть земное, то он никогда в жизни не променяет его на самое небесное. Читая ее неожиданное письмо, он перешел свой Рубикон и сжег корабли. Бледный призрак рыцарского послушания больше не маячил перед ним. Он понял, что остановиться он уже не в силах. Раз она просит, он, разумеется, не будет добиваться встречи с ней — пока. Но когда они снова встретятся, тогда он начнет битву — битву за свою жизнь; допустить же, что она хочет навсегда от него ускользнуть, он не мог, мысль эта была чересчур уж непереносима. Не может она этого хотеть! Не может она поступить так жестоко! Нет, нет, в конце концов она придет к нему! Весь мир, самую жизнь готов он отдать за ее любовь!

Приняв решение, он смог даже вернуться к работе и весь вторник лепил большую фантастическую фигуру человека-быка, которую задумал тогда в Болье, после ухода полковника Эркотта. Он трудился над ней с какой-то злобной радостью. Он вложит в свое создание тот дух собственничества, который разлучает ее с ним. Пальцы его давили глину, и ему казалось, будто он сжимает горло Крэмбера. А между тем теперь, когда он решил, что отнимет ее, если сумеет, ненависть его утихла. В конце-то концов этот человек ее любит, он не виноват, что противен ей; не виноват, что она его собственность — телом и душой!

Наступил июнь, и небо сияло такой синевой, что даже лондонское пыльное пекло не могло заставить ее потускнеть. В каждом сквере, в каждом парке, над каждым зеленым газоном воздух дрожал жизнью и музыкой птичьих голосов, льющихся с тонких качающихся веток. Шарманки на улицах не надрывались больше, тоскуя по южным странам; и влюбленные уже сидели в тени деревьев.

Оставаться в четырех стенах в те часы, когда он не работал, было для Леннана чистейшей мукой, ибо он не мог читать и вообще утратил всякий интерес к обычным развлечениям и занятиям, составляющим жизнь человека. Все внешнее словно опало, отсохло, и осталось только состояние духа, настроение ума.

Лежа без сна в постели, он думал о прошлом, и оно представлялось ему пустым — все расплылось, растаяло в пламени его теперешнего чувства. Так сильно было в нем ощущение полной оторванности от мира, что ему просто не верилось, что все, хранившееся в его памяти, действительно когда-то с ним происходило. Он весь был теперь в огне, и, помимо этого огня, ничего не существовало.

Бродить под открытым небом, особенно среди деревьев, было его единственным утешением.

В тот вечер он долго сидел под развесистой липой на откосе над Серпентайн. В воздухе чуть веял ветерок, его силы едва хватало, чтобы поддерживать еле слышный лепет листьев. Что, если бы люди, прожив свои жизни, то спокойные, то бурные, становились деревьями? Что, если кто-нибудь страдавший, изведавший тос-

ку и муку, простирает теперь над ним этот лиственный покой — эту иссиня-черную тень на звездном небе? А может быть, и звезды — это души мужчин и женщин, навсегда обретших успокоение от любовной тоски? Он отломил веточку липы и провел ею по лицу. Она еще не цвела, но пахла острой свежестью даже здесь, в Лондоне. О, если бы хоть на миг он мог вырваться из собственного сердца и отдохнуть среди деревьев и звезд!

На следующее утро письмо от нее не пришло, и скоро он уже утратил способность работать. Был день Дерби. Он решил поехать в Эпсом. Может быть, он увидит там ее. А если и нет, то все же сумеет немного развлечься, разглядывая толпу и лошадей. Он заметил ее возле лошадей задолго до того, как зоркие глаза полковника Эркотта углядели его; и, протолкавшись в толпе у входа на трибуну, успел коснуться ее руки и шепнуть: «Завтра в Национальной галерее в четыре часа, под «Вакхом и Ариадной», ради бога!» Ее стянутая перчаткой рука сжала ему пальцы — и их разлучили. Он не пошел на трибуну, он почти и дышать не мог от счастья...

Назавтра, сидя в ожидании под назначенной картиной, он, словно заново, с удивлением ее разглядывал. Потому что в темном, звездами увенчанном небе и в глазах бегущего бога ему виделось воплощение собственной страсти. Разве в душе своей и он не мчался вот так всегда к ней? Летели минуты, но ее все не было. Что с ним будет, если она не придет? Он умрет от горя и отчаяния... Он еще не постиг тогда живучести человеческого сердца, которое, как бы жестоко ни ранила, ни раздирала жизнь, все равно продолжает биться... И тогда, совсем не оттуда, откуда он ждал, пришла она.

Молча направились они в тихие залы, где висели акварели Тернера. Никого, если не считать двух французов и какого-то старичка-чиновника, не было там, когда они, медленно пройдя перед этими маленькими картинками, очутились у дальней стены зала и он, невидный, не слышимый никому, кроме нее, мог начать!

Все заранее приготовленные аргументы сразу забылись; осталась лишь несвязная жаркая мольба. Для него нет без нее жизни; а ведь лишь однажды дается жизнь, чтобы человек любил, лишь одно лето отпущено каждому. Там, где нет ее, стоит тьма, даже солнце и то

черно. Уж лучше умереть, чем жить такой лживой, разбитой жизнью врозь. Лучше умереть сразу же, чем продолжать это существование, тщетно стремясь друг к другу, терзаясь и мучаясь тоской, с болью видя страдания любимого. И во имя чего? Его бесит, убивает мысль о том, что этот человек прикасается к ней, когда он ей ненавистен. Это позор всему племени мужчин; этому стыдно способствовать. Клятва, когда от нее осталась лишь мертвая буква,— не более как предрассудок, и губить свою жизнь во имя нее — просто грех. А общество — она же знает, не может не знать — обращает внимание лишь на форму, на внешность. И велика ли важность, что думает общество? Оно бездушно, бесчувственно, оно ничто. А когда говорят, что нужно жертвовать собой во имя других людей, чтобы на свете лучше жилось,— это было бы справедливо, если только любовь несерьезная, эгоистичная. Но когда двое так любят, всем сердцем, всей душой и готовы каждую минуту умереть за любимого, а друг без друга не видят смысла ни в чем,— тогда никому не будет прока, если они убьют свою любовь и все счастье своей жизни и будут влачить существование, подобное смерти заживо. И даже если он ошибается, все равно он готов совершить эту ошибку, и будь что будет, он все возьмет на себя! Но это не ошибка, не может это быть ошибкой, раз они так чувствуют!

Он изливал свои мольбы, а глаза его все искали отзвона, ответа на ее лице. Но она только повторяла: «Не знаю... я не знаю... о, если б только знать!» Тогда он умолкал, потрясенный до глубины души, пока взгляд ее или прикосновение вновь не исторгали из его уст мольбу: «Ведь ты же любишь меня — что нужды нам во всем остальном!»

И все начиналось сначала в этом пустом зале, предназначенном совсем для другого, куда двое французов не заглядывали из деликатности, а старый чиновник — по лени. Но постепенно все сузилось, свелось к одному отчаянному, настойчивому вопросу:

— Что, что вас страшит?

Но в ответ раздавалось все то же печальное: «Не знаю... не знаю», — сковывая душу беспощадной монотонностью.

Напрасны и мучительны были эти попытки сломить ее непонятное, гнетущее, призрачное сопротивление; воевать с вымышленными сомнениями и страхами, которые из-за немоты своей даже ему начинали представляться реальными! Хоть бы она сказала ему, что ее страшит! Во всяком случае, не бедность — это совсем на нее не похоже, — да у него есть средства, хватит им обоим. И не утрата положения в обществе, ведь оно ее только гнетет! И уж, конечно, не мысль, что он ее разлюбит! Так что же? Во имя господ — что?

Завтра, сказала она ему, она уезжает в свой загородный дом, одна; а почему бы вместо этого ей сейчас вот, сию же минуту не поехать к нему? И они отправятся — сегодня же — снова на Юг, где расцвела их любовь. Но опять в ответ: «Не могу... Не знаю... Не сейчас...» А в глазах у нее все равно горел задумчивый свет любви... Как могла она отстраняться, питать сомнения? Но, вконец измученный, он больше не возобновлял свои мольбы, не спорил даже, когда она сказала:

— Теперь уходите. Дайте мне вернуться одной. Я напишу... может быть, скоро... я буду знать.

Он только вымолил один поцелуй и, получив его, быстро прошел мимо скучающего чиновника и покинул галерею.

## XV

Он вернулся домой, охваченный усталостью, которая, однако, была все же не отчаянием. Он сделал попытку, потерпел поражение, но в душе у него по-прежнему жила непобедимая надежда любящего... Легче в разгар июня задушить биение лета, отнять у цветов их разгорающиеся краски, у пчел и жуков дремотное жужжание, чем убить в душе любящего веру в свершение его любви...

Он лег на кушетку и долго лежал так, без движения, прижавши лоб к стене. Воля его стала оживать для новых усилий. Какое счастье, что она уезжает от Крэмьера, уезжает туда, где он рисовал ее себе кормящей голубей! Никакие законы, никакие страхи, ни даже собственные ее повеления не помешают ему рисовать себе ее каждый час, каждый миг. Стоило ему закрыть глаза, и она являлась перед ним.



Звон дверного колокольчика, многократно повторенный, положил конец его грезам и поднял его с кушетки. Он открыл — на пороге стоял Роберт Крэмьер. И при виде его летаргия Леннана уступила место холодной ярости. Что ему нужно здесь? Или он шпионил за женой? Вернулась прежняя жажда схватиться с ним не на жизнь, а на смерть. Крэмьер был, вероятно, лет на пятнадцать старше, но выше ростом, мускулистее, грузнее. Шансы, стало быть, почти равны!

— Войдите, пожалуйста, — сказал он.

— Благодарю.

В его голосе звучала та же издевка, что и тогда, в воскресенье, и Леннан вдруг подумал, что Крэмьер ожидал застать здесь свою жену. Но во всяком случае он ничем не выдал своего подозрения и, не озираясь по сторонам, прошел в мастерскую неторопливыми шагами, примечательно легкими и верными для такого крупного мужчины.

— Так вот, значит, где, — проговорил он, — творите вы свои шедевры! Что-нибудь гениальное после приезда?

Леннан снял покровы с неоконченной фигуры своего быкочеловека. Он испытывал злорадное удовольствие. Узнает ли Крэмьер себя в этом существе с ушами, похожими на рога, и с большим шишковатым лбом? Если он, готовый затоптать ее счастье, пришел сюда насмеяться, что ж, тогда он по крайней мере получит то, с чем пришел сам. Леннан ждал.

— А, понятно. Вы решили украсить беднягу рогами.

Если Крэмьер и понял, он не побоялся приписать замыслу скульптора циничный юмор, о котором тот и не думал. Молодой человек не мог не отдать ему должное и испытал нечто вроде укоров совести.

— Это не рога, — мягко пояснил он, — просто уши.

Крэмьер поднял руку и пощупал собственное ухо.

— Не совсем похоже на человеческие уши, а? Впрочем, вы, наверно, называете это символически. Что же, позвольте спросить, она выражает?

Всю мягкость Леннана как рукой сняло.

— Если этого не видно без пояснений, значит, скульптура не удалась.

— Нет, отчего же. Если я правильно разгадал ваш замысел, он должен еще что-то топтать?

Леннан тронул подножие скульптуры.

— Это прерванная кривая линия...— И вдруг, охваченный отвлечением к словесному поединку, замолк. Зачем пришел этот человек? Что-то ведь ему нужно? И словно в ответ, Крэмьер сказал:

— Кстати, на другую тему: вы часто видите с моей женой. Я только хотел заметить вам, что буду рад, если это прекратится. Я думаю, откровенность в данном случае не помешает.

Леннан поклонился.

— Вам не кажется,— проговорил он,— что решать следовало бы ей?

Эта массивная фигура, эти угрожающие глаза! Словно тяжелый сон наяву!

— Нет, мне так не кажется. Я не из тех, кто предоставляет событиям идти своим чередом. Прошу понять меня. Если вы станете между нами, вам же будет хуже.

Леннан молчал мгновение, потом спокойно сказал:

— Что значит стать между двумя людьми, у которых нет ничего общего?

Жилы на лбу Крэмьера вздулись, лицо и шея сделались пунцовыми. Леннан со странным облегчением подумал: «Сейчас он меня ударит». И сам едва удерживал свои руки, которые так и рвались первыми вцепиться в эту толстую, могучую шею. Задушить бы его и разделаться с ним навсегда!

Но Крэмьер вдруг круто повернулся на каблуке.

— Я вас предупредил,— бросил он через плечо и вышел.

Леннан перевел дух. Ну, что ж! Теперь он знает, с чем имеет дело. Ударь его Крэмьер, и он бы, не задумываясь, вцепился ему в шею и сжимал бы, пока жизнь под его руками не угасла. Никакие силы не разжали бы его пальцев. Мысленно он видел себя принимающим сокрушительные, беспощадные, убийственные удары этих тяжелых кулаков, но упорно не отнимающим рук от могучей шеи, по капле выдавливая из нее жизнь. Он даже чувствовал, он явственно чувствовал, как пробегает последний трепет по грузному телу, как оно покачнулось и рухнуло, потащив и его за собой, и замерло, вытянувшись на полу... Он прикрыл глаза ладонью. Слава богу, этот человек его не ударил!

Он подошел к входной двери, отворил ее и остановился на пороге, прислонившись спиной к косяку. Все было спокойно и сонно в тихом затоне этой пустынной улочки. Нигде ни души. Какая тишина для Лондона! Только птицы поют. Где-то по соседству играли Шопена. Странно. Он и забыл, что существуют такие вещи, как Шопен. Мазурка! Кружится, точно волчок, кружится, кружится... Зловещая песенка!

Так что же теперь? Ясно только одно: он скорее умрет, чем отступится от нее! Да, да, скорее умрет! Любить ее, добиться ее — или же отказаться от всего и пойти на дно под звуки мазурки, что все кружится да кружится, — эта плясовая панихида лету!

## XVI

Олив подолгу простаивала у реки.

Что таится там, под покровом сверкающих вод? Какая там загадочная, колеблющаяся жизнь, глубоко под рябью от залетного ветерка, глубоко под тенью прибрежных ив? Есть ли и там, в глубине, любовь? Любовь между чувствующими существами там, где царит почти полный мрак, — или же вся страсть поднялась кверху, чтобы шелестеть в камышах и качаться с водяными лилиями в ярком солнечном свете? Есть ли там краски? Или же они погибли под водою? Ни запахов, ни музыки; но зато там есть движение — движение для всех этих смутных, безглазых созданий, клонящихся, льющихся по глубинным течениям, — как для листвы осин, в которой ни на миг не замирает трепет, и для крылатой стаи облаков. А если там, внизу, мрак, то мрак и здесь, над водой, и болят сердца, и глаза точно так же ищут то, что не приходит.

О, видеть, как река все течет и течет мимо, к далекому морю, не оглядываясь, не отклоняясь; катится своим путем, равнодушная, как судьба, — темная или сверкающая золотом и лунным светом в эти божественные дни и ночи, когда каждый цветок в саду, в лугах и на берегу полон благоухающей жизни; когда шиповник вызвездил проселки и папоротник в лесу уже вырос высокий...

Она жила не одна, хотя предпочла бы одиночество; через два дня из Лондона приехали ее дядя с теткой.

Их пригласил Крэмьер. Но сам он еще не приезжал ни разу.

Каждый вечер, пожелав миссис Эркотт спокойной ночи, она по широким ступенькам подымалась к себе в комнату и садилась у окна писать письмо Леннану, а подле горела лишь одна свеча — один бледный язычок огня делил с ней эти часы, словно то был его дух, пребывавший с нею. Каждый вечер изливала она ему свои сомнения и надежды и каждый раз кончала словами: «Потерпи, повремени!» Она все еще дожидалась храбрости, чтобы перейти через темную грань неуловимых сомнений и опасений, — того страха, которого она даже самой себе не могла выразить словами. Кончив писать, она подходила к открытому окну и глядела в ночь. По лужайке перед домом, закутавшись от росы в плащ, расхаживал обычно полковник Эркотт, выкуривая сигару на сон грядущий, и она различала из окна ее красный огонек; а дальше призрачно белела голубятня; за ней, внизу, струилась река. И она крепко прижимала к груди руки — чтобы не протянуть их из окна.

Каждое утро она просыпалась рано, одевалась и, незаметно выскользнув из дому, бежала в деревню отправить письмо. Из леса за рекой доносилось воркованье диких горлинок, словно сама Любовь каждое утро заново взывала к ней. Еще до завтрака успевала она возвратиться, подняться в свою комнату, чтобы оттуда сойти вниз будто бы первый раз. Полковник, встречая ее на лестнице или в коридоре, говорил: «Ага, милая, опять я тебя опередил! Хорошо спала?» И, чувствуя на своей щеке ее губы, скользящие под определенным углом, специально предназначенным для дядюшек, он никогда бы не подумал, что она уже совершила дальнюю прогулку по утренней росе.

Теперь, когда она терзалась муками нерешительности, которым уже виделся конец, так или иначе суливший великие перемены в ее жизни; теперь, когда ее закружил вихрь чувств, она ни единым знаком себя не выдавала; и полковник с женой, поддавшись обману, стали уже верить, что ничего особенного с их племянницей не произошло. Для них это было большим облегчением, ведь за те две недели под их надзором в Монте-Карло им трудно было с чистой совестью отчитаться. Коротать теплые,

сонные дни немножко за крокетом, немножко в лодке на реке, а большей частью просто сидя в саду, где полковник читал вслух Теннисона, было очень приятно. Ему самому — если не его супруге — особенно дорого было это пребывание за городом теперь, «когда в Лондоне такая толчея». Так и текли эти первые июньские дни, и каждый был прекраснее предыдущего.

Но однажды в пятницу, под вечер, без предупреждения явился Крэмьер. В Лондоне слишком уж жарко... в парламенте ничего интересного... Этот Юбилей все вверх дном перевернул... У них здесь, за городом, куда лучше!

В молчании прошел этот обед.

Миссис Эркотт заметила, что он пьет вино, как воду, и по несколько минут кряду не спускает с жены своих глаз, тяжелых, словно от бессонницы, но смотрит ей не в лицо, а на горло. Если Олив и вправду ненавидела и боялась этого человека — как считал Джон, — то она скрывала свои чувства с большим умением. Для женщины с таким бледным цветом лица она в этот вечер выглядела восхитительно! Быть может, солнце слегка тронуло ее щеки. Это черное, с низким вырезом платье шло ей, миланские кружева на нем так подходили к цвету ее кожи, а на груди у нее была приколотая одна гвоздика, темно-темно-красного цвета. Глаза ее иной раз и в самом деле бывают словно черный бархат. Бледным женщинам к лицу, когда у них такие глаза, которые кажутся по ночам совершенно черными! Она и разговаривала и смеялась больше обычного. Поглядеть, так жена от души радуется приезду мужа. Но было что-то — что-то в воздухе, во всей обстановке, — какая-то нацеленная пристальность его взгляда — или это гроза собиралась после такой жары... Ночь и в самом деле противоестественно черна и тиха, ни дыхания ветерка, и страшно много бабочек, которые все летят, летят через полосу света, словно маленькие бледные призраки, перебирающиеся через реку! Миссис Эркотт улыбнулась, образ ей понравился. Бабочки на огонь! Мужчины, как ночные бабочки: есть женщины, к которым их неодолимо тянет, хотят они этого или не хотят. Да, в Олив есть что-то такое, что влечет к ней мужчин. Не кокетство — надо отдать ей справедливость, — но какая-то мягкость и... неотвратимость,

точно пламя свечи для этих бедных бабочек. У Джона глаза становятся совсем незнакомыми, когда он смотрит на Олив; и у Роберта Крэмьера тоже — какой у них странный пьяный взгляд! И у того, другого — бедный молодой человек! Она не забыла, какое у него было лицо, когда они столкнулись с ним в парке.

Когда после обеда они сидели на веранде, все четверо были молчаливее, чем раньше, — просто сидели и смотрели, как дымки от их папирос поднимаются отвесно ввысь, словно ветер вовсе покинул пределы земные. Полковник дважды делал попытку заговорить о луне — пора бы уж ей и взойти. Сегодня должно быть полнолуние.

А потом Крэмьер сказал:

— Накинь-ка шарф, Олив, и пойдем погулять со мной по саду.

И тогда миссис Эркотт признала про себя, что Джон был прав. Черные глаза метнулись в одну сторону, в другую, будто птица, ищущая пути на волю; потом Олив поднялась и спокойно ушла с ним по садовой дорожке, и вскоре их фигуры затерялись во мраке.

Встревоженная до глубины души, миссис Эркотт встала и подошла к мужу. Он хмурился, устремив взгляд на свою туфлю, которая качалась у него на большом пальце ноги. Он оглянулся на жену и протянул руку. Миссис Эркотт сжала его пальцы: она нуждалась в утешении.

Полковник Эркотт сказал:

— Тяжело сегодня дышится, Долли. Не нравится мне эта тяжесть.

## XVII

Не обменявшись ни единым словом, они прошли мимо лавровых и калиновых кустов к самому берегу реки; здесь он повернул направо и зашагал, минуя голубятню, к тисам. В непроглядной тьме под их густой листвой он остановился. Тишина, стоявшая кругом, казалась ей гнетущей; если б хоть легчайшее дуновение ветерка, хоть еле слышный шелест камышей на воде, хоть единой птицы сонной трепыханье, — но нет, ничего, только слышно, как дышит он, глубоко, неровно, с всхлипом. Для чего он привел ее сюда? Показать, до какой степени она в его

власти? Когда же он заговорит, когда скажет то, что решил сказать? Только бы он к ней не прикасался!

Потом он пошевелился, и камень у него из-под ноги с плеском упал в воду. Тихий испуганный возглас сорвался с ее уст. Как черна под ними вода! Но вот за смутной громадой старого тополя из-за того берега проступило трепетное мерцание и медленно растеклось по черноте неба: всходила луна — тяжелая золотая монета, над верхушками леса показался блестящий край. И от этого теплого света радостнее стало у нее на сердце — хоть одно дружественное начало нашлось в окружающей тьме.

И вдруг его руки легли ей на талию. Она не шелохнулась, — только сердце ее отчаянно билось и какая-то мольба вырвалась из глубины его, замерев у нее на губах. В этих тяжелых ладонях затаилась такая могучая сила!

Голос его прозвучал глухо, непривычно.

— Олив, так не может продолжаться. Я страдаю. Бог мой! Как я страдаю!

Больно и странно было ей это услышать. Он страдает? Она желала ему смерти, но, видит бог, причинять ему страдания она не хотела! Но, схваченная его ладонями, она не могла его жалеть.

Он издал какой-то звук, почти стон, и упал на колени. Чувствуя, как крепко держат ее его руки, она попыталась оттолкнуть его лоб, прижавшийся к ее телу. Лоб был горячий, как огонь. Она расслышала слова: «Сжался! Люби меня хоть немного!» Но ладони его, ни на секунду не перестававшие шарить по тонкому шелку ее платья, вызывали у нее дурноту. Она попробовала высвободиться, но не смогла; и тогда, вновь застыв, она обрела голос:

— Сжался? Разве я могу заставить себя любить? Этого от сотворения мира не мог никто. Встань, прошу тебя, встань. И отпусти меня.

Но он тянул ее вниз, к себе, — и она упала на колени в траву; лицо ее оказалось у самого его лица. Он глухо стонал. Это было ужасно. И он продолжал молить ее, путаясь в словах, не глядя ей в глаза. Ей казалось, что это никогда не кончится, что никогда не отпустят ее эти сильные руки и не спрятаться ей от его прерывистого, сбивчивого шепота. Она замерла, словно окаменела, и закрыла глаза. И тогда почувствовала, как взгляд его, впервые за этот вечер, устремился ей в лицо. Значит,

пока глаза ее были открыты, он не отваживался на нее глядеть, боясь прочесть в ее взгляде то, что она чувствовала. И очень тихо она проговорила:

— Пожалуйста, отпусти меня. Мне дурно.

Он разжал руки; она опустилась в траву и лежала без движения. Было так тихо, что она не знала даже, здесь ли он или ушел, но вдруг его горячая ладонь легла на ее голое плечо. Она содрогнулась, прижалась к земле, и тихий стон сорвался с ее губ. Он отдернул руку, и когда она наконец подняла голову, его уже не было.

Дрожа, поднялась она на ноги и вышла из-под тени тисов. Она пыталась думать, пыталась понять, что сулило все это ей и ему, ее возлюбленному. Но мыслей не было. В голове у нее стояла та же душная тьма, что и в ночи вокруг. Ах, но ведь ночи дан этот бледно-золотой луч луны, ей же — ничего, ни малейшего просвета; так не рассеешь тьмы, скопившейся в глубине этих черных вод.

Она провела ладонями по лицу, по волосам, по платью. Сколько времени прошло? Давно ли она здесь, в саду? И она медленно пошла к дому. Слава богу! Она не поддавалась ни страху, ни жалости, не вымолвила ни слова лжи, не притворялась, что сможет полюбить его, — не предала своего сердца! Это было бы ужасно. Она долго стояла, глядя на клумбы, словно хотела различить будущее в темной гуще цветов, потом собралась с духом и вошла в дом. На веранде никого не было, в гостиной тоже. Она взглянула на часы — почти одиннадцать! Распорядившись, чтобы закрыли окна, она крадучись поднялась к себе. Может быть, ее муж уехал так же вдруг, как и приехал? Или ей снова предстоит очутиться лицом к лицу с ужасом, который не покидал ее ни на мгновение, — ужасом перед ночью, когда он рядом? Она решила вовсе не ложиться в постель и, придвинув к окну шезлонг, закуталась в халат и откинулась на спинку.

Цветок со своей груди, чудом не пострадавший во время сцены во тьме сада, она отколола и поставила в воду на подоконнике подле себя — любимый цветок Марка, как он признался ей однажды. Приятно было, что он стоял рядом, приятен был аромат его, и цвет, и память о Марке...



Как странно, что за всю жизнь, где столько было лиц, столько людей, она никого не любила, пока не встрети-лась с Леннаном! Она даже уверена была, что любовь никогда не придет к ней,— да и не очень к ней стреми-лась; думала, что проживет вот так, благополучно, до самой смерти, не изведав и не мечтая изведать летне-го расцвета. Теперь Любовь мстила ей за всю ту любовь, которой она пренебрегла в прошлом; даже за ту един-ственную ненавистную ей любовь, которая сегодня сто-яла перед ней на коленях. Говорят, что каждому чело-веку суждено пройти через это один раз в жизни — из-ведать это волшебство, это темное сладостное чувство, возникающее неведомо как и откуда. Раньше она не ве-рила, теперь она знает. И что бы ни ожидало ее, иного она не хочет. Все на свете изменяется, значит, и она из-менится, станет старой, некрасивой, и ему нечем уж будет в ней любоваться, но то, что заключено в ее сердце, изме-ниться не может. Это она знает. Словно что-то ей гово-рило: «Это навсегда, и в жизни, и в смерти — это наве-ки! Он станет прахом, и ты станешь прахом, но любовь ваша будет жить! Где-нибудь — в лесной чаще, или сре-ди цветов, или в темной глубине вод — поселится она навеки! Для нее одной была вся ваша жизнь!..» Вдруг она заметила, что изящная среброкрылая бабочка, какую ей никогда не случалось видеть, села ей на грудь у во-ротника. Казалось, она спала, такая нежная, сонная, прилетев из этой душной темноты, приняв, верно, белиз-ну шелка за свет. Какое смутное воспоминание будила эта бабочка? Что-то связанное с ним, что-то такое, что он делал,— в темноте, вот в такую же ночь... Ах, да! В тот вечер после Горбио ночная бабочка-совка у нее на колене! Он коснулся ее тогда, снимая это нежное, бар-хатистое создание с ее платья.

Душно. Она облокотилась о подоконник. Как пре-красна эта ночь, чьи звезды попрятались в тяжелых складках зноя, чья маленькая круглая золотая луна све-тит непрозрачным светом! Ночь, точно черный цветок с золотым сердечком. И какое безмолвие вокруг! Из деревьев, всегда лепечущих по ночам, даже осина сей-час стояла безгласная. Щека ощущала недвижный воз-дух как вещественную реальность сновидения. Но во всей тишине какое чувство, какая страсть, точно в ее серд-

це! Неужели она не может выманить, притянуть к себе его из этого леса, от этой черной мерцающей реки, притянуть от цветов, и от деревьев, и от дышащего страстью неба — притянуть прямо к себе, томящейся тут, у окна, и тогда она не будет больше томиться, но станет одно с ним и с этой ночью! И она уронила голову на руки.

Всю ночь провела она у окна. Иногда задремывала в кресле; один раз пробудилась, вздрогнув, с ясным чувством, что муж только что наклонялся над нею. Быть может, он правда был здесь и неслышно удалился? Потом подошел рассвет — росно-серый, дымчатый, печальный, овивался он вокруг каждого темного ствола и вокруг белой голубятни и пал длинным шарфом на гладь реки. Птичий щебет пробудился в гуще листьев, еще неразличимых.

И тогда она уснула.

## XVIII

Когда она с улыбкой проснулась, был день, и перед нею стоял Крэмьер. Его лицо, темное и горькое, обрюзгло, как от глубокой усталости.

— Вот как! — проговорил он. — Даже когда вы спите сидя, вас посещают сладкие сны. Не хочу нарушать их. Я возвращаюсь в город.

Подобно испуганной птице, она замерла, забилась поглубже в кресло и глядела ему в спину, пока он стоял у окна. Потом он снова повернулся к ней и сказал:

— Но запомни: что не дано мне, не достанется и другому. Ты поняла меня? Никому другому! — И он наклонился к самому ее лицу, повторяя: — Ты поняла меня, преступная жена?

Четыре года покорялась она прикосновениям, которые были ей омерзительны, четыре года — одно долгое усилие подавить свое омерзение! Преступная жена! Пусть он убьет ее — она ничего не ответит.

— Ты слышала? — еще раз повторил он. — Так что подумай. Я не шучу.

Он так сжал подлокотники ее кресла, что оно дрогнуло. Может быть, сейчас он опустит кулак прямо ей в лицо, на котором ей удалось сохранить улыбку? Но вме-

сто этого во взгляде у него появилось какое-то новое, непонятное ей выражение.

— Ну вот,— сказал он.— Так и знай.

И тяжело зашагал к двери.

Как только дверь закрылась за ним, она вскочила. Да, она преступная жена! Жена, которая дошла до последнего предела. Жена, которая не любит, а ненавидит. Жена-узница! Преступная жена! Ей все равно не верят, всякие жертвы — это лишь глупость! Если она кажется ему обманщицей, для чего притворяться, что это не так? Нет, больше она не будет, говоря словами старой песни, «сидеть и вздыхать и горючие стебли ломать». Больше она не станет томиться жаждой любви, и в ночи не будет отдаваться биению боли, как минувшей ночью, когда все болело и билось, дыша страстью, которой не было выхода.

Одеваясь, она дивилась, что в лице у нее совсем не видно усталости. Скорее! Скорее отправить возлюбленному весточку, чтобы поспешил к ней, пока свободен путь, ибо она уходит к нему, покидает свою темницу! Она пошлет ему телеграмму, чтобы он сегодня же вечером подошел на лодке к большому тополю. Она звана сегодня вместе с дядей и теткой обедать к священнику, но в последний момент скажет, что у нее разболелась голова, и останется. Когда Эркотты уйдут, она выскользнет из дому, и они вдвоем переплывут на тот берег, в лес, и проведут там два часа блаженства. И надо будет еще составить ясный план действий, ибо с завтрашнего утра начнется их жизнь вместе. Но из деревни отправлять эту телеграмму небезопасно, нужно пройти до моста и на ту сторону, чтобы послать ее с той почты, где ее не знают. До завтрака она не успеет. Да и лучше потом, когда она твердо будет знать, что муж уехал. Для телеграммы будет еще не поздно: Леннан никогда не уходит из дому, пока не дожидается дневной почты, с которой получает ее письма.

Она окончила туалет и, зная, что не должна выказывать никаких признаков возбуждения, несколько минут просидела в совершенной неподвижности, вынуждая себя совсем успокоиться. Потом спустилась вниз. Ее муж уже позавтракал и уехал. И она, что бы ей ни приходилось делать или говорить, все время улыбалась, точно

посмеиваясь над собою, над той, какой она была, а теперь перестала быть, сбросив свое прежнее «я», как старую одежду. Она даже не испытывала укоров совести при мысли, что задуманное ею будет ударом для доброго полковника. Она любила его, но все это не имело значения. Со всем этим она уже покончила. Теперь уже ничто не имело значения — ничто на свете! Ей забавно было думать, что дядя с теткой совсем не так истолковали ее вчерашнюю ночную прогулку по саду и теперешнюю томную лень. И в первое же удобное мгновение она убежала из дому и под прикрытием тисов выбралась к реке. Проходя то место, где муж накануне притянул ее к себе в траву и поставил на колени, она только подивилась своему вчерашнему страху. Что он для нее? Прошлое. Ничто! И она летела вперед. На ходу она внимательно рассмотрела берег у высокого тополя. Отсюда ничего не стоило сесть в лодку. Но они не останутся в этой тенистой заводи. Они переедут на другую сторону и войдут в тот лес, откуда вчера подымалась луна, — в тот лес, откуда ее каждое утро дразнили голоса горлинок, в лес, до краев полный лета. А когда будут возвращаться, никто не увидит, как они причалят, потому что в заводи будет уже стоять непроглядная темь. И, торопливо идя вперед, она оглянулась через плечо и отметила про себя то место, где вода из светлой становилась темной, непрозрачной. Стрекоза на лету задела ей щеку крылышком — и пропала из виду там, где начиналась тень. Как внезапно угас ее радужный полет вне солнечного луча, точно свеча, которую задули! Древесная поросль была тут чересчур густа — корявые пни, колоды, узловатые сучья казались фантастическими чудовищами, вперявшими в нее свои глаза. Ее пробрала дрожь. Где-то она уже видела этих чудовищ с пристальным взглядом. Ах, да! В том сне, что привиделся ей в Монте-Карло, про бычью голову, уставившуюся на нее с обоих берегов, мимо которых она проплывала, не в силах издать ни звука. Нет, нет, эта протока — зловещее место, они не останутся в ней и минуты. И она еще быстрее побежала по тропинке. Скоро она уже перешла через мост, отправила телеграмму и вернулась домой. До восьми вечера оставалось прожить еще целых десять часов. Торопиться теперь было некуда. Она хотела в одиночестве

насладиться этим летним днем, днем грез в ожидании его прихода, этим днем, для которого готовила ее жизнь, днем любви! Удивительная вещь — судьба! Если бы она, Олив, любила прежде, если бы она познала счастье в своем замужестве, она не испытывала бы сейчас того, что испытывает и что, она знала, никогда больше не испытает. Она прошла по свежескошенному лугу, взошла на пригорок и легла навзничь в еще не тронутую косами траву. Где-то на дальнем конце луга работали косцы. Все было прекрасно: в небе плыли мягкие облака, короткие стебли клевера тыкались ей в ладони, а высокие стебли пырея холодком щекотали щеки, порхали голубые мотыльки, заливался невидимый жаворонок, пахло цветением трав, и золотые заговоренные стрелы солнца падали ей на лицо и на руки. Расти и дожидаться своего лета — таков удел всего живого на земле. В этом суть Жизни! У нее уже не было ни сомнений, ни страха. Не было ни горечи, ни раскаяния в том, что она собиралась сделать. Она поступает так, ибо сделать это она должна... Ведь не могут же травы остановиться в своем цветении оттого, что их скосят! Нет, она испытывала лишь возвышенное, благое чувство. Какая бы Сила ни создала ее сердце, Она же вложила в него любовь. И Она — что бы, кто бы это ни был — не могла теперь гневаться на нее!

Пчела опустилась на ее руку, и она подняла ее к самому солнцу, любуясь смуглым сверканием мохнатого тельца. Она не ужалит — сегодня не ужалит! Голубые мотыльки тоже садились на нее, ибо она лежала совсем неподвижно. И ни на мгновение не смолкала любовная песнь лесных горлинок и не стихал дальний звон кос.

Потом она поднялась, чтобы идти домой. Пришла телеграмма, а в ней одно «да». Она прочла ее с каменным лицом, снова спрятавшись под маской томной лени. Перед чаем она призналась, что у нее побаливает голова, и ушла к себе полежать. У себя наверху она эти три часа писала, как могла, передавая бумаге все, что она продумала и прочувствовала прежде, чем прийти к теперешнему решению. Ей казалось, что это ее долг перед самой собой — поведать любимому, как она пришла к тому, к чему вовсе и не помышляла прийти. Написанное она вложила в конверт и запечатала. Она отдаст это ему — прочесть и понять, — когда до-

кажет ему всем своим существом, как она любит. Чтение поможет ему дожждаться утра, когда начнется их новая жизнь вдвоем. Ибо сегодня они обо всем договорятся, а завтра поутру отправятся в путь.

В половине восьмого она послала сказать, что головная боль ее совсем разыгралась и она не в силах никуда идти. К ней сразу же пришла миссис Эркотт: они с полковником так обеспокоены, но Олив, наверно, права, что решила поберечься! А из-за двери раздался траурный голос полковника. «Расхворалась и не может идти? Без нее будет очень скучно! Но она ни в коем случае не должна переутомляться. Нет, нет, ни в коем случае!»

Сердце у нее сжалось при этом. Он всегда был к ней так добр!

Из окна коридора она видела, как они ушли по дорожке к воротам: полковник чуть впереди, неся в руке туфли жены. Какой у него приятный, милый вид — лицо загорелое, седые усы, а держится так прямо и весь поглощен насущным делом минуты.

Лень и томность ее исчезли без следа. Одета в белое платье, она взяла с собой синий шелковый плащ с капюшоном, в последнюю минуту вынула из вазочки и приколола к груди темный цветок, чудом вчера уцелевший. Удостоверившись, что никого из слуг поблизости нет, она украдкой спустилась вниз и выскользнула из дому. Было ровно восемь, и лучи солнца еще золотили голубятню. Она прошла стороной, боясь, как бы птицы не слетелись к ней, не выдали ее своим воркованьем. Уже почти выбравшись на тропинку, она вдруг замерла в страхе. Что-то прошумело в зарослях, что-то большое рванулось прочь, ломая ветки. Воспоминания ли о минувшей ночи вернулись вдруг к ней, или же в самом деле там кто-то был? Она сделала несколько шагов назад. Пустые страхи! Просто корова за живой изгородью на лугу потерлась боком о сплетение веток. И, торопливо пройдя по траве, она вышла на тропинку и бросилась к тополию.

## ХІХ

Раз сто за эти дни разлуки Леннан готов был поехать вслед за ней, вопреки всем ее запретам, чтобы только пройти мимо ее дома, только почувствовать себя рядом

с нею, быть может, мельком увидеть ее издалека. Если тело его блуждало по улицам Лондона, дух его пребывал на реке, по которой он уже плыл однажды, производя разведку. Раз сто — днем в мечтах, ночью в сновидениях — проплывал он тайком, цепляясь за плакучие ветви, через тенистую протоку, пока не увидит впереди темные тисы и белую голубятню.

Все мысли его сейчас были лишь о свершении их любви. Олив понапрасну губит себя. Как может он оставить ее там, где она теперь находится? Оставить ее жить там и дальше — в надругательство над самой собой и всей женственностью мира — в объятиях мужчины, которого она ненавидит!

Когда же в ясный июньский полдень он получил ее телеграмму, ему словно подарили ключи от рая.

Неужели, может ли быть, чтобы она решилась в этот же вечер уехать с ним? Во всяком случае, он ко всему подготовился. В мыслях своих он так часто переживал это решающее мгновение своей жизни, что теперь ему оставалось лишь воплотить в действие то, что было им тщательно продумано. Он сложил необходимые вещи, запасся деньгами и написал длинное письмо своему опекуну. Для старика — Горди было уже за семьдесят — это будет большой удар, но тут уж ничего не поделаешь. Он отправит письмо, только когда будет знать наверняка.

Рассказав в письме, как это все получилось, он писал дальше: «Знаю, что на взгляд большинства людей и, наверно, на ваш, Горди, я поступаю очень дурно, но сам я думаю иначе, и в этом вся разница. Каждый, должно быть, придерживается своего мнения по этому вопросу и, как я — клянусь вам, Горди, — никогда не стал бы и не стану насильно удерживать в браке или вне брака женщину, которая меня не любит, так, я думаю, не грешу я против принципа «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобою», спасая от этой страшной неволи ту, ради которой я всякую минуту готов умереть. Это не значит, что жалость имеет хоть какое-то отношение к тому, что со мной происходит, — я сам так думал поначалу, но теперь знаю, что ее вытеснило другое чувство, самое сильное, какое я когда-либо испытывал или еще испытаю. Совесть я не боюсь ничуть. Если бог — это Мировая правда, он не может

осудить нас за то, что мы верны самим себе. Что же до людей, то мы будем держать головы высоко, а люди, по моему, обычно ценят вас, во сколько вы сами себя оцениваете. Впрочем же, общество для нас особого значения не имеет. Мы не нуждаемся в тех, кому нет нужды в нас, поверьте! Надеюсь, что он быстро даст ей развод — это никому не причинит страданий, кроме, быть может, вас и Сесили, но если он на это не пойдет — что ж, ничего не поделаешь. У нее, по моему, ничего нет, но с моими шестьюстами фунтами и тем, что я смогу заработать, даже если придется жить за границей, в деньгах недостатка не будет. Вы всегда были ко мне ужасно добры, Горди, и мне очень больно огорчать вас и еще того больнее, если вы сочтете меня неблагодарным; но когда человек чувствует так, как я, — всем телом, и разумом, и душою, — то иного решения просто не существует и не существовало бы, встань даже сама смерть на пути. Если вы получите это письмо, значит, мы уже уехали вместе. Я напишу вам оттуда, где придется нам раскинуть свой шатер; и, разумеется, напишу Сесили. А вас прошу, расскажите все миссис Дун и Сильвии и передайте им от меня привет, если они не откажутся его принять. До свидания, милый Горди. Я уверен, что вы поступили бы так же, если бы были мною. Всегда любящий вас Марк».

Он ничего не упустил, посвятив тщательной подготовке каждую блаженную минуту из этих оставшихся нескольких часов. И уже совсем напоследок, перед самым отъездом, он снял влажные покровы со своего быка-человека. За последние дни в лице чудовища появилось какое-то голодное, тоскующее выражение. Художник в Леннанае оказался беспристрастнее человека, против воли выразив правду. И не зная, придется ли еще ему работать над этой скульптурой, он все же снова намочил полотно и бережно ее укутал.

Он проехал не в их деревню, а в ту, что находилась миль на пять вниз по течению, — так было безопаснее, и пройти на веслах все это расстояние полезно, поможет успокоиться. Наняв лодку, он поплыл вверх по течению. Он греб не спеша, чтобы убить время, держась противоположного берега. Весла размеренно ударяли по воде, а сердце его сгорало от волнения. Верно ли, что он



сейчас увидится с нею, или все это—злокозненная насмешка судьбы, сон, от которого он сейчас очнется и окажется в прежнем одиночестве? Наконец осталась позади голубятня, а еще немного спустя он завернул в темную протоку и мог пристать под старым тополем. Было без нескольких минут восемь. Он развернул лодку и стал у самого берега, держась за повисшую ветку, в таком месте, откуда видна была тропинка. Если бы мог человек умереть от страсти и нетерпения, то, уж конечно, Леннан не пережил бы этих минут ожидания.

Ветер совершенно стих, и день сменился удивительным недвижным вечером. Солнце было уже низко, и в редких косых полосах золотого света толклись над темной водой комары. С лугов, покинутых косарями, сладко тянуло сеном и таволгой, и, сливаясь с пряным дыханием стоячей воды, эти запахи висели здесь тяжелым, сонным ароматом. Никто не проходил по тропинке. И звуки доносились до его нетерпеливого слуха, редкие и далекие, ибо там, где он сейчас находился, не пели птицы. Воздух был так недвижим и тепел, а между тем словно вибрировал у щек, готовый вот-вот вспыхнуть огнем. И ему представилось, будто он видит, как зной дрожит и трепещет маленькими бледными язычками пламени. На жирных стеблях тростника еще кормились кое-где крупные, медлительные жуки; болотная курочка неподалеку вдруг всплескивала в воде и издавала резкий крик. Когда придет она — если она в самом деле придет! — они не останутся здесь, в этой мутной, темной заводи, он отвезет ее на другой берег, в лес! Но минуты проходили, и сердце его все сжималось. И вдруг оно громко застучало! Кто-то приближался по тропинке — кто-то в белом, с непокрытой головой, перекинув что-то синее или черное через руку! Это она! Никто, кроме нее, не ходит так. Она шла очень быстро. И он заметил, что волосы ее были, точно два маленьких крыла, по обе стороны лба, словно лицо ее — это белая птица, летящая на черных крыльях навстречу любви! Вот она уже близко, так близко, что ему видны ее приоткрытые губы и освещенные огнем любви глаза, ни на что на свете не похожие, кроме росистой, звездной летней тьмы. Он протянул к ней руки и перенес ее в лодку, и запах какого-то цветка у самого его лица словно пронзил его до самого сердца, пробудив

память о чем-то забытом, прошедшем. Потом, перебирая плакучие ветви, обламывая их в спешке, он повел лодку по стоячей воде, не отмахиваясь от комаров, плясавших у него перед глазами. Она словно знала, куда он ее везет, и ни один из них не произносил ни слова, пока Леннан греб через плес к тому берегу.

Теперь от леса их отделяло лишь одно поле молодой пшеницы, обнесенное живой изгородью из терновника. И вдоль этой изгороди пошли они, крепко взявшись за руки. Они еще ничего не сказали друг другу — они, словно дети, копили все на потом. Она накинула плащ, чтобы прикрыть платье, и синий шелк шуршал, задевая серебристые перья пшеницы. Что подсказало ей надеть этот синий плащ? Синева неба, и цветов, и птичьих крыл, и темная, пламенеющая синева ночи! Цвет всего самого святого на свете! А как тихо все кругом в последних отсветах заходящего солнца! Ни зверь, ни птица, ни дерево — ни звука! Даже жужжания пчелы не слышно. И краски померкли — лишь белеют созвездия болиголова, да рдеют темно-красные горюцветы, да волшебным сияет над колосьями последний низкий солнечный луч.

## XX

...И вот над лесом и рекою стал сгущаться сумрак. Первыми пропали ласточки, а ведь еще недавно казалось, что никогда не перестанут они носиться в вышине; и свет, словно бы навеки раскинувшийся над миром, вспыхнув напоследок, медленно пал на землю, бескрылый и померкший.

А луна взойдет только к десяти часам! Все замерло в ожидании. После долгого летнего дня медлили твари ночные, пока тени деревьев все глубже погружались в белые воды, а белый лик небес затягивала бархатная маска. Даже сами деревья, поникнув черными султанами, ждали, застыв, появления спелого цветка ночи. Все предметы, потускневшие в этот час, когда уходит день, глядели широко открытыми, печальными, не знающими благодати очами. Очарование умерло, казалось, всякий смысл покинул землю. Но ненадолго. На крыльях тьмы возвратился он, неслышный, обратно — не бледная тень ушедшего дневного смысла, но колдовской, задумчивый

дух, поселившийся в тени черных деревьев, меж острых темных копий тростника и на мрачных мордах, что угадывались в очертаниях коряг над водою. Потом вылетели на охоту совы и прочие пернатые хищники. И в темноте леса началась жестокая птичья трагедия— черная погоня в сумраке над папоротниками, крики жертвы, пронзенной неумолимыми когтями, и, мешаясь с ними, хриплые, яростные вопли торжества. Долгие минуты раздавались они, эти голоса ночи, звуки-символы всего, что есть жестокого в сердце Природы, покуда смерть наконец не положила предел мукам. И снова всякая душа, сострадающая гонимым, могла прислушиваться, не проливая слез...

А вот и соловей излил свои протяжные, гортанные трели, и коростель засвистал в молодых хлебах. И снова затаилась ночь в безмолвных лесных верхушках и в еще более безмолвной глубине вод. Лишь по временам издавала она легкий вздох или бормотание, быстрый тихий всплеск, охотничий клич совы. А дыхание ее было по-прежнему знойным и полным душного аромата, ибо роса не выпала...

## XXI

Был уже одиннадцатый час, когда они вышли из леса. Она хотела дожидаться, пока взойдет луна — не золотая монета прошлой ночи, но бледный диск старой слоновой кости,— заливающая неверным светом папоротник и одевшая нижние ветви инеем белых цветов.

Через калитку вышли они снова в поле молодой пшеницы и пошли мимо залитых луною хлебов, которые словно бы принадлежали к совсем другому миру, чем те, что стояли здесь каких-то полтора часа тому назад.

В сердце Леннана царило чувство, которое лишь раз в жизни дано испытать мужчине,— смиренная благодарность, и хвала, и поклонение той, что отдала ему всю себя. Отныне уделом ее будет лишь радость — как радость вот этого часа. Никогда не будет она знать меньшего счастья! И у самой воды, опустившись перед нею на колени, он целовал край ее платья, и руки ее, и ноги, которые с завтрашнего дня навсегда будут принадлежать ему.

Потом они вошли в лодку.

Улыбка лунного света скользила по каждой рябинке вод, по каждому стеблю камыша; по каждой сложившей лепестки лилии; по ее лицу, по разметавшимся волосам, с которых упал капюшон; скользила по руке ее, опущенной в воду, и по другой руке, которую она прижимала к цветку на своей груди. И чуть слышно она прошептала:

— Гребь, любовь моя, уж поздно!

Погрузив весла в воду, он в несколько взмахов пригнал лодку в черную заводь заросшей протоки...

Что случилось потом, он так никогда и не узнал, не представил себе с полной ясностью за все последующие годы. Ее белая фигура, вдруг поднявшаяся во весь рост, — она подалась вперед, будто пойманный зверь, в страхе не знающий, куда прыгать; страшный толчок, его голова ударилась обо что-то твердое! Потом небытие. А потом отчаянная, жуткая схватка с какими-то корнями, травами, слизью, слепое нащупывание чего-то в черной тьме, среди коряг, в мертвой заводь, казалось, лишенной дна, — он и тот, другой, который налетел на них в темноте ночи, точно хищный, жаждущий убийства зверь; кошмар поисков, весь ужас которых никакие слова не в силах передать, пока наконец на освещенном луной берегу они не положили ее, недвижную, несмотря на все их усилия... Так она лежала, вся в белом, а они двое скорчились над нею — один в ногах у нее, другой у головы, точно черные хищные твари лесов и вод над телом той, кого они загнали и убили.

Сколько времени пробыли они так, ни разу не взглянув друг на друга, не обменявшись ни единым словом и не отнимая рук от мертвой, он не знал. Сколько длилось это в ту летнюю ночь, при трепетном свете луны, отбрасывавшем вокруг дрожащие тени; под шуршание камышей на ночном ветру!..

Но вот жизнь взяла верх, и чувства вернулись к нему... Никогда больше не видеть этих глаз, что любили его своим сиянием! Никогда больше не целовать ее губ! Холодная, как лунный свет на земле, все с тем же темным цветком на груди. Выброшенная на берег, точно сорванная лилия! Мертва? Нет, нет! Она жива! Жива в ночи — жива для него — где-то! Не здесь, на туманном

берегу этой ужасной заводи, рядом с немым темным существом, которое ее убило! Там, на реке, в лесу, где они были счастливы, где-то она жива!.. И, спотыкаясь, он прошел мимо неподвижного Крэмьера, сел в свою лодку и стал грести, точно безумный.

Но, очутившись на середине реки, он застыл, весь подавшись вперед, сгорбившись над поднятыми веслами.

Лунный свет заливал его лодку, скользящую вниз по течению. Лунный свет разравнивал лоно вод, похитивших ее жизнь. И теперь душа ее смешалась с белой красотой и с тенями, войдя навеки в тишину и страсть летней ночи; здесь она останется, скользя с места на место и прислушиваясь к шороху камышей и к шелесту леса, ибо благословенная вечной мечтой, она встретила смерть так, как хотел бы всякий, — в час счастья.

# ЧАСТЬ III

## ОСЕНЬ

### I

Когда в эту ноябрьскую ночь Леннан бесшумно подошел к открытым дверям спальни и стоял, глядя на спящую жену, Судьба еще ждала ответа.

В камине горел слабый огонь — такой огонь отбрасывает кругом легкие тени и только по временам, разгораясь на мгновение, освещает один какой-нибудь предмет, вдруг четко выступающий из полумрака. Шторы на окнах были задернуты неплотно, и еще не растерявшая всех листьев ветка платана, их неизменного соседа на протяжении прожитых здесь пятнадцати лет, темно качалась на ветру, легонько постукивая в стекло, словно просила, чтобы он впустил ее в дом, — ведь он и сам столько часов провел на этом ветру. Верные товарищи — лондонские платаны!

Он и надеяться не смел, что застанет Сильвию спящей. Для нее это благо, какой бы в конце концов ни был сделан выбор — выбор, равно жестокий! Лицо ее было повернуто к огню, щека покоилась на ладони. Она всегда так спала. Даже когда жизнь вдруг превращается в бескрайнюю пустыню, где не видно ни единого путеводного знака, — все равно человек держится за свои привычки. Бедняжка, нежное сердце! Она не сомкнула глаз с тех пор, как он сказал ей все — сорок восемь часов назад, которые кажутся годами! Со своими льняными волосами и трогательным, чистосердечным выражением, не

пропадающим даже во сне, она казалась уснувшей девочкой, мало в чем изменившейся с того лета, когда в Хейле праздновали свадьбу Сесили. Лицо ее не постарело за эти двадцать восемь лет. Да и не было до последнего времени причины ему стареть. Заботы, думы, сильные чувства, страдания — вот что изменяет лицо; Сильвия же никогда чересчур глубоко ни о чем не задумывалась и никогда особенно не страдала — до последнего времени. Неужели же теперь ему, который относился к ней так бережно, — очень в общем бережно, несмотря на мужской эгоизм, несмотря на то, что она никогда не понимала глубин его натуры, — неужели же ему, из всех людей, предстояло теперь причинить ей горе, наложить печать страдания на ее лицо, быть может, совсем ее погубить?

Он на цыпочках прошел в спальню и опустился в кресло у камина. Сколько воспоминаний вобрал в себя огонь — и эти серые хлопья пепла, и маленькие листки пламени, и ровный жар, и перебегающие вспышки! Целая повесть о страстях. Как похож огонь на человеческое сердце! Первые взлетающие огненные языки юности; внезапное яростное, всевластное, гудящее пламя; долгое, ровное, трезвое горение; и под конец — новая вспышка, отчаянный рывок за собственной уходящей молодостью, последний, жадный всплеск пламени, прежде чем пепел погребет его в небытии! В огне представляли ему образы и картины прошлого, какие видятся человеку, лишь когда сердце его, истерзанное долгой борьбой, содрогается от малейшего прикосновения, словно с него содрана оболочка. Любовь! Странная, непонятная сила, что вечно колеблется между блаженством и мукой! Коварная, неразумная, безоглядная. Летучая радость, сладчайшая на земле, но с темными корнями и темной судьбой. Безрассудная, непоследовательная. Любовь, которую пришлось пережить, — ты ли повелевал каждый раз ее приливом и отливом? Не больше, чем осенним перелетом птиц, вдруг спускающихся из поднебесья отдохнуть часок и снова сняться в путь. Любовь и нежность, оставшиеся позади, — даже если жизнь твоя, на мужской счет, отнюдь не изобиловала любовными историями. Одна любовь, которая считала, что тирольские небеса упадут на землю, если ему не будет принадлежать первое место в

сердце некоей дамы. Другая любовь, чья звезда запуталась в волосах Сильвии, спящей сейчас перед ним. Потом так называемая любовь — та заманчивая, но не слишком чистоплотная трапеза удовольствия, от которой юности, даже самой чувствительной, кажется, положено вкусить рано или поздно при неясном свете молодой страсти; взгляд в глубины жизни, который представлялся таким важным, а оказался совсем незначительным, принес лишь разочарование в себе и жалость к подруге. А потом любовь, о которой он даже теперь, через двадцать лет, не мог вспоминать без муки; та всепоглощающая страсть лета, в один вечер достигшая всего и все жестоко утратившая, оставив на сердце у него рану, так и не зажившую, и в душе его посеяв семена одиночества, — неизбывное сожаление о том, что так и не сбылось. О его участии в трагедии той ночи, в «несчастном случае на реке», никто даже не подозревал. Потом долгое отчаяние, казавшееся концом всякой любви, медленно прошло, и родилась еще одна любовь — вернее, возродилась, следная, трезвая, но вполне настоящая; вспыхнуло снова старое, забытое со времен юности чувство преданности и покровительства. Он и сейчас помнил лицо Сильвии, когда они встретились случайно на Оксфорд-стрит, — он тогда только что вернулся после четырех лет изгнания, проведенных на Востоке и в Риме, — то взволнованное, укоряющее выражение, которое тут же сменилось изверившимся, ироническим, словно бы говорящим: «Нет, нет, после стольких лет забвения — где уж вам теперь вспомнить меня!» И еще более трогательное выражение радости, когда он с ней заговорил. Потом несколько месяцев неопределенности, но с заранее известным исходом; и свадьба. Брак вполне счастливый — нежный, не слишком пылкий, особенной духовной близостью не отмеченный, — его работа, по правде сказать, оставалась от нее так же далека, как и в тот день, когда она украсила жасминовыми звездочками его зверюшек. Спокойный, удачный союз, не бог весть как много значивший, думал он, ни для него, ни для нее, — до тех пор, пока сорок восемь часов назад он не сказал ей; и тут она вся сжалась, поникла, не выдержала. А что же он сказал ей?

О, это длинная история.



Сидя сейчас у огня, пока ничего еще не было решено, он словно бы обозревал ее с самого начала, со всеми ее дьявольскими тонкими хитросплетениями, медленными, подспудными чарами, источаемыми скорее из него самого, из тела его и духа, нежели из внешнего очарования,— будто какая-то роковая сила, долго дремавшая в нем, пробуждалась опять, чтобы опять расцвести темным цветком...

## II

Да, это началось больше года назад, началось со странного, горького беспокойства, с сознания, что жизнь проходит, течет у него между пальцев, а он даже не пытается ее схватить, удержать. Пришло какое-то неотвязное томление, утихавшее лишь на время напряженной работы,— томление бог весть по чему, боль, особенно непереносимая, когда теплел ветер.

Говорят, сорок пять лет — опасный возраст для мужчины, тем более для художника. Всю прошлую осень он тяжело переживал эту свою смутную муку. Она оставила его в конце декабря и на весь январь, пока он бился над группой львов, но как только работа была закончена, все возобновилось с новой силой. Он хорошо помнил, как в конце января день за днем бродил по скверам и паркам, ища спасения. Стояла оттепель, ветер приносил какие-то запахи! С завистью смотрел он на детей, резвившихся в парке, на преждевременно набухшие почки, на все, что ни было молодого вокруг,— и с болью видел он, что повсюду кипит жизнь и любовь, а он остается в стороне, не в силах их познать, схватить, взять себе, между тем как песок в его часах высыпается тонкой, непрерывной струйкой! Нелепое, бессмысленное ощущение для человека, имеющего все, что ему нужно, имеющего любимую работу, довольно денег и такую хорошую жену, как Сильвия,— ощущение, которое просто не вправе ни на миг докучать ни одному англичанину в возрасте сорока шести лет и в полном здравии. Ощущение, в каком ни один англичанин, собственно, и не признавался никогда, так что не создано еще и Общество по борьбе с ним. Ибо что же иное представляет собой это беспокойное чувство, если не сознание, что твое вре-

мя уже прошло, что никогда больше не знать тебе трепета и блаженства влюбленности, что удел твой теперь — лишь тоска о том, что прошло и чего не вернуть! Что может быть предосудительнее для женатого человека?

Это было... ну да, был последний день января, когда, возвращаясь после очередного своего кружения по Хайд-парку, он встретил Дромора. Странно вдруг узнать человека, с которым не виделся со школьных времен. Но ошибиться было нельзя: это Джонни Дромор, собственной персоной, шел по Пикадилли вдоль ограды Грин-парка, шел своей всегдашней походочкой, чуть вразвалку, как полагается завсегдатаю клубов и наезднику; щегольская шляпа слегка набекрень, и насмешливые глаза таращатся в азарте, будто жизнь для него — вечное пари. Да, все тот же подтрунивающий Джонни Дромор, то угрюмый, то беззаботный, но всегда себе на уме, Джонни, у которого добрая душа таилась под наружностью, словно бы стыдящейся этого. Право же, комната, в которой школьниками вместе жили, один колледж в Оксфорде, где оба учились, — это соединяет людей таинственными, нерушимыми узами.

— Марк Леннан! Вот тебе и на! Не видел тебя тысячу лет! С того времени, как ты расцвел на ниве... этого самого... как вы говорите? Искусства. Ужасно рад тебя встретить, старик!

Вот она, встреча с прошлым, давно исчезнувшим из жизни, из чувств и мыслей. Голова Леннана гудела от лихорадочных поисков общей темы для разговора с этим светским любителем охоты и скачек.

Джонни Дромор снова возник из небытия — тот самый Джонни, на кого Общественная Машина к двадцати двум годам наложила штамп добродушной проницательности и с тех пор не затрагивала ни мыслей его, ни чувств; Джонни Дромор, так и не пошедший дальше той философии, согласно которой все, что не имеет отношения к лошадям, женщинам, вину, сигарам, шуткам, веселому нраву и этому вечному пари, — глупость и чудачество; Джонни Дромор, у которого была где-то своя тайная глубина, свой голод душевный, совсем ему, Джонни Дромору, казалось бы, несвойственный.

Как странно звучала его отрывистая речь!

— Встречаешься со стариком Фуксом? На скачках играешь? Живешь-то ты в Лондоне? Помнишь доброго старого Бленкера? — потом пауза и новый фонтан: — Когда-нибудь заглядывал в «Бэмбери»? А на скачки?.. Пошли зайдем ко мне в берлогу. У тебя ведь никаких дел-то нету. — Джонни Дромора не убедишь, что это самое... как вы говорите?.. искусство — настоящее дело. — Пошли, старина. На меня, брат, что-то меланхолия напала. Все проклятый восточный ветер.

Он отлично помнил со времен, когда они делили комнату в «Бэмбери», эти приступы меланхолии, которые бывали у Джонни Дромора после какой-нибудь развеселой попойки или озорной проделки.

Свернув с Пикадилли, они пошли по узкому переулку и поднялись в «берлогу» на втором этаже с маленькой темной прихожей, где висели гравюры Ван-Беерса, карикатуры из «Ярмарки Тщеславия»<sup>1</sup> и фотографии скаковых лошадей; в гостиной наставлены были большие кресла и повсюду бросались в глаза неизменные атрибуты лондонского бездельника: «Справочники коннозаводчика», бинокли, оленьи рога, охотничьи хлысты. Но сверх того сразу обратило на себя внимание и нечто иное, чуждое этой картине, — книги, ваза с цветами, серый котенок.

— Присаживайся, старина. Что будешь пить?

Погруженный в глубины изумительного кресла с тяжелыми подлокотниками, обтянутыми коричневой кожей, он говорил и слушал как бы в полусне. «Бэмбери», Оксфорд, клубы, в которых состоял Горди, — милый старый Горди, его уже нет в живых! — дела давно минувшие, забытые, они, казалось, снова обступили его со всех сторон. Но постоянно вплетаясь в их несвязный разговор, в это воскрешение из мертвых, в дымки их сигар, примешивалось ощущение чего-то несообразного, постороннего. Быть может, оно исходило от написанного сепией женского портрета, глядевшего на них с дальней стены, где стоял дубовый буфет с графинами под стеклом? Портрет до удивления ни с чем в комнате не вязался, кроме разве цветов в вазе или этого мохнатого котенка, ты-

---

<sup>1</sup> Английский юмористический журнал.

кающегося мордочкой ему в ладонь. Как иногда один предмет приобретает власть над целым помещением, как бы чужд ни был он по духу всему остальному, что там находится! Казалось, от портрета словно тень ложилась на раскинувшуюся в кресле фигуру Дромора, на его обветренную носатую физиономию за гигантской сигарой; на его странные, грустные, насмешливые глаза, в глубине которых затаилось раздумье.

— У тебя бывают такие приступы меланхолии? Свински паршивое чувство. Это все старость. Мы с тобой свински стары, Ленни!

Вот уже двадцать лет никто не зовет его Ленни. И это правда: они невыразимо стары.

— Знаешь, когда человек начинает чувствовать, что старится, ему самое время закурить или еще что-нибудь эдакое выкинуть. А сидеть сложа руки и поглядывать — сил нет! Поехали со мной в «Монте»!

«Монте»! Старая, никогда не заживающая рана засадила при звуке этого слова, и он с трудом произнес:

— Да нет, я не люблю «Монте».

И тут же увидел, что Дромор устремил на него внимательный, вопрошающий взгляд.

— Ты женат?

— Да.

— Вот не думал, что ты женишься!

Значит, Дромор о нем думал! Странно. Он-то никогда не вспоминал о Джонни Дроморе.

— Зима — свински неприятная штука, если не охотишься. А ты сильно изменился; я тебя едва узнал. В прошлый раз видел тебя, когда ты как раз возвратился откуда-то, из Рима, что ли. Ну, а каково быть... этим... скульптором? Видел я кое-что твое. А лошадей тебе лепить случалось?

Да, он как раз в прошлом году делал барельеф с лошадьми.

— И женщин тоже лепишь; а?

— Редко.

Глаза Джонни слегка выпучились. Странная вещь, этот пошленький интерес. Мальчишки они, такие Джонни Дроморы, и все тут; никогда не взрослеют, как бы ни обошлась с ними жизнь. Заговори Дромор совершенно

чистосердечно, как некогда в «Бэмбери», он бы сказал: «Везет же тебе! Развлекаешься в свое удовольствие!» Вот так они и воспринимают искусство — негодование благочестивых филистеров, святош, сокрушенно вздергивающих брови и вздыхающих о «погибели души», но только навыворот. Малые дети! Им не доступен подлинный смысл Искусства — неведомо, какой это труд и томление!

— Ну, и это дает тебе деньги?

— Да.

Снова с уважением таращатся глаза Джонни, словно он хочет сказать: «Эге! Это интереснее, чем я думал...»

Последовало долгое молчание — лиловые сумерки лились в окна, в камине потрескивал огонь, серый котенок терся с мурлыканьем об его шею, дым от сигар подымался к потолку; и такое странное, дремотное чувство покоя охватило его, какого давно уже не ведала его душа. И вдруг — что-то... кто-то... там в дверях, у буфета! И голос Дромора, как-то странно произнесший:

— Входи, Нелл! Познакомься с моей дочерью...

В руку Леннана легла рука, в ней чувствовалась и как бы непринужденность светской дамы и порывистая теплота ребенка. И голос, юный, быстрый, ясный, проговорил:

— Здравствуйте. Он хорошенький, мой котенок, да?

Дромор зажег свет. Серая амазонка, высокая фигура поразительно правильных пропорций; лицо не то чтобы по-детски округлое, но и не оформленное еще по-женски, чуть зарумянившееся, спокойное; вьющиеся русые волосы, стянутые сзади черной лентой под маленькой шляпкой, и глаза — точно глаза Гейнсбороховской «Пердиты», медлительные, серые, колдовские, с длинными загнутыми ресницами, глаза, которые могут притягивать к себе вещи, — еще невинные глаза.

Уже открыв рот, чтобы сказать: «Я думал, что вы сошли с этой картины», — он увидел лицо Дромора и бестолково переспросил:

— Так это ваш котенок?

— Мой; но он ко всем ластится. Вам нравятся ангорские кошки? Вот потрогайте: один мех!

Углубив пальцы в изгибы кошачьего тельца, он заметил:

— Без шкурки кошки выглядят странно.

— А вы видели кошек без шкурки?

— О, да! В моей профессии приходится проникать вглубь, под кожу,— я скульптор.

— Это, должно быть, ужасно интересно!

Что за светская женщина! И что за ребенок в то же время! Теперь он разглядел, что лицо на портрете выглядит старше: губы не такие полные, взгляд не так невинен, не так округлы щеки, и что-то печальное, горькое в выражении,—лицо, отмеченное безжалостной печатью жизни. Но глаза такие же, и сколько в них очарования, несмотря на горечь, на печать прожитого! Он заметил, что к раме приделан металлический прут, а на нем—серая занавеска, сейчас отдернутая. Юный самоуверенный голос говорил:

— Может быть, вы согласились бы посмотреть мои рисунки? Это было бы ужасно мило с вашей стороны. Вы могли бы мне посоветовать...

И он с унынием увидел, как она открывает альбом. Разглядывая школьные рисунки, он чувствовал, что она смотрит на него, как зверюшки, когда они присматриваются, решая, друг вы или нет. Потом она подошла и стала совсем рядом, касаясь его плечом. Он удвоил усилия в поисках хоть чего-нибудь отрадного в ее рисунках. Но ничего не нашел. И если в других вопросах он мог покривить душой, чтобы не огорчить человека, то там, где дело касалось искусства, он был на это неспособен; поэтому он просто сказал:

— Видите ли, вас ведь не учили.

— А вы не могли бы научить меня?

Но прежде чем он мог ответить, она уже спешила исправить по-взрослому свою детскую бестактность:

— Разумеется, мне не следовало так говорить. Вам было бы ужасно скучно.

Он смутно помнил, как после этого Дромор спрашивал его, катается ли он верхом в Хайд-парке; как ее удивительные глаза, не отрываясь, следили за ним; помнил прощальное детское пожатие ее руки. И вот, минуя бесконечный ряд карикатур из «Ярмарки Тщеславия», он уже спускался по полутемной лестнице навстречу восточному ветру.

Шагая по Грин-парку домой, испытывал ли он волнение? Трудно сказать. Он чувствовал себя слегка польщенным, и на сердце у него немного потеплело; но было и раздражение, которое всегда вызывали у него люди, воспринимавшие мир Искусства так несерьезно, будто это забава. Учить этого ребенка рисовать — эту пустышку с ее котенком и с прогулками верхом; и с ее глазами «Пердиты»! Забавно, как она сразу прониклась к нему дружелюбием! Наверно, он отличается от тех людей, с какими ей обычно приходится иметь дело. И как мило вела она беседу! Странное, привлекательное, даже, пожалуй, красивое дитя! Лет семнадцати, никак не старше... и... дочь Джонни Дромора!

Ветер был пронзителен, в голых ветвях деревьев желтели пятна фонарей. Он всегда красив, вечерний Лондон, даже в январе, даже при резком восточном ветре, красив никогда не приедающейся красотой. Высятся чеканные громады его темных зданий, мерцают огни, точно рой летучих звезд, спустившихся на землю; и все согрето биением и трепетом бесчисленных жизней, всех тех жизней, в суть и сутолоку которых он так стремился проникнуть.

Он рассказал Сильвии о своей встрече с Дромором. Это имя ее поразило. У нее была старая ирландская баллада под названием «Замок Дроморов» с причудливым, неотвязным припевом.

Всю следующую неделю стояли морозы, и он начал новую скульптурную группу — две их овчарки в натуральную величину. Потом наступила оттепель — с первым юго-западным ветром, каждый февраль приносящим неповторимое ощущение Весны, от которого наши чувства, подобно сонным пчелам, оживают под лучами солнца и уносятся вдаль. И с еще большей силой пробудилась в нем жажда жить, познавать, любить, тоска по чему-то новому. Конечно, к Дромору его привело не это; нет, разумеется, простое дружелюбие, ведь он даже не назвал старому однокашнику своего адреса и не сказал, что жена будет рада с ним познакомиться, если он соберется к ним заглянуть, ибо Джонни Дромор про-

изводил впечатление не слишком-то счастливого человека, какой бы закаленный и равнодушный вид он на себя ни напускал. Да, да! Надо было к нему зайти, этого требовала старая дружба.

Дромор сидел в низком кресле с сигарой в углу рта, с карандашом в руках и «Руководством» Раффа на колене; рядом лежала толстая книга в зеленом переплете. Вид у него был довольный, не осталось и следа от прежних приступов уныния. Он проговорил, не вставая:

— А, старик! Рад тебя видеть. Присаживайся! Вот гляди-ка: с кем бы мне случить Агапемону — с Сан-Дьяволо или с Понте-Канетом? — прямая линия от Сент-Поля, не дальше четвертого колена. На этот раз я намерен получить от нее действительно первоклассного жеребенка.

И тот, кто в жизни своей не слыхивал этих священных имен, ответил:

— Ну, разумеется, с Понте-Канетом. Но если ты занят, я зайду в другой раз.

— Что ты! Ни в коем случае! Закури-ка. Я вот только прогляжу их родословные, и мы с тобой пропустим по стаканчику.

И Леннан уселся в кресло наблюдать эти изыскания, окутанные табачным дымом и перемежаемые невнятными возгласами. Они были столь же важны и увлекательны, как и труды его самого, творящего из глины, ибо перед внутренним взором Дромора вставал образ идеальной скаковой лошади; он тоже творил. Здесь не составлялся ловкий план наживы — здесь совершался некий сложный процесс, облагороженный тем особым чувством, с каким человек потирает руки по окончании акта творчества. Только однажды Дромор бросил ему через плечо:

— Зверски трудное дело — правильно выбрать главную линию!

Да, истинное Искусство! Как хорошо знакомы художнику эти поиски точки равновесия, центральной оси, без которой останется мертвым любой замысел!.. Он заметил, что сегодня в комнате нет ни цветов, ни котенка — и не чувствуется присутствие постороннего начала; даже портрет задернут. Уж не примерещилась ли ему эта



девушка, не пригрезилась ли его воображению, охваченному тоской по юности?

Но вот Дромор захлопнул зеленую книгу, встал и подошел к огню.

— Ты тогда очень понравился Нелл. Да ты всегда имел успех у женщин. Помнишь девушку у Коустера?

У Коустера была кондитерская, и Леннан ходил туда всякий раз, как бывали деньги, просто чтобы смиренно полюбоваться красивым лицом. Просто любоваться чем-то красивым, не более того! Джонни Дромору и сейчас этого не понять, как и тогда, когда они делили комнату в «Бэмбери». Совершенно бесполезно пытаться ему объяснить! Он поглядел в его вытаращенные глаза и услышал добродушно-насмешливый голос:

— Эге, да ты, я вижу, седеешь. Да, Ленни, мы с тобой свински постарели! Все стареют, когда женятся.

— Кста́ти, я не знал, что и ты был женат.

Насмешка погасла в лице Дромора, точно задутое пламя свечи; вместо нее разлился медный румянец. Несколько секунд он молчал, потом кивнул в сторону портрета и буркнул:

— Мне жениться не пришлось. Нелл — внебрачная.

В душе Леннана взметнулось негодование: Дромор так говорит о своей дочери, словно стыдится ее! Как раз в его духе; самые узколобые существа — это лондонские прожигатели жизни! Их носит, как скорлупки, по волнам чужого мнения, ибо у них нет якоря собственных глубоких чувств! И не зная, приятно это будет Дромору или же он сочтет его сентиментальным болтуном, а то и вовсе человеком безнравственным, он все-таки сказал:

— Ну, из-за этого всякий порядочный человек будет только бережнее к ней относиться. Когда мы с ней начнем заниматься рисованием?

Дромор подошел к портрету, отдернул занавеску и сдавленным голосом проговорил:

— Бог мой, Ленни! Как несправедлива жизнь! Рождение Нелл убило ее мать. Уж лучше бы это был я, право, я не шучу. Всегда расплачиваются женщины.

Леннан встал, ибо вызванная из прошлого память о той летней ночи, когда и другой женщине тоже при-

шлось расплатиться за все, заливала ему сердце черным потоком неизбывного горя. Он тихо сказал:

— Прошрое есть прошрое, старина.

Дромор снова задернул занавеску и вернулся к камину. Целую минуту он молча глядел в огонь.

— Что мне делать с Нелл? Она становится взрослой.

— А что ты с ней делал до сих пор?

— Она была в школе. А на лето я посылаю ее в Ирландию — там у меня есть что-то вроде поместья. В июле ей будет восемнадцать. Надо представить ее дамам, и все такое. В том-то и загвоздка. Как? Кому?

Леннан мог только пробормотать:

— Моей жене, например.

Он вскоре ушел. Джонни Дромор? Своеобразный наставник для молодой девушки! Странная у нее, должно быть, жизнь в этой холостяцкой «берлоге» в окружении раффовских «Руководств». Что ее ждет? Роман с каким-нибудь юным хлыщом; законный брак с ним — уж об этом ее отец позаботится, он, как видно, дорожит респектабельностью! А потом, быть может, судьба ее матери, злосчастной женщины, изображенной на портрете, с этим чарующим, горьким лицом. А впрочем, не его это дело!

#### IV

Не его дело! Значит, лишь простое чувство товарищества снова привело его к Дромору после этого признания — надо было показать, что слово «внебрачная» имеет силу лишь в воображении его друга, и еще раз заверить его, что Сильвия рада будет принять девушку, если ей захочется побывать у них.

Когда он упомянул об этом в разговоре с женой, она молчала долгую минуту, задумчиво глядя на него, а потом сказала: «Бедное дитя! Знает ли она сама об этом? Люди ведь такие недобрые, даже в наши дни!» Он был не в силах представить себе, что кто-то способен придавать этому значение, — разве только добрее бы стал к девушке; но в таких вопросах Сильвия разбиралась лучше, она стояла ближе к общим взглядам — встречалась с людьми, с которыми он не знал, людьми более обычного и распространенного типа.

Было довольно поздно, когда он в третий раз добрался до дроморовской «берлоги».

— Мистера Дромора, сэр,— сказал лакей (у него было то всезнающее выражение лица, каким мудрое Провидение награждает слуг в окрестностях Пикадилли),— мистера Дромора сейчас нет. Но он непременно будет перед обедом — заедет переодеться. Мисс Нелл дома, сэр.

И он увидел ее, сидящую за столом, занятую наклеиванием каких-то фотографий в альбом,— одинокое юное существо в жилище пожилого холостяка! Леннан стоял незамеченный и глядел на ее затылок, на густые выющиеся русые волосы, перехваченные лентой и ниспадающие по темно-красному платью. И к доверительному шепоту лакея: «Мистер Леннан, мисс!» — добавил от себя еще тише: «Можно мне войти?»

Она с великой непринужденностью вложила ладонь ему в руку.

— О, да, пожалуйста, если только вас не пугает весь этот беспорядок.— И прибавила, слегка сжав ему пальцы: — Вам очень скучно было бы посмотреть мои фотографии?

И они уселись вдвоем над альбомом — там были мужчины с ружьями и удочками, группы школьников, котята, Дромор и она сама на лошади, и на нескольких карточках — какой-то молодой человек с широким, смелым и довольно красивым лицом.

— Это Оливер, Оливер Дромор, папин двоюродный племянник. Он очень мил, правда? Вам нравится его лицо?

Леннан сам не знал. Не ее троюродный брат, а двоюродный племянник ее отца! И в душе его снова вспыхнуло слепое пламя негодования и жалости.

— А как же насчет уроков рисования? Вы до сих пор не пришли учиться.

Она стала краснее своего платья.

— Я думала, что вы просто из вежливости. Я не должна была вас просить. Конечно, мне ужасно хотелось бы, только я знаю, вам будет очень скучно...

— Вовсе нет.

Она подняла глаза. Какие они у нее томные, необыкновенные!

— Тогда можно, я приду завтра?

— В любой день между половиной первого и часом.

— А куда?

Он дал ей свою карточку.

— Марк Леннан... Да... мне нравится ваше имя. Еще в прошлый раз понравилось. Очень красиво!

Что она могла найти в имени, чтобы из-за него ей понравился человек? Что он скульптор, для нее значения иметь не могло, ибо, какова бы ни была его известность, ей его имя известно быть не могло. Ах, но ведь в имени может быть заключено так много для детского слуха! Когда он сам был ребенком, какое очарование содержалось для него в словах: «макароны», «Брабант», «Карниола», «Альдебаран» и «мистер Мак-Крей»! На протяжении недели весь мир был «мистер Мак-Крей», а это всего лишь имя вполне заурядного приятеля Горди.

Как бы то ни было, но под воздействием каких-то чар она разговорилась — о школе, о лошадях и автомобилях (ей нравилась быстрая езда), о Ньюмаркетских скачках, которые она находила изумительными, и о театре — о пьесах того толка, какой должен был внушать доверие Джонни Дромору; кроме них, «Гамлета» и «Короля Лира», она ничего не видела. Никогда еще не встречал он девушки, столь не затронутой мыслью, искусством и в то же время неглупой, обладающей каким-то природным вкусом; просто ей не было случая его применить и развить. Да и откуда бы — у Джонни Дромора, *discere et audire*<sup>1</sup> Джонни Дромора! Правда, в школе ее возили в Национальную галерею. И Леннан представил себе десяток юных девиц, шествующих под эгидой одной старой девицы, — как они восторгаются собаками Лэндсира, сдавленно хихикают перед Ботичеллиевыми ангелами, глазают по сторонам, шаркают ногами и щебечут, словно стайка птичек в кусте.

И все же это дитя «дроморизма» оказалось наивнее большинства своих сверстниц. Если ее серые колдовские глаза и следовали за ним, не отрываясь, то открыто, без

---

<sup>1</sup> Под руководством и покровительством (лат.).

задней мысли. В ней еще не проснулась покорительница сердец — пока..

Прошел час, а Дромор все не появлялся. Одиночество этого юного существа в столь неподобающем ей жилище начало угнетать Леннана.

Что она делает по вечерам?

— Иногда хожу с папой в театр, а больше сижу дома.

— Ну, а дома что?

— Да так, читаю или разговариваю по-французски.

— Что? Сама с собой?

— Ну да. И еще иногда с Оливером, когда он приходит.

Значит, этот Оливер приходит!

— А давно вы знакомы с Оливером?

— О да! С самого детства!

Он чуть было не сказал: разве же это давно? Но удержался и вместо этого встал, чтобы попрощаться.

Она вцепилась ему в рукав и быстро сказала:

— Нет, вы еще не уйдете!

При этом вид у нее был, как у щенка, собравшегося в шутку вас укусить: верхняя губка приподнята над рядом мелких белых зубов, крепко впившихся в нижнюю, и подбородок слегка выпячен. Вот она какая бывает — капризная, властная!

Но он улыбнулся и произнес:

— Увы, к сожалению, мне нужно идти!

И благовоспитанность тотчас же к ней возвратилась, она только заметила с грустью:

— Вы не называете меня по имени. Оно вам не нравится?

— Нелл?

— Да. На самом-то деле, конечно, Элинор. Оно вам не нравится?

Будь даже это имя ему отвратительно, он все равно мог ответить только:

— Что вы, очень нравится!

— Ой, я ужасно рада! До свидания.

На улице он чувствовал себя так, будто его не за рукав взяли, а зацепили за самое сердце. И теплое, смятенное чувство не покидало его всю дорогу домой.

Переодеваясь к обеду, он вопреки обыкновению при-

стально разглядывал себя в зеркале. Да, его темные волосы еще густы, но с заметной проседью; под глазами множество морщин, и сами глаза, все еще живые, особенно, когда он улыбается, совсем провалились, словно жизнь загнала их в самую глубь. Скулы выступили, щеки худые и темные, а челюсти чересчур решительно сжаты и жестки под черными усами. Словом, лицо человека, немало пережившего на своем веку, и в нем нет ничего, что могло бы приглянуться ребенку и вызвать его симпатии.

Он еще стоял и изучал свою наружность, когда вошла Сильвия со свежим флаконом одеколона. Она ему постоянно дарила что-то,— у нее это всегда получалось как-то особенно мило. На ней было серое, с широким вырезом платье, и ее бледной, безмятежной миловидности, почти не затронутой временем, и блекло-золотистым волосам недоставало до подлинной красоты лишь какой-то глубины и заразной огненности, как духу ее не хватало примеси чего-то острого, он сам не знал, чего. Он ни за что на свете не признался бы ей, что думает так. Если ты не можешь скрыть своей мелочной неудовлетворенности от такого доброго, преданного и любящего существа, то чего ты вообще стоишь?

В тот вечер она опять спела ему «Замок Дроморов» с этим странным, навязчивым припевом. Когда же она ушла наверх и он остался с сигарой у камина один, ему примерещилось, будто девушка в темно-красном платье вошла в комнату и села напротив, не сводя с него глаз, как тогда, во время их разговора. Темно-красный цвет был ей к лицу. Особенно, когда она говорила: «Нет, вы еще не уйдете!» Странно было бы, если при таком воспитании в ней не затаился бы капризный бесенок!

## V

На следующий день его вызвали из мастерской, и он увидел в гостиной необычайное зрелище: Джонни Дромор вел безупречно светскую беседу с Сильвией, совсем почти не таращась! Ездит ли миссис Леннан верхом? Ах, не хватает времени? Конечно, конечно! Верно, при-

ходитесь помогать Марку в его... э-э... Нет? Ах, вот как! Значит, много читает? Он-то сам почти ничего не успевает читать, ужасно неприятно, когда совсем нет времени на чтение! А Сильвия слушала и улыбалась, очень спокойная и любезная. Для чего это Дромор явился? Провести разведку в чужом стане, выяснить, почему Леннан и его жена не придают значения слову «внебрачная», — respectable ли у них дом?.. С этими... как их?.. художниками надо быть осторожнее, даже если они твои старые однокашники!.. Делает ему, конечно, честь, что он так заботится о благе дочери, даже отрывая время от созидания идеальной скаковой лошади! В целом он, видимо, склонялся к заключению, что они могут быть полезны Нелл в предстоящие трудные времена, когда ей придется «всюду бывать»; постепенно кристальная доброта Сильвии оказала на него свое действие, и он начал даже утрачивать обычную настороженность человека, опасавшегося, как бы не проиграть в вечном пари жизни, готов, кажется, был расстаться со своим всегдашним панцирем — насмешкой. Было просто облегчением увидеть, когда они оставили общество Сильвии, как прежнее выражение пошленького любопытства снова появилось в его глазах, словно при всех своих родительских опасениях он, с другой стороны, все-таки надеялся обнаружить что-нибудь... эдакое в таинственной Мекке удовольствий — мастерской этого... как его?.. художника. Весело было наблюдать, как облегчение боролось в нем с досадой. Увы! Ни натурщицы, ни даже голой статуи; одни только бюсты да фигурки животных и тому подобные пресности — абсолютно ничего такого, что могло бы вызвать краску на лице молодой девушки и блеск в глазах Джонни Дромора.

С каким забавным видом ходил он молча вокруг двух овчарок, словно обнюхивая их своим длинным наморщенным носом! С какой забавной внезапностью заявил: «Чертовски хорошо! Ты не вылепишь мне Нелл на лошади?» С какой подозрительностью выслушал ответ:

— Ну, что ж, может быть, я и сделал бы с нее статуэтку; тогда ты получишь слепок.

Уж не думал ли он при этом, что его хотят перехит-

рить? Потому что он снова замер на мгновение, а потом уже отозвался, словно решил принять пари:

— Идет! Если тебе надо будет поехать с ней, чтобы приглядеться, я всегда подберу тебе лошадь.

Когда он ушел, Леннан еще долго стоял в сгушавшихся сумерках перед своими неоконченными собаками. Опять это чувство досады от вторжения чуждого ему мира, враждебного, тупого! Зачем допускать Дроморов в свою жизнь? Он запер мастерскую и вернулся в гостиную. Сильвия сидела на откинутой каминной решетке и глядела в огонь; когда он опустился в кресло, она подвинулась и прислонилась спиной к его коленям. Свеча, горевшая на столике, бросала отсветы на ее волосы, на щеку и подбородок, так мало изменившиеся с годами. Она казалась по-особенному красивой в свете этого единственного огонька, этого колеблющегося язычка пламени, медленно, но верно сжигающего бледный воск свечи. Пламя свечи из всех неживых предметов самое живое, всего более похожее на маленького духа, такое изменчивое, неуловимое, что порой не верится, огонь ли это вообще? Сквозняк трепал его, клоня то в одну сторону, то в другую, и Леннан встал, чтобы закрыть окно. Когда он вернулся, Сильвия сказала:

— Мне понравился мистер Дромор. По-моему, он лучше, чем кажется с виду.

— Он попросил меня сделать статуэтку его дочери.

— Ты согласился?

— Не знаю еще.

— Если она действительно такая хорошенькая, то отчего бы тебе не взяться?

— Хорошенькая — не то слово; но наружность у нее необычная.

Она обернулась и поглядела на него снизу вверх, и он сразу сердцем почувствовал, что сейчас придется отвечать на трудный вопрос.

— Марк!

— Да?

— Я хотела спросить тебя: ты сейчас счастлив?

— Конечно.

Что еще мог он ответить? Рассказать о тревоге последних месяцев, смешной для всякого, кто не испы-



тывает ее, значило бы только взволновать и встревожить ее без нужды...

А Сильвия, получив ответ на свой вопрос, снова отвернулась к огню и сидела молча, прислонившись к его коленям.

Три дня спустя овчарки, которых с таким трудом удалось усадить в нужной позе, вдруг вскочили и подбежали к дверям мастерской. За порогом на улице оказалась Нелл Дромор на стройной черной кобылке с белой звездочкой, белыми бабками и козьими ушками чертенка, настороженными и чуть не вплотную сведенными на макушке.

— Папа сказал, чтобы я заехала показать вам Сороку. Она плохо умеет стоять на месте. Это ваши собаки? Какие милые!

Она уже сняла колено с луки седла и соскользнула на землю; и овчарки тут же встали на задние лапы, упираясь ей в пояс. Леннан держал черную кобылку — своенравное создание, вся огонь и нервы; шкура, как атлас, влажные глаза, а ноги очень прямые и редкий неподстриженный хвост. В ней не было ничего от той слащавой красоты, которая так расхолаживает художника.

Он забыл о наезднице, пока та не оторвалась от собак, говоря:

— Значит, она вам понравилась! Как вы добры, что согласились нас лепить!

Потом она уехала, все оглядываясь, пока не завернула за угол, а он хотел было снова усадить псов в прежней позе. Но они никак не могли успокоиться, беспрестанно бегали к дверям, прислушивались, что-то нюхали; и все как-то разладилось, нарушилось.

В тот же вечер по предложению Сильвии они отправились с визитом к Дроморам.

Входя, он слышал мужской голос, довольно высокий, говоривший на непривычном языке, потом голос Нелл:

— Нет, не так, Оливер. «Dans l'amour il y a toujours un qui aime, et l'autre qui se laisse aimer»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> «В любви всегда один любит, другой позволяет себя любить» (франц.).

Она сидела в кресле отца, а на подоконнике примостился незнакомый молодой человек, который тут же встал и застыл, сохраняя довольно дерзкое выражение на широком красивом лице. Леннан разглядывал его с интересом — лет, вероятно, двадцати четырех; вид франтоватый, гладко выбрит, волосы курчавые, темные, карие глаза поставлены широко и, как на фотографиях, что-то смелое в лице. Голос его в ответ на приветствие прозвучал высоко, но приятно, с чуть заметной аристократической ленцой.

Они пробыли там всего несколько минут, и, спускаясь по полутемной лестнице, Сильвия сказала:

— Как она мило попрощалась — словно подставляла лицо, чтобы ее поцеловали! По-моему, она прелесть. И молодой человек тоже так думает. Они отлично подходят друг к другу.

— Да, кажется, — отрывисто отозвался Леннан.

## VI

После этого она часто у них бывала, иногда одна, два раза с Джонни Дромором, иногда с молодым Оливером, который под обаянием Сильвии скоро утратил свою надменную отчужденность. Работа над статуэткой началась. А потом всерьез пришла весна и с нею заботы настоящей жизни: скачки на открытом гладком лугу, где гению Джонни Дромора больше уже не угрожали опасности незаконных, непредусмотренных лошадиных альянсов. Он обедал у них накануне первых Ньюмаркетских скачек. Ему очень нравилась Сильвия, и он всегда говорил Леннану при прощании: «Очаровательная женщина твоя жена!» И она тоже питала к нему слабость, угадав под светской искушенностью полную его беспомощность и жалея его.

В тот вечер, когда он ушел, она сказала:

— Не пригласить ли нам к себе Нелл на то время, пока ты кончаешь статуэтку? Отец ее теперь постоянно в разъездах, и ей должно быть очень одиноко.

Так похоже на Сильвию — предложить это; но приятно ему будет или неприятно пребывание в их доме этой девочки с ее причудливой «взрослостью»,

доверчивостью и глазами «Пердиты»? Он и сам не знал.

Она приняла приглашение с трогательной готовностью — так собаки, когда уезжают их хозяева, привязываются к тому, кто готов о них позаботиться.

И она не доставила хлопот, слишком хорошо привыкнув сама занимать себя; забавно было следить за ее постоянными переходами от ребячества к светскости. Новое ощущение — юное существо в доме. Оба они с Сильвией хотели детей, но судьба им не благоприятствовала. Дважды вмешалось нездоровье. Может быть, все тот же недостаток остроты и живости и помешал ей сделаться матерью? Она сама росла единственным ребенком, так что племянников и племянниц у нее тоже не было. Сыновья Сесили воспитывались в закрытых школах, а теперь разъехались по свету. Да, то было новое ощущение, и прежняя тревога Леннана, казалось, растворилась и исчезла в нем.

Помимо тех часов, когда Нелл ему позировала, он старался видаться с ней поменьше, предоставляя ей греться под крылышком Сильвии, но она как будто бы ничего другого и не желала. Таким способом он растягивал удовольствие, которое доставляли ему ее неожиданные вспышки оживления и еще более неожиданные возвраты задумчивости, и то эстетическое наслаждение, какое получал он при виде ее, чей странный, то ли зачарованный, то ли чарующий взор таил в себе дремлющую, грустную нежность, словно грудь ее переполняли горячие чувства, которым не было выхода.

Каждое утро после «сеанса» она еще час оставалась в мастерской, склонившись над собственным рисунком, — надо сказать, тут дело подвигалось плохо; и он нередко ловил на себе взгляд ее больших глаз, когда разглядывал своих овчарок, которые непременно располагались, отчаянно моргая, у ее ног — так велика была ее притягательная сила. Его птицы — галка и сова, — свободно распоряжавшиеся в мастерской, тоже мирились с ее присутствием, хотя других женщин, кроме уборщицы, они не терпели. Галка садилась ей на плечо и поклевывала ее платье, а сова лишь состязалась с ней в упорстве колдовского взгляда, и в состязаниях этих ни одной из сторон не удавалось одержать победу.

Теперь, когда Нелл гостила у них, Оливер Дромор просто осаждал их дом, появляясь в любые часы. под самыми искусственными предложениями. Она держалась с ним до предела капризно: то вовсе не удостоивая словом, то ласково, как с братом; и бедный юноша при всей своей высокомерной небрежности не сводил с нее взора — несчастного или восторженного, смотря по ее настроению.

Один из тех июльских вечеров особенно запомнил-ся Леннану. После целого дня трудов он пришел из мастерской выкурить в саду папиросу и понежиться в последних лучах солнца, прежде чем оно скроется за стеною. Вдалеке играла вальс шарманка, и он уселся под окном гостиной на кадку с гортензией и стал слушать. Ему ничего не было видно, кроме квадрата очень синего неба над головою и белого дымного султана, тянущегося из кухонной трубы; и слышно тоже ничего не было, кроме шарманки и нескончаемого гомона улицы. Дважды пролетели птицы, скворцы. Над всем царил покой, и мысли его плыли в воздухе, подобно дыму от его папиросы, навстречу чьим-то еще мыслям, ибо мысли ведь живут своей быстрой жизнью, познают желание, находят себе пару, сочетаются друг с другом и производят потомство. Разве не может этого быть? Все возможно в этом мире чудес. Вот и вальс, доносящийся сюда, найдет какую-нибудь мелодию, чтобы соединиться, слиться с нею и породить новое звучание, а оно, в свою очередь, поплывет по воздуху вдогонку за писком комара или жужжанием мухи, чтобы тоже породить потомство. Удивительно, как все в мире стремится найти себе пару! На розовой цветке гортензии он заметил шмеля. Подумать только: шмель в этом царстве черепицы, гравия и растений в кадках! Одиноким, мохнатым, он дремотно покачивался на лепестках, словно запомнил, для чего он здесь, — видно, и его отвлекли от трудов прощальные лучи солнца. Крылышки его, аккуратно сложенные на спинке, блестели, и глаза словно бы были сощурены. А шарманка все не умолкала, все наигрывала свою песенку тоски, тоски и ожидания...

Потом из открытого окна у него над головою послышался голос Оливера Дромора, — его всегда можно было узнать, высокий, чуть растягивающий слова, — о чем-

то просящий, сначала тихо, потом настойчиво, требовательно; и вдруг в ответ прозвучал голос Нелл:

— Нет, нет, Оливер! Не хочу!

Он встал, чтобы отойти и не подслушивать больше. Но в это время в доме хлопнула дверь, и он увидел Нелл в окне над собою; его голова приходилась как раз у ее пояса. Лицо ее заливала краска, серые глаза грозно горели, губы приоткрылись. Он спросил:

— Что случилось, Нелл?

Она наклонилась и взяла его за руку; прикосновение ее обжигало, как огонь.

— Он поцеловал меня! А я не хочу и не буду его целовать!

В голове у него промелькнул обычный набор утешений, какие говорят обиженному ребенку; но почему-то ему было не по себе. А она вдруг опустилась на колени и прижала горячий лоб к его губам.

Словно она в самом деле ребенок, которому обязательно надо, чтобы его поцеловали туда, где больно.

## VII

После этой странной сцены Леннан долгое время размышлял, не следует ли ему поговорить с Оливером. Но что он мог сказать, и по какому праву, и с каким чувством? Или же поговорить с Дромором? Но не так-то просто говорить на подобные темы с человеком, на чей ипподром духовным тонкостям вход запрещен. Не мог он себя заставить поговорить и с Сильвией: рассказать об этом детском признании и о трепетном миге, когда, ища у него утешения, она прижала горячий лоб к его губам,— значило бы обмануть ее доверие. Пусть Нелл сама расскажет про это Сильвии, если захочет.

Из затруднения его вывел сам юный Оливер, явившись на следующий день к нему в мастерскую. Он вошел с непринужденным и безупречным видом истинного Дромора, в цилиндре, в черной визитке и восхитительных лимонно-желтых перчатках; чем вообще этот молодой человек занимался, помимо того что состоял в территориальных войсках и всю зиму напролет охотился, знал, видимо, только он сам. Он не извинился, что

потревожил Леннана, а некоторое время просто сидел, молча попыхивая папирсой и теребя уши овчаркам. Леннан, не оставляя работы, ждал. Ему всегда нравилось что-то в его широком, красивом лице под темными курчавыми волосами, в его заносчиво-жизнерадостном выражении, сейчас совершенно померкшем.

Наконец Оливер встал и подошел к неоконченной статуэтке «Девушка верхом на кобыле Сороке». Повернув голову так, что лица его Леннан не видел, он сказал:

— Вы с миссис Леннан ужасно добры ко мне; я вчера вел себя как подлец. Я решил сказать вам. Понимаете, я хочу жениться на Нелл.

Леннан рад был, что лицо юноши благоговейно отвернуто. И только когда руки его вновь занялись привычной работой, он ответил:

— Она ведь еще совсем ребенок, Оливер.

И заметив, как неловко смяли глину пальцы, подивился самому себе.

— В этом месяце ей будет восемнадцать,— услышал он голос Оливера.— Когда она начнет выезжать, знакомиться с людьми, я просто не знаю, что будет со мной. На старину Джонни положиться нельзя.

Лицо юноши было пунцовым; он забылся и больше не прятал его. Потом оно побледнело; он говорил сквозь стиснутые зубы:

— Она меня с ума сводит. Я просто не знаю, как... Если она мне не достанется, я пушу себе пулю в лоб. Я не шучу, я знаю себя. Это все ее глаза. Они душу из тебя вынимают, вынут и бросят...— Рука в лимонной перчатке уронила на пол погасший окурок.— Говорят, такой была ее мать. Бедняга Джонни! Как вы думаете, могу я надеяться, мистер Леннан? Не сейчас, понятно, не сию минуту; я сам знаю, что она еще слишком молода.

Леннан заставил себя ответить:

— Полагаю, что да, мой милый, полагаю, что да. Вы не разговаривали с моей женой?

Оливер покачал головой.

— Она слишком хорошая — ей, наверно, и непонятно будет, что я испытываю.

Кривая улыбка скользнула по губам Леннана.

— Во всяком случае, дайте Нелл время. Может быть, осенью, когда она возвратится из Ирландии...

Молодой человек отозвался невесело:

— Да. До осени у меня еще есть время. Но я знаю, что не вытерплю и тоже поеду туда.— Он взял шляпу.— Наверно, я не должен был приходить и надоедать вам этим разговором, но Нелл о вас такого высокого мнения; и потом вы так непохожи на других людей, я подумал, вы не рассердитесь.— Он повернулся к дверям.— Это не пустые слова, что я сейчас сказал насчет пули в лоб. Иногда просто так говорят, но я всерьез.

Он надел свой глянцевитый цилиндр и вышел.

Леннан стоял, глядя на статуэтку. Вот, стало быть, как. Страсть сокрушает даже крепости «дроморизма». Страсть! Прихотлив ее выбор — не угадаешь, в каком сердце вздумается ей расцвести!

«Вы так непохожи на других людей, я подумал, вы не рассердитесь!» Откуда знал этот юноша, что Сильвии непонятна будет его необузданная страсть? И что подсказало ему, что он, Леннан, его поймет? Значит, есть что-то у него в лице? Должно быть! Даже Джонни Дромор — скрытнейший из людей — поверил ему повесть о том часе своей жизни, когда буря вынесла его в открытое море!

Да! А из этой статуэтки толку все равно не выйдет, как он ни старайся. Оливер прав: тут все дело в ее глазах! Как они клубились тогда в ребяческой ярости — если про глаза можно сказать, что они клубились; и как манили, жаловались, когда она, еще ребячливее, обиженная, приблизила к нему лицо! Если они сейчас у нее такие, то что будет, когда в ней проснется женщина? Лучше бы поменьше о ней думать! Лучше бы делать свое дело и не забывать, что ему скоро будет сорок семь лет. И слава богу, что через неделю она уезжает в Ирландию.

В последний вечер перед ее отъездом они возили ее в оперу слушать «Кармен». Он запомнил, что на ней было закрытое белое платье и темно-красная гвоздика за ленточкой, прихватывавшей вьющиеся волосы, еще не уложенные в прическу. Она сидела, как замороженная, упиваясь этой оперой, которую сам он слышал уже раз

двадцать; то и дело трогала его или Сильвию за рукав, спрашивая шепотом: «А это кто?», «А что будет дальше?» Кармен привела ее в восторг, донна Хозе она нашла «слишком жирным для такого кургузого мундира», но потом, ослепленный ревностью, он в последнем акте поднялся на недостижимую высоту. Вне себя от возбуждения она вцепилась в руку Леннана, и когда Кармен наконец упала мертвая, так ахнула, что на них оглянулись все соседи. Ее переживания были гораздо трогательнее того, что происходило на сцене; и ему все время хотелось погладить ее по волосам и сказать: «Ну, ну, не надо, детка, ведь это все понарошку». Когда же по окончании оперы добрейшая зарезанная дама и ее незадачливый толстяк-возлюбленный явились перед занавесом, она окончательно забыла свои замашки светской дамы и, подавшись вперед в кресле, хлопала в ладоши что было сил. Хорошо, что Джонни Дромор не мог ее тогда видеть! Но поскольку все на свете имеет конец, настало время и им покинуть театр. Проходя в вестибюль, Леннан почувствовал, как за его палец зацепился ее горячий мизинец, словно ей просто во что бы то ни стало нужно было за что-нибудь ухватиться. Он не знал, как ему с этим мизинцем быть. И она, видно, почувствовала его растерянность, потому что вскоре выпустила его палец. В кэбе всю дорогу она молчала. С тем же задумчивым видом она съела свои бутерброды, запив их лимонадом, подставила Сильвии щеку для поцелуя и прежним светским тоном попросила их не провожать ее завтра: ей предстояло подняться в семь утра, чтобы поспеть на поезд. Потом, протянув руку Леннану, с большой серьезностью сказала:

— Я ужасно благодарна вам за сегодняшний вечер. До свидания!

Он целых полчаса стоял у окна и курил. Фонаря напротив не было, и ночь бархатом чернела над платанами. Потом он со вздохом закрыл окно и, не зажигая света, на цыпочках поднялся наверх. Вдруг в коридоре белая стена двинулась ему навстречу. Тепло, благоухание, звук, похожий на чуть внятный вздох, и что-то мягкое очутилось у него в ладони. А стена отступила, и он напрасно стоял прислушиваясь — ни звука, ничего! У себя в комнате он рассмотрел мягкий комочек, что лежал



у него на ладони. Это была гвоздика, которая рдела сегодня у нее в волосах. Что это ей вздумалось дарить ему цветок? Кармен! Ах да, Кармен... И он вытянул руку с цветком, глядя на него почти с ужасом; но аромат достигал его ноздрей. И тогда он вдруг сунул его, свежий и живой, прямо в пламя свечи и держал, глядя, как горят и закручиваются лепестки, пока цветок не обуглился до бархатной черноты. Но тут же раскаялся в своем жестоком поступке. Цветок был все еще красив, но аромат его исчез. И, повернувшись к окну, он швырнул его по-дальше, в темноту.

## VIII

Удивительно, как мало они о ней разговаривали, когда она уехала,—ведь все-таки она прогостила у них довольно долго. И от нее они получили лишь одно письмо, адресованное Сильвии и заканчивавшееся такими словами:

«Папа просит передать свой сердечный привет; кланяюсь Вам, мистеру Леннану и всему зверью. Нелл.

На будущей неделе сюда собирается Оливер. Мы поедем на какие-то скачки».

Конечно, говорить о ней было трудно, не расскажешь же про эту выходку с цветком, слишком уж эксцентричную: Сильвия истолковала бы ее ложно — как и всякая женщина. А ведь, в сущности, это был лишь свободный порыв чувствительной детской души, взволнованной спектаклем и жаждавшей выразить свое волнение. Не более, как минутная ребяческая вспышка, мимолетное, еще детское прозрение тайн страсти. Нет, он не мог выдать эту ее прелестную, наивную шалость. И оттого, что он не хотел ее выдавать, он был особенно нежен с Сильвией.

Они еще не думали о том, куда им поехать в этом году, и он с готовностью принял ее предложение пожить в Хейле. Там его, наверно, покинет это непонятное чувство душевной тревоги. Они не были в старом имении так много лет; после смерти Горди дом большей частью сдавался в наем.

Они уехали из Лондона в конце августа. Наступал вечер, когда поезд подошел к их станции. Жимолость

давно уже не росла у ограды благоустроенного вокзала, где двадцать восемь лет назад он стоял, глядя, как поезд увозит Анну Стормер. В наемном экипаже Сильвия прижалась к нему и под ветхим фартуком взяла его за руку. Оба они равно испытывали волнение при виде старого дома. Из прежних обитателей там не осталось никого — только сам дом и деревья, только совы и звезды, река, парк и камень-дольмен! Было уже темно, когда они доехали; к их приезду приготовили только спальню и две комнаты внизу, и там топились камин, хотя погода стояла еще совсем летняя. Все те же препротивные узоры Хезерли глядели с черных дубовых панелей. Все тот же запах яблок и некогда обитавших здесь мышей застоялся в темных коридорах с их лестницами и лестничками в самых неожиданных местах. Все было до удивления такое же, как это обычно бывает со старыми домами, которые сдают в наем со всей обстановкой.

Как-то ночью он проснулся. За распахнутыми, в раздвинутых занавесах окнами ночь роилась мириадами звезд — столько их дрожало и плавало там, в вышине, а издалека доносилось печальное, бархатисто-мягкое уханье совы.

Голос Сильвии подле него произнес:

— Марк, та ночь, когда твоя звезда запуталась у меня в волосах, помнишь ее?

О, да, он помнил. А в его уме, едва очнувшись от сонных грез, звучали и звучали непонятным, бессмысленным припевом слова: «Никогда, никогда не покину я мистера Микобера...»<sup>1</sup>.

То был приятный месяц. Он читал, бродил с собаками по окрестностям, лежал подолгу между валунами или у реки, наблюдая зверей и птиц.

Старая теплица — храм, в котором некогда стояли шедевры его юности, — уцелела; в ней теперь хранились садовые лейки. Но за весь месяц он не испытал ни намека на желание работать. Он считал дни — без нетерпения, без скуки; просто ждал, но чего, он и сам не мог сказать. А Сильвия была счастлива, она вся расцвела в этом краю своего детства, утратила под лучами солнца

---

<sup>1</sup> Фраза из романа Диккенса «Давид Копперфильд».

обычную прозрачную белизну и даже начала опять носить соломенную шляпку, в которой выглядела совершенной девочкой. Форель, некогда столь претерпевшая от бедного Горди, мирно жила в реке. В парке не прозвучало ни единого выстрела; кролики, голуби, даже многочисленные куропатки наслаждались, непуганные, тишиной ранней осени. Папоротник и листва деревьев уже пожелтели, и в дымке сентябрьского ясного дня парк стоял снизу доверху золотой. Над всем царила какая-то мягкая задумчивость. А из Ирландии пришла только одна цветная открытка с надписью: «Это наш дом. Нелл».

В конце сентября они возвратились в Лондон. И сразу же к нему вернулась его мучительная, непонятная тревога, это чувство, что его тянет куда-то прочь от самого себя; он даже возобновил свои одинокие прогулки в парке, часами шагая по усыпанной листьями траве, все выжидая, все томясь — а о чем?

У Дроморов всеведущий слуга не смог ему сказать, когда приедет его хозяин; они с мисс Нелл после Селинджеровских скачек отправились в Шотландию. Почувствовал ли Леннан разочарование? Пожалуй, нет, — скорее облегчение. Но душевная тревога по-прежнему не покидала его, набирая силы в атмосфере тайны и одиночества, — ведь этим он ни с кем не мог поделиться. Почему он все никак не осознает, что молодость прошла, что страсть осталась позади, что для него наступила осень? Неужели он не может уразуметь ту простую истину, что «время уплывает безвозвратно»? Как и раньше, единственным прибежищем оставалась работа. Овчарки и «Девушка верхом на кобыле Сороке» были закончены. И он задумал фантастический барельеф: нимфа выглядывает из-за скалы, а к ней из тростников подбирается мужчина с безумным взглядом. Если бы удалось в чертах нимфы запечатлеть те чары Юности, Жизни и Любви, что так манят его самого, а в лице мужчины — чувства, его обуревающие, тогда, быть может, улеглась бы эта душевная тревога. Избавиться от нее любой ценой! И он работал весь октябрь, яростно, упорно, но почти ничего не успел... Да и на что можно было рассчитывать, когда Жизнь все время стучалась потихоньку в его двери?

А во вторник после Ньюмаркетских скачек под вечер, когда сумерки уже сгущались, Жизнь отворила его двери и вошла. На ней было темно-красное платье — новое, и ее лицо, ее фигура были совсем не те, какими он их помнил! Словно очнулись от сна и вдруг расцвели. Теперь она уже была не ребенок, это сразу можно было видеть. Щеки, рот, шея, талия — все как-то оформилось, стало законченным; выющиеся русые волосы были теперь уложены в прическу под бархатной шляпкой, только огромные серые глаза остались те же. И при виде ее его сердце рванулось и упало, ибо вся его неясная тревога обрела сразу смысл.

Потом он вдруг в смятении подумал, что последний раз виделся с этой девочкой — теперь уже взрослой девушкой — в тайную минуту взрыва чувств; и эта минута, быть может, означала для нее гораздо больше и совсем не то, что он даже в мыслях не осмелился бы ей внушить. И, точно сердце его и не сжималось и не трепетало, он протянул ей руку со словами:

— А, Нелл! Наконец-то вернулись! Как вы выросли!

В следующий миг ноги у него едва не подкосились, потому что она обвила его шею руками и прильнула к нему всем телом. Он успел ужаснуться: «Это бог знает что!» — прижал ее к себе на мгновение — кто мог бы устоять? — и сумел оттолкнуть ее легонько, изо всех сил заставляя себя думать: «Она еще ребенок! Все это ничего не значит, как тогда, после «Кармен»! Она не знает, что чувствую я!» Но сам он испытывал почти непреодолимое желание схватить ее и сдавить в объятиях. От прикосновения к ней в прах рассыпалась вся неясность его тревоги и осталась полная определенность и пламенный жар в крови. Он проговорил неуверенно:

— Садитесь к камину, дитя мое, и расскажите мне, как вы жили.

Если не держаться за спасительную мысль, что она еще ребенок, то он потеряет голову. Пердита — «Потерянная»! В самом деле, подходящее имя для нее, стоящей в отсветах огня, так что маленькие огоньки пляшут в ее глазах — еще более колдовских, чем прежде! И, чтобы укрыться от их чар, он нагнулся и помешал угли.

— Вы уже видели Сильвию?

Но он понял, что она ее не видела, еще прежде, чем она нетерпеливо дернула плечом. И, овладев собой, он спросил:

— Что с вами, дитя?

— Я не дитя.

— Да, мы с вами оба постарели. Мне на днях исполнилось сорок семь.

Она схватила его за руку — боже, как гибки ее движения! — и быстро проговорила:

— Вы вовсе не стары; вы совсем молодой.

Вне себя, с гулко бьющимся сердцем, все еще глядя в сторону, он глухо спросил:

— А где Оливер?

Она выпустила его руку.

— Оливер? Я его ненавижу.

Не решаясь оставаться рядом с ней, он начал ходить из угла в угол мастерской. А она провожала его своим удивительным взором, и отсветы огня плясали на красном платье. Что за необычайная уверенность! Что за сила созрела в ней за эти месяцы! Неужели он выдал себя, открыл ей, что подвластен этой силе? И неужели все это родилось из одного мгновения в темном коридоре, из одного цветка, вложенного ему в ладонь? Почему он тогда не заговорил с ней сердито, не сказал ей, что она глупая маленькая фантазерка? Одному богу известно, что она теперь насочиняла! Но кто мог подумать... кто мог бы предвидеть? И он опять решительно вернул свои мысли к одной фразе: «Она еще ребенок, она еще только ребенок!»

— Ну, так как же, — повторил он, — вы расскажете мне, как вы жили в Ирландии?

— О! Скучала, и все, все было скучно без вас.

Это было сказано без колебаний, без смущения, и он мог только вымолвить в ответ:

— Значит, вам недоставало наших уроков рисования!

— Да. Можно мне завтра прийти?

Тут-то бы как раз и сказать: «Нет! Вы неразумный ребенок, а я старый дурак!» Но у него не достало смелости и ясности мыслей, да и решимости! И, ничего не ответив, он подошел к двери зажечь свет.

— О нет! Пожалуйста, не надо! Так гораздо лучше.

Затемненная комната, окна, расцвеченные голубыми сумерками, лихорадочный блеск пламени, смутные темные пятна на гипсе и бронзе — и одна эта светом рдеющая фигура перед камином! А ее голос чуть жалобно продолжал:

— Вы не рады, что я вернулась? Мне вас оттуда плохо видно.

Он возвратился в круг света перед камином, и она тихонько, удовлетворенно вздохнула. Потом ее юный спокойный голос отчетливо произнес:

— Оливер хочет, чтобы я вышла за него замуж, но я, разумеется, не согласна.

Он не осмелился спросить: почему же? Он не осмелился произнести ни слова. Опасность была слишком велика. И тут-то последовали ее удивительные слова:

— Вы же знаете, почему. Разумеется, знаете.

Нелепо, почти стыдно было понимать смысл ее слов. И он стоял и глядел перед собой, не произнося ни слова, а в груди у него стыд, ужас, гордость и безумное ликование смешались и кипели одним небывалым чувством. Но он только сказал:

— Пойдемте, дитя мое; мы с вами сегодня оба что-то не в себе. Да, пойдемте в гостиную.

## IX

После ее ухода, вернувшись снова в темноту и безмолвие мастерской, он долго сидел перед камином, чувствуя полное смятение. Почему он не может быть таким, как все эти животные в образе мужчины, которые преспокойно пользуются дарами богов? Ему казалось, что в пасмурный ноябрьский день кто-то раздвинул щелку в трезвых шторах неба, — а там, неожиданный, стоит Апрель: белый пышный яблоневый цвет, лиловая тучка, радуга, трава, ослепительно зеленая, сияние, льющееся бог весть откуда, и такая звенящая радость жизни, что сердце замирает от страсти. Вот, оказывается, каким колдовским, пьянящим очарованием завершился этот год его тоски и тревоги! Немного Весны, нечаянный подарок в разгар его Осени. Ее губы, ее глаза, волосы;

ее трогательная привязанность; и сверх всего — хоть в это невозможно поверить — ее любовь. Не любовь, вероятно, а просто детская фантазия. Но на крыльях фантазии это дитя улетит далеко, чересчур далеко — не даром вся она страсть и трепет под тонким налетом смешного «взрослого» хладнокровия.

Снова жить, погрузиться опять в море молодости и красоты, еще раз пережить Весну, избавиться от ощущения, что все уже позади, кроме трезвой рутины семейного счастья; снова еще раз испытать блаженство в любви юного существа, вернуть себе муки и желания, надежды и страхи и любовные восторги молодости — от всего этого поневоле закружится голова даже у самого порядочного человека...

Стоило закрыть глаза, и он видел перед собой ее в отблесках огня, играющих на ее красном платье; снова испытывал блаженную дрожь, как в то мгновение, когда она, войдя, прижалась к нему в искусительном, полудетском порыве; чувствовал, как глаза ее манят, притягивают к себе! Она просто колдунья, сероглазая, русоволосая ведьма во всем, даже в этом пристрастии к красному цвету. И у нее есть ведьмовская власть зажигать лихорадку в крови. Он теперь дивился, как сумел не упасть перед ней на колени тогда же, в кругу света от камина, не обнял ее и не спрятал лицо в этой красной ткани. Почему не сделал он этого? Но думать не хотелось: он знал, что начини он думать, и его будет разрывать на части, тянуть в разные стороны между разумом и страстью, жалостью и желанием. А он всеми силами души стремился лишь к одному — сберечь это упоительное сознание, что он уже глубокой осенью пробудил любовь в сердце Весны. Невероятно, что она может испытывать к нему такие чувства; но и ошибиться было невозможно. К Сильвии она опасно переменилась; она смотрела на нее там в гостиной с холодным раздражением, таким пугающим еще и оттого, что всего три месяца назад она была с ней сама нежность. А прощаясь, шепнула, трепетно подавшись к нему, как прежде, словно запрокидывала голову для поцелуя: «Значит, мне можно прийти? И, пожалуйста, не сердитесь на меня; я ведь не виновата». Чудовищно в его возрасте позволять молодой девушке любить себя — подвергать опасности

ее будущее! Чудовищно, по всем канонам порядочности и благородства! Но ее будущее?.. При таком характере... с такими глазами... с ее происхождением, и таким отцом, и таким образом жизни? Нет, только не думать, ни в коем случае не думать!

Тем не менее он думал, и по нему это было сильно заметно: после обеда Сильвия, положив руку ему на лоб, сказала:

— Ты слишком много работаешь, Марк. Тебе нужно больше бывать на воздухе.

Он крепко сжал ее пальцы. Сильвия! Нет, нет, думать просто нельзя! Но он воспользовался ее словами и сказал, что пойдет подышать немного свежим воздухом.

Он шагал быстро — чтобы избавиться от мыслей, — и сам не заметил, как дошел до реки недалеко от Вестминстера, но тут, повинувшись внезапному душевному толчку, быть может, в поисках противоядия, свернул за громадой собора в узкую улочку, где не был с той летней ночи, когда он потерял то, что было ему тогда дороже жизни. Здесь жила она; вот этот дом, эти окна, мимо которых он ходил, украдкой поглядывая на них с такой тоской и болью. Кто живет в нем теперь? И ему опять привиделось лицо из его прошлого — темные волосы, темные, мягкие глаза, нежный, серьезный взгляд. Оно не упрекало его, ибо это новое чувство было иным, чем та, прежняя любовь. Лишь однажды дано человеку испытать любовь, которая превосходит все, любовь, которая и в бесчестии, горе и смятении духа одна содержит в себе всю истинную честь, радость и душевный покой. Судьба отняла у него эту любовь, сорвала ее, как жгучий ветер срывает расцветший, совершенный цветок. А это новое чувство — лишь лихорадка в крови, лишь горячечная фантазия, погоня за Юностью, за Страстью. Впрочем, что ж! И оно достаточно реально. И в одно из тех мгновений, когда человек возвышается над самим собою и смотрит на жизнь свою сверху и со стороны, Леннан представил себе легкую тень, мятущуюся туда и сюда; соломинку, кружимую вихрем, малую мошку в дыхании бешеного ветра. Где источник этого тайного могучего чувства, налетающего внезапно из тьмы и схватывающего вас за горло? Почему оно приходит именно в этот



миг, а не в другой, влечет в одну сторону, а не в другую? Что ведомо о нем человеку, кроме того, что оно заставляет его поворачиваться и кружиться, точно бабочку, опьяненную светом, или пчелу — благоуханием ароматного темного цветка; что оно превращает в смятенную, покорную живую игрушку своих прихотей? Разве однажды оно не привело уже его на грань смерти; неужели же опять оно обрушится на него со всем своим сладким безумием и пьянящим ароматом? Какова же его природа? И для чего существует оно? Зачем эти приступы одержимости, которым нет удовлетворения? Или цивилизация настолько опередила человека, что натура его оказалась втиснутой в чересчур тесную обувь, подобно ножкам китаянок? Что же оно такое? И для чего существует?

И он еще быстрее зашагал прочь.

Улица Пэл-Мэл снова вернула его к действительности, этой подделке под Действительное. Здесь на Сент-Джеймс-стрит находился клуб Джонни Дромора; и, опять повинувшись необъяснимому порыву, он толкнул вертящуюся дверь и вошел. Справляться не было нужды, ибо по вестибюлю шел сам Джонни Дромор: после обеда — за карты. Лоснящийся загар — дар здоровой и сытой жизни на свежем воздухе — покрывал его щеки густо, как сливочный крем. В глазах был тот особый блеск, какой свидетельствует об избытке жизненных сил, и что-то предпраздничное во взгляде, в голосе, в жестах выдавало намерение провести вечерок в свое удовольствие. У Леннана мелькнула издевательская мысль: а что, если сказать ему?

— Здравствуй, старик! Чертовски рад тебя видеть! Что ты подделываешь? Все трудишься? А как супруга? Ездили куда-нибудь? Создал новые шедевры? — И наконец, вопрос, которым можно было воспользоваться, захоти он нанести жестокий удар: — Ты уже видел Нелл?

— Да, она заходила сегодня.

— Ну, как твое мнение? Красавица растет, а?

Все тот же вопрос, а в нем все то же тайное сомнение, но и гордость, будто он хотел сказать: «Я знаю, она не внесена в племенные книги, но ведь, черт подери, она моих кровей!» И, как прежде, минутная мрач-

ность, тут же снова сменившаяся шутливым настроением.

Леннан пробыл с ним всего несколько минут. Никогда еще он не чувствовал себя таким далеким от своего старого школьного товарища.

Нет. Что бы там ни было, Джонни Дромор должен остаться в стороне. Он заслужил это право своими вытаращенными глазами и своим философическим практицизмом, и с этих позиций сбивать его нельзя.

Леннан шел вдоль ограды Грин-парка. В этот последний вечер октября в холодном воздухе висела легкая дымка и чувствовался горький аромат от костров, на которых сжигали палый лист. Что в нем, в этом запахе дыма над горящими листьями, отчего так сжимается всегда его сердце? Символ разлуки! Самого печального, что есть в мире, ибо что нам и в самой смерти, не означай она разлуки? Просто сладкий, долгий сон или же новое приключение. Но если человек кого-то любит — покинуть любимых или остаться покинутым! Да, но не одна смерть приносит разлуку!

Он дошел до переулка, где жили Дроморы. Она сейчас дома — сидит у огня в большом кресле, играет с котенком, думает, грезит — и одна! И он прошел прямо, шагая с такой быстротой, что прохожие оглядывались. Заворачивая за угол, уже у самого дома, он чуть не налетел на Оливера Дромора.

Молодой человек шел с непривычно растерянным видом, меховое пальто его было распахнуто, цилиндр сдвинут на затылок, курчавые волосы выбились на волю, под глазами — темные круги. Этой осенью в нем заметно не хватало обычного дроморовского лоска.

— Мистер Леннан! А я как раз заходил к вам.

Леннан спросил растерянно:

— Вы вернетесь или мне проводить вас немного?

— Я... я предпочел бы здесь, на улице, если вам все равно.

В молчании они дошли до площади. И Оливер сказал:

— Давайте перейдем туда, к ограде.

Они пересекли площадь и пошли вдоль ограды неосвященного сквера, где навстречу им не попадалось ни

души. И с каждым шагом неловкость положения становилась для Леннана ощутимей. Было что-то ложное и унижительное в том, что он шел с этим юношей, который несколько месяцев назад исповедался ему в своей любви к Нелл. Он заметил, что они обошли сквер кругом, так и не обменявшись ни словом.

— Итак? — спросил он.

Оливер отвернулся.

— Помните, о чем я рассказывал вам летом? Так вот, стало еще хуже. Последнее время я на стену лез, чтобы хоть как-нибудь да избавиться от этого. Но все без толку. Она меня совсем скрутила.

Про себя Леннан подумал: «Не тебя одного!» Но промолчал. Больше всего он боялся сказать что-нибудь такое, что будет потом вспоминаться как иудино слово.

А Оливер вдруг заговорил горячо и сбивчиво:

— Почему, почему она меня не любит? Я знаю, я не бог весть кто, но она знакома со мной всю жизнь, и я всегда ей нравился. Тут что-то есть, не пойму только, что. Не могли бы вы мне помочь как-нибудь с ней?

Леннан указал на ту сторону улицы.

— В каждом из этих домов, Оливер, живет кто-нибудь, кто страдает, оттого что другой человек почему-то его не любит. Любовь приходит, когда ей вздумается, и, когда ей вздумается, уходит; и от нас, бедных, тут ничего не зависит.

— Что же вы мне посоветуете?

У Леннана возникло почти непреодолимое желание резко повернуться и уйти прочь. Но он заставил себя посмотреть юноше в лицо, даже теперь не утратившее своей привлекательности, — быть может, наоборот, ставшее еще приятнее из-за этой бледности и горестного выражения. И проговорил медленно, разглядывая мысленно каждое слово:

— Не берусь давать вам советы. Я мог бы только сказать вам одно: не стоит навязываться, если нас не хотят. Но кто знает? Пока она чувствует, что вы рядом, что вы ждете, она может обратиться к вам в любую минуту. Ваша надежда, Оливер, в том, чтобы дер-

жаться как можно благороднее и ждать как можно терпеливее.

Эти малоутешительные слова Оливер выслушал, не дрогнув.

— Понимаю,— сказал он.— Спасибо. Только это не легко. Я никогда не умел ждать.

И, произнеся эту эпитафию самому себе, он протянул Леннану руку, повернулся и ушел.

Леннан медленно побрел домой, стараясь честно представить себе, как оценил бы его поведение посторонний человек, посвященный во все подробности. В таком положении нелегко сохранить и долю достоинства.

Сильвия еще спать не легла, и он перехватил ее тревожный взгляд. Единственным и неожиданным утешением во всей этой истории было то, что по крайней мере его чувство к ней не изменилось. Оно даже, может быть, стало глубже и нужнее ему.

Как мог он заснуть в ту ночь? А бодрствуя, как мог не думать? И он долгие часы лежал, уставившись широко открытыми глазами в темноту.

Как будто размышления помогают от горячки в крови.

## Х

Страсть не считается с правилами игры. Она-то уж во всяком случае свободна от нерешительности и самолюбия; от благородства, нервов, предрассудков, ханжества, приличий; от лицемерия и мудрствований, от страха за свой карман и за положение в мире здешнем и загробном. Недаром старинные художники изображали ее в виде стрелы или ветра! Не будь она такой же бурной и молниеносной, Земля давно бы уже носилась в пространстве опустевшая — свободная для сдачи в наем...

Проведя горячечную ночь, Леннан наутро в обычный час ушел к себе в мастерскую и, разумеется, работать оказался не в состоянии. Пришлось даже отпустить натурщика — этот человек был когда-то парикмахером Леннана, но потом стал болеть, впал в бедность и, однажды утром придя в мастерскую, спросил, преодолевая стыд, не подойдет ли Леннану его голова. Испытав его способности стоять неподвижно и дав ему записки к знакомым художникам, Леннан пометил у себя: «Пять

футов девять дюймов, хорошие волосы, изможденные черты, лицо страдальческое и жалкое. Попробовать его, если представится возможность». Теперь возможность представилась, и этот человек позировал ему в весьма неудобной позе, принимаясь рассуждать, всякий раз как снимался запрет, о горькой своей судьбе и о наслаждении стричь волосы. Он удалился с простодушным удовольствием человека, которому заплатили сполна, а работы не спрашивают.

И вот, расхаживая из угла в угол по мастерской, скульптор ждал стука в дверь. Что будет, когда она придет? Размышления ничего не прояснили. К его ногам положено все, чего желает живой человек, уже распрощавшийся со своей Весной,— юность и красота, и в этой чужой юности возрождение его самого; только лицемеры и англичане не признаются открыто, что желают этого. И дар этот положен к ногам человека, для которого нет ни религиозных, ни моральных запретов в общепринятом понимании. Теоретически он может его принять. А практически он до сих пор не решил, как ему поступить. Одно только обнаружил он во время ночных размышлений: глубоко заблуждаются те, кто отвергает принцип Свободы, опасаясь, что Свобода приведет к «свободе нравов». Для всякого мало-мальски порядочного человека вера в Свободу из всех религий самая строгая, она связывает по рукам и по ногам. Трудно ли сломать цепи, наложенные другими, и пуститься во все тяжкие с кличем: «Разорваны узы, я свободен!» Но своему свободному «я» этого не крикнешь. Да, судить себя будет лишь он сам; а от решения и приговора собственной совести уже никуда не уйдешь. И хоть он жаждал опять увидеть Нелл и воля его была словно парализована, все же не раз уже говорил он себе: «Нет, этому быть не должно! Да поможет мне бог!»

Потом пришел полдень, пришел, а она не пришла. Неужели «Девушка верхом на кобыле «Сороке» — это все, что он вместо нее сегодня увидит? Неудачная, плохая работа, такая холодная, лишенная ее колдовского очарования. Надо было лучше попробовать написать ее портрет маслом — красный цветок в волосах, капризно сложенные губы и глаза, обреченные или, наоборот, томные, обещающие... Гойя мог бы ее написать!

И тут, когда он уже перестал ждать, она пришла.

Заглянула ему в лицо с порога и проскользнула в комнату так тихонько, так смиренно, просто — послушное дитя... Поразительно, сколько чуткости и вкрадчивости в юных существах, когда они женщины!.. Ни следа вчерашней соблазнительной властности; ни намека вообще на вчерашний день, будто его и не было, — просто дружелюбная, доверчивая девочка. Она сидела, рассказывала ему об Ирландии, показывала ему свои летние рисунки. Не нарочно ли она принесла их, зная, что они вызовут у него жалость к ней? Могло ли быть что-либо невиннее, чем ее поведение в то утро, взывающее ко всему великодушному, отцовскому, что только было в его натуре; казалось, она искала у него лишь того, чего не мог ей дать дом и отец, — хотела быть ему только дочерью!

Потом ушла, так же скромно, как появилась, отказавшись позавтракать с ними, откровенно не желая встречаться с Сильвией. И только тогда он догадался, что она прочла предупреждение в его озабоченном лице и повела себя так, боясь, как бы он не отправил ее домой; только тогда понял, что, взывая к его покровительству, она лишь прочнее связывала его, чтобы ему труднее было вырваться и причинить ей боль. И вся его горячка возвратилась, охватив его с новой силой, лишь только Нелл исчезла за дверью. Но яснее, чем прежде, он ощущал, что находится во власти сил, с которыми ему не совладать; ибо, как бы он ни отбивался, ни изворачивался, они все равно его настигнут и снова свяжут по рукам и по ногам.

Под вечер всеведущий слуга Дроморов принес ему записку. Всем своим видом — и скромно опущенными глазами и безупречным пробором в волосах — он как бы говорил: «Да, конечно, сэр, вполне понятно, что вы отошли с запиской подальше, чтоб я не видел, но я, сэр, все знаю, я посвящен во все; только вы не беспокойтесь понапрасну: на меня вы можете положиться».

А в записке стояло вот что:

«Вы когда-то обещали, что поедете со мной кататься верхом, — ведь правда же обещали? А до сих пор не выполнили. Пожалуйста, поедemте завтра; вы получите то,

чего вам недостает для статуэтки, и перестанете на нее сердиться. Вы сможете взять папину лошадь — он опять уехал в Ньюмаркет, и мне одной очень скучно. Пожалуйста, завтра в половине третьего, здесь. Нелл».

Колебаться под взглядом этих посвященных глаз было невозможно, следовало ответить сразу «да» или «нет»; и если «нет», это бы означало лишь, что она тогда завтра снова придет в мастерскую. И потому он сказал:

— Передайте просто, что я сказал «хорошо».

— Слушаюсь, сэр,— и от порога: — Мистер Дромор пробудет в отъезде до субботы, сэр.

Ну, для чего он это сказал? Как глупо, что его тайное безумное чувство заставляет его во всем видеть зловещий смысл — и в словах слуги и во вчерашнем визите Оливера. Низкая подозрительность! Он уже чувствовал, почти видел, как марают ему душу эта скрытая низость. Скоро по его лицу можно будет все прочесть. Но что проку тревожиться? Чему быть, то и сбудется, так ли, эдак ли...

И вдруг он с ужасом вспомнил, что сегодня первое ноября — день рождения Сильвии! Он еще ни разу не пропустил, не забыл этот день. В смятении от такого откровения он едва не побежал к ней и не излил ей свою душу. Потом одумался — вот уж воистину был бы прекрасный подарок ко дню рождения! — схватил шляпу и бросился в ближайший цветочный магазин. Владелица его была француженка.

Что у нее есть?

— А что угодно мосье? *Des œillets rouges?* J'en ai de bien beaux, ce soir<sup>1</sup>.

Нет, только не их. Какие-нибудь белые цветы.

— *Une belle azalee*<sup>2</sup>?

— Да, это подойдет. Доставить сейчас же, немедленно.

Рядом была лавка ювелира. Он так по-настоящему и не знал, любит ли Сильвия драгоценности, потому что

---

<sup>1</sup> Красные гвоздики? Сегодня они у меня особенно хороши (франц.).

<sup>2</sup> Красивая азалия? (франц.).

когда-то имел неосторожность заметить, что драгоценности вульгарны. И, чувствуя всю глубину своего падения,—ведь он жалкими побрякушками собрался искупить свою вину перед той, о ком не думал целый день, потому что думал о другой,—он вошел в лавку и купил там единственное украшение, при виде которого его не тошнило: две черные грушевидные жемчужины на концах тонкой платиновой цепочки. Выйдя на улицу с покупкой, он увидел над домами в ясной, быстро густевшей синеве неба тончайшую дольку месяца — похоже на серебряную ласточку, которая, закинув назад острые крылышки, летит к земле. Что ж, это предвещает хорошую погоду. Если бы и у него в сердце была хорошая погода! И для того, чтобы азалия успела прибыть раньше него, он несколько раз прошелся взад-вперед по площади, которую они с Оливером обходили дозором накануне вечером.

Когда он вернулся домой, Сильвия как раз ставила белую азалию на окне в гостиной; и, неслышно подкравшись к ней сзади, он защелкнул цепочку у нее на шее. Она обернулась и прижалась к нему лицом. Видно было, что она очень тронута. И грудь ему давило и сжимало горькое сознание, что он предает ее своим поцелуем.

Но и целуя ее, он лишь сильнее ожесточал свое сердце.

## XI

Назавтра, вернувшись к начатому вчера Сильвией разговору о том, что он выглядит усталым и должен чаще бывать на свежем воздухе, он сообщил ей, что собирается покататься верхом, но не сказал, с кем. Одобрив это решение, она немного помолчала, потом вдруг проговорила:

— Почему бы тебе не покататься с Нелл?

Он уже настолько утратил чувство собственного достоинства, что, не стыдясь, ответил:

— Ей со мной будет скучно.

— О, нет, ей не будет скучно.

Хотела ли она этим что-то сказать? И, чувствуя себя так, словно ему нужно переспорить собственную душу, проговорил:



— Ну, что ж, тогда я так и сделаю.

Ему вдруг показалось, что он недостаточно знает свою жену, хотя всю жизнь он считал, что это она недостаточно знает его.

Если бы ко времени второго завтрака она не ушла из дома, тогда он бы сам ушел есть куда-нибудь в кафе: он боялся, что его выдаст выражение его лица, ибо у больных жар всегда усиливается с приближением определенного часа. И в кэбе, по дороге на Пикадилли, его лицо для всякого, кто бы ни заглянул в окошко, изобличало бы скорее больного тяжелой горячкой, а не преуспевающего скульптора средних лет и безупречного здоровья.

Обе лошади уже ждали у дверей: маленькая Сорока и породистая гнедая кобыла, выбракованная из дроморовских скаковых конюшен. Нелл тоже стояла рядом, щеки ее пылали, глаза ярко блестели. Не дожидаясь, пока он ее подсадит, она поднялась в седло с помощью все того же всезнающего слуги. Отчего таким совершенством дышала вся эта картина: она на своей лошадке? В тайном ли соответствии линий тут секрет или же в той мягкости и пылкости ее натуры, которую чувствовало стройное животное?

Поехали молча, но как только стук копыт заглох на буром ковре Ротен-Роу<sup>1</sup>, она обернулась к нему:

— Как это славно, что вы поехали! Я думала, вы боитесь, вы ведь боитесь меня.

«Правда твоя», — подумал Леннан.

— Только, пожалуйста, не смотрите, как вчера. Слишком уж хорош сегодня день! О! Я люблю солнечные дни, и люблю верховые прогулки, и... — Она не договорила и взглянула на него. «Не сердитесь на меня, к чему это? — как бы говорила она. — Лучше просто любите меня, и все!» В этом была ее сила — в убеждении, что он ее любит и что так и быть должно; и что она его любит и что так быть должно тоже. Как просто!

Но верховая езда — тоже простое удовольствие; а простые эмоции перебивают друг друга. Скакать на этой гнедой кобыле было на редкость приятно. Уж, ко-

---

<sup>1</sup> Аллея для верховой езды в Хайд парке.

нечно, Джонни Дромор сумеет выбрать лошадь себе под седло!

В конце аллеи она вдруг крикнула: «Теперь поехали в Ричмонд!» — и рысью выехала на дорогу, будто знала, что может повелевать им. Послушно следуя за нею, он думал: «Почему? Что в ней такого, чем она может возместить ему утрату работоспособности, достоинства, самоуважения? Что в ней? Всего только ее глаза, и губы, и волосы?»

И она будто знала, о чем он думает, — обернулась назад и улыбнулась.

Так они рысцой переехали через мост, пересекли Барнс-коммон и очутились в Ричмонд-парке.

Но как только подковы лошадей коснулись травы, она оглянулась на него и стремглав унеслась вперед. С самого ли начала была у нее задумана эта бешеная гонка, или просто прелесть осеннего дня вдруг ударила ей в голову: голубое небо, и медным огнем горящие на солнце папоротники, и листья буков и дубов, — горная Шотландия, заглянувшая на юг, к ним в гости?

После того как в первом рывке гнедая кобыла показала ему, на что она способна, гнаться за Нелл было истинное наслаждение. Через поляны, перескакивая лежащие стволы, по грудь в зарослях папоротника, стрелой по открытым пространствам, минуя стадо удивленных, важных оленей, вверх по отлогому косогору, сплошь изрытому кроличьими норами, и казалось, вот он уже настиг ее, но она вдруг свернула ловко и только мелькнула за стволами деревьев. Вот шалунья! Но ведь тут есть и что-то поглубже шалости. Он поравнялся с нею наконец и нагнулся, чтобы взять у нее поводья. Но один взмах ее хлыста, едва не пришедшийся ему по ладони, быстрое движение в сторону — и он пролетел на своей кобыле вперед, а она, подняв Сороку на дыбы, поскакала обратно и снова стрелой замелькала между деревьев, пригибаясь под ветками к самой шее своей лошадки. Потом вылетела из рощи и ринулась вниз по косогору. На полном скаку неслась она под гору, а следом за нею Леннан, чуть не лежа на крупе гнедой кобылы, готовый в любую минуту рухнуть с лошастью на землю. Ну и развлечения же у нее! Внизу она повернула

и поскакала галопом вдоль подножия холма; и он подумал: «Ну, теперь она от меня не уйдет!» Вверх по склону холма пути не было, и свернуть впереди было тоже некуда.

И вдруг ярдах в тридцати перед собой он увидел заброшенный песчаный карьер; и она — великий боже! — неслась прямо туда. Он закричал отчаянно, осадил свою кобылу. Но Нелл только взмахнула хлыстом, ударила разгоряченную лошадку и ринулась вперед. Он видел, как Сорока подобралась, сделала прыжок — и вот они летят вниз, зацепились за обрыв, повисли, сорвались, — и она, перелетев через голову лошади, навзничь упала на песок. В ту минуту он ничего не почувствовал, только в сознании у него запечатлелось желтое пятно песка, голубое небо, летящий грач и ее кверху повернутое лицо. Но когда он спустился в карьер, она уже стояла и держала поводья перепуганной лошади. Едва он прикоснулся к ней, как ноги ее подкосились. Она закрыла глаза, хотя он чувствовал, что она не в обмороке; но все равно он продолжал держать ее, прижимаясь губами то ко лбу ее, то к глазам. Потом голова ее вдруг запрокинулась и губы встретились с его губами. А после этого она открыла глаза и проговорила:

— Я не ушиблась, только голова кружится. Сорока разбила колени?

Сам не понимая, что делает, он встал и пошел за лошадью. Целехонькая, она пощипывала травку — песок и папоротники уберегли ее колени. Томный голос у него за спиной произнес:

— Ну, и слава богу. Не обращайтесь на лошадей внимания. Они придут, когда я позову.

Теперь, видя, что она жива и невредима, он рассердился. Почему она так нелепо вела себя, так ужасно его напугала? Но она все тем же томным голосом говорила:

— Не сердитесь на меня. Я сначала хотела осадить, а потом подумала: «Если я прыгну, он не сможет остаться суровым со мной». Вот и прыгнула... Ну, пожалуйста, не переставайте меня любить из-за того, что я не расшиблась.

Глубоко растроганный, он сел подле нее, взял ее руки в свои и сказал:

— Нелл! Нелл! Так нельзя, это — безумие!

— Почему? Не надо только думать об этом! Я не хочу, чтоб вы думали,— хочу, чтобы просто любили меня, и все.

— Дитя мое, вы не знаете, что такое любовь!

В ответ она обхватила его шею руками, но он уклонился от ее поцелуя; тогда, опустив руки, она вскочила.

— Ну и пусть! Но я вас люблю. Вот и думайте об этом, а помешать мне вы не можете!

И, не дожидаясь помощи, забралась на свою Сороку с песочной кучи, у которой они упали.

Спокойной и трезвой была эта поездка домой. Лошади, будто стыдясь недавней безумной гонки, шли бок о бок, так что его рука то и дело касалась ее плеча. Один раз он спросил ее, что она чувствовала во время прыжка.

— Беспокоилась только, успею ли высвободить ногу из стремени. Ужасно было падать и думать о сорокиных коленях.— И, тронув козьи ушки лошади, ласково проговорила: — Бедненькая ты моя! Завтра у тебя ноги будут болеть.

Опять она была доверчивым, чуть сонным ребенком. Или же это накал прошедших мгновений убил в нем остроту чувства? То был задумчивый, дремотный час — садилось солнце, один за другим загорались фонари, и на всем лежала благодатная дымка забвения!

У подъезда, где ждал грум, Леннан хотел было распрощаться, но она прошептала: «О нет, пожалуйста, не уходите! Теперь я в самом деле без сил — проводите же меня наверх».

И он чуть не на руках пронес ее по лестнице, мимо карикатур из «Ярмарки Тщеславия», по коридору с красными обоями и гравюрами Ван-Беерса, в ту самую комнату, где увидел ее впервые.

Устроившись в кресле Дромора с мурлычущим котенком на плече, она удовлетворенно промолвила:

— Хорошо, правда? Сейчас нам дадут чаю и горячих гренок с маслом.

Леннан остался, и всеведущий слуга внес чай и гренки, ни разу не взглянув на них и сохраняя вид человека,

которому известно все, что между ними произошло, и все, чему еще предстоит произойти.

Потом они опять остались одни, и, глядя на нее, вытянувшуюся в большом кресле, Леннан подумал: «Слава богу, что я тоже устал — душой и телом!»

Но она вдруг подняла на него глаза и, кивнув в сторону портрета, который сегодня не был задернут, сказала:

— Верно ведь, я похожа на нее? Я заставила Оливера этим летом рассказать мне все... И поэтому вам нет нужды беспокоиться. Ведь что со мной будет, неважно. И пусть, даже лучше — вы можете любить меня и не мучиться. Вы ведь будете любить меня, да? — И не сводя с него глаз, скороговоркой заключила: — Только не будем сейчас говорить об этом. Мне так тепло, хорошо. И я так устала. Пожалуйста, курите!

Но пальцы Леннана так дрожали, что он едва мог закурить папиросу. И, глядя на них, она сказала:

— И мне дайте. Папа не любит, когда я курю.

Да, Джонни Дромор блюдет добродетели — в других. И Леннан пробормотал:

— Как, по-вашему, он отнесся бы к тому, что было сегодня, Нелл?

— Мне все равно, как, — и, поглядев на него сквозь пушистый кошачий мех, продолжала: — Оливер хочет, чтобы я пошла в эту субботу на бал... благотворительный. Пойти мне?

— Конечно; отчего же нет?

— А вы пойдете?

— Я?

— Да, да, пожалуйста, пойдете и вы! Ведь это будет мой первый бал. У меня есть лишний билет.

И против воли, против здравого суждения, вопреки всему Леннан ответил:

— Хорошо.

Она захлопала в ладоши, и котенок скатился к ней на колени.

А когда Леннан поднялся и стал прощаться, она не шевельнулась, только поглядела на него — как он ушел, один лишь бог знает.

Он остановил кэб не доезжая до дому и бегом,

так как окоченел от холода и усталости, добрался до своих дверей, отпер замок собственным ключом и направился прямо в гостиную. Дверь была приотворена, и Сильвия стояла у окна. Он услышал ее вздох; и сердце у него сжалось. Она стояла там, такая тоненькая, одинокая и неподвижная, и свет блестел на ее волосах, так что они казались почти белыми. Потом она обернулась и увидела его. И он заметил, как затрепетало ее горло от усилия не показать и вида, что она волновалась. Он сказал:

— Неужели ты беспокоилась? Понимаешь, Нелл упала с лошади: вздумалось ей прыгать в песчаный карьер. Иногда она ведет себя просто нелепо. Я остался и выпил с нею чаю, хотел удостовериться, что она ушиблась действительно не очень серьезно.

Но, говоря это, он ненавидел и презирал себя: голос его звучал так фальшиво.

Она ответила только: «Да, милый», — но глаза ее, эти голубые, чересчур правдивые глаза, смотрели в сторону, даже когда она его целовала.

Так начался еще один вечер, и еще одна ночь, и еще одно утро горячего нетерпения, уверток, бессилия и стыда. Новый круг полублаженных мучений, вырваться из которого, казалось, ему было так же не дано, как не дано узнику пробиться сквозь стены своей темницы...

Пусть цвести ему под солнцем всего лишь один день, пусть предстоит ему кануть в сумрачный омут ночи, все равно темный цветок страсти распустится, дождавшись своего часа...

## XII

Чтобы лгать, надо, несомненно, пройти хорошую школу. И не понаторевший в этом искусстве Леннан вскоре уже безумно тяготился необходимостью что-то придумывать, быть постоянно настороже и притворяться перед той, кто всегда видела в нем идеал еще со времен их детства. Однако его не оставляло чувство, что, поскольку он один посвящен во все подробности дела, ему одному только и принадлежит право обвинять или оправдывать себя. Суд велеречивых моралистов — это лишь глупая болтовня напыщенных фарисеев, ведь над ними не вла-

ствуется упоительная, колдовская сила, да у них и крови в жилах не останется, чтобы испытать ее власть!

На следующий день после верховой прогулки Нелл не пришла, и вестей от нее тоже не было. Неужели она все-таки разбилась! Она так неподвижно лежала тогда в кресле! И Сильвия не спросила, знает ли он, как себя чувствует Нелл, и не предлагала послать и справиться. Что она, не хотела о ней говорить или просто не поверила? Когда о стольком приходилось умалчивать, особенно досадно было, что правду в твоих рассказах встречают недоверием. Сильвия еще ни словом не обнаружила, что чувствует его обман, но в глубине души он знал, что она не обманывалась... О эти чуткие щупальца любящей женской души! Где предел их восприимчивости?..

К вечеру желание повидаться с Нелл — где-то там, у себя дома, она словно звала, тянула его к себе, — сделалось почти непреодолимым; но он чувствовал, что Сильвия, какой бы повод для своего ухода он ни придумал, будет знать, куда он идет. Он сидел по одну сторону камина, она — по другую, и оба читали. Странно было только, что ни тот, ни другая не перевернули в своих книгах ни страницы. У него на коленях был «Дон Кихот», открытый на том месте, где стояли слова: «Пусть Альтисидора плачет или поет, все равно я принадлежу Дульсине, ей одной, живой или мертвый, верный и неизменный, наперекор всем волшебникам на свете».

Так прошел вечер. Когда она ушла спать, он уже готов был выскользнуть потихоньку из дома и, доехав до Дроморов, справиться о Нелл у доверенного слуги; но, представив себе всеведущий лакейский взгляд, удержался и не поехал. Он взял в руки книгу Сильвии. Это была «Сильна, как смерть» Мопассана — открытая на том месте, где несчастная женщина узнает, что ее возлюбленный предпочел ей ее собственную дочь. Он читал, и по лицу его катились слезы. Сильвия! Сильвия! Разве не верны по-прежнему его любимые слова из любимой книги: «Дульсинея Тобосская — прекраснейшая дама в мире, я же злосчастнейший на земле рыцарь. Нельзя допустить, чтобы подобное совершенство пострадало от моего бессилия. Вонзай же копье свое, рыцарь, дабы,

лишившись чести, лишился я и жизни»... Почему не может он вырвать эту страсть из своего сердца, раз и навсегда забыть о ней? Почему не может он остаться до конца верным той, которая всегда была до конца верна ему? Как ужасно это безволие, это аморфное чувство, парализовавшее его и сделавшее из него куклу на ниточках, за которые дергает чья-то жестокая рука! И ему опять, как уже однажды раньше, почудилось, будто в кресле Сильвии сидит Нелл — сидит в своем красном платье и смотрит на него этими удивительными глазами. Колдовское видение — такое ясное! Когда человека столько времени душит петля, мудрено ли помешаться!

Сгущались сумерки субботнего вечера, когда он, не выдержав беспросветного ожидания, открыл дверь мастерской, чтобы идти к Нелл. Он уже два дня не виделся с нею и не получал от нее вестей. Она говорила ему о каком-то бале, назначенном на субботу, звала его непременно. Сомнения нет, она больна!

Но он не прошел и шести шагов, как повстречал ее. Она шла к нему. На плечах у нее было серое меховое боа, закрывавшее ей рот и делавшее ее на вид гораздо старше. Как только захлопнулась, впустив их, дверь мастерской, она отбросила мех, придвинула скамеечку к камину и села, протянув к огню ладони.

— Ну, думали вы обо мне? Не довольно ли уже вы думали?

Он ответил:

— Да, я думал. Но ничего не придумал.

— Почему? Никто не будет знать, что вы меня любите. А узнают, мне все равно.

· Просто! Как просто! О блистательная, эгоистическая юность!

Он не мог говорить с этим ребенком о Сильвии — о своей семейной жизни, до сей поры столь безупречной, для него почти священной. Это было невозможно. Потом он услышал, что она говорит:

— Разве это дурно — любить вас? А если и дурно, пусть, мне все равно!

И он увидел, как губы ее задрожали, а глаза вдруг стали жалкие и испуганные, будто она впервые усомнилась в своей правоте. Вот еще новый источник мучений!



Видеть перед собой страдающее дитя. А что проку пытаться растолковать ей, стоящей на самом пороге жизни, в каких непроходимых дебрях плутает он! Разве может она понять, через какое болото липкой грязи и спутанных водорослей надо ему пробираться к ней? «Никто не узнает». Как просто! А его сердце? А сердце его жены? И, указывая на свою новую работу — первый мужчина, зачарованный первой нимфой, — он сказал:

— Взгляните, Нелл! Эта нимфа — вы; а мужчина — это я.

Она встала и подошла к скульптуре. И пока она ее разглядывала, он с жадностью упивался ее красотой. Что за странная смесь наивности и колдовства! Какое блаженство — в своих объятиях открыть последние тайны любви этому удивительному существу! Он сказал:

— Вы должны как следует понять, что вы такое для меня: в вас все, чем я уже никогда больше не буду владеть; видите, это запечатлено в лице нимфы. Разумеется, это не ваше лицо. А вот это я по топи и грязи ползу, чтобы достичь вас, — лицо, конечно, не мое.

Она сказала: «Бедное лицо!» — и закрыла свое лицо ладонями. Неужели она заплачет и причинит ему еще большую муку? Но она только прошептала: «Но ведь вы достигли меня!» — и, качнувшись к нему, прижала губы к его губам.

И он не выдержал. После его чересчур бурного поцелуя она отстранилась на мгновение и тут же, словно испугавшись собственного малодушия, поспешила снова к нему прижаться. Но этой инстинктивной боязни было довольно Леннану, он опустил руки и проговорил:

— Вам нужно уйти, дитя.

Не говоря ни слова, она подобрала свой мех, закутала плечи и остановилась, ожидая, чтобы он заговорил. Но он молчал, и тогда она протянула ему что-то белое. Это был пригласительный билет на бал.

— Вы сказали, что пойдете!

Он кивнул. Ее глаза и губы улыбались ему, пока она отпирала дверь, и с этой медленной, счастливой улыбкой она шагнула за порог...

Да, да, он пойдет; пойдет вслед за ней, куда и когда бы она ни позвала его!

Весь в огне, не думая ни о чем, кроме своей погони за счастьем, провел Леннан эти часы перед балом. Сильвии он сказал, что будет сегодня обедать у себя в клубе — небольшом помещении в несколько комнат, принадлежащем кружку художников в Челси. Он прибег к этой предосторожности, потому что чувствовал, что не сможет просидеть с ней лицом к лицу весь обед, а потом уехать на бал, туда, где его ждет Нелл. Чтобы объяснить свой фрак, он сказал, что в клубе сегодня принимают гостя, — еще одна ложь, но что с того? Он лгал постоянно, не словами, так поступками, и должен был лгать, чтобы она не страдала!

Он остановился у цветочницы-француженки.

— *Que desirez vous, monsieur? Des œillets rouges? — J'en ai de bien beaux, ce soir*<sup>1</sup>.

*Des œillets rouges?* Да, сегодня они подойдут. Вот по этому адресу. Зелени не надо, карточки тоже!

Какое странное чувство — жребий брошен, выпала любовь, и ты устремляешься за нею, оставляя позади собственное «я»!

На Бромтон-род у входа в маленький ресторанчик худой музыкант играл на скрипке. А! Тот самый ресторан. Он пообедает здесь, а не в клубе, а скрипачу достанется вся мелочь, какая найдется у него в карманах, — пусть играет эти мелодии любви! Он вошел. В последний раз он был здесь накануне того вечера на реке — двадцать лет назад. И с тех пор ни разу. А внутри ничего не изменилось. Та же тусклая позолота, те же запахи из кухни, и те же макароны в томатном соусе, и бутылки кьянти, и голые светло-голубые стены с узором из розовых веночков. А вот официант — другой — тощий, многотерпеливый, глаза черные. Ему тоже причитаются сегодня щедрые чаевые! И вон той бедной даме в немыслимой шляпке, склонившейся над скромной трапезой, — ей причитается от него хотя бы добрый взгляд. Всем отчаявшимся принадлежит его сочувствие в эту отчаянную ночь! И внезапно он вспомнил об Оливере. Еще один отчаявшийся! Что скажет он на балу Оливеру — он, сорокасемилетний, женатый мужчина, пришедший на бал почему-то без жены? Какую-нибудь глупость,

---

<sup>1</sup> Что вам угодно, мосье? Красных гвоздик? Они у меня сегодня особенно хороши (франц.).

вроде: «Изучаю божественные формы человеческого тела в движении» или «Хочу подсмотреть Нелл в другой обстановке, чтобы кончить статуэтку». Что-нибудь придумается; какая разница! Вино уже налито, теперь надо пить!

Было еще рано, когда он вышел на улицу, ночь была сухая, безветренная, почти теплая. Когда он в последний раз танцевал? С Олив Крэмьер, до того, как понял, что любит ее. Ну что ж, он останется верным воспоминанию — танцевать он сегодня не будет. Просто придет, посмотрит, посидит немного с нею — только почувствует ее руку в своей, увидит, как ее глаза ищут его, и уйдет! А потом будущее! Ибо вино уже налито. С платана, трепещуща, упал лист и зацепился за его рукав. Осень скоро пройдет, а после осени наступит Зима! Нелл забудет и думать о нем еще задолго до того, как придет его Зима. Природа позаботится, чтобы Юность кликнула ее и увлекла за собой. О неизменные пути Природы! Но обмануть ее хоть ненадолго! Обмануть Природу — есть ли счастье больше!

Вот этот дом с красным полосатым навесом над входом. Отъезжают кареты, толпятся зеваки. С гулко стучащим сердцем он вошел. Здесь ли уже она? Как придет она на этот свой первый бал? С одним Оливером? Или ей подыскали в спутницы какую-нибудь даму? Если бы его привела сюда необходимость оказать покровительство девочке — такой прелестной и рожденной «вне брака»! Сознание это было бы бальзамом для его раненого самоуважения. Но — увы! — он прекрасно понимал, что находится здесь только потому, что не прийти оказалось ему не под силу!

В зале наверху уже танцевали; но ее еще не было. И он стал, прислонившись к стене, так, чтобы увидеть, как она войдет. Он остро чувствовал свое одиночество и всю неуместность своего пребывания здесь; ему казалось, что все знают, для чего он приехал. На него озирались, и он слышал, как одна девушка спросила: «Кто это такой, там, у стены, с шевелюрой и темными усами?» Ее кавалер пробормотал что-то в ответ, потом опять слышался ее голос: «Да у него такой вид, будто он наяву грезит пустынями и львами». За кого они его принимают? Обычная для таких мест публика. Здесь он не встре-

тит никого из знакомых. А вдруг Нелл привезет самого Джонни Дромора! Ведь он должен был в субботу вернуться! Что же он тогда скажет Дромору? Как встретит взгляд его недоверчивых, проницательных глаз, которые таращатся твердой верой, что мужчине нужно от женщины только одно? И — ведает бог! — это будет правдой. Какое-то мгновение он готов уже был взять пальто и шляпу и незаметно удалиться. Но это означало бы, что он не увидит Нелл до понедельника; и он решил не отступать. Но после сегодняшнего вечера больше так рисковать нельзя — их встречи должны быть тайными, сокрытыми ото всех. И тут внизу лестницы он увидел ее — нежно-розовое платье, одна из его гвоздик приколоты к русым волосам, остальные букетиком привязаны к ручке крохотного веера. Как уверенно она держалась, будто всю жизнь провела на балах вот в таком наряде с открытыми руками и шеей! Щеки ее были залиты густым нежным румянцем, быстрые глаза устремлялись то туда, то сюда. Она стала подниматься по лестнице и вдруг заметила его. Было ли на свете зрелище прекраснее, чем она в это мгновение? Позади нее он разглядел Оливера и еще какую-то высокую рыжую девушку с кавалером. Он нарочно вышел на середину площадки, чтобы идущим сзади не видно было ее лица, когда она здоровалась с ним. Она приложила к губам маленький веер с букетиком и, протягивая ему руку, шепнула быстро и еле слышно:

— Ваш четвертый номер, полька; мы посидим где-нибудь, да?

И, грациозно качнувшись, так что ее волосы с красной гвоздикой едва не задела его по лицу, отошла, уступив место Оливеру.

Леннан приготовился встретить его прежний дерзкий взгляд, но увидел перед собой взволнованное, дружелюбное молодое лицо.

— Мистер Леннан, как замечательно, что вы приехали! А миссис Леннан...

— Она не смогла; она не вполне... — забормотал Леннан, чувствуя, что готов провалиться сквозь блестящий паркет. Юность — с ее подкупающей доверчивостью, с ее трогательными волнениями. Так-то выполняет он свой долг перед Юностью!

Когда они прошли в зал, он снова занял свое место у стены. Оркестр играл третий танец; и, стало быть, ждать ему недолго. Оттуда, где он стоял, танцующих не было видно: для чего ему смотреть, как она кружится в чьих-то объятиях?

Играли вальс — не настоящий вальс, а так, какую-то французскую или испанскую песенку в ритме вальса: прихотливую, грустную, кружащуюся в поисках счастья. О, эта погоня за счастьем! Но что в нашей жизни при всех возможностях и завоеваниях дает ощущение счастья, кроме нескольких кратких мгновений страсти! Ничто иное не содержит в себе той остроты чувства, какая достойна именоваться чистой радостью! Так, во всяком случае, казалось ему.

Вальс кончился. Теперь он видел ее; она сидела на диванчике у стены с тем, другим молодым человеком, то и дело обращая глаза туда, где стоял он, словно боялась, как бы он не ушел. Как разгорался и без того жаркий огонь в его груди от этой тонкой лести — от необъяснимого обожания в ее глазах, глазах, которые и властно влекли и в то же время смиренно за ним следовали! Пять раз он видел, пока она там сидела, как Оливер или рыженькая девушка подвели к ней знакомиться мужчин; видел восхищенные взоры юношей и внимательные — девушек, рассматривающих ее с холодным интересом или с откровенным, трогательным восхищением. С той минуты, как вошла она, ясно было, что на балу, выражаясь словами ее отца, «она всех оставит за флагом». И она могла пренебречь всем этим и тянуться к нему! Неве-  
роятно!

При первых звуках польки он подошел к ней. Куда им укрыться, нашла она, устроившись с ним в нише позади двух пальм в кадках. Но, сидя там, он понял, как никогда раньше, что между ним и этой девушкой не было духовной связи. Она могла поведать ему о своих радостях и печалях, он мог посочувствовать ей, утешить ее; но никакими способами нельзя было заполнить пропасти между их разными натурами и разными возрастами. Но и в этом, видит бог, было свое счастье — жадная, горячечная радость, подобная жажде измученного путника, которая только возрастает с каждым глотком. Сидя там, в аромате ее гвоздик и сладких духов от ее

волос, чувствуя ее пальцы в своих, ее глаза на своем лице, он честно старался отрешиться от себя, почувствовать то, что испытывает она на этом своем первом балу, помочь ее радости, веселью. Но не мог, парализованный, опьяненный безумным желанием сжать ее в объятиях, второй раз с такой силой охватившим его за эти несколько часов. Она, точно цветок, распускалась в ярком свете, в движении, среди всеобщих восторгов. Какое право имел он вторгаться в ее жизнь со своими темными, тайными желаниями; он, старая, истертая монета, губитель ее свежей, блистательной молодости и красоты!

Но тут она, подняв к лицу букетик гвоздик, спросила:

— Вы прислали мне их из-за того цветка, который я вам тогда подарила?

— Да.

— А что вы с ним сделали?

— Сжег.

— О! Отчего же?

— Оттого что вы ведьма, а ведьм надо сжигать со всеми их цветами.

— Вы и меня сожжете?

Он положил ладонь на ее обнаженную руку.

— Чувствуете? Огонь уже разведен.

— Жгите! Я не боюсь.

Она взяла его руку и прижалась к ней щекой; а между тем носок ее туфельки уже ударял в такт музыки, заигравшей следующий танец.

— Вам давно пора идти танцевать, дитя.

— О, нет! Только вот ужасная жалость, что вы не танцуете.

— Да. Вы поняли, что все должно оставаться в глубокой тайне, в полном секрете?

Прикрыв ему губы веером, она отозвалась:

— Не смейте думать, ни в коем случае не смейте думать! Когда мне прийти?

— Надо еще многое решить. Не завтра. И никто не должен знать, Нелл, понимаете? Ради вас, ради нее — ни одна живая душа!

Она кивнула и повторила с таинственно-мудрым, покорным видом: «Ни одна живая душа». Потом сказала громко:

— А вот и Оливер! Вы страшно добры, что приехали. Доброй ночи!

И, покидая об руку с Оливером их минутное убежище, она оглянулась на прощанье.

Он медлил: ему хотелось посмотреть, как она танцует. Какими ничтожными казались рядом с ними все остальные пары; и дело было не только в красивой внешности: выделяясь, они не были чуждыми этой толпе, но в них обоих через край била жизнь, смелая, непринужденная. Да, они подходили друг к другу, эти двое Дроморов — его темная голова к ее русой головке; его ясные карие, смелые глаза к ее серым, колдовским, томным. Да, юный Оливер сейчас, наверно, счастлив этой близостью! То, что испытывал Леннан, это была не ревность. Не совсем ревность — к молодости нельзя ревновать; что-то глубокое — гордость, чувство пропорции, как знать, что? — не допускало тут ревности. И она тоже казалась счастливой, словно душа ее танцевала, трепеща в такт музыке, среди аромата цветов. Он подождал, пока они, кружась, не пронеслись еще раз мимо него, поймал опять ее брошенный через плечо взгляд; потом нашел свое пальто и шляпу и ушел.

### XIII

На улице он прошел несколько шагов, потом остановился и стал смотреть на освещенные окна за ветвями деревьев, стволы которых вокруг фонаря отбрасывали на землю веером растопыренные тени. Церковные часы пробили одиннадцать. Еще не один час проведет она там, кружась и кружась в объятиях Юности! Как ни старайся он, ему никогда не вернуть себе того выражения, которое он видел на лице Оливера, — выражения, означавшего гораздо больше, чем мог бы дать ей он. Зачем вторглась она в его жизнь — себе и ему на погибель? Странная мысль пронеслась у него в голове: «Если б она умерла, горевал ли бы я? Не радовался ли бы вернее? Если б она умерла, с ней умерло бы ее колдовство, и я снова мог бы высоко держать голову и смотреть людям в глаза!» Что за сила играет человеком, пронзает ему грудь, захватывает сердце? Та сила, что

поглядела на него ее глазами, когда она приложила к губам веер с букетиком его цветов?

Музыка смолкла, и он ушел.

Было, вероятно, около двенадцати, когда он добрался домой. Опять предстоял ему бесконечный, тягостный обман — чем горше мука души, тем невозмутимее лицо. Пусть бы уже свершилось непоправимо это предательское дело и пошло раз навсегда своим тайным путем!

В гостиной было темно, только в камине горел огонь. Хоть бы Сильвия уже ушла спать! Но тут он увидел ее — она сидела без движения у незавешенного окна.

Он подошел и начал с ненавистной формулы:

— Ты тут одна соскучилась, наверно. Мне пришлось задержаться. Совсем неинтересный был вечер.

Она не пошевелилась, не ответила, а продолжала сидеть все такая же неподвижная и белая, и он заставил себя приблизиться к ней вплотную, наклониться над нею, коснуться ее щеки; он даже встал рядом с ней на колени. И тогда она обернулась и посмотрела на него: лицо ее застыло, но в глазах была мольба.

— О Марк! — губы ее скривились в жалостной улыбке. — Что случилось? Что с тобой? Все лучше, чем вот так!

Эта ли ее улыбка его сломила, или голос ее, или глаза — но Леннан не выдержал. Скрытность, осторожность — все было забыто. Склонив голову ей на грудь, он изливал ей душу, и пока он говорил, они сидели, прижавшись друг к другу в полутьме, точно двое испуганных детишек. Только окончив рассказ, понял он, что было бы много лучше, если бы она оттолкнула его, запретила к себе прикасаться, — это было бы гораздо легче снести, чем вот такое ее потерянное лицо и слова: «Я никогда не думала... мы с тобой... О! Марк... мы с тобой...» Вера в их совместную жизнь, в него самого, прозвучавшая в этих словах! Но ведь такая же вера была и у него — и осталась! Она не понимала, он знал, что ей никогда не понять; поэтому-то он и старался с самого начала сохранить все в тайне. Ей казалось, что она утратила все, между тем как в его представлении у нее не было отнято ничего. Эта его страсть, эта погоня за Юностью и Жизнью, это безумие — как ни назови — к ней



ни в коей мере не относятся, не затрагивают его любви к ней, его потребности в ней. Если б только она могла поверить! Он снова и снова повторял ей это; но снова и снова видел, что она не понимает его. Она понимала только одно: что его любовь от нее перешла к другой,— а ведь это было не так! Неожиданно она вырвалась из его рук, оттолкнула его с криком: «Эта девочка... злобная, отвратительная, лживая!» Никогда в жизни он не видел ее такой: на белых щеках два рдеющих пятна, мягкие линии рта и подбородка искажены, голубые глаза пылают, грудь тяжело вздымается, словно в легкие вовсе не попадает воздух. Потом так же внезапно огонь в ней погас; она опустилась на диван, спрятав лицо в ладони, и сидела, покачиваясь из стороны в сторону. Она не плакала, только время от времени из груди у нее вырывался слабый стон. И каждый ее стон звучал для Леннана как крик убиваемой им жертвы. Наконец он не вынес, подошел, сел рядом с ней на диван, позвал:

— Сильвия! Сильвия! Не надо! Ну, не надо!

Она перестала стонать, перестала раскачиваться; позволяла гладить себя по платью, по волосам. Но лица не открывала. И один раз, так тихо, что он едва слышал, проговорила:

— Нет, я не могу... и не хочу становиться между тобой и ею.

И с гнетущим сознанием, что теперь никакими словами не залечить, не унять боль в этом нежном раненом сердце, он продолжал только гладить и целовать ее руки.

Это жестоко, ужасно — то, что он сделал! Видит бог, он не искал этого — оно само на него обрушилось. Это ведь и она, при всем своем горе, не может не признать! Вопреки этой боли и стыду, он понимал то, чего не могли бы понять ни она, ни кто другой: зарождению этой страсти, уходящей корнями в те времена, когда он и незнаком был еще с этой девушкой, воспрепятствовать он не мог, ни один мужчина не может подавить в себе такое чувство. Это томление, это безумство составляет часть его существа, вот как руки или глаза; и оно так же всемогуще и естественно, как его жажда творить или его потребность в душевном покое, который дает ему она,

Сильвия, и только она одна. В этом-то и трагедия — все коренится в самой натуре мужчины. И до появления этой девушки он был в помыслах своих столь же грешен перед женой, как и теперь. Если б только она могла заглянуть ему в душу и увидеть его таким, какой он на самом деле, каким создала его природа, не испросив у него ни согласия, ни совета, — тогда бы она поняла и, наверное, перестала бы страдать; но она не может понять, а он не может ее убедить. И отчаянно, упорно, с тягостным сознанием бесполезности всяких слов, он пробовал снова и снова. Неужели она не понимает? Это же вне его власти — его манит, влечет Красота и Жизнь, зовет утраченная молодость!..

При этих словах она поглядела на него:

— А ты думаешь, я не хочу вернуть свою молодость?

Что значит для женщины — чувствовать, как ее красота, блеск ее глаз и волос, изящество и гибкость движений ускользают от нее и от того, кого она любит? Есть ли что-нибудь горше? И есть ли что-нибудь священнее, чем долг не увеличивать эту горечь, не толкать женщину к старости, помогать ей сберечь непомеркшей звезду веры в свою привлекательность!

Мужчина и женщина — они оба хотели бы вернуть себе молодость, она — чтобы отдать ему; он — потому что с молодостью может прийти что-то... новое! Только всего и разницы.

Он встал.

— Ну, успокойся, дорогая, попробуй лечь и уснуть.

Он ни разу не сказал, что отступится. Язык не поворачивался произнести эти слова, хотя он понимал, что Сильвия ждет их от него, жаждет их услышать. Все, что он смог сказать, было: «Пока я тебе нужен, я всегда буду с тобою», и еще: «Больше я не стану от тебя ничего скрывать».

Наверху, в спальне, она много долгих часов лежала в его объятиях, не отстраняясь, но словно неживая, и веки ее, всякий раз как он касался их губами, были мокры.

Что за лабиринт — сердце мужчины, в нем так легко заблудиться! Какие сложные, замысловатые повороты на каждом шагу; какие неуловимые подмены чувств!

Какая борьба между состраданием и страстью; какая жажда душевного покоя...

И в горячечном оцепенении, которое было почти сном, Леннан уже сам не знал, музыка ли играет на балу или это тихонько стонет Сильвия; и ее ли это или Нелл он обнимает...

Но надо было жить, и соблюдать приличия, и выполнять намеченные планы. А под спокойной поверхностью обычного воскресного дня продолжался все тот же кошмар. Они были точно путники, идущие по самому краю обрыва, так что каждый шаг грозит падением; или пловцы, напрягающие последние силы, чтобы выбраться из темного омуты.

Днем они пошли вместе на концерт. Это было просто какое-то занятие, которое хоть на час или два спасало их от необходимости разговаривать на единственную оставшуюся им тему. Корабль затонул, и они просто хватались за все, что ни подвернется, чтобы лишнее мгновение продержаться на воде.

К ужину были приглашены гости — писатель и двое художников, все трое с женами. Мучительный вечер, в особенности, когда разговор коснулся обязательной темы — свободы, духовной, физической, умственной, как непрременной потребности художника. Снова высказаны были все избитые мысли и возражения; и приходилось с каменными лицами принимать участие в разговоре. Но, слушая их дифирамбы свободе, Леннан представлял себе, как изменились бы их тон и обращение, узнай они правду о нем. Это «не принято» — совращать молодых девушек; как будто свобода состоит в том, чтобы делать только то, что «принято»! Сейчас они разглазывают о праве свободного художника испытать все, но сразу же умолкнут смущенно, если дело коснется канонов «хорошего тона». И выходит, что этот их хваленый «свободный» дух ничуть не свободнее буржуазного со всеми его ограничениями; или же церковного с его окриком «грех!» Нет, нет! В борьбе — если возможно бороться с этой затягивающей силой — догмы «хорошего тона», догмы религии и морали не помогают; и ничего не поможет, разве только другое чувство, еще более сильное, чем эта страсть. Лицо Сильвии, сияющее улыбнуться! Вот за что они должны были бы осудить его.

И никакие их теории и рассуждения о свободе не спасут от муки, от гибели душу того, кто заставил страдать любящее, верное сердце.

Но вот наконец, с непременными — «Мы вам так благодарны!», «Так чудесно провели вечер!» — гости ушли.

И они двое еще на одну ночь остались с глазу на глаз.

Он знал, что все должно начаться сначала — это было неизбежно, после того, как острие разговора в гостиной, пронзив им обоим сердце, целый вечер поворачивалось в ране.

— Я не хочу, не должна мешать тебе и губить твое искусство. Не думай обо мне, Марк! Я выдержу.

А потом рыдания, еще более отчаянные, чем накануне. Каким даром, каким талантом обладает Природа для того, чтобы мучить свои создания! Скажи ему кто-нибудь всего лишь неделю назад, что он может причинить такие страдания Сильвии — Сильвии, которую он голубоглазой девочкой с голубым бантом в льняных волосах защищал на прогулках от несуществующих быков; Сильвии, в чьих волосах запуталась его звезда; Сильвии, которая вот уже пятнадцать лет днем и ночью была ему верной женой, которую он любит и сейчас, — он бы, не задумываясь, ответил, что это ложь. Это прозвучало бы нелепо, чудовищно, глупо. Или каждые муж и жена должны пройти через такое, и это лишь обычный переход через обыкновенную из пустынь? Или это все же крушение? Смерть — ужасная, насильственная смерть в песчаном урагане?

Еще одна ночь страданий, а ответа на вопрос все нет.

Он обещал, что не увидится с Нелл, не сказав об этом предварительно ей. И потому, когда наступило утро, он просто написал: «Не приходите сегодня!» — показал записку Сильвии и отослал со слугой к Дроморам.

Трудно описать ту горечь, с какой он вошел наутро в мастерскую. Что будет с его работой во всем этом хаосе? Достанет ли у него снова хоть когда-нибудь душевного спокойствия, чтобы вернуться к творчеству? Вчерашние гости рассуждали о «вдохновении, черпаемом в страсти,

в переживаниях». Убеждая Сильвию, он и сам прибег к этим словам. И она — бедняжка! — послушно повторила их, пытаясь приучить себя к ним, пытаясь им поверить. Но правда ли это? И снова ответа нет, во всяком случае, он ответа не знает. Испытать такое половодье страсти, когда чувства захлестывают и вместо застоя достигают душераздирающей остроты, — быть может, кто знает?.. когда-нибудь он будет благодарен за это. Когда-нибудь за этой пустыней, быть может, откроется плодородная земля, и он сумеет работать еще лучше, чем прежде. Но сейчас — бесполезно; так не может творить тот, кому завтра идти на казнь. Он видел, что все равно погиб, — откажется ли он от Нелл и от удовлетворения неумемного, бунтующего инстинкта, которому давно пора было бы уgomониться, а он все не знает покоя, или же выберет Нелл, зная, что тем самым обрекает на муки женщину, которую любит! Вот все, что он сейчас видел. А что он увидит по прошествии какого-то времени, — это было ведомо одному лишь богу. Но: «Свобода духа!» Вот уж действительно слова, исполненные горькой иронии! И, бессильный в окружении своих незавершенных работ, точно связанный по рукам и ногам, он вдруг почувствовал такое яростное негодование, какого не знал никогда прежде. Эти женщины! Если бы ему только освободиться от них обеих, от страсти и сострадания, которые они возбуждают, тогда его мозг и его руки снова обретут жизнь и будут способны творить! Какое право имеют они подавлять, губить его!

Но — увы! — и в ярости он понимал, что бегство от них его не спасет. Так ли, иначе ли, но придется что-то побороть. Будь это хоть открытое, честное сражение, простая борьба между страстью и жалостью! Но он любил обеих и обеих жалел. И во всем этом деле не было простоты и ясности — слишком глубоко в самой человеческой природе оно коренилось. И от гнетущего ощущения загнанности, когда мечешься без толку от преграды к преграде, его рассудок, казалось, начинал му-титься.

Временами, правда, наступали минуты просветления, когда вся эта хитроумная путаница собственных мук представлялась ему на редкость забавной и удивитель-

ной. Но минуты эти не приносили настоящего облегчения, они только говорили о том, что у него, как это бывает с теми, кто долго страдает от зубной боли, на мгновение притуплялась способность чувствовать. Вот уже воистину: ад внутри нас!

Весь день его не оставляло предчувствие, почти уверенность, что Нелл, встревоженная его запиской из трех слов, все равно придет. А мог ли он написать ей что-нибудь другое? Нет, любые другие слова встревожили бы ее еще больше, а его еще больше запутали. У него было такое чувство, будто она может угадывать его переживания и будто ее глаза видят его повсюду, как кошачьи глаза в темноте. Это чувство возникло у него еще в тот последний вечер октября, когда она вернулась в Лондон — отныне уже взрослая. Как давно это было? Только шесть дней тому назад — возможно ли? Да-да, она знала точно, когда ее очарование ослабевало, когда надо было как бы подбавить ток. И около шести часов — уже в сумерках — он без малейшего удивления, только с каким-то пустым содроганием в груди услышал ее стук. Под самой дверью, как только можно ближе к ней, он замер, затаив дыхание. Он дал Сильвии слово — она не просила, он сам дал ей слово. Сквозь тонкую филленку старой двери он слышал слабое шарканье подошв по панели, когда она переступала с ноги на ногу, словно моля о милости неумолимое молчание. Ему казалось, он даже видит, как она склонила голову, прислушивается. Трижды постучала она в дверь, и трижды мучительно сжалось сердце Леннана. Это было жестоко! Она, обладавшая умением видеть то, что не видно, уж, конечно, знала, что он стоит за дверью; самое его молчание должно было ей все сказать — ибо его молчание имело голос, жалобный, слабый голос. Потом совершенно отчетливо он услышал ее вздох и удаляющиеся шаги; и, закрыв ладонями лицо, он, точно безумный, забежал из угла в угол по мастерской.

Ни звука больше! Она ушла! Нет, перенести это было невозможно. И, схватив шляпу, он выбежал на улицу. В какую сторону? Наугад он бросился к площади. И увидел ее. Вдоль ограды сквера она задумчиво, рассеянно брела к себе домой.

Однако теперь, когда до нее оставалось лишь несколько шагов, он заколебался: он ведь дал слово — что же, нарушить его? Но тут она обернулась и увидела его, отступать было поздно. На резком восточном ветру ее лицо выглядело маленьким, осунувшимся, озябшим, но глаза только еще шире раскрылись, еще полнее были колдовской силой и словно молили: не сердись, не прогоняй меня!

— Я не могла не прийти, мне стало страшно. Для чего вы послали мне эту записочку?

Он постарался придать своему голосу спокойное, обыденное звучание.

— Вы должны быть храброй, Нелл. Мне пришлось сказать ей.

Она ухватила его за рукав; потом вскинула голову и отрывисто проговорила своим ясным голосом:

— Вот как? Значит, она меня ненавидит!

— Она очень несчастна.

Минуту, долгую, как час, они молча шли по площади; не вокруг сквера, как тогда с Оливером, а дальше, прочь от дома. Потом она глухо сказала:

— Мне так немного нужно, только самую чуточку.

Он отозвался сокрушенно:

— В любви не бывает чуточки и остановок на полдороге.

И вдруг ее рука очутилась в его руке, ее пальцы нервно сплелись, перепутались с его пальцами, и тихий, сдавленный голос произнес:

— Но ведь вы позволите мне видеть вас, иногда? Вы не можете не позволить!

Всего труднее было противостоять этому беспомощному, испуганному, цепляющемуся за него ребенку. И сам не представляя себе ясно смысл своих слов, он пробормотал:

— Да-да; все будет хорошо. Не бойтесь ничего, вы должны быть храброй, Нелл. Все устроится.

Но она ответила:

— Я вовсе не храбрая. Я тогда что-нибудь сделаю.

Лицо у нее при этих словах было такое же, как в тот день, над песчаным карьером. Любящее, отчаянное, не

ведающее преград, не знающее удержу,— она что угодно способна сделать! Почему он пальцем шевельнуть не может, чтобы не навлечь беду на нее или на ту, другую? И раздираемый между ними двумя, обреченными из-за него страдать, сам он как бы утрачивал чувство своего отдельного существования. Вот к чему пришел он в погоне за счастьем!

Неожиданно она сказала:

— В субботу на балу Оливер опять сделал мне предложение. Он сказал, что вы советовали ему быть терпеливым. Это правда?

— Да.

— Зачем?

— Мне было жаль его.

Она выпустила его руку.

— Может быть, вы хотите, чтобы я вышла за него замуж?

Он отчетливо представил себе, как по блестящему паркету кружится и кружится молодая пара.

— Так было бы лучше, Нелл.

Она издала короткий взглас — полный не то гнева, не то отчаяния.

— Значит, я вам и правда не нужна?

Вот он, путь к отступлению! Но, чувствуя прикосновение ее плеча, видя ее лицо, такое бледное и несчастное, и эти с ума сводящие глаза, он не смог солгать.

— Нет, нужны,— видит бог, вы нужны мне!

Легкий удовлетворенный вздох сорвался с ее губ, словно она говорила себе: «Раз я ему нужна, он от меня не отступится». Трогательная дань вере в любовь и в свою молодость.

Незаметно для себя они вышли на Пэл-Мэл. И перепугавшись, оттого что так углубился в дроморовские пределы, Леннан поспешил свернуть к Сент-Джеймс-парку, чтобы в темноте пройти через него к Пикадилли. Хорониться от глаз света, идя об руку с дочерью своего школьного товарища, по отношению к которому он всего менее мог так поступить! Что может быть подлее! Но то, что называют честью,— куда исчезает оно, когда на него глядят ее глаза и ее плечо задевает его на ходу?

После того как он произнес эти слова: «Нет, вы нужны мне»,— она молчала; наверно, боялась другими сло-



вами рассеять их утешительное действие. Но у ворот напротив Хайд-парка она снова вложила ему в ладонь свои пальцы и все тем же своим ясным голосом произнесла:

— Я не хочу никому причинять боли, но вы ведь позволите мне приходить иногда? Позволите видаться с вами? Вы ведь не оставите меня одну, чтобы я сидела и думала, что больше уже никогда в жизни вас не увижу?

И опять, сам ясно не понимая смысла своих слов, Леннан пробормотал в ответ:

— Нет, нет! Все будет хорошо, дорогая,— все устроится, наладится. Обязательно наладится.

Она опять сплела свои пальцы с его — точно малое дитя. У нее было какое-то удивительное чутье на самые верные слова и движения, чтобы окончательно его обезоружить. Она говорила:

— Я ведь не нарочно, я не старалась вас полюбить. Если любишь, что в этом дурного? Ей же вреда не будет? Мне нужно только самую чуточку вашей любви.

Чуточку! Опять чуточку! Но он теперь уже целиком был поглощен заботами о ней. Ужасно было думать, как она вернется домой и будет сидеть весь вечер одна, перепуганная, несчастная. И, крепко сжимая ей пальцы, он продолжал твердить слова, предназначенные для ее утешения.

Потом он заметил, что они уже на Пикадилли. Далеко ли он осмелится пройти с нею, прежде чем расстаться? Как раз в том месте, где он столкнулся с Дромором в тот роковой вечер девять месяцев назад, навстречу им шел чуть враскачку какой-то мужчина в блестящем высоком цилиндре слегка набекрень. Но — благодарение господу! — это был не Дромор, а просто кто-то немало на него похожий, на ходу бросивший Нелл таинственно-многозначительный взгляд. И тогда Леннан сказал:

— Теперь ступайте домой, дитя; нас не должны видеть вместе.

Мгновение ему казалось, что она не выдержит, будет настаивать, не захочет уходить. Но она только вскинула голову и застыла на минуту, глядя ему в лицо. Потом

вдруг сдернула перчатку, и к его ладони прильнула ее горячая рука. Губы ее слабо улыбались, в глазах стояли слезы; наконец она выдернула руку, сошла с тротуара и затерялась среди экипажей. Потом она мелькнула, заворачивая за угол, и скрылась в переулке. И, чувствуя, как все еще жжет ладонь прикосновение горячей маленькой руки, он чуть не бегом бросился в Хайд-парк.

Не разбирая дороги и направления, углубился он в черные недра парка, пустынного и овеваемого холодным, бездомным ветром, который без звуков и запахов несся своей неумолимой дорогой под исчерна-серыми небесами.

Черная твердь над головой и резкий осенний холод как нельзя более отвечали настроению того, чьи чувства не нуждались в новой пище; того, чьим единственным желанием было избавиться, если только это возможно, от мучительного ощущения — от гнетущего, загнанного ощущения узника, который мечется из конца в конец своей темницы, видя, что нет надежды вырваться на волю. Без мысли, без цели передвигал он ноги; он не бежал только потому, что тогда бы, он знал, скорее пришлось остановиться. Увы! Открывалось ли для добропорядочного гражданина зрелище забавнее, чем этот женатый, средних лет мужчина, час за часом вышагивающий по сухим, темным, пустынным лужайкам, разрываемый между страстью и состраданием, так что он даже не мог бы сказать, обедал он сегодня или нет! Но ни одного добропорядочного гражданина не встретишь холодной осенней ночью на пронзительном восточном ветру. Деревья были единственными свидетелями его мрачного блуждания — деревья, уступавшие каждому порыву холодного ветра россыпь своих пожухлых листьев, которые летели, обгоняя его, чуть проступающие на фоне ночного мрака. Тут и там нога его погружалась с шелестом в кучи опавшей листвы, ожидавшие своей очереди сгореть в медленных кострах, аромат которых еще держался в воздухе. Горестным был этот путь — в самом сердце Лондона, взад-вперед, круг за кругом, час за часом в темноте осенней ночи. Ни звезды в небе, ни прохожего в парке, чтобы перемолвиться словом или хоть увидеть на расстоянии, ни птиц, ни четвероногих тварей — только свет фонарей вдалеке и хриплый шум улич-

ного движения! Одинокий путь, как путь души человеческой от рождения до смерти, на котором нет ей путеводных знаков, кроме слабых отсветов, посылаемых во тьму ее же слабым огоньком, зажженным неведомо где...

Уставший так, что едва хватало сил брести, но зато освободившийся наконец — впервые за много дней — от гнетущего чувства загнанности, Леннан вышел из парка через те ворота, в какие вошел, и побрел домой, чувствуя, что этой ночью, так или иначе, все разрешится...

## XV

Вот что вспоминал он, сидя в спальне у камина и следя за игрой огня, между тем как Сильвия, обессиленная, спала в своей постели, а ветка платана на осеннем ветру тихонько постукивала в стекло; вот о чем думал он, зная откуда-то, что к исходу этой ночи неизбежно придет к решению, которым свяжет себя раз и навсегда. Ибо и душевная борьба истощает себя; и угнетающая власть нерешительности имеет предел, положенный той истиной, что всякое решение — благо в сравнении с самой нерешительностью. Раз или два за эти последние несколько дней даже смерть начинала казаться ему сносным выходом, но сейчас, когда в голове у него прояснилось и предстояло сделать наконец выбор, мысль о смерти растаяла, как тень, ведь тенью она и была. Это было бы слишком уж просто, нарочито — и бесцельно. Любой другой выход был бы осмыслен; смерть же — нет. Оставить Сильвию и уйти со своей молодой любовью — это было бы осмысленно, но такое решение каждый раз, формируясь в его сознании, в конце концов тускнело и меркло; вот и сейчас оно утратило всякую привлекательность. Нанести такое ужасное публичное оскорбление своей нежной, любимой жене — попросту убить ее на глазах у всех — и в муках раскаяния состариться, пока Нелл еще совсем молода? Нет, на это он не мог пойти. Если бы Сильвия не любила его, тогда — да; или, хоть если бы он ее не любил; или же если, пусть и любя его, она стала бы отстаивать свои права, — в любом из этих случаев он, вероятно, смог бы это сделать. Но оставить

ту, которую он любит, ту, которая сказала ему с таким великодушием: «Я не буду мешать тебе — уходи к ней», — было бы изуверской жестокостью. Каждое воспоминание — со времен их полудетской влюбленности и до последних ночей, когда ее руки с жаром отчаяния обвивали его шею, — воспоминания всеми своими бессчетными цепкими побегами, всей силой своих неисчислимых нитей слишком прочно привязывали его к ней. Что же тогда? Значит, все-таки отступить от Нелл? И, сидя перед жарким огнем, он зябко поежился. Какое убийственное, расточительное кощунство — отказываться от любви; отвернуться от драгоценнейшего из даров; выпустить из рук, чтобы разбился вдребезги этот божественный сосуд! Не так-то много любви в здешнем мире, не так-то много тепла и красоты — для тех, во всяком случае, чье время на исходе, чья кровь уже скоро остынет.

Неужели не может Сильвия позволить ему сохранить и ее любовь и любовь девушки? Неужели не может она вынести это? Говорит, что может; но ее лицо, ее глаза и голос выдают обман; при каждом ее слове сердце его сжимается от жалости. Так вот, стало быть, каков для него реальный выход. Разве способен он принять от нее такую жертву, вынудить ее на муки и видеть, как она сгибается и вянет под их гнетом? Разве способен он купить свое счастье такой ценой? Счастьем ли будет ему это счастье? Он встал и на цыпочках подошел к кровати. Какая хрупкая и беззащитная лежала она! На ее нежном белом лице под смеженными веками безжалостно обозначались темные круги, а в льняных волосах, прежде ни разу им не замеченные, виднелись серебряные нити. Она дышала неровно, и ее приоткрытые, почти бескровные губы вздрагивали; временами слабая судорога пробегала по лицу, словно подымалась из глубины сердца. Вся такая нежная и хрупкая! Не много в ней жизни, не много сил; а юность и красота уходят, ускользают! Сознать, что он, предназначенный судьбой защищать ее от старости, день ото дня будет наносить новые меты на ее лицо, налагать новую тяжесть ей на сердце! И это он, с кем вместе она прожила жизнь до сегодняшнего дня, когда уже старость не за горами!

Затаив дыхание, он наклонился над нею, чтобы лучше видеть ее лицо, а смутный шорох платановых листь-

ев по стеклу, то и дело пригибаемых порывами осеннего ветра, казалось, заполнил собою всю немую вселенную. Но вот губы ее зашевелились в несвязном, быстром, взволнованном бормотании,— так говорят во сне исстрадавшиеся люди. И он подумал: «Я, верующий в храбрость и доброту; я, ненавидящий жестокость,— если я совершу это жестокое дело, во имя чего буду я жить? Как смогу работать? Как прощу себе? Если я сделаю это, я погиб — я превращусь в отступника моей же собственной религии — в предателя перед лицом всего, во что верю».

И, опустившись на колени у ее лица, такого печального и одинокого, даже во сне, у самого ее сердца, такого истерзанного, он вдруг понял, что он не сделает этого,— понял с внезапной отчетливостью и со странным чувством успокоения. Конец! Долгая борьба пришла к концу! Юность с юностью, лето с летом, листопад с листопадом! А позади него потрескивал огонь в камине и листья платана стучались в окно.

Он встал и на цыпочках, осторожно вышел из спальни. Спустился в гостиную и через стеклянную дверь вышел в сад, где когда-то сидел на кадке с гортензией, слушая далекую шарманку. Здесь было очень темно, холодно и жутко, и он поспешил через сад в свою мастерскую. Там тоже было холодно, и темно, и жутко, привидениями белели гипсовые фигуры, в непроветренном воздухе стоял запах папиросного дыма, и в камине догорали последние угольки огня, так ярко пылавшего, когда он выбежал за Нелл — целых семь часов тому назад.

Он направился прямо к бюро, зажег лампу и, вытащив несколько листов бумаги, набросал указания относительно того, как поступить с его различными работами; статуэтку Нелл он велел отправить мистеру Дромору с наилучшими пожеланиями. Написал письмо в банк, прося перевести на его имя деньги в Рим, и еще — поверенному — с поручением сдать дом в аренду. Писал он быстро. Если Сильвия проснется и решит, что он еще не возвращался, какие только мысли не придут ей в голову! Он взял последний листок. Не все ли равно, какую бы заведомую ложь ни написать,— лишь бы только это помогло Нелл вынести удар.

«Дорогая Нелл,

Я пишу в спешке рано утром, чтобы сообщить, что нас срочно вызвали в Италию к моей единственной сестре, которая очень больна. Мы уезжаем с первым пароходом и, возможно, пробудем за границей довольно долго. Я напишу еще. Не дуйтесь, и да благословит вас бог.

М. Л.»

Он плохо видел, что выходило из-под его пера. Бедное, любящее, бесстрашное дитя! Ну что ж, у нее остается ее молодость и сила, и скоро будет еще — Оливер! И он взял новый лист.

«Дорогой Оливер,

Нам с женой пришлось спешно уехать в Италию. Я смотрел на вас обоих в тот вечер на балу. Будьте очень бережны с Нелл, и — дай бог вам удачи! Но только не говорите ей больше, что я посоветовал вам быть терпеливым; это едва ли поможет вам завоевать ее любовь.

М. Леннан».

Ну вот, стало быть, и все — да, все! Он погасил лампу и ощупью пробрался к камину. Одно дело все-таки еще осталось. Надо сказать последнее «прости!» Ей, Юности, Страсти — этой единственной в мире силе, исцеляющей томительную муку, которую вызывает Весна и Красота — муку по новизне, животрепещущей, неумемной, никогда не оставляющей мужские сердца. Увы, рано или поздно с этим приходится распрощаться каждому. Таков всеобщий жребий...

Он опустился на корточки перед камином. От быстро чернеющей горки углей не исходило тепла, но она еще рдела, подобная темно-красному цветку. И пока светился последний жар, он сидел перед камином, словно это с ним оставалось ему проститься. И слышался ему призрачный стук девушки в дверь. И — призрак среди призрачных гипсовых фигур — она сама стояла рядом с ним. Медленно чернели, дотлевая, угли, покуда не угасла наконец последняя искра.

Тогда в мерцании ночи он выбрался из мастерской и бесшумно, как и выходил, вернулся в спальню.

Сильвия все еще спала, и в ожидании, пока она проснется, он снова уселся у огня среди глубокой ночной тишины, нарушаемой лишь постукиванием осенних листьев по стеклу да прерывающимся еще время от времени сонным дыханием Сильвии. Теперь она дышала ровнее, чем тогда, когда он стоял над нею, словно уже все знала во сне. Только бы ему не пропустить мгновения, когда она проснется, только бы успеть очутиться подле нее, прежде чем она снова все ясно осознает, успеть сказать ей: «Тс-с! Все прошло. Слышишь? Мы с тобой уезжаем сегодня же — сейчас». Оказаться наготове с утешением, прежде чем она успеет вновь погрузиться в свое горе, — эта мысль была словно светлый островок спасения в черном океане ночи, единственный островок спасения для его нищей, нагой души. Реальная забота — что-то настоящее, определенное, нужное. Но еще целый долгий час до того, как она открыла глаза, он сидел, подавшись вперед, в своем кресле и глядел на нее с тоской и волнением, провидя сквозь ее лицо иной образ, иной слабый, мерцающий свет — где-то там, далеко-далеко, — так путник глядит на звезду...

1913 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПАТРИЦИЙ

*Перевод Р. Облонской.*

|              |     |
|--------------|-----|
| Часть первая | 5   |
| Часть вторая | 136 |

### ТЕМНЫЙ ЦВЕТOK

*Перевод И. Бернштейн.*

|                  |     |
|------------------|-----|
| Часть I. Весна   | 269 |
| Часть II. Лето   | 349 |
| Часть III. Осень | 425 |



**Джон ГОЛСУОРСИ**  
**Собрание сочинений в 16 томах.**  
**Том VII.**

**Иллюстрации художника**  
**И. Ушакова.**

**Оформление художника**  
**А. Васина.**

**Технический редактор**  
**А. Шагарина.**

---

**Подп. к печ. 26/III 1962 г. Тираж 375 000 экз.**  
**Изд. № 522. Зак. 253. Форм. бум. 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.**  
**Бум. л. 7,81. Печ. л. 25,62 + 4 вкл. (0,41 печ. л.).**  
**Уч.-изд. л. 26,9. Цена 90 коп.**

---

**Ордена Ленина типография газеты «Правда».**  
**Москва, А-47, улица «Правды», 24.**